

НОВЫЙ
МИР

9

МОСКВА 1938

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

СЕНТЯБРЬ

МОСКВА
1938

Уполн. Главлита Б—46058.
Сдано в набор 29/VIII—38 г. Подписано к печати 15/IX—38 г.
18 печ. листов. Тираж 80.000. Зак. 2596.
Технический редактор А. И. Гессен.
Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская площадь, 5.

ЗА ОВЛАДЕНИЕ БОЕВОЙ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ТЕОРИЕЙ



Опубликован одобренный ЦК ВКП(б) краткий курс истории Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, курс, по которому будут учиться большевистскому искусству, марксистско-ленинской науке партийные и непартийные большевики, миллионы и миллионы трудящихся. Создан сталинский классический большевистский курс Истории ВКП(б).

Появление краткого курса истории коммунистической партии большевиков знаменует новый этап в развитии революционной мысли, открывает новую замечательную страницу в золотой книге марксистско-ленинской науки. По своему теоретическому содержанию, по богатству идей курс Истории ВКП(б) может быть поставлен рядом с выдающимися работами классиков марксизма-ленинизма.

«История ВКП(б), — написано в «Введении», — есть история трех революций: буржуазно-демократической революции 1905 года, буржуазно-демократической революции в феврале 1917 года и социалистической революции в октябре 1917 года.

История ВКП(б) есть история свержения царизма, свержения власти помещиков и капиталистов, история разгрома иностранной вооруженной интервенции во время гражданской войны, история построения Советского государства и социалистического общества в нашей стране»¹.

В курсе истории большевизма, вышедшем под редакцией Комиссии ЦК ВКП(б), тщательно взвешено каждое слово, глубоко продумано каждое определение, с любовью отредактирована

каждая формулировка. В нем каждое положение и характеристика насыщены глубоким идейным содержанием, неисчерпаемым богатством сталинской мысли.

Только Сталинский ЦК ВКП(б), воплотивший в себе всю мудрость нашего века, весь опыт большевистской партии, весь опыт диктатуры рабочего класса, мог создать научный труд, в котором с такой глубиной запечатлена славная история героической борьбы и побед партии Ленина—Сталина, с такой глубиной показана роль большевистской партии в революционном движении рабочего класса.

В кратком курсе Истории ВКП(б) каждая страница — воплощение гения товарища Сталина. Этот курс войдет в историю как живой образец сталинской мудрости, мудрости величайшего корифея марксистско-ленинской науки. Сталинский курс истории большевизма — это величайший теоретический памятник основоположнику большевизма, гению революции Ленину.

Существовавшие до сих пор учебники по истории ВКП(б) были неудовлетворительны «либо потому, что они излагают историю ВКП(б) вне связи с историей страны; либо потому, что ограничиваются рассказом, простым описанием событий и фактов борьбы течений, не давая необходимого марксистского объяснения; либо же потому, что страдают неправильностью конструкции, неправильностью периодизации событий» (Сталин)¹.

В силу этих крупнейших пороков старых учебников история нашей партии выглядела «не как история, а как лег-

¹ «Правда», от 9/IX-38 г.

¹ «Большевик», № 9 за 1937 г., стр. 8.

кий и непонятный рассказ о делах минувших»¹.

В сталинском курсе истории большевизма история коммунистической партии излагается в теснейшей связи с историей страны, с ее экономическим и политическим развитием, в нем дается всестороннее, марксистское объяснение сложнейших вопросов революционной борьбы рабочего класса и его передового и организованного отряда — большевистской партии.

В сталинском курсе истории большевизма показывается, что борьба партии большевиков с антиленинскими течениями и фракциями была глубоко принципиальной борьбой за марксизм-ленинизм, ибо «без принципиальной борьбы с антиленинскими течениями и группами, без их преодоления, наша партия неминуемо переродилась бы, как переродились соц.-дем. партии II-го Интернационала, не приемлющие такой борьбы» (Сталин)².

Товарищ Сталин еще в докладе на VII расширенном пленуме ИККИ говорил, что «преодоление внутривидовых разногласий путем борьбы является законом развития нашей партии»³. «ВКП(б) росла и крепла, — говорится в «Введении», — в принципиальной борьбе с мелкобуржуазными партиями внутри рабочего движения — эсерами (а еще раньше с их предшественниками — народниками), меньшевиками, анархистами, буржуазными националистами всех мастей, а внутри партии — с меньшевистскими, оппортунистическими течениями — троцкистами, бухаринцами, национал-уклонистами и прочими антиленинскими группами.

ВКП(б) крепла и закалялась в революционной борьбе со всеми врагами рабочего класса, со всеми врагами трудящихся — помещиками, капиталистами, кулаками, вредителями, шпионами, со всеми наемниками капиталистического окружения».

Борьба партии с врагами народа, с троцкистско-бухаринскими и буржуазно-националистическими агентами фа-

шизма требует повышения идейной вооруженности партийных и непартийных большевиков. Чтобы быть во всеоружии, уметь распознавать врагов под любой маской, применяющих сложные формы маскировки и двурушничества, нужно изо дня в день повышать идейный уровень советских людей, овладевать большевизмом, знанием законов классовой борьбы.

«Изучение истории ВКП(б) обогащает опытом борьбы рабочих и крестьян нашей страны за социализм.

Изучение истории ВКП(б), изучение истории борьбы нашей партии со всеми врагами марксизма-ленинизма, со всеми врагами трудящихся помогает овладеть большевизмом, повышает политическую бдительность.

Изучение героической истории большевистской партии вооружает знанием законов общественного развития и политической борьбы, знанием движущих сил революции.

Изучение истории ВКП(б) укрепляет уверенность в окончательной победе великого дела партии Ленина—Сталина, победе коммунизма во всем мире»¹.

Появление краткого курса Истории ВКП(б) — выдающееся событие в жизни нашей партии, в жизни советского народа, в жизни международного пролетариата. Изучая этот курс, будут вырастать и закаляться миллионы советских патриотов-интернационалистов, будут вырабатываться деятели ленинско-сталинского типа, которые так же, как Ленин и Сталин, будут ясны и определены, бесстрашны и беспощадны в бою, мудры, правдивы, честны.

Каждая страница сталинского курса Истории ВКП(б) будит чувство благородного советского патриотизма, наполняет сердца партийных и непартийных большевиков величайшей гордостью за нашу прекрасную родину, за нашу славную большевистскую партию, за нашего великого Сталина.

В истории большевистской партии советский народ видит свое революционное прошлое, свою героическую борьбу за дело коммунизма в нашей стране и во всем мире. В большевистской пар-

¹ «Большевик», № 9 за 1937 г.

² Там же.

³ Ленин и Сталин. Соч., т. III, стр. 147.

¹ «Правда» от 9/IX-38 г.

тии, в ее героической истории советский народ видит свою историю освобождения от власти помещиков и капиталистов, историю борьбы и побед.

«Партия есть воплощение связи передового отряда рабочего класса с миллионными массами рабочего класса. Каким бы лучшим передовым отрядом ни была партия и как бы она хорошо ни была организована, она все же не может жить и развиваться без связей с беспартийными массами, без умножения этих связей, без упрочения этих связей. Партия, замкнувшаяся в себе, обособившаяся от масс и потерявшая или даже ослабившая связи со своим классом, — должна потерять доверие и поддержку масс, — следовательно — должна неминуемо погибнуть. Чтобы жить полной жизнью и развиваться, партия должна умножать связи с массами и добиться доверия миллионных масс своего класса»¹.

Величайшая сила ленинско-сталинской партии, являющейся передовым, организованным отрядом рабочего класса, состоит в том, что она никогда не отрывалась от масс, а шла во главе их, двигала и двигает их по пути коммунизма.

Каждая страница сталинского курса истории большевизма воскрешает в памяти героические этапы самоотверженной и беззаветной борьбы советского народа, который под руководством партии Ленина—Сталина прошел славный путь борьбы и побед, построив первое в мире социалистическое государство рабочих и крестьян.

В стране победившего социализма народ и коммунизм, народ и большевизм являются неразрывными и несокрушимыми силами. Этим объясняется тот огромный интерес к истории нашей партии, который проявляют партийные и непартийные большевики: рабочие, крестьяне и советская интеллигенция. Они с величайшей радостью и любовью изучали и изучают историю родной и близкой им большевистской партии, историю борьбы за социализм в нашей стране.

Вместе с рабочим классом, крестьян-

ством, интеллигенцией нашей страны будет овладевать большевизмом, законами общественного развития международного пролетариат и все прогрессивные передовые силы мирового общественного движения.

Изучая сталинский курс Истории ВКП(б), международный пролетариат, все передовое и прогрессивное человечество повысят свою волю и решимость в борьбе за победу коммунизма во всем мире. В истории большевизма нашей страны они увидят живой пример того, как нужно бороться за дело рабочего класса, за дело коммунизма, какие средства и тактику необходимо применить для достижения победы. Из истории героической партии большевиков международный пролетариат будет черпать большевистскую мудрость, опыт, знание, силы для организации победоносной борьбы против темных сил реакции, фашистского варварства и изуверства.

Сталинский курс Истории ВКП(б) раскрывает перед трудящимися нашей страны и всего мира богатейший опыт великой борьбы и побед, накопленных в течение долгого и славного пути большевистской партии.

От зарождения первой марксистской группы до зарождения большевистской партии, от первой буржуазно-демократической революции до Великой Октябрьской социалистической революции, от периода гражданской войны и иностранной интервенции до победы социализма в СССР — весь этот героический путь в курсе Истории ВКП(б) освещен прожектором марксистско-ленинской науки.

В невероятно тяжелой обстановке иностранной интервенции и гражданской войны советский народ, руководимый партией Ленина — Сталина, отстоял свою свободу и независимость, отстоял молодое социалистическое государство рабочих и крестьян.

В этой победе незабываема роль Красной армии, созданной великими вождями большевизма — Лениным и Сталиным. «Красная армия победила потому, что она была верна и предана до конца своему народу, за что и любил ее и под-

¹ «Большевик», № 17—18 за 1938 г., стр. 41.

держивал народ, как свою родную армию. Красная армия есть детище народа, и если она верна своему народу, как верный сын своей матери, она будет иметь поддержку народа, она должна победить. Армия же, идущая против своего народа, должна потерпеть поражение»¹.

Красная армия победила потому, что она выковала в своих рядах таких военных руководителей нового типа, как Фрунзе, Ворошилов, Буденный и другие. В ее рядах боролись такие героисамородки, как Котовский, Чапаев, Лазо, Щорс, Пархоменко и многие другие. Политическим просвещением Красной армии занимались такие деятели, как Ленин, Сталин, Молотов, Калинин, Свердлов, Каганович, Орджоникидзе, Киров, Куйбышев, Микоян, Жданов, Андреев, Петровский, Ярославский, Ежов, Дзержинский, Щаденко, Мехлис, Хрущев, Шверник, Шкирятов и другие.

Сталинский курс истории большевизма является новой ступенью в развитии марксистско-ленинской теории — самого драгоценного сокровища большевистской партии. В этом курсе с непревзойденной теоретической глубиной раскрыто значение революционной теории в революционной борьбе рабочего класса. Революционная теория есть опыт рабочего движения всех стран, взятый в его общем виде. Творцы научного коммунизма постоянно заботились о том, чтобы революционная теория стала достоянием революционных масс, служила им путеводной звездой в их революционной борьбе.

Глубокий анализ работ В. И. Ленина: «Что делать?», «Шаг вперед, два шага назад», «Две тактики социал-демократии в демократической революции», «Материализм и эмпириокритицизм» и другие — это подлинный шедевр теоретической мысли, это блестящий образец применения и развития творческого марксизма.

В этом анализе ленинских работ полностью и исчерпывающе показано, какое огромное значение имели эти работы в развитии большевистской партии, показано то новое, что внес великий

Ленин в сокровищницу марксизма. Читая об этих ленинских работах мудрые и простые, глубокие и ясные слова товарища Сталина, воочию видишь, с какой подлинно большевистской страстью и непримиримостью основоположники большевизма боролись за теоретические основы нашей партии, какое огромное значение придавал Ленин и придает товарищ Сталин теоретическому оружию большевистской партии.

В борьбе с оппортунистической философией «экономистов» родилась ленинская работа «Что делать?».

«Историческое значение «Что делать?» состоит в том, что Ленин в этой своей знаменитой книге:

1) Первый в истории марксистской мысли обнажил до корней идейные истоки оппортунизма, показав, что они заключаются прежде всего в преклонении перед стихийностью рабочего движения и в принижении роли социалистического сознания в рабочем движении;

2) Поднял на высоту значение теории, сознательности, партии, как революционизирующей и руководящей силы стихийного рабочего движения;

3) Блестяще обосновал коренное марксистское положение, гласящее, что марксистская партия есть соединение рабочего движения с социализмом;

4) Дал гениальную разработку идеологических основ марксистской партии. Теоретические положения, развитые в «Что делать?», легли потом в основу идеологии большевистской партии»¹.

Шаг за шагом в борьбе с ревизионистами и перерожденцами выковывались идеологические, организационные, политические и теоретические основы большевистской партии, укреплялись мощь и сила партии рабочего класса.

В борьбе за партию рабочего класса против меньшевиков родилась ленинская работа «Шаг вперед, два шага назад».

«Значение этой книги состоит прежде всего в том, что она отстояла партийность против кружковщины и партийность против дезорганизаторов, разгро-

¹ «Большевик», № 17 — 18 за 1938 г., стр. 33—34.

¹ «Правда» от 15/IX-38 г.

мила меньшевистский оппортунизм в организационных вопросах и заложила организационные основы большевистской партии.

Но этим не исчерпывается ее значение. Ее историческое значение состоит в том, что в ней Ленин первый в истории марксизма разработал учение о партии, как руководящей организации и пролетариата, как основного оружия в руках пролетариата, без которого невозможно победить в борьбе за пролетарскую диктатуру»¹.

В борьбе с меньшевиками родилась ленинская работа «Две тактики социал-демократии в демократической революции».

«Историческое значение этого труда Ленина состоит прежде всего в том, что он разгромил идейно мелкобуржуазную тактическую установку меньшевиков, вооружил рабочий класс России для дальнейшего развертывания буржуазно-демократической революции, для нового натиска на царизм и дал русским социал-демократам ясную перспективу необходимости перерастания буржуазной революции в революцию социалистическую».

Но этим не исчерпывается значение труда Ленина. Его неоценимое значение состоит в том, что он обогатил марксизм новой теорией революции и заложил основы той революционной тактики большевистской партии, при помощи которой пролетариат нашей страны одержал в 1917 году победу над капитализмом»².

В борьбе против ревизионистов и перерожденцев в период столыпинской реакции Ленин написал свою гениальную работу «Материализм и эмпириокритицизм». В этой книге Ленин отстоял теоретическое богатство марксизма от покушений ревизионистов и перерожденцев, обобщил новое и существенное из того, что приобретено наукой после смерти Энгельса.

Диалектический и исторический материализм составляет теоретический фундамент коммунизма, теоретические

основы марксистской партии. Созданное Марксом и Энгельсом, развитое Лениным и Сталиным философское мировоззрение неразрывно связано с борьбой рабочего класса за коммунизм. Из философской системы марксизма логически вытекает пролетарский социализм.

Такая органическая связь философии пролетариата с научным социализмом, с революционной борьбой рабочего класса стала возможной потому, что Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин являются великими пролетарскими революционерами, соединившими в себе глубокую научность с самой последовательной революционностью.

Создавая партию нового типа, партию марксистскую, партию социальной революции, партию диктатуры пролетариата, Ленин ковал идейно-теоретические основы этой партии, вооружал ее передовым, самым революционным мировоззрением — марксизмом.

«Вся история борьбы с «экономистами», меньшевиками, троцкистами, отзовистами, идеалистами всех мастей вплоть до эмпириокритиков, — была историей подготовки такой именно партии. Большевики хотели создать новую, большевистскую партию, способную быть образцом для всех, кто хотел иметь настоящую революционную марксистскую партию. Большевики готовили такую партию уже со времен старой «Искры». Они готовили ее упорно, настойчиво, несмотря ни на что. Основную и решающую роль сыграли в этой подготовительной работе такие труды Ленина, как «Что делать?», «Две тактики» и т. д. Книга Ленина «Что делать?» была идеологической подготовкой такой партии. Книга Ленина «Шаг вперед, два шага назад» была организационной подготовкой такой партии. Книга Ленина «Две тактики социал-демократии в демократической революции» была политической подготовкой такой партии. Наконец, книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» была теоретической подготовкой такой партии»¹.

Великий Сталин говорит, что только

¹ «Большевик», № 17—18 за 1938 г., стр. 43.

² Там же, стр. 60.

¹ Там же, стр. 105—106.

«наша партия знает, куда вести дело, и ведет его с успехом. Чему обязана наша партия этим своим преимуществом? Тому, что она является партией марксистской, партией ленинской. Она обязана тому, что руководствуется в своей работе учением Маркса, Энгельса, Ленина»¹. Вот почему в кратком курсе Истории ВКП(б) товарищ Сталин — великий продолжатель марксизма-ленинизма — уделил исключительно большое внимание освещению борьбы Ленина и большевиков за чистоту теоретической основы большевистской партии.

Партия большевиков, созданная Лениным и Сталиным, всегда придавала большое значение революционной теории. «Без революционной теории, — говорил Ленин, — не может быть и революционного движения... роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией»².

Враги марксизма-ленинизма понимали, какую огромную силу имеет революционная теория в борьбе рабочего класса. Чтобы ослабить величайшую силу нашей партии, они не раз пытались атаковать теоретические основы большевизма, пытались подорвать мобилизующую, организующую и преобразующую силу революционной теории.

Великие основоположники большевизма — Ленин и Сталин на протяжении всей истории нашей партии боролись за чистоту революционной теории, развивали ее применительно к новым условиям — эпохи империализма и пролетарских революций, эпохи строительства социализма в СССР.

История большевистской партии учит, что победа пролетарской революции, победа диктатуры рабочего класса невозможна без партии нового типа, без партии марксистской, без партии социальной революции.

История большевистской партии учит, что партия не может выполнить роль руководителя своего класса, если она

не вооружена марксистско-ленинской теорией, не вооружена революционной теорией.

История большевистской партии учит, что без разгрома мелкобуржуазных партий, действующих в рядах рабочего класса, невозможна победа рабочего класса, победа диктатуры пролетариата. История партии есть история разгрома мелкобуржуазных партий — эсеров, меньшевиков, анархистов, националистов, которые уже перед Октябрьской социалистической революцией стали контрреволюционными, а впоследствии превратились в агентов иностранных разведок — в банду шпионов, диверсантов, вредителей, изменников родины.

История большевистской партии учит, что без непримиримой борьбы с оппортунистами в своих собственных рядах, без разгрома капитулянтов в своих рядах партия не может выполнить роль организатора и руководителя рабочего класса. История партии есть история борьбы и разгрома оппортунистических групп внутри партии — «экономистов», меньшевиков, троцкистов, бухаринцев, национал-уклонистов, которые являлись по сути дела агентами меньшевизма внутри большевистской партии, его охвостом, его продолжением.

История большевистской партии учит, что без глубокой связи с массами, без укрепления этой связи наша партия не может быть действительно массовой партией. Партия Ленина — Сталина всегда укрепляла свои связи с массами, шла во главе их, организовывала и мобилизовывала рабочий класс, трудящиеся массы на борьбу за диктатуру рабочего класса, за социализм.

Сталинский курс истории большевизма воодушевляет на новые победы коммунизма. Сейчас, когда перед народами Советского Союза стоит задача постепенного перехода к коммунистическому обществу, необходимо вооружить партийных и непартийных большевиков острейшим оружием борьбы — марксизмом-ленинизмом. Необходимо тщательно, серьезно, глубоко изучить краткий курс Истории ВКП(б).

¹ И. Сталин, «Вопросы ленинизма», стр. 597 (10-е издание).

² Ленин, Соч., т. IV, стр. 380.

Дездемона

ПОВЕСТЬ

В. ТАРСИС

★

1

Земля была мягкая, ее не тронули январские холода. Шаги прохожих раздавались, как легкие вздохи. На крутой вершине горы повисла ущербленная луна, ее сияние легло на далекой гряде, как тонкий снежный полог. Но в горах еще не было снега.

Люди поднялись из узкого аульного коридора на тесную площадку. Потом их вновь поглотила темень улочки, где верхние балконы домов склонились друг к другу и перешептывались. Под тяжелыми сапогами, точно летом, курилась пыль. В узкой щели теснились теплые звезды.

Люди наклонили головы и по узкой саманной лестнице поднялись на второй этаж белого дома. Услышав шаги, хозяин распахнул дверь, и вошедших, после ночной прохлады, обдало таким жаром, что они на мгновение задохнулись. Раскаленная чугушка гудела и трещала. Лица у хозяев были красные, как узоры на коврах, покрывавших пол и стены комнаты. На печке, в большом чугуне, булькала вода. Маленькая керо-синовая лампа мигала на столе.

Гости в пальто, бурках и овчинных шубах толкались у двери. Хозяева хватали и переставляли три стула, но гостей было больше, и Курбан Эмиров, рыжий, вихрастый, снял папаху, ударил ею по руке и крикнул:

— Воллах, вы, точно овцы, без чабана хвоста не повернете.

И грузно опустился на ковер. На нем

был рыжий полушубок с крупными завитками шерсти. Усевшись на пол, он стал похожим на груды наваленных овчин.

— Ну, кто с тобой может равняться? — смеясь, сказал Михаил Алиев. — Клянусь, во всем Дагестане не найдется такого рыжего аварца, как ты.

— Прошу не смеяться над директором нашего театра и моим гостем, — степенно сказал хозяин.

— Спасибо, Шапи, ты один мой защитник среди этих лукавых рабов.

Гости опустились на ковер, сняли шубы и бурки, бросили их в угол и уселись поудобнее. Они говорили так быстро, как будто тысячи мелких камешков стучали на берегу моря, принесенные волной. Короткие и жесткие слова из одних согласных звуков падали, как удары бича.

В углу, на деревянной, узкой кровати, спала маленькая Хабибат. Хотя она жила только пять месяцев, но успела уже привыкнуть к неустанному прибою людского говора, треску дров в печке и завыванию ветра на Хунзахском плато.

— Не обижайся, Шапи, — сказал Курбан, — что мы к тебе привалили гурьбой. В театре сам шайтан замерзнет, не то, что твоя Айшат с маленькой Хаби.

— И разве можно тащить малютку в холод и темень? — как мелкая галька, пронеслись слова Рукият.

И тогда далеким колокольчиком, занесенным с гор порывом ветра, прозвучели слова Айшат:

— Я столько забот доставляю вам.

Все невольно замолкли на мгновение, обласканные нежным ветром слов Айшат, а потом Микаил задумчиво произнес:

— Когда во всем мире наступит коммунизм, все девушки будут говорить таким голосом, как ты, Айшат.

— Клянусь, я не ошибся, что выбрал тебя, Микаил. Ты достоин заведывать литературной частью аварского театра, — громко сказал Курбан.

— По штату я суфлер. Это становится привычкой...

— А я скажу: красивые слова — льстивые, а льстивые слова — лживые, — простуженным голосом, хрипло произнес Шапи.

— Однако сам ими не мало пользовался, если сумел соблазнить такую красавицу, — весело подмигнул ему Курбан.

Шапи встал. Он был приземистый, широкоплечий, кряжистый, с короткой, толстой шеей. Молча скрутив цыгарку, он закурил, сочно сплюнул и сказал жене:

— Хинкал нам сделаешь?

Айшат вышла в сени и вернулась оттуда через минуту с медным тазом и кульком муки. Она принялась стряпать на столе, осторожно отодвинув книги и тетради.

— Пока мы можем открыть наше производственное совещание, для чего мы и пришли к тебе, Шапи. Вопрос у нас один — распределение ролей в пьесе «Отелло», написанной известным во всем мире Шекспиром при участии не менее знаменитого в Хунзахе писателя, художника, декоратора, переводчика и суфлера — Микаила Алиева. Возражения, поправки есть?

Рыжий чуб Курбана взлетел вверх, лицо его в ярких веснушках было огненно-красным, — он сидел ближе всех к печке, его влажный лоб блестел и лоснился.

Айшат повернулась. Она побледнела, и от этого ее необычайно белое лицо стало будто просвечиваться. Она взглянула на раскрасневшегося Курбана, потом повернулась к Шапи, — глаза его блестели, как две зеленые искры, на

бронзовом лаке лица. Айшат снова опустила голову и принялась за работу. Видно было только, как вздрагивали ее плечи под длинным черным платком.

— У меня есть возражение, — сказал Микаил, — такое возражение, что я тебе пьесу не дам, если ты мне не заплатишь гонорар.

— Заберите от меня эту умную голову и суньте ее другому, — замахал руками Курбан. — Как актер и суфлер ты получаешь двести рублей. А где ты слышал, чтоб наш театр платил гонорар? Это глупо. Тебе выпала такая честь, твое имя будет написано на афише красной тушью рядом с именем Шекспира, за это ты должен сам мне заплатить.

— А декорации я тоже должен делать даром?

— Пожалуйста, товарищ, играй без декораций и костюмов, так ты будешь так похож на Отелло, как ишак из Хунзаха похож на автомобиль всемирной фирмы «Газ».

— Курбан, — тяжело засопел Шапи, — я беру слово на производственном совещании и говорю, что Отелло буду играть я, а не Микаил. Это получается мировой капитализм, когда одному все, а другому — ничего.

— Ой, мировой капиталист, чем так начинать производственное совещание, ты бы лучше залепил себе рот кукурузным хинкалом и молчал всю жизнь. Вы видели этого Отелло? Да пойми, что с таким ростом нельзя играть Отелло. Там, где у Отелло живот, как-раз находится твоя пустая голова.

— Что значит рост, — сопел Шапи, — зато я черный, как настоящий мавр.

— Пожалуйста, — взмолился Курбан. Его взоры обращались ко всем поочередно, и рыжий кок на голове ожесточенно клевал клювья сизого махорочного дыма.

— Пожалуйста, — произнес вторично Курбан, — возьмите от меня этого мавра и суньте его другому.

— Я готов уступить, — сказал Микаил.

Он хотел еще что-то сказать, но Айшат быстро повернулась, платок ее взлетел, как черное крыло, и слегка кос-

нулся руки Михаила. Но это продолжалось одно короткое мгновение, и голова ее снова низко склонилась над столом, а маленькие пальцы ожесточенно разминали куски тяжелого теста.

— Слушайте, у нас производственное совещание или мы собрались здесь хабары разводить? Отелло играет Михаил, больше некому. А на будущий сезон я приглашаю из Москвы Качалова. Эх, Михаил, я вижу, ты даром хочешь есть хлеб. Он уже готов отдать роль. Лодырь. А ты, Шапи, будешь играть Касио.

— А знаешь ли ты, Курбан, что у меня есть четыре одеяла, как следует набитые ватой и с красивыми узорами? — сказал Шапи.

— Ну, так закройся ими, и тогда мы увидим кое-что приятное.

— Ты угадал. Я закроюсь ими, но рядом со мной, как всегда, ляжет Айшат. И мне интересно, как ты тогда в театре покажешь кое-что приятное?

Все заволновались. Дело принимало плохой оборот. Крутой нрав и упрямство Шапи были хорошо известны собравшимся.

— Дездемону может играть только Айшат. Ты хочешь сорвать постановку? — робко произнесла Рукият.

Шапи молча опустил на ковер и, тяжело дыша, окружил себя кольцами махорочного дыма.

Курбан беззвучно шевелил губами. Он знал твердо только одно, что без Айшат постановка «Отелло» сорвется. Да и, вообще, может ли что-нибудь сделать театр без Айшат?

Вот она стоит, маленькая, с опущенной головой, кудри сбились на чистый лоб, белое лицо точно опалено легким румянцем, порывисто дышит узкая девичья грудь. И что она нашла в этом мрачном, упрямом и мстительном Шапи? Его мысли так же коротки и неповоротливы, как его толстая шея. Кто выдумал эту дурацкую любовь? Как бы их развести, поссорить?

Курбан навестил Айшат вскоре после родов. Он с нетерпением ждал ее выздоровления. Колхозники и чабаны из Чоха, каменщики из Согратля, механики из Гергебиля и садоводы из Тлоха и

Ботлиха сидели мрачные на спектакле, когда не слышали этого единственного и неповторимого голоса, владевшего их сердцами и воображением.

С бледным, осунувшимся лицом, она была похожа на больную девочку. Между Курбаном и Айшат произошел короткий разговор:

— Айшат, как ты думаешь, если надеть на маленького ишака хорошее кубачинское седло, соблазнится ли им джигит, подумав, что это добрый конь?

— Ты любишь над всем смеяться, Курбан, и тебе даже настоящий конь покажется ишаком.

— А ты своим мягким, как воск, сердцем залепила себе глаза и не видишь, что стала только подстилкой для ишака.

— Я не знаю, о чем ты говоришь, Курбан: я люблю своего мужа, я рада быть матерью, а умру я актрисой.

— Ты вкладываешь в один хурджин солому и горящий уголь.

— Но этот хурджин — мое сердце, оно не сгорит.

— Ты веришь в себя, как святой в аллаха. Но, клянусь, я вырву тебя из этого ада.

— Нет, не трогай меня, ты отнимешь мой рай.

— Эх, этот весельчак Шекспир крепко посмеялся бы над тобой.

— И, посмеявшись, написал бы грустную пьесу, от которой плакали бы все, даже ты, Курбан.

— С тобой, я вижу, не сговоришься, но не забудь моих слов. Ты ходишь по канату, а думаешь, что это широкая дорога... Прощай.

Этот разговор снова вспомнил Курбан. Он вспоминал его уже много раз. И зачем она любит этого проклятого Шапи? Он упрям и бездарен. Курбан давно бы выгнал его из театра, но тогда он не позволит играть Айшат. Правда, Айшат может его не послушаться, но лучше об этом не думать. Мирный разговор супругов может кончиться короткой репликой кинжала. Курбану мизансцены этого рода не нравились.

Он знал, что Шапи не любит театра. Его гораздо больше занимал огород, где росла любимая им картошка, но он,

помимо других своих достоинств, был жаден, скуп, и сто пятьдесят рублей в месяц, которые платил ему Курбан, привязали его к театру. Он уже неплохо исполнял бытовые роли, у него даже оказались кой-какие способности, хорошая память, умение держаться на сцене без напряжения. Этого, конечно, недостаточно для того, чтобы получить такое жалованье, и, когда на это намекали Курбану, он говорил: «Ты ничего не понимаешь. Если человек сумел достать такую жену, он заслуживает оклада первого актера». Все это хорошо, но до какой наглости дошел этот человек: играть Отелло! Он, видимо, лишился своего небольшого ума. Курбан, наконец, решил испытать последнее средство. Этот рыжий сердцевед знал, что жадность так же непобедима, как и страстная любовь...

Курбан усмехнулся своим мыслям. Он поднял голову, рыжий кок взлетел вверх.

В чугуне булькала кипящая вода. Айшат выкладывала на тарелку темные дымящиеся хинкалы. Ее лицо было, словно в зареве.

Молодой актер Ахмет-Нами примиряюще сказал:

— Я не сомневаюсь, что наш хозяин хорошенько обдумает и согласится играть Кассио. Это тоже хорошая роль.

— Ты, может, предложишь мне играть этого разбойника Яго, или лодыря и бабника Родриго? — мрачно сказал Шапи.

— Вай, Шапи, Ахмет-Нами, к чему эти бесполезные разговоры? Я отменяю спектакль, и мы переходим к следующему вопросу нашей повестки: хинкал глюс вино, которое нам сейчас принесет Ахмет-Нами в порядке артистической дисциплины, но... без подхалимства. Ахмет-Нами, сделай недовольную гримасу, пошли меня громко к шайтану, и чтобы через десять минут здесь была четверть натурального.

Ахмет-Нами охотно поднялся, надел бурку и, захватив большой медный чайник, ушел.

— Курбан, — еле слышно сказала Айшат. — Ты не можешь отменить постановку «Отелло».

Хотя слова эти были сказаны так тихо, словно птица бесшумно взмахнула крыльями, однако все насторожились, и даже Курбан ответил с вынужденной неуверенной улыбкой:

— Айшат, что значит «не можешь»? Ты, может быть, еще скажешь, что я могу из этого кукурузного хинкала сделать жареную индейку или соус провансаль, как подают в московском ресторане? Так я тебе отвечу, что я его ел один раз, когда окончил курсы, и уже забыл его вкус.

— Нет, ты этого не сделаешь, Курбан, — решительно заявил Микаил.

— Не сделаешь?.. Пожалуйста, подай на меня заявление Шекспиру. Зачем я должен себе морочить голову и ссориться с моим другом Шапи из-за какого-то венецианского мавра? Воллах, мой отец тоже так поступил бы.

— Я сыграю Отелло не хуже других, — сказал Шапи, — а если ты не хочешь ставить, могу не играть. Я от этого не обеднею.

— Правильно говоришь, Шапи, — сказал Курбан, — ты не обеднеешь, и Отелло не разбогатеет от твоей помощи. Этому Отелло за его подвиги отсыпали чорт знает какие богатства.

На лицах артистов появились недоумевающие улыбки. Никто не мог сказать уверенно, что задумал этот лукавый Курбан. Было затрачено столько труда, и труппа уже заранее полюбила этот спектакль.

Больше всех волновалась Айшат. Она могла спокойно думать о том, что сгорит дом, что ее разлюбит Шапи, что волки задерут овец и картошка замерзнет на огороде. Обо всем могла думать Айшат, но только не о том, что она не сыграет Дездемону.

Она сама переписала всю пьесу, как только ее перевел Микаил. Целыми вечерами, пока не раздавался сердитый окрик ее мужа: «Довольно жечь керосин, мы не владельцы кооператива», — она старательно, детским почерком выводила слово за словом. Они ложились на бумагу черными рядами, строки складывались в длинный радостный путь, суливший необычайное. Она точно шла по крутой дороге вверх, и, чем выше она

поднималась, тем ярче делался мир. Каждая новая реплика Дездемоны входила, как внешний поток, в ее сердце. Звенят ручьи, поют незнакомые птицы, прилетевшие из заморских стран, и она уже слышит, как звенит ее голос, пронося эти сладчайшие слова. Да ведь это она поет своей маленькой Хаби песенку про иву, и она со страхом и нежностью смотрит на мужа. Может быть, в нем уже просыпается тяжелое подозрение?..

Айшат весной исполнилось восемнадцать лет. Она смутно помнит мать, старую, изможденную женщину, умершую давно, когда Айшат была еще девочкой. И только одно яркое, незабываемое воспоминание: однажды они возвращались в аул всей семьей. Мать несла на спине железную кровать. С ее загорелого, морщинистого лица стекали тяжелые капли пота. Девочка шла рядом быстрыми шажками и хваталась ручонками за холодные железные прутья. Они словно жгли мягкие ладошки. Так мучительно хотелось помочь, но где взять силы?

Она села на траву и во весь голос зарыдала.

Отец, шедший сзади, с большой глиняной трубкой в зубах, в недоумении остановился, потом шлепнул ее, а мать сердито крикнула: «Стыдилась бы... уже большая».

Она вытерла кулачком слезы и пошла дальше. Действительно, она уже большая. На ней было длинное платье до пят, белый платок, спадавший по спине ниже колен. Ей минуло семь лет.

Осенью мать слегла и больше не встала. Старый Магома не женился. И Айшат стала хозяйкой. Ухаживала за овцами, работала в огороде, варила обед.

Так неторопливо шла ее жизнь. В школе она впервые увидела спектакль. Шла пьеса Михаила «Сестры». Ей было тогда двенадцать лет.

Она беззвучно повторяла вслед за младшей сестрой, героиней пьесы, необыкновенные и волнующие слова. Она скакала вместе с ней на коне — скорей сообщить красным партизанам, что бе-

лые приближаются к родному аулу, она заботливо перевязывала раны командиру, говорила ему нежные слова, пела песни и плясала, когда они праздновали Первое мая, с недоумением и восторгом произносила слова любви.

Ночью она долго ворочалась в постели, а на другой день пошла в театр, как только окончились занятия в школе.

Ее встретил Михаил. Она долго не могла произнести ни слова, смотрела большими, испуганными глазами на высокого, стройного, белолицего юношу с ровным девичьим румянцем на лице. У него был тонко очерченный нос, тонкие и высокие брови, он не был похож на аварских юношей.

— Ну, что же ты скажешь, девочка? — Михаил улыбнулся. У Айшат внезапно прошел страх, и она без запинки прочла монолог младшей сестры из второго акта.

Она так же внезапно умолкла, и Михаил тоже молчал, будто прислушиваясь к тишине, — точно не он, а неведомый волшебник создал эти звенящие слова.

— Кто ты? — произнес он еле слышно.

— Мой отец — Магома, а мать умерла.

— Ты хочешь играть с нами?

— Отец не пустит меня, я — хозяйка.

— Ты учишься в школе?

— Да, но как я буду учиться, когда вы уедете? Может, вы останетесь здесь?

— Нельзя, девочка, но, когда ты окончишь школу, ты приедешь к нам. Мы уговорим твоего отца.

— Вы приедете к нам?

— Конечно, и не раз.

Айшат убежала.

Снова начались будни. Но Айшат жила особой, таинственной жизнью, которую не замечали окружающие. Она забиралась далеко в горы и читала нараспев излюбленные стихи. Ей трудно давался русский язык. Не раз обильные слезы заливали тетрадь, но, вдоволь поплавав, она еще с большим упорством принималась за работу, и в ее припухших глазах появлялось выраже-

ние упорной, злой решимости, словно она отбивалась от целой толпы девчонков, задумавших ее обидеть.

Через год ей попался только-что вышедший из печати перевод «Ромео и Джульетты», сделанный Михаилом. Айшат была так потрясена, что порой теряла ощущение действительности: два раза оставила старого Магому без обеда, не приготовила уроков, сторонилась подруг.

Айшат лежала подолгу на низкой траве. Пред ней мелькали помятые странички маленькой книжки и причудливые тени. Но она ничего не видела. Далекие образы ожили на горах Хунзаха. Она перелистывала книгу, но не читала. Все странички здесь она знала наизусть, и только взглянет на верхнюю строчку, — сразу возникает перед глазами площадь, дворец или темный склеп.

Театр временно не работал. Нехватало средств, и половину труппы пришлось уволить, и Айшат напрасно следила всё лето за большой дорогой — не покажутся ли знакомые лица.

Однажды, когда она декламировала «Ромео», ее неожиданно вспугнул человек небольшого роста, весь обвешанный фазанами.

— Эй, что ты там кричишь ветру, ему не до тебя, — сказал охотник.

Айшат испугалась, но, узнав Шапи, успокоилась.

— А тебе что надо? Иди своей дорогой, — ответила она сердито.

— Дорога моя как-раз возле тебя, — сказал Шапи и тяжело уселся. — Ты бы, чем здесь кричать ветру о своих глупостях, пошла со мной в лес на охоту. Там волков, шакалов, зайцев, птиц разных — видимо-невидимо.

— А ты их не боишься? — недоверчиво спросила Айшат.

— Скажешь... Чтобы Шапи чего-нибудь испугался. Если ты никому не проболтаешься, я тебе кое-что расскажу, и тогда ты узнаешь, какие есть храбрцы на свете.

— А ты не обманешь меня?

— Зачем тебя обманывать? Польза какая от этого будет? Без пользы ничего не надо делать, а тем более обманывать.

— Ну, не скажу никому.

— Я тут с несколькими джигитами ходил богатых грабить... Так ни разу не испугался. Двое на меня нападали, а я их, как щенков, бросал в стороны. Я смелый, никто меня не поборол. Раз только чуть не попался. Зашли мы в дом, смотрю, лежит жена хозяина, красивая такая, ну, как ты, такая красивая, что я остановился и смотрю, а хозяин уже подкрался сзади... еще секунда, и пропал бы Шапи, но тут я опомнился и схватил его за руки... А ты красивее всех девушек в ауле, я хочу пойти к твоему отцу, чтоб отдал тебя мне в жены.

Айшат вдруг поднялась, и не успел Шапи опомниться, как она убежала.

Но они встречались еще не раз. Шапи рассказывал о своих необычайных похождениях и приключениях на охоте, и Айшат слушала его уже спокойно и внимательно.

Когда ей минуло шестнадцать лет, Шапи пошел к старому Магоме и сказал ему:

— Слушай, Магома, у нас хорошая советская власть, родных у меня нет, и ты тоже хороший человек, — отдай мне свою дочь.

Магома посмотрел из-под серых кустов своих бровей и медленно, с расстановкой сказал:

— Если ты хочешь попробовать, что крепче, твои кости или моя палка, то можешь продолжать этот разговор.

— Но Айшат не отказывается выйти за меня замуж.

— Ты можешь также сказать, что мои овцы написали тебе письмо, что хотят перейти в твой хлев. Таких врунов, как ты, надо поискать.

— Я буду хорошим хозяином, Магома.

— Не над стадом ли вшей на своей единственной рубашке? Уходи, а то у меня уже руки чешутся.

Шапи ушел.

Однажды он сказал Айшат:

— Я увезу тебя ночью, хочешь?

— Хочу, — ответила Айшат.

Шапи нравился Айшат. Он знал столько необыкновенных историй, и, кроме того, его сердитые глаза смотрели на нее с такой нежностью. Она не

могла понять, откуда у Шапи берется эта необычайная нежность.

Ей нравилось также, что он был очень сильный. Айшат не знала, что такое любовь, но с Шапи ей было хорошо, и, кроме того, ей шестнадцать лет, она уже взрослая, и старый Магома ее не сегодня-завтра просватает. Так уж лучше за Шапи, а то еще, того и гляди, отдадут за старика с трясущейся козлиной бородой.

Айшат изредка вспоминала о Микаиле.

При этом воспоминании ей становилось вдруг холодно, точно она сильно озябла, а потом сразу делалось жарко, пылали щеки, тревожно билось сердце. Однажды она во сне почувствовала его руку на своей груди, ей показалось, что она умирает, дыхание замерло, и она проснулась с ощущением сердечной боли. Но Айшат не хотелось возвращаться к этим мыслям. Она гнала их от себя. Иногда в ее голове проносилась почти неосознанная мысль, что, если бы пришел Микаил, взял ее на руки и унес, куда угодно, она бы ничего не сказала ему, была бы молчаливой и послушной. Но это были только вспышки молнии, может быть, предвестники грозы, а в общем, Айшат была спокойна и весела.

«Пусть меня увезет Шапи, — думала она, — я буду ему хорошей женой».

Похищение состоялось.

Старый Магома посылал Шапи тысячу проклятий, выругал его всеми ругательствами, какие ему были известны, потом скушал в доме нового зятя тарелку жареной колбасы домашнего приготовления, выпил кувшин вина, еще раз выругал его, но уже значительно сократив ассортимент ругательств, и пошел домой спать.

Молодые жили тихо и, казалось, счастливо.

Но вскоре произошло событие, омрачившее безмятежную жизнь молодежи.

Приехала труппа во главе с Курбаном Эмировым, чтобы основать в Хунзахе постоянный театр.

Айшат шла по двору с вязанкой дров, когда вдруг увидела за невысо-

кой каменной оградой неторопливо идущего Микаила.

Дрова у нее выпали из рук, и она остановилась посреди двора, растерянная, ошеломленная.

Микаил шел прямо к ней. Она смотрела на него в упор, не в силах оторвать глаза, хотя понимала, что этого не следует делать, а он все шел и шел.

Когда ее ледяная рука легла в его большую, теплую ладонь и она услышала его первые слова, она уже больше не боролась с собой.

— Айшат, какая ты стала красивая, и все такая же маленькая, — говорил Микаил.

— У меня есть муж — Шапи, он здесь, ждет меня дома.

— Айшат, твой голос так же звенит, как весенний ручей. Неужели твое сердце еще покрыто льдом? Я все время вспоминал тебя.

— Не надо говорить об этом, Микаил, вы большой и разумный человек.

— Я сделал ужасную ошибку, Айшат.

— Я не знаю, что вы делали, Микаил, но, если эта ошибка непоправима, зачем делать себе и другому больно, вспоминая о ней.

— Нет, я так этого не оставлю, ты будешь...

— Не говорите за другого, Микаил.

— Айшат, ты не знаешь, я хотел прийти к тебе с новыми успехами, я думал...

— Думайте о своих успехах, Микаил, вы идете по большой дороге, Микаил, а я по узкой тропиночке, нам не по пути.

— Айшат, клянусь, ты заблуждаешься. Я имею к тебе поручение от нашего директора Курбана Эмирова. Мы приглашаем тебя в нашу труппу. Я ему много говорил о тебе, и сегодня ты должна познакомиться с нашими товарищами в Доме социалистической культуры.

— Хорошо, я приду, а теперь прощай, меня ждет муж.

Перед ужином Айшат пошла в Дом сокультуры, где должны были происходить спектакли аварского театра.

В небольшой комнате собрались акте-

ры, и рыжий Курбан размахивал своим огненным коком.

Ее встретили шумно. Микаил подвел ее к Курбану и сказал:

— Вот, Курбан, наша будущая премьерша. Если я ошибаюсь, назови меня последним ишаком.

— Почему последним? Вай, или ты думаешь, что всех ишаков уже обменяли на автомашины? Ну ладно, — обратился он к Айшат, — прочти нам что-нибудь и не бойся меня, я тебя не с'ем.

Айшат еще молчала несколько мгновений, потом тихо произнесла первые слова Джульеты.

Все сразу затихли. Курбан опустил свой рыжий кок и замер.

Айшат только раз подняла глаза и уловила радостный блеск в глазах Микаила. Сердце сжалось от страданий Джульеты, которая никогда не будет счастливой. Бедная Джульета, как ей хотелось жить, смотреть в эти блестящие глаза, петь, лежать на мягкой траве и плыть в бездонную синь.

Голос Айшат окреп, слова зазвенели: они то осыпали умолкших людей, то высоко взлетали и бились о потолок, то собирались тесной стаей, то разлетались по поднебесью и реяли в голубом просторе. Когда она кончила и замерла, спрятав свои маленькие руки под белый платок, ей вдруг стало холодно. Актеры еще несколько мгновений молчали.

Наконец, поднялся кок Курбана. Рыжий Курбан заметно волновался.

— Микаил, дай твою руку.

Он крепко и долго тряс руку Микаила.

— А тебя, маленькая, я зачисляю в нашу труппу и даю высший оклад — двести рублей в месяц с сегодняшнего дня, — обратился он к Айшат.

— Я с большой радостью слушаю ваши слова, но боюсь, что муж меня не пустит.

— Не беспокойся. Если у мужа твоего мало мозгов, я зарежу телянку и прибавлю одну порцию соус жардиньер, как в московском ресторане. Еще ни один человек, имеющий глаза, не видел, чтобы Курбан не добивался своей цели.

На другой день Курбан пригласил Шапи в новый, отведенный для театра дом. Его жена — актриса Рукият — приготовила хинкал из белой пшеничной муки, два кувшина с вином возвышались на столе, покрытом вышитой скатертью. Курбан посадил Шапи рядом с собой, вокруг чинно сели приглашенные актеры.

Рукият стояла скромно в углу, ожидая приказаний мужа.

Курбан поднял стакан:

— Я пью свой первый стакан за почтенного Шапи, и пусть кто-нибудь скажет, что в Хунзахе есть человек честнее и храбрее нашего Шапи, так кости этого наглеца станут такими же мягкими, как этот пшеничный хинкал. Так я говорю, товарищи?

Шумное одобрение и звон стаканов наполнили комнату.

Шапи понравился этот рыжий директор, который его так почтительно угощал. И другие актеры показались ему хорошими парнями. Немного только морщился он, глядя на Микаила. Ему не по душе был этот мягкий человек с вкрадчивыми манерами: слишком белый, как барин из большого города. И тогда он так долго говорил с Айшат... Конечно, в этом нет ничего особенного, он говорил с ней по делу, но она так смотрела на него.

«Понятно, она испугалась, такое необычайное предложение, и, вероятно, потому так странно смотрела на него. Но все-таки...».

Курбан усердно подливал Шапи я, когда тот изрядно захмелел, сказал ему:

— Скажи мне, друг мой Шапи, как бы ты назвал человека, который имеет хорошего коня и только держит его в сарае, на нем не ездит и не работает?

— Я назвал бы такого хозяина ишаком.

— Клянусь, ты обижаешь себя, Шапи, зачем такими обидными словами себя называешь?

— Но я, ведь, не имею коня. О чем ты говоришь?

— Ты не имеешь коня, но ты имеешь жену, которая дороже, чем целый табун

арабских коней. Твоя жена будет знаменитой на весь Дагестан, и я только для начала назначаю ей двести рублей в месяц. Подумай сам, Шапи.

— Двести рублей — хорошие деньги. Но где это видано, чтобы жена играла в театре?

— Вот моя жена играет.

— Хорошо. Я уже думал об этом, Курбан. Теперь скажи: жена будет, ты говоришь, знаменитой, а я, значит, буду заниматься дома женским делом, чтобы все надо мной смеялись?

— Пусть подавится костью тот, кто будет смеяться над моим другом Шапи.

— У меня есть одна мысль. Если хочешь, чтоб жена моя играла, то возьми меня тоже, я буду играть не хуже, чем она, и притом: двести рублей, конечно, хорошие деньги, а четыреста — это еще лучшие деньги.

— Вай, — крикнул Курбан. — Кто сказал, что у Курбана есть голова? Зарежьте скорее быка и прибавьте мне порцию мозгов, соус пикан, тогда я только сравняюсь в уме с моим лучшим другом Шапи.

— Шапи, как ты будешь играть, если тебя не учили? — сказал Микаил.

— А ее учили в Москве, ты скажешь? Я умею бить медведя с первой пули, это тебе не хабары говорить, одевшись в разное платье. И четыреста рублей — это неплохие деньги. Иначе я бы не стал говорить.

— Ну, друзья, что делать? Для такого купца, как мой друг Шапи, ничего не жалко. Ну, по рукам. Триста рублей — хорошие деньги, — сказал Курбан.

— Я же сказал, что четыреста рублей хорошие деньги.

— Значит, по-твоему, триста рублей советских денег — это какие-то неважные бумажки? Так может сказать только кулак, а не мой лучший друг Шапи.

— Я этого не говорю. Но если ты мой друг, так я могу сказать последнее слово в твоём доме, что триста пятьдесят рублей — тоже хорошие деньги.

— Ударим по рукам.

Так состоялось вступление в труппу Айшат и Шапи.

Курбан долго горевал о ста пятиде-

сяти рублях, которые казались ему потерянными, и тогда ему впервые зашла в голову мысль, что надо расстроить этот брак. Без Айшат он уже не представлял театра, а Шапи — упрям, и с ним еще будет немало неприятных сюрпризов.

Зато Айшат была счастлива. Она не надеялась, что Шапи так скоро согласится, и в этот вечер была с ним необычайно нежна и ласкова.

Айшат шла в театр, как в новый, еще непонятный, но увлекательный мир. Все здесь ей казалось прекрасным. И она не замечала грязи в помещении, холода, дыр и заплат на костюмах, убогих декораций.

Публика ее полюбила, и слава о ней вскоре разнеслась по окрестным аулам. Постоянные упреки мужа и отца, что она забросила хозяйство, теперь уже не трогали ее.

Небольшой перерыв в работе, — всего один месяц, — когда родилась Хабибат, измучил ее. Она даже не почувствовала сразу радости материнства, и лишь через несколько месяцев горячо полюбила малютку и подолгу пела ей протяжные песни.

Только случайные встречи наедине с Микаилом смущали ее, и на короткое время она теряла уверенность в себе. Но она избегала их, и Шапи удивлялся порой стремительной нежности и бурным ласкам жены, обычно такой спокойной и сдержанной.

Так шли тихие дни.

Когда Микаил прочел перевод «Отелло», Айшат и словом не обмолвилась во время обсуждения, но потом не спала всю ночь. На другой день она выпросила тетрадь у Микаила и две недели старательно переписывала пьесу.

Целая буря противоречивых чувств охватила ее. Она неустанно думала о Дездемоне, которая пленила и одновременно чем-то возмутила ее. Прошел месяц, и она уже не могла себя отличить от белой венецианской девушки. Она разговаривала с ней, как со своей душой и сердцем. Ее восхищала бесконечная сила любви, и возмущала тихая безропотность, с какой невинно оскорбленная Дездемона переносила обиды му-

жа. «Как бы я сильно ни любила, но не позволила б так помыкать мною».

Ей хотелось сыграть Дездемону, как сильную и непокорную женщину, которая не потерпит недоверия. «Без доверия нет любви, — думала она. — Если б Дездемона с большей решительностью отвергла обвинения, смелее боролась с подозрениями Отелло, она могла бы победить злодея Яго и рассеять его козни».

Айшат казалось, что с тех пор, как она узнала Дездемону, прошло несколько лет: так много она поняла за это время, так сильно выросла. Она стала еще более молчаливой и сдержанной, но в голосе ее появились жесткие нотки, и Шапи не раз умолкал, глядя на ее потемневшие глаза.

И вот теперь возникает неожиданное препятствие...

Айшат ставит на стол блюдо с хинкалом. И не только Михаил замечает мелкую дрожь ее пальцев.

Дверь раскрывалась. Все думали, что вернулся Шапи, но в комнату, хряхтя и посапывая, вошел старый Магома. Он в нерешительности остановился у порога.

— Здесь столько гостей, я, верно, не во-время пришел? Ну, в другой раз найду к тебе, дочка.

— Садись, отец, ты нам не мешаешь, — сказала Айшат. — И хинкал как-раз поспел.

— Садись, садись, старина, — Курбан похлопал по рукаву его шубы. — Приятную новость тебе сообщим. Дочку твою отпускаем, пусть хозяйством занимается, на радость тебе и мужу.

Вошел Шапи с большой охапкой дров в руках. Тонкие поленья рассыпались по полу. Он слышал последние слова Курбана, но ничего не сказал, только шумно вздохнул.

— Кушайте хинкал, прошу вас, — еле слышно, одними губами произнесла Айшат, не поднимая головы.

Вернулся Ахмет-Нами. Он поставил чайник с вином на стол и с недоумением оглянулся.

— Друзья, не на похороны ли вы собрались?

— Ты прав, Ахмет-Нами, — со вздохом произнес Курбан, — хороним знаменитую артистку Айшат.

— Ты шутишь, как гробовщик, Курбан. Такие шутки я люблю на сцене, а в жизни предпочитаю что-нибудь веселее.

— Напрасно ты думаешь, что я шушу. Мне не до шуток, — ответил Курбан, отправляя в рот большой хинкал, с которого обильно стекал душистый чесночный соус.

— Курбан, что ты задумал? — тревожно глядя на мужа, спросила Рукият. — Без Айшат ты можешь закрыть твой театр.

— А ты на что здесь? Я прикажу тебе, и ты сыграешь не только Дездемону, но и самого шайтана в юбке. Эх, бабы, бабы, на что вы годитесь? Языком хлопать, как плетью, и вздыхать на постели.

— Курбан, — из угла послышался голос Михаила, — я уважаю твою жену Рукият, но она не может сыграть Дездемону.

— Конечно, не могу, он смеется надо мной, — сказала Рукият.

— Какие умники, а вы думаете, я этого не знаю. Ну, ладно. Выпьем стакан вина за домашнюю хозяйку Айшат.

Курбан потянулся со своим стаканом к Айшат:

— Будь здорова, еще дюжину детей роди.

Айшат подняла руку, платок от резкого движения упал на пол, и тогда все увидели ее бледное, освещенное огнем лицо и ставшие необычайно большими глаза. В следующее мгновение она ударила рукой по стакану с вином, который Курбан держал в вытянутой руке. Вино расплескалось, облив сидевших рядом, и стакан с глухим стуком упал на ковер.

— Ты не выпьешь этот стакан вина, Курбан. Налей себе другой, — сказала она. Минуту все были в замешательстве. Шапи поднял стакан, вытер его полотенцем, налил вино и молча поднес его Курбану.

Рыжий кок директора вознесся вверх, его глаза уже смеялись, и он крикнул:

— Клянусь, это самый интересный

тост в моей жизни. Я вижу, что мне не придется пить за домашнюю хозяйку Айшат, и радуюсь этому. Теперь мы ждем слова от нашего друга Шапи

Курбан налил вино и поднес его Шапи.

— Курбан, — медленно начал Шапи, — если ты хочешь, чтоб я и моя жена ушли из театра, то мы не будем тебя просить, как нищие, чтобы ты нас оставил. Так я говорю, Айшат?

— Да, ты так говоришь, — прозвенели неожиданно нежные слова.

— Я желаю, чтоб они ушли из театра? Вы слышите, друзья? — Курбан с притворной беспомощностью пожал плечами. — Ты скажешь еще, Шапи, что я желаю съест свою собственную печенку, соус хинкал, чтоб родной запах утешил мои предсмертные муки.

— Значит, ты не хочешь, чтоб мы ушли из театра? Тогда я скажу такое слово: пусть Айшат играет Дездемону, а я совсем не буду играть в этом спектакле. Я буду суфлером. Так я говорю, Айшат?

— Да, ты так говоришь, — опять прозвенели слова Айшат, и у Шапи стало спокойно на душе, словно он быстро ехал по прямой и ровной дороге и впереди звенели колокольчики, манило в даль, в горы.

«Чорт с ним, с этим долговязым Михаилом, — думал Шапи, — пусть он играет Отелло, но я не хочу унижаться, играть какую-то дурацкую роль. Из-за этого не стоит уходить из театра, просто глупо, когда твоя собственная жена — знаменитая актриса, и триста пятьдесят рублей в месяц не найдешь на дороге, сколько ни ищи».

Айшат снова оживилась. Румянец заливал ее щеки и маленькие уши. Она забыла надеть платок, и Михаил мог ненасытно любоваться ее девичьим лицом, лучистыми глазами и высоким лбом.

Она чувствовала его жадные взгляды, еще больше краснела от волнения и досады и беззвучно шептала:

— Какой он хороший — Шапи, ему не легко было пожертвовать для меня, значит, он любит меня. И я должна его всегда любить, должна, должна!..

— Ну, друзья, — крикнул Курбан, — примирение состоялось, теперь мы можем, наконец, приступить к производственному совещанию.

— Жаль, что Шапи так быстро уступил, — со вздохом сказал старый Магома, вытирая жирные пальцы о рукава, — я говорил, что толку из вашей жизни не будет. Правда, деньги хорошие, но какое это занятие?

— Не горюй, папаша, старше станешь, поймешь. Богатое хозяйство у твоего зятя.

— Ты известный насмешник. Ну, ладно, живите, пусть вас аллах рассудит.

Старик ушел.

— Раньше, чем взяться за распределение ролей, нам надо потолковать о сокращениях, — сказал Курбан. — Пьеса очень длинная, мы не сможем в один вечер ее поставить. У меня есть следующие предложения.

Курбан подробно изложил список сокращений.

Первый акт не вызвал споров. Но во втором — страсти разгорелись. Когда Курбан предложил выпустить сцену ожидания Отелло на Кипре, ему не дали договорить.

— Ни за что не соглашусь, — вскопчил Михаил. — В этой сцене прекрасно нарисован характер Яго, как он презрительно относится к женщинам, как он ненавидит людей.

— И для Дездемоны это важная сцена, — сказала Айшат. — Она волнуется, боясь за Отелло, но вместе с тем гордо и спокойно слушает злые речи Яго, называет его гадким клеветником, показывая ему свое презрение. Только смелая женщина может смотреть в глаза опасности с улыбкой.

— А какие чудесные строки Яго:

Когда красotka не горда душой,
Сдержать язык умеет пред толпой,
В глаза богатством пылн не пускает,
Соблазн греха легко преодолает,
Когда ж за зло ей хочется воздать,
То свой задор умеет удержать.

Тут особенно виден острый ум и злой язык Яго. Нет, таких строк нельзя лишиться, — горячился Михаил.

— Довольно, защитники. Ведь Яго играю я, и так не держусь за каждое слово, как вы.

— Ты играешь Яго? — удивилась Рукият.

— А кто ж? Есть ли среди вас еще такой злодей, как Курбан? А если я безропотно ем твои черствые чуреки и не сыграл с тобой печальный конец, то не думай, что я — ангел, я просто ночью забываю, чем ты меня кормишь днем. Ну, ладно, согласен оставить эту сцену.

Айшат попросила сократить первую сцену третьего действия.

— Можно начать прямо с третьей сцены. Суть ведь только в том, что Дездемона просит Отелло простить Кассио, а это все хорошо дано в третьей сцене. И потом этот шут меня только раздражает.

— Напрасно, — сказал Микаил, — ты должна понимать противоречия.

— Я понимаю. Может быть, во время Шекспира шут был уместен, а мне он кажется паразитом.

— Зритель должен посмеяться, — сказал Курбан. — Что б вы, к примеру, делали без меня? Протухли бы, как капуста в кадке моей Рукият.

— Мне от твоего яселья плакать хочется, — ответила Рукият.

— Дура, насмеявшись вдоволь, и поплакать сладко. Так в жизни, так и в театре, а ты не беспокойся, Айшат, на твой век трагедий хватит. Шапи об этом позаботится.

— Я вижу, ты торгуешь судьбой моей жены. Но сегодня не базарный день, — сумрачно проговорил Шапи.

— Правильно, Шапи. Оставив торговое дело, решаем: эту сцену снять.

По решительному требованию Айшат сняли и разговор Дездемоны с шутом в четвертой сцене третьего акта.

— Мне не до него, — оправдывалась Айшат, — подумайте, через минуту такая сцена с платком, а тут я с ним буду хабары разводить.

Больше споров не было. Все согласились сократить первую картину пятого действия.

— Ее в Москве тоже сокращают, — сказал Курбан.

Перешли к распределению ролей. Это отняло всего несколько минут. Ахмет-Нами был несказанно рад, что ему теперь досталась роль Кассио.

Уже собирались расходиться, когда в комнату вошел телеграфист.

— Я сам решил занести вам приятную телеграмму. Уже поздно и послать не с кем было, а я как-раз домой с дежурства возвращаюсь: дай, думаю, занесу людям приятную весть.

— Давай, давай, — закричал Курбан. — Вот слушайте: «После гастролей Ботлихе разрешаем участвующим спектакле Отелло приехать на месяц Махач-Калу для работы Даггостеатре. Управление по делам искусств».

Все шумно приветствовали телеграфиста, который глотал хинкал, запивая его мутным вином. Заплакала Хабибат.

— Ну вот, разбудили ребенка, — сердился Курбан. — Удивительное дело, я уже два часа кричу, как резаный, а она только сейчас догадалась, что от такого голоса даже мертвые просыпаются. Ох, дети, дети, какие они умные! Ну, скорей, айда отсюда!

Наклоняя головы, чтоб не удариться, гости гурьбой вышли из комнаты. Хабибат заплакала сильнее. Айшат взяла ее на руки, и вскоре раздалось громкое и довольное причмокивание.

2

Луна поднялась выше. Ее окружил огромный, в полнеба, светлый диск, будто сотканный из легкого тумана. Побледневшие звезды мигали тускло и устало. Земля была мягкая и светлая.

— Должно быть, выпадет снег, — сказала Рукият, глядя на небо.

— Ну, что ты каркаешь. Нам в Ботлих итти через несколько дней, так ей снег понадобился.

— Я не виновата, видишь, что вокруг луны делается.

На углу актеры остановились, условившись встретиться в десять часов утра на репетиции. Курбан, Микаил и Ахмет-Нами отправились вместе, они жили в одном дворе.

Рукият было неудобно итти с мужчинами по аулу. Она ускорила шаг и вско-

ре была уже далеко — друзья шли медленно, порой останавливались, чтоб скрутить цыгарку, закурить.

На широкой площади, перед зданием райкома, они уселись на бревна.

Площадь со всех сторон обступили горы, они прочерчивали небо острым, извилистым гребнем. Кое-где облака легли на хребет, как небрежно брошенные шубы. Даль дымилась от лунного сияния и тумана. Справа мигали огоньки крепости. И была такая широкая и большая тишина, без единого шороха, что страшно произнести слово — не разбудить бы крепко уснувший ночной мир.

Так мог бы. подумать путник, очарованный этой неслышной тишиной и неподвижностью. Но Курбан здесь вырос, и, кроме того, он был из той породы людей, которые ночью не замечают спящих и тишины, а сразу вступают в завтрашний день мыслями, желаниями и волей, как будто взошло солнце и суетятся люди.

Курбан думал обо всем сразу: о поездке на гастроли в Ботлих, о Махач-Кале, об ассигнованиях на строительство театра, о том, что надо хоть под землей раздобыть хорошего комика, достать искусственного шелка метров сто, но больше всего беспокоил Курбана Шапи. Не успела еще окончиться размолвка из-за роли Отелло, как на очереди уже новая, и так — постоянно. Нет! Решительно надо избавиться от этого быка, а главное — одновременно сохранить для театра Айшат.

— О чем ты так задумался, Курбан? — прервал его размышления Микаил.

— Немножко арифметикой занимаемся, — ответил Курбан. — Клянусь, что этот Шапи уже думает, как он ходит по Махач-Кале, и убежден, что именно его там нехватает. А стоимость проезда, гостиницы и кушать-мушать вылетает из второй дырки моего кармана.

— Что значит — из второй? — полюбопытствовал Ахмет-Нами.

— Это значит, что из первой дырки уже вылетает тысяча восемьсот рублей в год этому же самому Шапи, а так как у него глотка широкая, он никак

не подавится. Скучное занятие арифметика, дети мои, можете радоваться, что вы в ней не так сильны, как ваш директор, поневоле играющий роль бухгалтера, счетовода и кассира.

— Да, — задумчиво произнес Микаил, — конечно, одну Айшат он не отпустит.

— А ты, вместо того, чтоб делать столь умные выводы, лучше бы занялся делом.

— При чем тут я?

— Ну, если бы я был на твоём месте, то пусть я буду последним водовозом, когда б красотка не согрела мою постель. Микаил, если ты будешь и в жизни играть благородного мавра, то я не плачу пятака за твою скучную судьбу.

— Ты ошибаешься, Курбан, Айшат любит своего мужа.

— Эх, Микаил, я старше, я больше твоего понимаю в этой не слишком веселой комедии, которая называется жизнью. Поверь мне, все наши женщины любят своих мужей. Но, если ты ей скажешь, что она тебя любит, она поверит и повинуется. У женщины в сердце есть только то, что вписывают туда мужчины. Сами они еще малограмотны и нерассудительны.

— Айшат уже ушла вперед, — сказал Микаил. — И не только она. Ты твердишь слова из устаревшей книги. Наши женщины — летчики, инженеры, партизанские вдовы и комсомолки — сами пишут свою жизнь. Их руки и сердца напоминают хунзахский камень, а не пчелиный воск. Не легко отведать мед из этих каменных сот.

— А я уверен, что она тебя любит. Где же ты видел, чтоб горянка сама сказала такую вещь? Она будет себя до самой смерти уговаривать, что любит Шапи, если ты не сделаешь свое дело.

— Нехорошо ты говоришь, Курбан, — сказал Ахмет-Нами. — Если жены начнут любить других, мы что будем делать? Вдруг твоя Рукият...

— Что ты сравнил? А если ты хочешь сказать, что Рукият может найти еще одного директора, то, право, не стоит трудиться и прибавлять тебе хоть

три порции мозгов с каким угодно соусом, ты умрешь ишаком без всякого соуса.

— Так ты думаешь, что Айшат не любит... — начал Микаил.

— Я уже все обдумал, — прервал его Курбан, вставая. — Теперь ты возьми за ум. Когда молодые люди в твоём возрасте думают, из них кое-что получается...

Они молча зашагали к дому. Курбан поднялся к себе, Ахмет-Нами тоже юркнул в соседнюю дверь. Микаил ещё постоял немного на веранде, посмотрел на белое зарево ночного неба и поднялся в свою комнату.

Нащупав в темноте спички, он зажег жестяную лампочку, разделся и раскрыл постель. Простыня и подушки ему показались холоднее льда. Маленькая печурка была только в нижнем этаже, где варили пищу и спали старики. Верхние комнаты не отапливались. Микаил, забравшись с головой под одеяло, порывисто дышал, чтоб скорей согреть ледяную постель. От холода даже трудно было думать. И только, когда его zaczęло обволакивать тепло, медленно поползли обрывки мыслей, ещё смутные и неясные, но постепенно они принимали все более определенные и выразительные формы.

«Неужели это возможно?.. Айшат ни одним движением, ни намеком не дала мне понять, что она может уйти от Шапи. Конечно, она знает, как я люблю ее. Я даже думаю, что она могла бы быть моей женой, если б я так глупо не опоздал. Но все же... этот Курбан умен, как сам шайтан. И к его словам надо прислушаться. Кроме того, у него нет ко мне вражды, наоборот, я имел много случаев убедиться в его дружеском расположении. И вообще, он хороший товарищ, любит театр, актеров, работает, как вол. А вдруг он прав, и я пройду мимо своего счастья...».

Микаилу стало жарко. Он высунул голову из-под одеяла, глотнул ледяной воздух и закашлялся.

Серебряные отблески белого звездного зарева плыли в темноте, и он увидел в светящейся тьме неясный облик Айшат...

Айшат тоже не спала. Она накормила Хабибат и убаюкивала ее. Девочка долго не засыпала. Айшат запела тихим голосом песенку про иву. С тех пор, как она в первый раз прочла «Отелло», она запомнила и полюбила эту грустную песенку. Она пела ее на мотив старой аварской любовной песни, которую слышала еще в детстве.

В тени густолиственных, темных ветвей
Бедняжка под ивой сидела
И, грустно склонившись головкой своей,
Про иву зеленую пела.
И, вторя той песне, журчащей волной
Ручей пробивался холодный,
И слезы бедняжки горячей струей
На камень катились бесплодный.

Тихий ручеек песни убаюкал Хабибат. Послышалось ее спокойное и ровное дыхание. Айшат положила ее в постель и задумалась. Ей стало грустно и показалось, что это не она, а девочка Барбара только-что пела эту печальную песню. И вспомнились слова ее реплики:

У матери моей

Жила, я помню, девочка Барбара.
Бедняжка полюбила горячо,
Но тот, кому ее досталось сердце,
Ее забыл! С тех пор с тоской в душе
Она все пела песенку про иву.

«Забыл... не приезжал...».

«О чем это я? Нет, нет... какие-то глупости лезут в голову».

Скрипнула дверь, и в комнату вошел Шапи. Он сел на корточки и бросил в печку несколько сухих поленьев. Огонь затрепал сильнее, и загудела труба.

— На целый месяц ехать в город. А хозяйство на кого оставить? Не понимаю, чему они все обрадовались... И ты тоже.

Шапи говорил медленно, ни к кому не обращаясь. Айшат молчала.

— Вот у кого нет хозяйства, тот и должен быть актером, как эти бродячие фокусники из Цовкры.

— Тебя никто не заставлял, Шапи.

— Как это меня не заставляли? — Шапи поднялся и подошел к ней ближе. — Не прикидывайся овечкой. Ты бы и прижиматься стала к мужчинам, а я должен из-за тебя людей убивать, чтоб смыть позор.

— Я не виновата перед тобой, Шапи. А тебе лучше хозяйством заниматься. Вот Микаил — другое дело. У него хозяйства нет, он — белоручка.

— Я вижу, его белые руки тебе и ночью покоя не дают?

— Что ты?.. Я просто сказала, что он отвык от работы по хозяйству. Одинокий. У него и печки нет, мерзнет, как волк в лесу.

Шапи подошел ближе.

— А ты его жалеешь. Ну, что же, пойди, согрей его, он не откажется. Смотри, пока не поздно. Мои руки еще не разучились держать кинжал.

Айшат взглянула на мужа и сейчас же опустила глаза. Ее испугало его перекосенное гневом лицо, трясущийся подбородок.

— Шапи, прошу тебя, выбрось из головы эти глупости. Ты придумал разные страхи и напрасно мучаешь себя и меня.

— Конечно, я много старше тебя, а он — молодой. У меня нет румянца и мягких рук.

— Ну, довольно, прошу тебя.

Айшат погладила его плечо и посмотрела на него с такой умоляющей улыбкой, что Шапи поневоле умолк, и приготовленные злые слова застряли в горле. Но гнев и неутоленная жажда отомстить кому-то неведомому не покидали его.

— А что, если мы не поедем? — сказал он.

Айшат испуганно вскинула голову:

— Как же я не поеду, Шапи? Упустить такой случай — поучиться у известных актеров.

— Но ты не можешь поехать без меня. Меня весь аул засмеет.

— Почему ты мне не веришь, Шапи?

— Я знаю, ты рада очутиться на свободе, тебе все равно, что надо мной будут смеяться.

Айшат встала, прошла в угол, развернула пестрое ватное одеяло и бросила его на постель.

— Хорошо, я не поеду, — сказала она, сердито расправляя одеяло, — хорошо. Пусть я сыграю хуже всех, я не поеду.

Шапи не видел ее лица и сказал добродушно:

— Ничего, не бойся. Ты и так сыграешь хорошо. Сам Курбан говорит, что другой такой актрисы, как ты, нет.

Шапи, кряхтя, снял сапоги, потушил свет и лег.

Айшат неслышно легла около него. Было уже поздно. Обычно они ложились спать гораздо раньше, и Шапи вскоре захрапел.

Айшат очень хотелось плакать, она чувствовала, как надвигавшиеся слезы щекотали ее длинные ресницы. Обида тяжелым камнем легла на сердце. И досада на себя. Она так не хотела быть слабой и покорной. И вот, опять уступила.

Она сжалась в комочек. Шапи храпел и присвистывал. Ей не хотелось прикасаться к этому человеку, который мешает ей жить.

Но она тут же спохватилась. Как, разве только мешает? Разве он не любит ее? Он не хочет ее одну оставить в городе, потому что она для него дорога и он боится ее потерять. Он не смотрит на других женщин. А она?.. Когда приехал Микаил, ей так хотелось, чтоб он положил свои длинные белые пальцы на ее волосы... и она смотрела на него... нехорошо смотрела.

Ей стало жарко и трудно дышать.

«Что мне делать? Я люблю Шапи, он хороший, честный и прямой человек, каких мало. Зачем он мешает мне? Я хочу быть актрисой и больше ничем. Как все это распутать? Как правильно поступить?».

Мысли ее все больше путались. Ей казалось, что Микаил наклонился над ней так близко, что его дыхание щекочет ее ухо, он говорит ей ужасные слова, а вот Шапи замахнулся тяжелой рукой. Она умоляет его не бить ее, она ни в чем не виновна, она не звала Микаила. Ах, нет, ведь это не Шапи, это кричит Отелло... Какие же реплики сейчас? Ее реплика... Вспомнила:

Нет, нет... я не развратна!

Я христианки именем клянусь,

Что я чиста! Когда не назовешь

Развратом ты — хранить себя для мужа

От тайных уз и незаконных ласк, —

То я чиста!

3

Солнце ушло далеко. Оно опускалось на мягкую серую паутину Тлоха. Тонкие оголенные деревья сжались от февральского холода, и последние лучи золотили еле заметную морозную вязь на окоченевших ветвях. Было тихо и неподвижно, только медленно и неслышно опускался заиндевший от мороза оранжевый шар солнца.

С последнего крутого поворота дороги люди спускались к Тлоху. Аул казался то совсем близким, то вновь удалялся. Дорога жалась к холодному камню нависших гор, вновь скрывавших от утомленных взоров путников, близкий аул.

Их было человек двадцать, в большинстве — мужчины. На спинах покачивались тяжелые, туго набитые хурджины, мешки и широкие узлы. Только у одной женщины, несшей на руках ребенка, на спине был один сравнительно небольшой хурджин.

Все были в тяжелых шубах с длинными рукавами, почти до земли, или в бурках. Итти было тяжело, густой пар от дыхания клубился перед ними. Встречные с удивлением оглядывали непривычный караван. Иные, лениво идущие, с трубкой в зубах, за маленькими осликами, нагруженными тяжелой поклажей, с усмешкой оглядывали путников и говорили им вслед:

— Столько народу — и даже одного ишака не имеют.

На что прохожий немедленно получал в ответ:

— Целую неделю искали ишака, никак найти не могли, тебя первого встретили, будь любезен, наймись к нам.

Или:

— Что делать, ишаков не стало, все умные стали, как ты.

Наконец, показался Тлох. Внизу уже сгустились синие сумерки. У сторожки консервного завода, где было тихо и пустынно, путники остановились и попросили у сторожа ведро воды. Выйдя затем на поляну за садами, они сбросили на землю поклажу, расправили плечи и принялись собирать валежник для костра.

Пока мужчины разводили костер, женщины развязывали узлы, расстилали ковры и одеяла, озабоченно смотрели на помятые шелковые платья, парики, проверяли, на месте ли коробки грима, не погнулись ли банки с красками, — достанется тогда от Микаила.

Микаил не пошел собирать хворост. Он не мог подняться от усталости. Кроме своего багажа и большого полотнища декорации, он нес еще узел с платьями Айшат. Когда отправлялись, Шапи и не подумал взять ее узел. Она стояла с беспомощной улыбкой, крепко прижав к груди закутанную Хабибат, не смея попросить о помощи. Тогда ее узел взял Микаил и, ни слова не говоря, пошел вперед большими шагами. Все это сразу заметили, но ничего не сказали. Молчал и Шапи, но это, видимо, крепко его задело. Он всю дорогу не проронил ни слова, не отвечал заговаривавшей с ним Айшат и делал вид, что не замечает ее.

Айшат больше к нему не обращалась. Она очень боялась ссоры на людях. Тогда начнут говорить о том, как они плохо живут, а ей хотелось всех убедить в противоположном.

С Микаилом она тоже не сказала за всю дорогу ни слова, и только сейчас, когда он тяжело опустился на землю, посмотрела на него нежно и робко, как провинившаяся девочка.

Микаил уловил этот взгляд, такой пугливый и неожиданный, хотел что-то сказать, но не нашел нужных слов, только почувствовал еще более сильное утомление.

— Ты очень устал, Микаил? Весной легче итти, правда?

— Да, я устал. Не знаю, почему. Никогда так сильно не уставал.

— Ты нес тяжелую кладь.

— Нет, нет, — это пустое дело. Меня утомляют мои мысли.

— Ты все думаешь о роли Отелло? — испуганно прервала его Айшат. — Это трудная роль.

— Да, ты права. Ужасно, когда вязчивая мысль овладеет всем существом человека, она отнимает силу, выдержку, покой, толкает его на безумные поступки.

— Ты хочешь сыграть Отелло, не как ослепленного ревнивца, а как человека, которого пленила навязчивая мысль? Это — интересно.

— Да, Айшат, когда я буду играть Отелло, я хочу не ревновать Дездемону, а любить ее, понимаешь, любить безумно, и только на один небольшой миг поддаться этой страшной ревности, а потом она улетучится, как дым, и я опять буду только любить прелестную Дездемону. Для меня самое важное — показать в последней картине, что я навсегда излечился от этого безумия. Я хочу сыграть влюбленного безумца, а не ревнивого мужа. Я не умею ревновать, Айшат, я умею любить.

— Как жаль, что Дездемона умрет, и ты не сумеешь ей этого доказать.

— А если б она не умерла?

— У нее нехватит сил для борьбы и самозащиты.

— Ты уверена в этом, Айшат? Дездемона не слабая женщина, ты сама об этом говорила.

— Если б Отелло был таким, как ты его думаешь играть, любовь победила бы безумие, и они были бы счастливы... Ах, как они были бы счастливы, Микаил...

— Любовь победит ревность, Айшат. Я докажу это.

— Для этого надо убить ревнивого Отелло. Так сыграть, чтоб все зрители увидели торжествующую любовь.

— Я убью его, Айшат, ты увидишь.

— Жаль, что Отелло не был похож на тебя. Не было б тогда на свете женщины, счастливей Дездемоны.

Микаил уже забыл об усталости. Он вскочил, ходил взад и вперед большими шагами, не замечая холода.

Издали послышались голоса мужчин. Они медленно плелись, нагруженные вянками хвороста.

Курбан и Шапи шли впереди, оживленно разговаривая. Когда мужчины удалились от привала, Курбан, как бы невзначай, сказал, ни к кому не обращаясь:

— Когда на ишака наложишь кладь вдвое тяжелее обычного, он должен покориться. Что ему делать? Он жалкий раб нерадивого хозяина и не может про-

тестовать. Но когда человек сам уподобляется ишаку и добровольно тащит двойную кладь, и притом не свою, а чужую, то возникает вопрос: кто же здесь ишак и кто хозяин? Что вы скажете, друзья?

— Может быть, это вор, который хочет присвоить себе эту кладь, оставив в дураках хозяина? — неуверенно спросил Ахмет-Нами. — Тогда, конечно, ишаком окажется хозяин, доверивший свою кладь вору.

— Ха-ха-ха, — залился Курбан, — клянусь, ты не так глуп, Ахмет, как это кажется с первого раза. Ты попал прямо в точку. Хозяин идет среди бела дня с легким хурджином на спине и не догадывается, что его добро уже похищено.

— Ты на кого намекаешь? — спросил Раджаб, комик и простак, которого Курбан давно хотел заменить. — Если ты думаешь о Микаиле, то напрасно. Он честнейший парень и по доброй своей воле нес вещи Айшат, Шапи может спокойно спать. Микаил и на иголку с ниткой не польстится.

Курбан еще сильнее захохотал. Ему даже стало жарко. Он сдвинул на затылок свою папаху, и рыжий кок, словно обрадовавшись неожиданной свободе, заиграл на белой мерлушке.

— А я разве хотел потревожить моего друга Шапи? Пусть он спокойно спит. Это другим не спится. Но, с другой стороны, не мешает помнить, что людей, крепко спящих, легче всего обворовать. Именно этому меня всегда учил мой покойный отец.

— К чему ты затеял этот разговор, Курбан? — сердито спросил Шапи. — Я не понимаю, ты шутишь или смеешься надо мной, — здесь люди слушают и, бог знает, что могут подумать.

— Разве я не могу посмеяться, чтоб теплее стало? — сказал Курбан, ускоряя шаг, чтоб опередить товарищей.

— Но твой смех касается меня, — наступал Шапи.

Курбан оглянулся. Идущие сзади заметно отстали. Тогда он наклонил голову ближе к Шапи и заговорил мягким шопотом, тоном соблезнувшего друга.

— Слушай, Шапи, мы с тобой люди не молодые, должны видеть дальше других. Я не хотел бы, чтоб мой лучший друг Шапи оказался в положении того муллы, о котором я тебе сейчас расскажу:

В Согратле жил один мулла. Был он человек ученый и проводил свои дни в умной беседе со многими учеными арабистами, которыми Согратль всегда славился. Все у него шло хорошо, у этого муллы. Хозяйство богатое, люди его уважали, ученость и мудрость его множилась не по дням, а по часам. И жена у него была красивая и умная. Жили они душа в душу. Только одно беспокоило у муллы. Его родственник, у которого умерли родители, приехал к нему на жительство. Молодой парень, высокий, красивый, только непутевый. Пил вино, таскался с разными бандитами. Одним словом, неприятностей много терпел от него мулла. Что делать? Посоветовался мулла со своей красивой и умной женой. А та ему говорит: «Ты не знаешь, как надо к такому молодому человеку подойти. Доверь мне это дело, я им займусь, этим лодырем». И что ты скажешь? Через месяц завязтого хулигана нельзя было узнать. Он стал скромным, больше сидел дома, читал книги. Не нарадуется мулла. А дело было так. Как только мулла уходил с утра в мечеть, этот молодой родственник сейчас же шмыгал в постель к его красивой и умной жене. Вечером мулла, утомленный молитвами, учеными беседами с обильным угощением, приходил домой и вскоре засыпал. Он спал крепко, а жена его уходила к родственнику, и, если мулла просыпался, она ему отвечала из соседней комнаты, что читает книгу и сейчас пойдет спать. Прислужница муллы, хотя и получала щедрое вознаграждение от своей госпожи за то, чтоб держала язык за зубами, конечно, тоже была живым человеком. А есть ли на свете женщина, которая может держать язык за зубами, озолоти ты ее хоть от головы до ног? Нет высшего наслаждения для женщины, чем разболтать чужую тайну, особенно тайну своей близкой подруги или хозяйки. Все стало известно. И вот

однажды ученые арабисты позвали муллу и решили ему открыть глаза. Им стало обидно за своего друга. Он невозмутимо выслушал их рассказ и сказал: «Все это ложь и клевета завистников. Этого не было и быть не может. Если б аллах увидел подобный грех, он просветил бы меня, и я тоже увидел бы это. Не слушайте клеветников». И ученые арабисты удивились мудрости муллы. Там они продолжали жить. Жена ему клялась в верности, и мулла был доволен своей жизнью. Вот, дорогой Шапи, я не хочу, чтобы ты был похож на этого муллу. Если ты будешь ждать, чтоб тебя просветил аллах, — это твое дело. Но только слепой не видит, как Айшат и Микаил смотрят друг на друга.

Они как-раз подходили к месту привала.

— Вот смотри, как они беседуют. Жаль, что темно и мы не можем рассмотреть их лица. Он взволнован, ходит взад и вперед, она вся повернулась к нему. Конечно, Шапи, ревновать — глупо, мы же с тобой читали «Отелло» и знаем, что это — нехорошо, но смотреть надо. Без ревности, но с умом.

Курбан и Шапи сбросили хворост на землю. Айшат не заметила их приближения и вздрогнула. Шапи подошел к ней совсем близко, и хотя уже стемнело, но он хорошо увидел ее горящие щеки и легкую дрожь.

— Ты что дрожишь? — спросил он глухим голосом.

— Холодно.

— Оделась бы теплее. Дай спички.

Он вырвал спички из ее пальцев и почувствовал их дрожь, но ничего не сказал и принялся разжигать костер.

Женщины согрели чай, пожарили колбасу домашнего приготовления, и все с аппетитом принялись ее уничтожать. За ужином говорили вяло и неохотно. Усталость взяла свое, и вскоре легли спать, укрывшись всем, чем можно было.

Шапи ерзал под шубой и не мог заснуть. Лежавшая рядом Айшат поняла, что произошло неладное. Он всегда сразу засыпал, и его бессонница не предвещала ничего хорошего. Ей тоже не спалось, она смотрела на далекие звезды и тревожно прислушивалась к каждому

звуку, точно ждала чего-то, но кругом была невозмутимая тишина, и слышно было только дыхание спящих. Вдруг она уловила осторожный шопот Шапи:

— Зачем он нес твой мешок? Ты что — больная?

— Я несла ребенка, а он сам взял, я его не просила.

— Зачем дала? Люди что говорят? У другой он не взял мешок, а у тебя почему-то. Любовник твой... дрянь ты, а я тебе верил.

— Стыдись, Шапи. Ты сам должен был взять мой мешок.

— Я тебе не ишак, ищи других. Если еще раз такое увижу, не одобровать вам обоем.

— Ты напрасно сердисься. Он никогда даже не пытался меня пальцем тронуть.

— Защитница. У меня есть глаза, не вылезли. — Он повернулся к ней спиной и замолчал.

В горах светает рано. Растаял утренний туман. Теплая золотистая синева заглянула в заспанные, полуоткрытые глаза актеров. Они быстро встали, позавтракали и тронулись в путь.

Дорога от Тлоха до Ботлиха была ровной и приятной. Исчезли суровые ущелья и нависшие скалы. Теперь она шла по крутому берегу Койсу, под названием тонких ветвей. В реке было мало воды, но она все же быстро текла по глубокому каньону узкой лентой, отороченной у берегов кружевной кромкой тонкого льда.

Скрипели арбы с высоко поднятыми оглоблями. Неторопливо шли волы, сонные и вялые, низко опустив головы под ярмом. За ними, не спеша, точно прогуливаясь, следовали погонщики. Они изрядно оживлялись, когда за поворотом слышались прерывистые гудки сирены, металась в разные стороны, тащили арбы и вправо, и влево. Мимо проносился автомобиль, и через минуту скрывался, обдав пешеходов густым облаком пыли.

В Ботлих путники пришли в полдень. Они направились к зданию клуба по узкой, извилистой улице. Аул вытянулся по берегу реки, кругом его обступили

горы, и бессменная синяя шапка неба лежала на его высоко поднятой голове.

Из всех дворов выбегали дети, выкрикивали какие-то быстрые слова и вприпрыжку бежали за актерами. Всюду встречали их мужчины в шубах, кланялись, приветствовали знакомых. Женщины, повязанные только длинными платками, украдкой взглянув на актеров, спешили дальше по своим делам.

В клубе было чуждо и холодно. Но в канцелярии, где горела железная печка, прибывших встретило благодатное тепло, и они повеселели. Сбросив на пол мешки, они по просьбе Курбана уселись на скамьи и приготовились слушать распоряжения директора.

Курбан поставил ногу на стул, снял папаху и поднял руку.

— Товарищи, сегодня играть не придется. Надо приготовить помещение. На жиле разместитесь по знакомым, родственникам, как кому понравится. Затем возьмемся за декорации. Мужчины только. Женщины могут заняться стиркой белья, починкой и тому подобными мировыми вопросами. Канцелярия, репетиционный зал, костюмерная, а также уборная для всех актеров мужчин и женщин будут в этой комнате, другой нет. Но зато есть немалое преимущество. Днем в зрительном зале будет сошествие предриков, парторгов и других по подготовке к посевной кампании, — так они нагреют зал и сцену, и вы не будете замерзать. Прошу ценить заботы вашего директора. А теперь — за дело.

Все вскочили с мест и заговорили сразу.

В это время в канцелярию вошел молодой человек в военной шинели. Он был высокий, гладко выбритый, с заметной военной выправкой.

— Товарищ Рижанов, привет вам на вашей родной земле! — еще издали крикнул Курбан. — Товарищи, это наш новый секретарь райкома. Знакомьтесь.

— Ну, как приехали? — спросил Рижанов, с любопытством оглядывая актеров.

Он недавно вернулся из Красной Армии, где пробыл десять лет, и отвык за это время от родных мест. Теперь ему

все здесь казалось новым и интересным, как будто он видел это впервые.

— Приехали прекрасно, товарищ начальник, — ответил Курбан. — Семьдесят километров в пешем строю с полной выкладкой. Моторы работали без отказа. Ишаки лопались от зависти, а автомобилям мы пустили сто килограмм пыли в глаза!

— Как пешком? — недоумевающе спросил Рижанов. — И вещи несли?

— Семнадцатый рейс совершили в этом сезоне, товарищ начальник. Сто пятьдесят три спектакля, кроме прочих происшествий. А нанимать разные арбы-тарбы нам не по карману. Подумайте, тридцать пять тысяч в год — на постановки, актерам, вспомогательный состав, декорации, костюмы, отопление, освещение, механизацию, вентиляцию, информацию и так далее. С этими деньгами далеко не уедешь, но пешком можно уйти далеко и куда угодно. Вот так и к вам пришли, товарищ начальник.

— Ну, давайте разместим людей, покормим их, — сказал Рижанов, — потом еще побеседуем.

Он сказал несколько слов вошедшим с ним работникам райкома, и те отправились с актерами по аулу. Рижанов распорядился, чтоб с актеров ничего не брали за постой и питание: все будет уплачено из средств райкома.

Рижанов проследил сам за устройством актеров, и только, когда все уже были на квартирах, попросил Курбана и Михаила к себе — вместе пообедать.

Этот вечер они провели в тепле и уюте. И все было бы прекрасно, если бы случайное событие не испортило веселого настроения.

По просьбе Курбана обедали в первой комнате, где жарко горела чугунная печка. Пока жена секретаря дожарила барашка, мужчины перенесли из соседней комнаты посуду, стулья, нарезали хлеб и выпили по стакану вина.

Рижанов с напряженным вниманием слушал рассказы Курбана о работе театра и жизни актеров. Порой ему казалось, что рыжий Курбан немного сочиняет, но спокойные и неторопливые реплики Михаила рассеяли его сомнения.

— Чорт возьми, да ведь вы прямо героически живете. Я удивлен, как вы не бросили эту профессию. На любой работе вам было бы лучше, — сказал Рижанов.

— Нет, дорогой начальник, ты ошибаешься. Бросить свое дело, уйти со сцены — это ты шулки говоришь. Что значит — ехать пешком? Пожалуйста. Если у меня отвалятся ноги, я их привяжу веревочкой, и поеду, и гастроли начнутся в назначенный срок. А мои актеры во всем подражают директору. А что нам не помогают, так скажи, кто мог помогать? Враги, которые уже сейчас получили возможность попасть к своему аллаху? Ничего, начальник, мы скоро так заживем, что жарко будет. В каждой комнате печка будет, все будет. Уже начинается. Вот нас вызвали в Махач-Калу, помогать будут в постановке «Отелло».

— Вы ставите «Отелло»? — удивился Рижанов.

— А почему бы и не поставить нам? — пожал плечами Курбан. — Вот вам — переводчик, он же сыграет Отелло. А Дездемона у нас в мировом масштабе! Клянусь, если б этот старый Шекспир увидел нашу Айшат, он сказал бы: «Я не зря написал эту вещь, есть кому играть!».

— А как идет подготовка?

— Не идет, а летит. Мои орлы уже выучили пьесу наизусть, я даже не знаю, за что я плачу деньги штатному суфлеру.

Михаил сердито посмотрел на него.

— Слушай, Михаил, вместо того, чтобы сердито смотреть на директора, который платит такому бездельнику, как ты, высший оклад, было бы умнее привести сюда Айшат и вместе с ней показать нашим дорогим хозяевам небольшую сценку из «Отелло».

Рижанов замахал руками:

— Ну, зачем. Не надо сейчас. Люди устали. В другой раз.

— Дорогой начальник. С завтрашнего дня мы каждый день играем, не будет времени. Михаил, признайся, неужели ты устал от такой небольшой прогулки в горах? За тебя же ни одна аварская девушка не пойдет.

Микаил махнул рукой и торопливо ушел.

Когда он вошел в дом, где поселились Айшат и Шапи, он еще в сенях услышал громкий храп Шапи. Айшат сидела за столом и шила рубашонку для Хабибат. Она быстро собралась и, попросив хозяйку присмотреть за ребенком, вышла вслед за Микаилом.

Она была смущена, когда Рижанов встал из-за стола и пошел к ней навстречу. Румянец залил ее щеки.

А когда хозяйка сказала ей: «Какая красавица», — Айшат совсем растерялась и не знала, куда ей спрятать пылающее лицо.

Она сидела молча, закутавшись в белый платок, точно ей было холодно.

Так прошло около получаса. Заходили какие-то люди, с бумажками в руках. Рижанов с ними говорил, подписывал бумаги. Два раза его вызывали по телефону из Буйнакскa. Когда он занимался делами, на его лицо точно набегала тучка, оно делалось суровым, резко очерченным. А когда он снова возвращался к столу к гостям, черты его лица точно закруглялись и освещались изнутри. Айшат сразу почувствовала к нему симпатию и сама этому удивилась. Она с детства боялась начальников и всех их представляла себе злыми и спесивыми.

Наконец, Курбан сказал:

— Ну, можно и начинать. Наш дорогой хозяин еще должен работать, не то, что вы, бездельники.

Айшат и Микаил встали, отошли на середину комнаты и несколько секунд молчали.

Вдруг Айшат подняла голову, сбросила платок, и присутствовавшие увидели новое лицо, совсем не похожее на лицо Айшат, только-что сидевшей за столом. Она как будто стала моложе, на ее круглом, детском личике блестела радостная, безмятежная улыбка, и, словно отдаленный звон, раздались ее первые слова:

Ну, что, мой милый?

Микаил невольно потянулся к ней:

Дай мне руку.

Как влажна эта ручка.

Айшат наклонила голову набок, — и вот залили комнату трели многозвучных колокольчиков:

Нет причины
Ей быть сухой: ее не иссушила
Ни горе, ни года.

В это время скрипнула дверь, и на пороге показался Шапи. Он остановился, оглядел присутствующих, пробормотал: «Извините», снял шапку и снова ее надел.

Рижанов хотел подняться, но Курбан сделал резкое движение рукой и усадил его. Айшат сразу увидела Шапи, но Микаил его еще не видел. Он заметил, что лицо Айшат внезапно переменилось, как будто ею овладело чувство боли и досады, — не потому ли, что он слишком крепко сжал ее ручку? Он заговорил с горячностью:

Скорее это
Знак страстности! Избытка сил, желаний!
Да, да, влажна заметно эта ручка
И горяча!

Всем видно было, что Микаил крепко сжимал своими длинными пальцами маленькую ручку Айшат. Он волновался, но на лице его не видно было ни тени подозрения, злобы или муки, когда он произносил слова:

Да, ручка хороша
И, кажется, щедра на подаюнья.

Микаил оставался верным себе. Он играл влюбленного Отелло. Но сейчас его трактовка роли Отелло не всем была понятна. Хозяева смущенно поглядывали то на них, то на Шапи. Курбан успел им шепнуть, что это — муж Айшат. Но оба они были настолько очарованы игрой Айшат, что вскоре позабыли обо всем.

Наконец, она произнесла:

Поверь, мой милый,
Что дурно с ним ты поступаешь.

И умолкла.

Микаил даже не сказал последней своей реплики «Прочь», заканчивающей сцену с платком.

Они стояли друг против друга, тяжело дыша, не зная, что делать дальше.

— Прекрасно, — прервал молчание Рижанов, — у вас такой голос, какого я никогда не слышал.

— Поверь, начальник, что у аллаха в его ангельском балагане такие голоса не водятся.

Шапи все еще стоял у порога. Хозяин встал и приветливо сказал ему:

— Прощу тебя, садись.

— Благодарю. Извиняюсь. Я пришел за своей женой. Там девочка плачет.

Айшат быстро накинула платок. Только сейчас она заметила, что платок лежал на стуле. Она завязала его узлом под подбородком и, поклонившись хозяевам, быстро вышла из комнаты. Шапи пошел за нею.

На улице уже стемнело. Прохожих было мало, но Шапи все же несколько раз оглядывался: ему не хотелось, чтобы кто-нибудь видел, что он идет рядом с женой, — это унижало его достоинство.

Когда они свернули с главной улицы налево и пошли по узкой тропинке вверх, он снова оглянулся. Кругом — ни души. Бледные звезды мигали на громадном куполе, возникая каждый раз в новом месте, точно прокалывали плотный синий бархат неба, и сквозь узкие щели проглядывали лучи ушедшего дня.

Шапи, шедший немного позади, проговорил:

— Ушла, не сказала. Стоит без платка, ты б еще платье сняла, показала бы, какая ты. Этот жеребец все время на тебя облизывался. Бесстыдница подлая.

— Шапи, ты неправ. Мы играли.

— Молчи, шлюха. Он должен на тебя сердиться, подозревать в измене, а он смотрит на тебя, как голодный баран. Советь потеряли, на людях...

— Шапи, это Микаил так свою роль ведет, помнишь, он же говорил на собрании.

— Ты думаешь, раз я старый, меня можно позорить при всех? Он чуть не вырвал твою руку, так он мял ее.

Айшат вспомнила, с какой страстью Микаил жал ей руку, и невольно замолчала.

— Молчишь, дрянь? — услышала она угрожающий шопот. Шапи подошел

ближе, она уже слышала его тяжелое дыхание. — Ну, говори.

Айшат показалось, что он уловил ее затаенную мысль о том, как Микаил крепко жал ее руку и как это было хорошо... Она посмотрела на мужа испуганно и с мольбой.

Этот взгляд окончательно убедил Шапи, что его подозрения основательны. Этот жалкий взгляд подтвердил ее виновность, злобные и страшные слова возникали в его разгоряченном мозгу и жгли, словно жало осы. Шапи задышался от ярости и возбуждения, у него захватило дыхание, и он не мог произнести ни слова; тогда он ударил Айшат по голове. Он видел, как она медленно падала на землю, точно таяла в тумане. Его рука поднялась для нового удара и упала, внезапно обессиленная, — Айшат не было, только небольшой бугорок возвышался над лиловой дорогой.

Шапи внезапно закричал. Хриплые и прерывающиеся стоны нарушили тишину сумерек, казалось, что из далекого леса пришел волк и завыл от страха перед неожиданной пустотой, громадным небом и враждебной тишиной.

Айшат лежала неподвижно и очнулась, только когда над ней наклонился Ахмет-Нами. Он молча поднял ее и понес на вытянутых руках. Губы и подбородок Айшат были в крови.

Сзади тяжело шел Шапи, будто ноги его вязли в земле и он их с трудом вытягивал.

На следующий день Айшат выступала в очередном спектакле. Она с трудом передвигала ноги, голова кружилась, несколько раз она больно ударилась за кулисами и в последнем антракте лежала несколько минут в глубоком обмороке. Когда она очнулась, над ней низко наклонился Курбан, его рыжий кок шекотал ее холодный и влажный лоб. Айшат посмотрела на него с испугом и мольбой, точно ждала, что он сейчас произнесет какие-то ужасные слова. Она подняла руку, чтоб отвести готовящийся удар, но Курбан улыбнулся и сказал неожиданно мягким голосом:

— Айшат, подумай, что ты с нами делаешь. Такой скандал, не доиграть

пьесы. Ты понимаешь, какой скандал. Уже было два звонка. Айшат, прошу тебя.

Айшат медленно встала. Стоявшие кругом актеры испуганно и с ожиданием смотрели на нее. Их заgrimированные лица казались чужими. Айшат подошла к столу, посмотрелась в зеркало, поправила грим и сказала, не поворачивая головы:

— Я готова, Курбан. Можно дать третий звонок.

4

Серые и черные глыбы гор высоко поднялись, и под синим куполом сдвигаются их островерхие шапки. А дорога легла между ними по обоим краям пропасти. На небе горячие отблески невидимого солнца, но лучи не проникают на дорогу, и здесь, в непроходящих сумерках и прохладе, под туманной синевой пропасти, среди груд беспорядочно наваленных камней, точно оживает в сумерках легкая арка моста.

Люди тесной кучкой стоят у перил, сидят на камнях и на маленьких сундучках. Как только вдали слышится гул мотора приближающейся машины, они вскакивают, хватают сундучки в левую руку, а правую поднимают и ждут появления машины из-за поворота. С грустью и разочарованием встречают они легковую, безнадежно машут рукой и вновь садятся на камни и сундучки. Но не мало и грузовых машин проезжает мимо, — нет места. Долгие часы стоят здесь пассажиры. И только веселые речи Курбана помогают собравшимся переносить бесконечное, томительное ожидание.

Хаби уже несколько раз принималась плакать, но Курбан смеялся так громко, что плача девочки не слышно было.

Наконец близко прогремел грузовик, поднял облако пыли и остановился в десяти шагах от ожидавших. Из кабины послышался ленивый голос шофера:

— Эй, короли, налетай.

Желающих оказалось значительно больше, чем свободных мест. Курбан крикнул угрожающе:

— Пока артисты не сядут, никто не смеет лезть в машину.

Но люди и так не думали садиться раньше актеров. Кто же здесь не знал Курбана и его товарищей?

Шофер высунул голову из кабины и крикнул:

— Лезть-то вы лезете, а еще не сговорились. Меньше чем по полтиннику не повезу.

— Почему, — удивился Курбан, — мотор не дотянет?

— Нет, руки не донесут, — ответил шофер. — Можете ждать Союзтранса, если вам не выгодно.

— На, на, получай, — сказал Курбан. — Что ты пугаешь честных людей Союзтрансом? Мы не кто-нибудь, мы честные актеры.

Машина загромычала под общие возгласы и радостные выкрики.

В Махач-Калу приехали в сумерки. Над городом ползли распухшие тучи, моросил косой дождь, глухо шумело море, из-под встречных машин вылетали большие комки грязи. Путники устали, и даже Курбан приуныл. Наконец остановились у гостиницы на Буйнакской улице.

Курбан договорился с дежурной и затем сказал актерам:

— Я взял два номера, в одном будут женщины, а в другом мужчины. Понятно? Занимайте места.

Так началась их жизнь в Махач-Кале.

Утром они долго пили чай с кукурузным чуреком, потом уходили в театр на репетицию, днем снова чай, вечером часть смотрела спектакль, а некоторые участвовали в массовых сценах, снова чай, несколько песен под аккомпанемент гумуза и сон...

По выходным дням женщины делали хинкал, и после полудня все сидели на полу в номере мужчин, постлав ковер, привезенный с собой, ели хинкал и горячо обсуждали события минувшей шестидневки.

А событий было много. Актеры были всецело захвачены ими, и только один Шапи ходил хмурый и молчаливый. Он аккуратно посещал все репетиции и спектакли, чтобы казаться таким же занятым, как все, принимал участие в производственных совещаниях, но

редко вмешивался в возникавшие споры, а если и говорил что-нибудь, то вскользь и нехотя и главным образом неодобрительно. Ему было тяжело от вынужденного безделья, и от этого у него еще усилилось враждебное чувство к жене, из-за которой он должен был бросить дом, работу и поехать в этот ненужный и неинтересный ему город. У него нарастала также злоба и к товарищам, как будто и они были косвенными виновниками его неурядиц.

Курбан решил его повезти в Махач-Калу за свой счет, но тут же подумал: «Ты будешь последним ослом, Курбан, если деньги пропадут даром». После этого он долго говорил с Микаилом, и они что-то решили. Шапи уловил недобрые взгляды, которые они не раз бросали в его сторону, и решил, что против него затевается что-то неладное.

После происшествия в Ботлихе все актеры стали к нему относиться хуже и не скрывали этого. Айшат с ним почти не говорила, сдержанно и кратко отвечала только на вопросы. В ней появилось что-то непонятное для него и потому опасное. Он не знал только, с какой стороны нагрянет опасность, и от этого его беспокойство все возрастало.

Айшат внешне к нему относилась так же, как всегда. Они оба были молчаливы и мало говорили друг с другом. Но раньше в ее молчании не было этой застенчивой враждебности, которую он явно ощущал теперь. Несколько раз по ночам он ласкал ее с необычной страстью и, как ей казалось, мучительно. Потом они лежали долго с открытыми глазами, и Айшат ловила его умоляющий взгляд, но она ничего не говорила, хотя ей было жаль его. Она подумала, что он раскаивается в своей грубости, ему тяжело и больно, надо бы сказать ему ласковое слово, но какая-то непонятная сила кольцом сжимала горло, и слово, готовое сорваться, замирало.

Этот мучительный поединок продолжался и в Махач-Кале, но здесь Айшат еще больше отдалась от мужа. Она чувствовала его тоску. Однажды он на-

пился где-то с кунаками, пришел поздно ночью и до утра просидел у дверей женской комнаты, страшный, окаменевший, так что дежурная боялась с ним заговорить.

С каждым днем росла эта отчужденность. Шапи ощущал неизменную, почти физическую, боль в груди. Все новые, как будто незначительные события увеличивали эту боль и приближали неведомую опасность, беду, которую Шапи считал уже неминуемой.

Айшат куда-то уходила от него, и он чувствовал, что у него все меньше и меньше остается сил, чтоб удерживать ее.

В русском городском театре Айшат все полюбили с первых дней. Хотя она говорила неважно по-русски и ей часто не хватало слов, чтоб выразить свои мысли, но все же она изумила русских актеров и художественного руководителя Верховцева детальным знанием «Отелло» и оригинальной трактовкой роли Дездемоны. Они ожидали увидеть полуграмотную любительницу, и все поразило необычайное артистическое чутье этой маленькой женщины, всегда повязанной платком.

Занятия в театре шли усиленными темпами. Много пришлось поработать Верховцеву и его помощникам, чтобы покончить с целым ворохом предрассудков у аварских актеров. И здесь не обошлось без неприятных инцидентов. Актеры до сих пор считали неприличным, чтобы мужчины и женщины касались друг друга. Они только делали вид, что обнимаются и целуются. Это выглядело комично, и зрители во время спектакля часто смеялись, когда по ходу действия не было ничего смешного. Айшат это раздражало. Она об этом говорила Микаилу, жаловалась, что этот глупый смех мешает ей играть. Ей было ясно, что манерное кривляние вместо настоящего обаяния вызывает смех у зрителя, но она не осмеливалась об этом открыто заявить.

Верховцев, низенький и толстый, весь закалыхался от потрясавшего его смеха, когда на репетиции, в сцене на Кипре, Айшат и Микаил нелепо развели руками друг перед другом.

Бесценный мой Отелло! —

пролепетала Айшат, в страхе косясь на Верховцева. А тот все смеялся. Наконец он успокоился, вытер вспотевший лоб и сказал:

— Милая моя, да вы же меня чуть не утомили. Что вы стоите, точно классная дама, перед Отелло. Это же пародия! Приехал ваш любимый муж, вы волновались, буря угрожала его жизни, а вы, вместо того, чтобы броситься ему в объятия, делаете ручками какие-то фигли-мигли.

— У нас иначе нельзя, — ответила смущенно Айшат, — у нас так...

— Нет, эти штучки вы оставьте. Актер должен быть актером, а не кривляжкой. Сейчас же извольте обняться. Ну, Микаил!

Верховцев подошел к ней, крепко обнял ее, закинул ее руки к себе на шею.

— Вот так, только смотрите на меня, а не на кулисы.

Айшат вся горела и даже не заметила, как к ней приблизился Микаил.

Шапи стоял у кулис, словно окаменевший. Когда Микаил готов был уже обнять Айшат, он тяжело вышел вперед и сказал:

— Айшат, я тебе говорю...

Айшат оглянулась и отступила на шаг от Микаила. Микаил махнул рукой и отошел в угол.

— Вы мешаете нам работать, Шапи, уходите отсюда, — сказал Верховцев.

— Она моя жена, вы забыли, — ответил Шапи, — я не позволю...

— Бросьте дурака валять. Здесь серьезное дело, а вы лезете с пустяками

Курбан подошел к Верховцеву и сказал нараспев:

— Ох, товарищ Верховцев, этот Шапи глотает мои годы, как чесночную подливку.

— Я не позволю... — мрачно твердил Шапи.

— Ну, вот видите, товарищ Верховцев. Возьмите, пожалуйста, этого быка, — указал он на Шапи, — и сделайте из него молочного барашка, если у вас есть такой талант.

— Эх, Шапи, я не думал, что ты такой трус, что боишься от одного прико-

сновения потерять свою жену, — сердито сказал Микаил.

— Ты так говоришь потому, что жены не имеешь, от всех понемножку хочешь взять.

Назревал скандал. Пришлось прекратить репетицию.

На следующих репетициях Шапи стоял злой и не сводил глаз с Айшат. Другие актеры быстро согласились перейти от своих комических гримас и движений к настоящим объятиям. Курбан не преминул сказать Рукият, когда они возвращались домой:

— Ну, что, согласишься, никто так не обнимается, как твой муж. Теперь ты оценила меня?

— Молчи, старый бесстыдник, — сказала Рукият с притворным вздохом.

Курбан придумал ловкий маневр. Айшат репетировала сцены с Микаилом по вечерам, когда Шапи был занят на вечернем спектакле в массовых сценах. Курбан сговорился с Верховцевым, и они занимали Шапи каждый вечер, даже когда в этом не было особенной надобности.

— Все это хорошо. Но что будет на спектакле? Его ведь не спрячешь, — как-то сказал Курбану Верховцев.

— До спектакля... Товарищ Верховцев, вы забыли, что я играю Яго. Какой же я буду злодей, если все останется на месте?

— Понятно.

— У меня есть план... Отелло должен спасти Деэдемону для нашего театра.

— Это тяжелая задача.

— Но они сами так трактуют роль. Я не виноват. Клянусь, куда веселее быть повивальной бабкой, чем могильщиком.

— А вы, кажется, хотите быть и тем, и другим?

— Вы угадали, дорогой начальник. Я хочу быть повивальной бабкой, когда рождается любовь, и хочу быть могильщиком ревнивцев.

— Яго поступал наоборот.

— Дорогой начальник, теперь все наоборот, за это мы и боремся. Я уберу Шапи, —

И так устрою дело,
 Что будет он меня благодарить,
 Любить меня и награждать за то,
 Что я его искусно превращаю
 В полнейшего осла...

Когда возвращались домой, Рукият торопливо заговорила хриплым шопотом. Она тянулась к лицу Курбана, но даже на цыпочках едва достигала его плеча.

— Я боюсь за Микаила, как бы Шапи чего-нибудь с ним не сделал. И за Айшат тоже.

— Ну, ладно, это не твоего ума дело. Вот что. Ты знаешь, у Микаила есть большой шелковый платок. Прекрасный платок. Из него может выйти великолепное белое платье для Дездемоны. Нельзя Дездемоне играть в другом платье, неприлично. Шелка у Айшат нет так же, как у меня нет денег, чтобы купить его. Понимаешь?

— Нет, не понимаю. Не лучше ли дать ей мое белое шелковое платье: мы — одного роста?

— Клянусь, только цудахарские ишаки глупее тебя. Скажи Микаилу, остальное тебя не касается.

Курбан сердито пошел вперед, не оглядываясь. Озадаченная Рукият шла торопливо сзади.

Дома она, улучив минутку, остановила Микаила на лестнице и сказала ему шопотом о платке. Микаил что-то хотел ей ответить, но она побежала вниз по ступенькам раньше, чем он успел раскрыть рот.

Вечером Микаил и Айшат, как обычно, репетировали «Отелло». Шапи был занят в спектакле, и они были одни в маленькой комнате. Микаил принес небольшой сверток, положил его на стол.

Они приступили к репетиции. Горячая рука Айшат покорно легла в большую, холодную руку Микаила. Айшат словно погрузилась в прохладный ручей, и где-то около сердца тоже стало холодно, словно и туда проникли длинные, тонкие пальцы Микаила.

Айшаг делает шаг вперед, поднимает глаза, но она не видит глаз Микаила, его полуоткрытых губ и чуть вздрагивающего подбородка. Микаил заканчивает реплику:

Да, славная рука — рука прямая.

Айшат думает о его теплых руках, но, услышав последние слова, инстинктивно подает реплику:

Да, вправе ты так называть ее:
 Она тебе мое вручила сердце.

Микаил смотрит ей в глаза. В его взгляде написана укоризна. Он упрекает ее в чем-то. Но в чем? Она перед ним не провинилась. Он говорит с грустью:

Да, щедрая! В былое время сердце
 Нам руку отдавало, а теперь
 По нынешней геральдике дается
 Одна рука, — не сердце.

Эти слова оглушают ее. Она чувствует себя растерянной и безутешной. Ее рука попрежнему в руке Микаила. Но где ее сердце? Айшат чувствует мучительную пустоту и боль. Ее сердце принадлежало Шапи, но разве он не выбросил его? Избил, обругал, и этот постоянный, неотвратимый, подозрительный взгляд. Как он посмел назвать ее чистое сердце змеиным гнездом? Он видит в нем только измену и ложь. Вот почему погибла Дездемона. Она подняла свое сердце, брошенное Отелло в грязь, в дорожную пыль, и снова подала ему, поэтому он поверил в свое ужасное обвинение. Рабская покорность погубила Дездемону. Если б она отвергла Отелло, все было бы иначе. Любовь должна быть гордой и непреклонной. Она будет такой Дездемоной. Где же Отелло? Она будет любить попрежнему только одного Отелло, но Отелло — Микаил, а не Шапи. И она в изнеможении произносит:

Не умею
 Поддерживать я этот разговор.

Микаил видит ее глаза, умоляющие о пощаде, и выпускает ее руку. Теперь реплики следуют одна за другой быстро. Они оба спешат, чтоб заглушить свои мысли потоком слов, но мысли вновь прорываются.

Потом Микаил берет со стола сверток. Через мгновение на плечах Айшат большой белый платок. Он покрывает ее маленькие ступни, — такой он длинный.

Микаил смотрит на нее строго, не улыбаясь, и продолжает свою реплику:

Платок тст, умирая,
Передала мне мать моя, прося,
Чтоб, если мне судьба жену дарует,
Ей и платок отдать. Я так и сделал.

Айшат плотно закуталась в платок. Шелк тяжелый, скользкий, прохладный и пахнет сухими травами. Она протянула Микаилу руку. Снова эти длинные пальцы хватают за сердце, и Айшат смотрит в его большие глаза испуганно и умоляюще, и как будто не ее голос произносит:

Возможно ли?

И Микаил подхватывает эти слова, как обещание, о котором долго мечтал, и говорит уже горячо:

Да, верь мне...

Глаза ее говорят «верю», и он еще с большей страстностью убеждает ее, что:

Этот шелк окрашен влагой, взятой
Из девственных сердец прекрасных мумий.

Да, она чувствует, что этот шелк необычайный. Ей хочется склонить голову на грудь Микаилу, платок тянет ее к нему, он скользкий и тяжелый, сердце наполняется невозможным, немислимым, несбыточным. Она говорит в изнеможении:

Не шутишь ты? и это верно?

Опять страстный полушопот Микаила:

Верно,

Так береги ж старательно его.

Айшат почти бессознательно произносит остальные реплики до конца сцены и, усталая, садится на край стула.

Она сидит молча, не глядя на Микаила. Заглянул Верховцев, крикнул: «Валайте, валайте» — и, захлопнув дверь, побежал по коридору, громко стуча по каменным плиткам пола.

Айшат испуганно сорвала платок с плеч и протянула его Микаилу. Он покачал головой:

— Нет, Айшат, не надо. Оставь его себе. Ты сделаешь платье для Дездемоны. Это платок моей матери. Умирая, она завещала его моей будущей жене и сказала: «Этот платок принесет счастье твоей жене. Пусть она бережет его».

— Как же ты нарушаешь завет твоей матери? И отнимаешь счастье у твоей будущей жены?

— Я не делаю ни того, ни другого, Айшат, — у меня не будет жены.

— Но почему, Микаил? Разве ты стар и дурен?

— Не будем говорить об этом, Айшат... Возьми платок, он тебе нужен для платья. А если я когда-нибудь буду женат, то этот платок будет принадлежать моей жене.

— Спасибо, Микаил, — тихо ответила Айшат. Она встала, близко подошла к нему и, подняв руку, погладила его по голове и лбу, потом быстро вышла из комнаты.

Она натыкалась на людей и никак не могла найти дверей. Ее толкали со всех сторон. Публика бежала к вешалкам, чтобы скорее получить пальто. Она совсем растерялась и готова была заплакать от досады, но тут вдруг увидела перед собой Шапи. Он ничего не сказал, только взглянул на нее исподлобья, потом отвернулся и зашагал, расталкивая локтями толпу. Айшат покорно следовала за ним.

Из ярко освещенного театра они сразу попали в сырую темень улицы. Под ногами хлюпало, чавкала жидкая грязь. Улица сразу проглатывала людей, их темные тени пропадали в тумане. Море грохотало совсем рядом, будто тяжелые, железные колеса катились по каменной дороге.

Айшат попросила Шапи погулять с ней по берегу. У нее очень болела голова. Шапи молча согласился и свернул в переулок. Море ежеминутно наваливалось на берег с тяжелым вздохом и грохотом, потом с глухим урчанием уходило в темноту ночи. Одинокий фонарь плавал в белесой мути тумана. Айшат казалось, что она на сцене, что в действительности всего этого нет. Она не могла только вспомнить, какая идет пьеса и какую она исполняет роль. Ай-

шат мучительно напрягала память, но из темноты вырывались только высокие волны, словно стадо косматых, черных зверей, и вновь убегали с ревом и свистом. Недавние реплики Микаила казались невозможным сном. Айшат ждала теперь, как чуда, что Шапи вдруг повернется к ней, обнимет и скажет несколько простых детских слов. Эти слова могли бы спасти их обоих. Но он шел молча, прямой, непроницаемый, как ночь, и Айшат ясно поняла, что мечты ее напрасны. Она ниже опустила голову и уже ни о чем не думала, тихая и обреченная, плотно прижав руки к груди. Она давно уже шла так и, не зная, почему, боялась разжать руки.

Вдруг она подумала, что стоит только опустить руки, и она уронит свою жизнь, как тяжелый камень, и сразу станет легче. Она медленно опустила правую руку, и круглый сверток упал в лужу. Только теперь она вспомнила, что несла подмышкой платок, подарок Микаила.

Она быстро наклонилась, разорвала мокрую газету, в которую был завернут платок, и спрятала его под шалью.

Они уже поднимались по широкой каменной лестнице. Показались тусклые огни Буйнакской.

— Ты опять с ним весь вечер была? — сказал Шапи, не глядя на нее. Теперь Айшат уже не трогали его слова. Ей не было так страшно и одиноко, как несколько минут перед тем, когда она уронила сверток. Она все время чувствовала его теплое прикосновение. Может быть, потому голос ее стал таким нежным и мягким.

— Но иначе нельзя, Шапи. Товарищ Верховцев требует, чтобы мы ежедневно репетировали.

— Ты и так знаешь роль наизусть.

— Этого мало...

— Конечно, вам мало. Вам надо целыми вечерами обниматься...

— Напрасно ты его обвиняешь, Шапи, он скромнее всех наших актеров и очень добр ко мне. Вот, даже шелковый платок подарил мне, чтоб сделать платок для Дездемоны.

— Платок... он тебе скоро целый калым пришлет, а ты, тварь, взяла его?

— Так, ведь, он наш друг.

— Как смела ты взять у него платок, — теперь все засмеют меня!

— Никто не скажет дурного слова о Микаиле, он чистый и честный человек.

— Платок от любовника, чтоб каждый мог пальцами показывать.

— Он к тебе прекрасно относится и, поверь, не имеет дурных мыслей.

— До того дойти! Открыто брать дорогие подарки. Платок от любовника. Дрянь, потаскушка!

— Ругай меня, сколько хочешь, но он ни в чем не виновен.

Они уже шли по пустынной улице и через минуту очутились у гостиницы. Шапи сердито дернул дверь. Она заремела так сильно, что во всех соседних дворах залаяли собаки.

На площадке, у перил, стояли Курбан и Ахмет-Нами. Они курили, и синее облако дыма колыхалось над их головами. Когда они поднялись на площадку, Курбан им погрозил пальцем.

— Что, на свидание ходили?

Шапи ничего не ответил. Он остановился и сказал Айшат:

— Ну-ка, покажи свой подарок.

Айшат нерешительно вынула платок из-под шали и протянула его Шапи.

— Знаем, слышали, хороший у тебя кавалер, Айшат, — смеясь, сказал Курбан.

Шапи сразу покраснел и ударил свертком Айшат. Платок упал на пол.

— Потаскуха, — прохрипел Шапи.

Айшат быстро наклонилась, подняла платок и пошла к себе.

— Ой, Шапи, у тебя вместо мозгов — пожарские котлеты. Если ты ее еще раз ударишь, ей дадут развод без всякой оплаты. И, кроме того, знай, что каждым ударом ты ее толкаешь ближе к другому, у которого руки мягкие.

— Я оторву ему руки.

— Вай, ишак, баланс будет еще хуже: минус жена, плюс тюрьма.

Шапи повернулся и опять пошел на улицу.

Курбан зевнул и сказал задумчиво:

— Скажи мне, Ахмет-Нами, где найти такой базар, чтобы продать этого быка с небольшим убытком? Я спраши-

ваю тебя: должен процветать аварский театр? Должен. Так я тебя снова спрашиваю: как он будет процветать, когда этот бык может затоптать наши лучшие цветы?

5

От Хунзахской крепости дорога расходилась в разные стороны. Развертывалась извилистой лентой вниз к Араканскому ущелью, дугой подымалась к селению, сужающимся клиньями вонзалась в нагорья Цада, подняв на острие высокие, узкие сакли. Весеннее солнце согрело холодный камень гор, спотыкаясь, ползли по ним тающие тучи и ключья туманов, проваливаясь в ущелья, а с неба струилась расплавленная синь, будто медленные синие воды текли с цумадинского горизонта от форелевого озера в черное бездонье араканское.

И по всем дорогам шли люди из окрестных аулов. Они встали, чуть свет, чтоб в сумерки поспеть в Хунзах. Завтра они займутся делами, а сегодня...

Всем было ясно, что сегодня в Хунзахе день необычайный. Дети не рыскали, как обычно, по всему аулу, а толкались у входа в Дом культуры, где двери были распахнуты настежь. Большие раскрашенные холсты с невиданными пейзажами стояли у стены. Несколько человек их осторожно вносили в дом.

На площади у телеграфного столба появился громадный плакат.

На белой бязи было написано крупными синими и красными буквами:

ДОМ СОЦКУЛЬТУРЫ

Сегодня состоится

ПЕРВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«ОТЕЛЛО»

Трагедия в 5 действиях

Начало в 6 часов

Билеты продаются с 12 часов

Микаил в коричневом свитере то появлялся на улице, то исчезал. Руки его были измазаны краской, щеки горели лихорадочным румянцем. Он что-то кричал рабочим, суетившимся около декораций. В ожидании дальнейших собы-

тий мальчишки лениво дрались, без обычной горячности. Они сбрасывали друг у друга шапки с головы, переругивались со взрослыми, нетерпеливо заглядывали внутрь. Днем начал прибывать народ из соседних ближних аулов. Они садились на бревна и камни, вынимали из мешков чуреки, чеснок, куски холодной баранины и неторопливо закусывали. Другие шли в ресторан, где было шумно, как на ярмарке. Два официанта с красными и вспотевшими лицами метались между столами, и со всех сторон на них кричали:

— Ибрагим, давай барашка.

— Али, водки давай!

Инструктора Комитета по делам искусств обедали тут же, держались торжественно и все время дразнили Курбана таинственными и непонятными намеками. Курбан мог только понять, что они готовят какой-то приятный сюрприз, но никаких подробностей добиться от них не мог, несмотря на то, что неустанно угощал их мутной грушевой наливкой местного производства.

К вечеру весь аул столпился около Дома культуры. Билеты были все проданы. Курбан закрыл кассу, сосчитал деньги и положил их во внутренний карман пиджака, где он обычно хранил казенные деньги, и пошел в артистическую уборную.

Там было уже не так холодно. За несколько часов люди ее согрели своим дыханием.

Айшат одевалась. Поверх обычного черного платья и теплой кофточки она одела белое шелковое платье, сшитое из платка, подаренного ей Микаилом. От этого она стала значительно полнее, такой, как рисовали Дездемону английские художники восемнадцатого века.

Айшат часами разглядывала гравюры в книгах Шекспира, которые ей дал Микаил. Больше всех пленяло ее изображение картина Джона Бойделля, изображающая сцену перед убийством Дездемоны. Отелло стоит у ложа с кинжалом в правой руке и сверкающими, как белые угли, глазами, смотрит на Дездемону, разметавшуюся во сне. У нее обнажено колено и правая грудь, длинные ресницы вычерчены на белом лице,

и нежное розовое ухо как будто прислушивается к тому необычному, что сейчас должно произойти и уже невидимо присутствует здесь. Дездемона будто прижала ухо к подушке и чутко прислушивается...

Шапи, который толкался тут же, хотя у него не было никакого дела, с удивлением смотрел на Айшат.

Нет, перед ним уже не Айшат, а красивая венецианка. Как хороша она в белокурых волосах и белом платье! Шапи вдруг с ужасом чувствует, что он потерял эту гордую красавицу и сам в этом виноват. Проклятая жадность! Не надо было пускать ее в театр, жить, как все. А он соблазнился этими деньгами, и вот все пропало. Эта женщина уже не его жена, она забыла сама, что ее звали когда-то Айшат.

К Айшат подошел Михаил, загримированный, в костюме. «Как он красив, чорт возьми». У Шапи сжались кулаки. «Сейчас он будет обнимать ее, касаться ее груди и плеч, надо это кончить!».

Михаил остановился, любующимся взглядом окинул Айшат и продекламировал вполголоса:

Прекраснейший природы образец,
Найду ли где я пламя Прометея,
Чтоб вновь зажечь потухший твой огонь?

Шапи сжал кулаки. Это чорт знает что, они уже перестали стесняться!

Курбан осмотрел актеров.

— Ну, готовы. Шапи, иди на сцену, сейчас надо будет поднять занавес.

Шапи молча вышел.

Актеры заканчивали туалет. Костюмы мужчин были из черного и цветного вельвета. Издали это могло сойти за бархат. Женщины в шелковых платьях.

— Ну, Кассио, Монтано! На сцену! — крикнул Курбан. — И до чего ты хороша, Айшат. Клянусь, если бы я был на месте Михаила, я задушил бы тебя в объятиях, конечно, после пятого акта.

Айшат покраснела.

— Ты знаешь, Курбан, — сказал Михаил, — Отелло потому и душил Дездемону, что она восхищает его.

Ведь он перед тем целует ее, и так страстно.

— Ну, ладно. Делайте, как знаете, лишь бы всем было приятно. Но вы такие тихони, что даже злодей Яго, и тот не может вам помочь.

Айшат пошла на сцену.

В полуметном зрительном зале люди сидели плотной стеной в тулупах, шубах и высоких шапках. Они крепко прижались друг к другу на узких скамьях и вытянули вперед головы, чтоб лучше слышать. В зале стояла необычайная тишина, и матери при малейшем, еле слышном писке ребенка торопливо совали им грудь, чтобы ни на секунду не нарушать напряженной тишины.

Айшат с первой реплики очаровала всех зрителей. Ее голос еще никогда так не звенел. Чабаны из Хунзаха, Цады, садоводы из Тлоха, каменщики из Согратля еще никогда не слышали таких красивых, нежных и звучных слов. Они были ошеломлены и очарованы, детские, счастливые улыбки появлялись, раздвигали морщины и поднимались вверх к глазам, а из глаз навстречу им бежали непрошенные слезы. «Этот Михаил побывал в раю, только там можно слышать такие нежные слова».

Зато не легко пришлось Яго. Отборная ругань летела под адресу Яго — Курбана. Даже в антрактах, когда он выходил кланяться, на него шикали и встречали недружелюбными выкриками.

После третьего акта, когда невиданный успех спектакля был уже ясен для всех, на сцену вышел старший инструктор Комитета по делам искусств Гаджиев и торжественно заявил:

— За выдающиеся успехи награждаются по пятьсот рублей артисты Курбан Эмиров, Михаил Алиев, Айшат... Бурные аплодисменты, прервали его слова.

— Кроме того, театру выдается дополнительно двадцать тысяч на ремонт помещения, декорации и тому подобное.

Четвертый акт играли с необычайным подъемом. От радостного возбуждения Айшат была так хороша, что аплодисменты по ее адресу ежеминутно вырывались у восторженных зрителей.

Шапи сидел в суфлерской будке, злой, всеми забытый. Он даже не выходил в антракте. Ему показалось, что Айшат как-то особенно вызывающе произнесла слова:

Нет супруга у меня!
Не говори, Эмилия, со мною.
Я отвечать могла бы лишь слезами,
Но не могу я плакать.

Она даже посмотрела на него как-то вызывающе.

«Погоди, заплачешь» — подумал он. И вот началось пятое действие.

Напряжение зрительного зала достигло высшего предела.

Айшат лежала в постели в том же платье, но она все время видела перед собой обнаженную Дездемону с картины Джона Бойделля, и ей было стыдно и страшно, что к ней приближается Микаил, который видит ее раздетой. Но вот он подходит ближе, она еще спит, ее ресницы опущены. Он наклоняется к ней и говорит дрожащим голосом:

Я не могу, сорвавши розу, снова
Ей возратить растительность! Она
Должна увянуть. Так упьюсь же ею,
Пока она не сорвана еще.

Микаил наклоняется к ее губам. Айшат крепко зажмуривает глаза, и вдруг у нее пропадает дыхание. Она задыхается, она больше ничего не помнит, только то, что этот поцелуй, первый в ее жизни, никогда не кончится, вместе с ним кончится и ее жизнь. Наконец Микаил отрывается от ее губ. Он говорит:

Я плачу, как ужасны эти слезы...

Она слышит приглушенное рыдание в зале и снова слова Микаила:

... А, проснулась!

Но она не может ни говорить, ни двигаться.

Микаил опять повторяет громче: «А, проснулась». Шапи из суфлерской будки подсказывает ей:

Кто здесь? Отелло, ты!

Напрасно... она лежит, словно сожженная внезапной молнией. Шапи хрипло шепчет:

— Потаскуха, проснись!

Тогда она быстро приподнимается. Сцена продолжается.

Шапи машет кулаком из суфлерской будки и говорит совсем охрипшим голосом:

Подумай о грехах своих скорее.

А Микаил повторяет эту реплику нежно и растерянно. Он произносит эти слова так, как говорят напроказившей девочке, и у нее проходит страх, навеянный угрожающим хрипением Шапи. Но он не унимается. Айшат отвечает с предельной нежностью Микаиду:

Мои грехи — любовь моя к тебе.

Тогда Шапи кричит так, что из первого ряда раздаются сразу несколько голосов: «Тише, суфлер».

Вот за нее ты и умрешь сегодня.

Шапи свирепствовал. Он выкрикивал реплики, размахивая руками, топал ногами, а Микаил повторял их голосом мягким, любящим, как будто он сам не верил тому, что говорил. Но Айшат с таким волнением и страхом глядела на него, что зрители поверили в опасность, грозящую ей. Она знала, что Микаил сейчас подойдет, возьмет ее руками за шею, и она уже, задыхаясь заранее, с трудом произносила слова:

О, убей хоть завтра,
Но эту ночь дай мне прожить!

И вот он душит ее... В зале крики, рыдания. Финал было трудно доиграть. Многие встали. Женщины плакали навзрыд. Когда Микаил пронзил себя кинжалом и упал на неподвижную Айшат со словами:

Я смерть свою встречаю близ тебя! —

пришлось дать занавес. Последние реплики Кассио и Лодовико были пропущены. Зал ревел, и ни Микаил, ни Айшат не заметили, что занавес уже опущен.

Она еще лежала, страдающая и, может быть, счастливая от последней му-

чительной ласки Отелло, и ни за что не поверила б, что она не Дездемона. Но вдруг на нее посыпались тяжелые удары: знакомый волосатый кулак колотил ее лицо, голову, грудь, смывая кровью грим Дездемоны. На миг она встретилась с глазами Шапи и тогда только поняла, что спектакль окончен.

Айшат потеряла сознание. Все это продолжалось не больше минуты. Когда Михаил поднялся, другие уже держали Шапи за руки и тянули его к выходу. Он рычал, кусал руки державших его, бил ногами, плевался.

В зале стоял гром и рев. Публика кричала: «Айшат, Михаил!». Все хотели еще раз увидеть своих любимцев, но занавеса больше не подняли.

Айшат лежала на узкой больничной кровати. Все было ослепительно бело в этот солнечный день, и только за окном синее покрывало с золотой оторочкой опускалось на первую робкую зелень гор.

Айшат знала, что сейчас войдет Шапи. Она была спокойна, и, когда он появился на пороге, посмотрела на него строго и выжидающе. Шапи наклонил голову и сказал тихо, заикаясь:

— Я не так думал, Айшат, я ошибся...

Айшат подтянула одеяло к подбородку и ответила спокойно и равнодушно:

— Ты напрасно пришел ко мне, Шапи... Ты убил свою жену. У тебя больше нет жены, ищи себе другую, лучшую. Прощай.

— Айшат...

— Я уже сказала, ты убил свою жену.

Шапи внезапно поднял голову и сжал кулаки:

— Нет, еще не убил, но я ее убью.

Неслышно появилась сестра, маленькая и худая. Она взяла за рукав Шапи и увела, как будто она была намного сильнее его.

Айшат лежала спокойно и неподвижно. Медленно двигалось время, отяжелевшее от жаркого солнца. Ей стало душно, и она сбросила одеяло с груди. Вот так лежала Дездемона на картине Бойделля. Она спустила сорочку и закинула голову назад.

Солнечные нити оплели ее золотой сеткой, и она лежала, успокоенная и радостная, словно была мертвой и вновь воскресла и теперь уже будет жить вечной, неувядающей молодостью Дездемоны.

Она почувствовала такую сильную радость от своей молодости и от того, что скоро снова будет в белом платье Дездемоны! Когда вошел Михаил, она бросила руки вперед, чтобы закрыть обнаженную грудь, и не знала, почему они сомкнулись вокруг шеи Отелло. Она также не могла объяснить, почему Отелло был не в костюме, без грима, совсем белый и с такими синими, влажными глазами. Она знала только одно, что ей хотелось петь и ласкать этого необычайного Отелло, — и тихо запела:

В тени густолиственных, темных ветвей
Бедняжка под ивой сидела...

Москва, 1938 г.

Саратовская земля

ВЕРА ЗВЯГИНЦЕВА

★

За окошком кричат небывалые медные птицы, —
То меня окликают ночных паровозов гудки.
Мне от песен неспетых, непройденных тропок не спится.
Не измерить душой, как судьбы нашей дни широки.

Полевою клубникой да сотнями солнц курослепа
Зацветай, запевай, знаменитый саратовский край!
Любо вылепить словом хоть маленький глиняный слепок.
Память сердца, сыграй по-старинке мне песню, сыграй!

Бунтарской славой,
Частушкой лукавой
Да хлебом богатый
Веселый Саратов.
 Смоляной ветерок,
 Да родной говорок,
 Чернозём-поля, —
 Хороша земля.

Поет ветер, веет:
Степан Тимофенч!
Стал славой заволжской
Утес твой за Вольском.
 Соколова гора
 Молода, — не стара...
 Тут в тринадцать дул
 Вольный ветер дул.

То рать Пугачева
Защиту цареву,
Не думая долго,
Разбила над Волгой.
 Смоляной ветерок,
 Да родной говорок,
 Чернозём-поля, —
 Хороша земля.

По любимому селу ходит с посохом память седая,
Остановится, щупая палкою выступ-курган,
Оглядится вокруг: ветер, стружки в ображек кидая,
Песню славы поет; по-над речкой дымится туман...

Бунтовщицею исстари Волга слывет. Бунтарями
Край саратовский издавна славен, — бедовый народ.
Нелюбим был тот край губернаторами и царями, —
Всё-то в нем непорядки, — откуда и силу берет?



Где над глиною гор старых сосен знакомая кромка,
Где в четверг на базаре малины да кожи полно,
Где теперь городок и театром гордится и хромом, —
Там, в Труёве-селе, словно в омуте, было темно.

Там кузнец да бочар гнули черную потную спину,
Позабывая вотчина... беглый да пришлый народ.
Посчитай-ка дворы да на версты померяй кручину:
В катерининский век ненарядно Россия живет...

Таратайка по пыльной дороге заедет, бывало,
Из поместья недалекого... Смуглый барчук поглядит
На ребят, чуть живых, да на женщин, согбленных устало, —
Душу детскую совесть пчелиным укусом язвит...

Из селенья Аблязова с узенькой речкой Тютняркой,
С пышной липовой рощей да редкою в храме резьбой,
Как по селам проедешься засухой, мертвой и жаркой, —
Наглядишься, наплачешься над человеческой судьбой.

Был в Аблязове дом — нынче дома того не разыщешь,
Был заросший овраг — он такой же сегодня, как встарь.
Здесь когда-то родился и бегал над речкой Радищев —
Первый мученик слова и мысли горячий бунтарь.

Молодой яковинец на русских дрожжах поднимался,
Низко серые тучи над детскою шли головой.
Он от сверстников нищих российской тоски набирался,
И саратовской удалью искрился глаз огневой.

Как мне любо, что здесь, — где смородиной и повиликой
Мое детство пропахло, где в мелкой речонке, в грозу,
Мы купались, — он здесь приобщился печали великой,
Для того, чтоб пролить напоенную ядом слезу.

Червоточиной тронул он трон Катерины роскошный,
И, седея в снегах и глотая мучительный яд,
Он не зря погибал, — первый камешек горечи брошен,
Омут царственный дрогнул. Читателей души горят.

... Не напрасно страдал и другой наш саратовец славный.
Эшафот и тюрьму, и гоненье, и голод души —
Всё он вынес спокойно в России великодержавной,
Он отчизне грядущей служил и в тюремной тиши.

Чистым сердцем горяч. Однолюб. Непреклонен и нежен.
Русский рыцарь без замка, без золота и без плаща.
Чернышевский! Твой голос был ветром соленным и свежим.
Чернышевский! Им Волга гордится, в просторах плеча.

Что нам подлость чужая?! И дикая ложь изуверов?
Буря мыслей и чувств разгоняет и копоть, и чад.

Доблесть вечно живет. Сколько было их — первых из первых,
Сколько будет их — рыцарей чести среди наших внучат.

Ох, саратовский край, Балашовский, Кузнецкий уезды, —
Это вы полыхали пожарами в пятом году,
Это вас не страшили карательные наезды, —
Не наложишь на сердце народа тугую узду.

Был по сердцу саратовцам переворот большевистский,
По плечу было время, будившее землю от сна!
Голубела луна над Царицыном ласковым диском, —
За советское дело стояла на небе луна.

Пролетали птицы
Над тобой, Царицын;
Был не птичий голос
У свинцовых птиц...
Есть чем погордиться, —
Ты уж не Царицын:
Лучшею страницей
Стал ты из страниц.
Имя Сталинграда —
Вот твоя награда.
Словно наша юность,
Встал ты среди полей.
Если будет надо,
Встанем все оградой
Молодого сада —
Родины своей.

Про Царицын друзья поминают в рассказах и песнях, —
Это будет былиной певучей в народных устах:
Как бежал белый враг, отступая со сбитою спесью,
Как над городом цвел торжествующий Сталинский стяг.

Не пристало нам хвастать ни званьем, ни чином, но в сердце
Всё ж мы тайно гордимся, — причина той гордости есть:
Все мы веры советской горячей единоверцы,
И своя у нас совесть, своя большевистская честь.

Тронешь в поле травинку, — как будто целуешь отчизну.
Далеко, далеко убегают по росам поля...
Разве можно расстаться с упрямою этою жизнью,
С этим ветром полынным, с тобою, родная земля?!

Зрелость

ПОВЕСТЬ

М. ЮФИТ

★

Когда Бутова привезли из операционной в палату, полная, пожилая сиделка Михайловна наклонилась к нему и, поправляя одеяло, сказала шопотом, чтобы не слышала медицинская сестра: — Барышня про вас спрашивала, Александр Сергеевич. Так беспокоится... Третий раз сегодня приходит...

— Михайловна! — строго окликнула ее сестра, подняв голову от столика, на котором стояли какие-то баночки и пузырьки с лекарствами. — Сколько раз я вам говорила, — больному нужен покой...

Сиделка обиженно поджала губы, а Бутов, волнуясь, попросил:

— Только один вопрос, сестра. Можно? Она еще здесь, эта барышня?

— Ушла... — сказала сиделка.

Бутов закрыл глаза. И снова сладкий, тошнотворный запах хлороформа защекотал ему ноздри. В грудной клетке лежало что-то тяжелое и большое. Ему казалось, что он сейчас задохнется. Он застонал.

— Может, пить подать? — спросила Михайловна и снова шепнула: — Они еще придут, не беспокойтесь...

Подошла сестра и взяла его за руку, пробуя пульс. Бутов попытался улыбнуться.

— Мне, право, очень хорошо, — сказал он. И, помолчав, спросил: — Пустят ко мне сегодня жену?

— Если позволит врач, — сухо ответила сестра и вышла из палаты.

Она знала, что жена Бутова живет теперь с другим. Ей рассказала об этом

подруга, которая работала машинисткой в военной авиационной школе, где Бутов служил командиром отряда. Она знала в подробностях всю историю о том, как Бутов простил жене измену, и отношения у них наладились, и как она через некоторое время оставила его совсем и переехала к новому мужу. И после всего Бутов продолжал к ней хорошо относиться.

«Странный человек, — подумала сестра, хмурия брови, — очень странный...».

Она остановилась в коридоре и долго смотрела через широкое окно в больничный сад. Листья на деревьях желтели и осыпались. Садовник Андрей Валерьянович, седенький, маленький старичок в чистенькой куртке, сидел на корточках перед клумбой, где пышно цвели астры, и обрывал сухие стебельки. Дворник сгребал сухие листья. Они пылали на солнце. И, глядя на все это яркое цветение, сестра вздохнула и подумала, что человека с таким сердцем, как у Бутова, она могла бы полюбить... Думая об этом, испытывая какую-то странную неприязнь к женщине, которая была раньше женой Бутова, она прошла в кабинет к врачу и сухим, бесстрастным голосом испросила разрешение Бутову на свидание с родными. Она так и сказала «с родными», а не «с женой».

— Иначе он будет нервничать, — добавила она.

Доктор разрешил.

Бутов, большой, широкоплечий, комкая большими руками одеяло, испуган-

но поблагодарил сестру, покорно проглотил лекарство и выпил бульон, как будто боясь ее разгневаться. Все это время после аварии его не покидала мысль о Лене. Из-за Лены, может быть, и произошло несчастье. Он любил ее до сих пор.

И сейчас он ждал ее прихода, ждал, волновался и представлял себе, как она войдет в своем сереньком платье, похожая на школьницу.

Михайловна появилась на пороге и, хитро прищурясь, кивнула ему головой.

— Можно, можно... — сказал Бутов, не дожидаясь вопроса.

Михайловна отодвинулась.

Худенькая, некрасивая девушка с золотисто-пепельными, коротко подстриженными волосами вошла в комнату, стараясь скрыть смущение.

— Вы меня извините, товарищ командир, — сказала она, — но я... все курсанты очень беспокоятся. Как ваше здоровье?... — И осторожно, не подходя близко, а только вытянув вперед руку, она положила на тумбочку пакет с яблоками. — Это вам...

Пакет раскрылся, и яблоки с грохотом посыпались на пол. Девушка испуганно вскрикнула. Бутов, стараясь скрыть разочарование и удивление, сказал:

— Мне очень приятно. Товарищ Тошакова, если не ошибаюсь?

— Тошакова, — радостно сказала девушка, довольная, что он помнил ее фамилию. — Из пятого звена мотористов...

Бутов смотрел на ее вытертую до блеска, тщательно выгуженную черную юбку, вязаную голубую кофточку, белые туфли, носки.

Оправившись от смущения, девушка стала рассказывать новости. Как сквозь сон, Бутов услышал фамилию нового мужа Лены. Он встрепенулся.

— Его переводят от нас, — продолжала рассказывать Тошакова. — Говорят, в Среднюю Азию.

«Уезжает, — подумал Бутов. — А Лена? Значит, Лена тоже с ним. И Женю возьмут?».

И опять он, занятый своими мысля-

ми, не слушал, что говорила посетительница.

Наконец, она встала.

Прощаясь, Бутов задержал ее руку в своей и спросил:

— Как же вас зовут, товарищ Тошакова? Лиза? Хорошее имя — Лиза... Передайте привет курсантам...

Лиза ушла.

Бутов попытался повернуться на бок и не смог. В комнату вошла Михайловна и помогла ему. Через низкое окно он увидел сад. Где-то за садом заходило солнце, сквозь деревья еще пробивались его лучи. Широкие золотые полосы лежали на дорожках.

«Неужели не придет?» — думал Бутов.

Он посмотрел на садовника, возившегося около клумбы, и подумал о старости. Не так уж далеко до нее, чорт побери! Кажется, недавно еще он был мальчишкой, недавно появилась Лена. Они поженились, родился сын, а теперь со всем покончено...

Все, оказывается, быстро проходит, только воспоминания остаются... И, может быть, когда-нибудь он будет вспоминать и этот день в больнице, койку и яблоки, принесенные курсанткой.

Бутов закрыл глаза, а когда открыл их, в саду уже были сумерки.

Опять вошла Михайловна и стала прибираться на тумбочке около его постели. Он поморщился, ее присутствие раздражало его.

«Чего это она там копается?» — подумал он, поднял глаза и вдруг увидел на пороге Лену.

— Сашенька! — вскрикнула Лена, бросилась к нему и, остановившись у самой постели, сказала: — Я ведь ничего не знала, Саша. Представь себе...

Михайловна оглянулась и по глазам Александра Сергеевича поняла, что нету, не первую барышню, он поджидал. Обидевшись, непонятно, на что, она сказала сердито:

— Нельзя, нельзя на кровать садиться. Не позволяет доктор, сердчает.

Потом вышла в коридор и сказала другим сиделкам:

— Такой больной красивый... Было

бы у мст'я три дочки, любую бы за него отдала, а была б молодая, сама бы пошла.

И все засмеялись.

Лена все же села на кровать, рядом с Бутовым.

— Почему ты так поздно? — спросил он.

— Я не знала, Саша... я только сегодня вернулась с дачи. Мне никто ничего не говорил...

Она замаялась. Сказать об аварии ей мог только Никита.

— Никиту переводят отсюда? — спросил Бутов.

Лена кивнула головой.

Бутов хотел было спросить, уезжает ли она тоже, но по выражению ее лица он и так видел, что уезжает.

Он долго смотрел на нее. Лена загорела. Волосы у нее чуть выгорели на солнце.

— Женька здоров?

— Здоров...

Она сидела, чуть ссутулившись и опустив голову.

Бутов вспомнил, как десять лет назад она прибежала к нему в комнату, — он снимал тогда комнату у ее матери, — и, захлебываясь от слез, сказала, что непременно умрет, если он уедет учиться. Ей было тогда пятнадцать лет.

В тот же вечер они сидели вдвоем на паперти церкви. Он поклялся, что ровно через три года приедет из авиационной школы и увезет ее с собой.

Луна в тот вечер заливала церковный двор. Песок белел, как снег. Сторож, крихтя и охая, вышел из будки и подозрительно посмотрел на них, а они, задыхаясь от хохота, перелезли через ограду и убежали.

Рядом с церковью была базарная площадь. На площади лежали в загородках горы полосатых арбузов. Арбузы под базарный день свозились из окрестных деревень еще с вечера. Они купили тогда большой арбуз и тут же его съели...

Бутов посмотрел на Лену, на ее узкие руки, охватившие колени, и тихо спросил:

— А помнишь церковь?

Лена молчала.

Бутов понимал, что спрашивать об этом не надо. Но все-таки еще раз хотел спросить — помнит ли Лена, помнит ли, какие они были тогда. Бутову хотелось говорить о чем-то главном. Но после того, как выяснилось, что Лена переезжает к Никите, приходилось говорить о мелочах, о каком-то женькином костюмчике, забытом в шкафу, о кастрюлях, которые Лена ни за что не хотела брать с собой, чтобы «не разрушать дом».

Это было смешно и трогательно. Чувство растроганности, которое всегда вызывала в нем Лена, мешало ему ощущать обиду. Он думал только о ней, о ее судьбе. И теперь он спросил:

— Ты уезжаешь?

Лена кивнула головой.

— Саша, — сказала она, стараясь улыбнуться. — Саша! Мы ведь сами во всем виноваты, сами... Я ведь тебе говорила, что Никита за мной ухаживает. Зачем ты оставил меня одну, зачем уехал? Я так плакала, когда ты уехал. Мне страшно было, я боялась оставаться без тебя с Никитой. А ты все писал веселые письма... — Она вытащила из сумочки маленький платочек и высморкалась. — Ты как будто нарочно писал веселые письма, а я с ума сходила от тоски. Это правда, Саша, — ты не смейся...

Бутов улыбался, чуть скривив угол рта. Он взял ленину руку в свою. Рука была холодная. Лена горячо говорила что-то, часто прикладывая платок к глазам.

«Все равно... — думал Бутов, — я сам во всем виноват. Ведь Лена рассказывала, что к ней приходит Никита. «Мне так скучно, — жаловалась она. — Тебя никогда нет дома. А он — смешной!..». И сам он, шутя, предостерегал жену: «Смотри... влюбится!..». «В меня? — смеялась Лена, — да что ты? Он меня считает совершенно безупречной женой...».

Да, все это было так... Проводя целые дни в школе, Бутов часто думал о жене и сыне, и чувство приятной уверенности, что в уютном домике с желтыми ставнями его ждут, делало его счастливым. А Лена скучала.

Бутов отпустил ленину руку и, отгоня воспоминания, встряхнул головой. Он услышал последние слова Лены:

—... а я тебя всегда очень, очень любила... с тех пор...

Это означало ту самую ночь, церковного сторожа и полосатый арбуз. Бутов горько улыбнулся.

Заняла оперированная нога, и он вспомнил мчащийся к земле самолет, свою борьбу с ним и собственный крик... О чем он подумал тогда? Он не помнил.

А когда очнулся в больнице, то все было уже позади... Зеленая трава аэродрома и разбитый самолет...

— Ну, я пойду, — сказала Лена и встала, напуганная и удивленная его молчаливостью.

— Никита ничего не говорил, — спросил Бутов, — аварийная комиссия была уже?

Лена отрицательно покачала головой. Ей все время хотелось спросить у Бутова, больно ли ему, опасный ли перелом, но она не решалась. Ей нужно было завтра уезжать. Никита торопил ее, боясь, чтобы она не осталась ухаживать за Бутовым. Она снова всхлинула и, доставая из сумочки платочек, вспомнила:

— Тебе Женька послал...

На конверте было написано женькиной рукой большими печатными буквами «папе», а в конверте лежала измятая мертвая бабочка, желтая, с черными пятнышками.

Бутов представил себе Женьку, теплые, всегда грязные его руки, вспомнил прогулки с ним по выходным дням в поле, погоню за бабочками и закричал, почти плача:

— Уходи, Лена... уходи, пожалуйста!..

Но Лена вдруг бросилась к нему и, прижавшись к его плечу, целуя его шею, любимое ее местечко около уха, горячо зашептала:

— Как же ты останешься, Саша? Как же я уеду? Ведь это навсегда, Саша, пейми...

— Ну, ничего, ничего... — тоже шопотом сказал Бутов, глядя ее волосы. — Ну, успокойся, не надо... Женьку там

береги... Как-нибудь обойдется... Ты иди, Лена, тебе пора...

— Да, поздно уже... — сказала Лена, встала и сделала какое-то странное движение пальцами. — Прощай, Саша...

Он поцеловал ей руку и рывком повернулся к стене, застонав от боли.

Когда Михайловна заглянула в комнату, Лены уже не было, а больно как будто спал. Она вышла и плотно прикрыла за собой дверь.

☆

Через две недели Бутову позволили выйти в сад.

Чуть прихрамывая, в сером больничном халате, он прошел по коридору и спустился по каменным ступенькам крыльца. Он как будто возвращался в мир заново. Щурясь, смотрел на солнце, комкал в пальцах сорванный лист.

В саду было очень тихо.

Изредка из-за ограды доносились голоса, шум шагов, гудок автомобиля. По песчаной дорожке деловито прыгали воробьи. Ленивая, сытая кошка дремала на ступеньках крыльца. Время от времени она беспокойно приоткрывала один глаз и, как будто убедившись, что воробьи здесь, снова засыпала.

Бутов сел в плетеное кресло. Кошка, воробей, солнце — все это веселило его. Он ходил по земле, он выздоравливал.

Долгие дни, проведенные в постели, истомили его. Однообразие этих дней нарушала только Лиза Тошаква. Она приходила почти ежедневно. Бутов не задумывался над тем, почему она так часто приходит; он поджидал ее с нетерпением; она связывала его со школой, рассказывала новости.

О школе он думал всегда с волнением. Результатов работы аварийной комиссии он не знал. « Попрошу перевода » — думал он.

Оставаться одному в городе, где он жил раньше с Леной и с Женькой, было тяжело.

Пришел садовник и, вежливо поклонившись Бутову, стал окапывать кусты роз. Бутов часто видел его из окна палаты.

Сейчас, подстелив свою курточку, старик сел на траву. Лопатку и ножницы он положил подле себя.

Поработав, он достал из кармана куртки письмо и, видимо, не в первый раз перечитывая его, покачал головой.

— От барышни письмо получили? — пошутил Бутов.

Старик тихонько засмеялся:

— Где уж мне...

Потом придвинулся к Бутову и сказал грустно, хлопая рукой по конверту:

— От сына письмо.

И стал рассказывать Бутову, что есть у него сын Владек, живет он в Польше, в Варшаве. Военный инженер на корабле. Отправил он Владека в Польшу в 20-м году, чтобы сестра дала ему там образование. И что же вышло? Владек там, а отец про ту «проклятую Польшу» и думать не хочет.

Андрей Валерьянович долго рассказывал о своей жизни, о похвальном листе от «министерии земледелия», о медалях на всероссийской выставке, о грамоте ударника, полученной в тресте зеленого строительства.

— Все у меня хорошо... — сказал он. — Я ведь только шеф в больничном саду. А работа моя — в оранжерее. Научная у меня работа... — И вскрикнул. — А сына у меня нет... Сын мой — на другом берегу.

Бутов вспомнил Женьку.

Измученный операцией, он до сих пор мало думал о нем. Зачем он его, в сущности, отдал?

— Вы чего такой белый сразу стали? — испугался Андрей Валерьянович.

— Ничего, ничего... — сказал Бутов. — Пустяки...

— То-то же... — Андрей Валерьянович спрятал письмо в карман. И вдруг энергично сказал: — Меня, знаете, куда зовут? На побережье Черного моря. В совхоз цитрусовый техноруком... Вот возьму и поеду. — Он притопнул ногой, как будто собирался танцевать.

— Ну, и поезжайте... — сказал Бутов, пораженный энергией старика.

— А жена? Жена у меня больная, — не пустит.

Андрей Валерьянович покачал головой. Он переходил от куста к кусту,

уходя все дальше и дальше от Бутова, пока кусты и вовсе не заслонили его.

Чужая жизнь пронеслась перед Бутовым. Чужие невзгоды, вызывая в нем сочувствие, переплетались с собственными; он думал о сыне Андрея Валерьяновича так, будто сын этот и был Женька.

Он представлял себе Женьку в ночной рубашке, в трусах, загорелого летом и беленького зимой, капризного, плачущего, веселого.

Только болезнью Бутов мог объяснить свое поведение. Или он просто не подумал, что Лену и сына можно друг от друга отделить?

«Я его заберу, обязательно заберу, пусть он подрастет только. А пока проживу один... — думал он. И тихо пропел: «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман...». Потом оборвал мотив и вдруг сказал шопотом: «Если в аварийной комиссии Чистяков — дело плохо!».

Мысли о разбитом самолете беспокоили его.

На дорожке показалась Тошаква. Она нерешительно поглядывала по сторонам, очевидно, не зная, где его искать.

— Лиза! — позвал Бутов, обрадовавшись.

Она быстро повернула голову, волосы ее сверкнули на солнце.

★

До выписки оставалось несколько дней. Во время утреннего обхода доктор шуточно сказал Бутову:

— Дело идет на лад, Александр Сергеевич... Через два-три дня — ауф видерзеен...

И пошевелил при этом двумя пальцами левой руки, как будто показывая ребенку «зайчика».

Бутов выслушал сообщение без особой радости. Ему некуда было торопиться. Больница выключила его из жизни.

С трудом заставляя себя думать о дальнейшем, он решил, что придется выписать к себе мать, но и мать ему не хотелось видеть. Пришлось бы объяснять ей всю историю с Леной.

«Незачем...» — подумал он.

Какое-то нелепое чувство обиды, не решительности и пустоты все время не покидало его. Он казался себе немного смешным. В голову лезли обрывки каких-то романсов и песенок о любви, которые певала Лена: «Кто раз любил, тот понимает...».

Перед вечером он гулял в саду. Казалось, он давно уже живет здесь, знает все дорожки, знает, на какое место упадет сквозь листву луч.

Бутов не подозревал раньше, что он способен любоваться солнечным пятном на дорожке. Он не знал, что любит природу. С детства, которое он провел в маленьком городке, он привык, что весной под окнами буйно цветет сирень, летом — розы и еще какие-то пестрые цветы.

Заходящее солнце пылало на стеклянной террасе, будто в окнах горели костры. Закат нависал над садом. Тихо шелестели деревья, потрескивала желтеющая трава, будто кто-то шевелил ее.

Бутов сел в кресло.

Вдруг хлопнула калитка. Бутов оглянулся. По дорожке, усыпанной гравием, шел бритоголовый, по-военному подтянутый человек. Бутов не сразу узнал его.

«Удивительно похож на Семенова» — подумал Бутов. И вдруг понял, что это Семенов и есть.

— Петр Иваныч! — закричал он радостно. — Ты что же это, чорт, обрился к осени? Никак не мог узнать.

— Лысею, — уныло сказал Семенов, разглядывая Бутова. — И так пробовал, и этак. И мазями, и электричеством. Не помогает. Взял и совсем обрился. Говорят, будут лучше расти. А ты такой же рыжий, как был...

— А ты думал, я тут черным стану? — Бутов рассмеялся.

Этот смех успокоил Семенова. Он все не мог собраться проведать Бутова. Со дня на день откладывал посещение больницы. В школе было горячее летное время. Да и, кроме всего, ему неловко как-то было после случившегося встречаться с товарищем. Пошел он только потому, что узнал — тот со дня на день должен из больницы выйти. «Нескладно как-то вышло, — думал Семенов, идя в

больницу, — бросили парня одного в беде!».

Смех Бутова, обычный его голос и быстрый из-под нахмуренных бровей взгляд сразу же вернули все в привычную колею. Бутов не изменился.

— А я, брат, давно в больнице не был, — сказал Семенов, оглядываясь по сторонам. — Жену навещал, когда она Вальюшку родила, а сам давно не лежал.

Семенов отошел на несколько шагов в сторону и потащил кресло, стоявшее под деревом.

— Ты что же, совсем поправился? — спросил он, пятясь с креслом.

Под ногами его шуршал гравий.

Семенов уселся в кресло, вытянув вперед ноги в широких, тщательно начищенных ботинках:

— Я в последний раз, знаешь, когда в больнице лежал? В начале двадцатого года. Я тогда в отряде у Васи Федорченко служил. Слышал, может, Федорченко, Василий Петрович? Он теперь в гору пошел, где-то там в центре, в штабе военно-воздушных работает... А тогда командиром отряда был.

Семенов поудобнее устроился и продолжал говорить, как будто и пришел только затем, чтобы рассказать эту историю.

— Вылетел я по заданию на разведку. Возвращаюсь, сажусь неудачно. Одним словом, пожар. Самолеты, знаешь, какие тогда были, — гроба. Я горю, все на мне трещит. Нам как-раз перед тем новенькие кожаные комбинезончики выдали. Кое-как из машины выбрался, свету божьего не вижу. На машину оглянулся: костер один. Я — через поле, а за лесочком — как-раз село и больница. Прибежал туда и свалился без памяти. Лежу день, лежу три, охаю, кричу, как свинья недорезанная. А меня, оказывается, похоронили уже. Чудаки наши думали, что я с самолетом сгорел. Там близко кости какие-то валялись. Собрали пепел, похороны устроили, речь говорили. А тут наступление готовится. Доктор идет к Ваське и говорит: «Чего же вы своего больного не забираете?» — «Да какого больного?» — «Летчик лежит». Прибежали за мной, взяли. И мне

же еще выговор за то, что ввел отряд в заблуждение... Обиделся я. Говорю: «Хоронили-то, мол, как героя, а живому — выговор». Отменили...

— Аварийная комиссия была? — вдруг прямо спросил Бутов. — «Чего это он мне басни рассказывает» — зло подумалось ему.

— Была, — сказал Семенов. — Признали твою вину частично. Тебя же в школе знают. Слава богу, не первый год работаешь...

Стало почти темно. На террасу вышла Михайловна и, вглядываясь в сумерки, крикнула:

— Александр Сергеевич! Ужинать!.. Бутов встал.

Семенов тоже встал и сказал грустно, как будто прощаясь навсегда:

— Так-то, Саша. — И прибавил: — Выпишут тебя, ты прямо к нам приходи. Анна Ивановна приглашала. Выпьем малость. Она, Саша, такие, брат, наливки настояла... букет!

Бутов злился. Что-то обидное было в этом приглашении... «Пригревают, как бездомного пса...».

— Спасибо, приду, — громко сказал он. — Ты мне так и не рассказал, как там в школе?

— Александр Сергеевич! — еще раз позвала Михайловна.

— Ну, ладно, — сказал Семенов, прощаясь. — Выйдешь, все узнаешь. Особенных перемен нет... Федю Новикова врид командиром отряда назначили...

— Это вместо меня? — чуть дрогнувшим голосом спросил Бутов. И заставил себя улыбнуться. — А ты говоришь: «частично...».

Ошеломленный, он пошел по дорожке, направляясь к террасе, потом, остановившись, крикнул:

— Анне Ивановне привет передай, слышишь?

— Ладно... — издали уже ответил Семенов.

«Значит, все очень серьезно... — думал Бутов. — Серьезнее, чем я предполагал... Что ж это все на меня сразу навалилось? А я, дурак, о переводе думал... Планы строил. — Волнуясь, он сломал ветку с куста и стал обрывать

на ней листья. — Совсем могут из армии списать... А я здесь лежу...».

Не заходя в палату, где ждала его Михайловна с ужином, он пошел искать врача. Несмотря на шлепанцы, он шел уже четко, по-военному. Врач сидел у себя в кабинете за столом и записывал что-то в толстую книгу. Увидев больного, он обеспокоился, но Бутов предупредил его вопросы и сказал:

— Доктор! Мне нужно поскорее вернуться в школу. У меня дела. Нельзя ли мне выписаться завтра? Я чувствую себя вполне здоровым.

★

— Ты пойми, какое положение, Саша... — жалобно сказал начальник Бутову, прижимая руку к сердцу. — Ну разбил бы ты машину в прошлом году. Все бы обошлось пустяками. А теперь. Теперь, Саша, борьба с аварийностью в полном разгаре. По последнему приказу я вынужден заострить этот вопрос.

— Я понимаю, Иннокентий Васильевич... — обиженно сказал Бутов. — Не первый год в школе. Но я никогда не предполагал, что может такая история случиться со мной...

— Бывает... — сочувственно сказал начальник и посмотрел на часы. — Все, Саша, в жизни бывает... Ты только голову не опускай. Поезжай сейчас на курорт. Отдохнешь там, полечишься. Оправишься от всех своих личных передряг, — начальник опустил глаза, — потом видно будет... еще таким орлом станешь... О чем там говорить?.. А тем временем закончит работу комиссия...

«Попал под кампанию... — подумал Бутов. — Был раньше незаменимый, не отпускали из школы, а теперь — пожалуйста... Еще под суд отдадут, чего доброго...».

— Не уйти ли мне совсем из школы? — спросил он, надеясь, что начальник будет махать на него руками и говорить: «Что ты, что ты, Бутов, кто же тебя отпустит?».

Но начальник ответил спокойно, как бы не понимая тайных мыслей Бутова:

— Надо подумать, — сказал он, барабая пальцами. И вдруг, оставив свой прежний жалобный тон, прямо сказал: — Пожалуй, так будет лучше... Видишь ли, с должности командира я тебя сниму все равно. У меня не боевое подразделение, а школа. Мы готовим для армии людей. У нас авторитет командира должен быть высок. В части бы с тобой нянчились, воспитывали тебя, это их обязанность. А я должен думать о курсантах...

— Но в чем же я провинился? — спросил Бутов. — Авария может быть с каждым... Разве у нас в школе не было аварий?..

— На прошлое не ссылайся, Саша, — опять интимно сказал начальник. — Не надо... Вчера одни нормы, сегодня — другие... Но ведь оказалось, что ты плохо владеешь слепым полетом...

— Вы же знаете... — сказал Бутов, покраснев.

— Тем более... — сказал начальник. — В воздухе у летчика ничего, кроме полета, не существует... Я тебе еще раз говорю: поезжай, полечись, там видно будет... Мы тобой дорожим...

«Дорожите» — думал Бутов и разглядывал морщинистое лицо начальника, удивляясь тому, что он раньше уважал его и даже гордился тем, что начальник хорошо к нему относится. — «Просто хотят Федю Новикова на мою должность назначить» — думал он, раздражаясь.

Он ушел от начальника с тяжелым чувством обиды. Еще тяжелее было ему на бюро.

На бюро первым выступил Ситницкий, приятель Бутова. Хмурясь, он сказал, что Саша Бутов, конечно, хороший парень, и летчик он тоже неплохой, несмотря на аварию. «Но Саша, — сказал Ситницкий, — в последние месяцы не работал над собой, довольствовался старым багажом. Сейчас положение изменилось. Если раньше мы выпускали курсантов, не знакомых с слепым полетом, то сейчас мы должны давать им и ночной, и слепой налет... Я считаю правильным приказ о снятии Бутова... Летчики-коммунисты должны в первую очередь добиваться освоения техники...

Если мы сейчас в разгаре борьбы с аварийностью не поддержим начальника, это будет крупнейшая политическая ошибка...».

О Бутове все как будто забыли и стали горячо обсуждать мероприятия по борьбе с авариями, которые надо провести во всех подразделениях.

«Что же они меня заживо хоронят? — думал Бутов. — Разве обо мне вопрос уже решен?..».

Он с обидой вспомнил, как докладывал на бюро о своей работе. Выступали те же люди, что и сегодня. Тогда они хвалили его.

«Я им это скажу, — подумал Бутов, — обязательно скажу...». Но вспомнил, что на бюро он отчитывался в прошлом году. А с тех пор... С тех пор многое изменилось... Он вспомнил испуганные глаза Лены, когда она сказала ему, что сошлась с Никитой, ее отчаяние, сплетни знакомых, собственные муки, настойчивость Никиты, предъявлявшего какие-то права на Лену.

Все смешалось. Стараясь разобраться во всем, что случилось, он хотел тогда выбрать главное. Главное была Лена. После долгих колебаний он предложил ей все забыть. Она согласилась.

А потом снова появился Никита. Лена ушла к нему. Но часто, возвращаясь домой, Бутов заставлял ее у себя. Она сидела на диване, плакала. Когда она уходила, Бутов долго смотрел ей вслед. Опустевший дом угнетал его. Угнетало одиночество, пыль на мебели, грязная скатерть на столе. Он скучал без сына.

Правда, он и сам часто думал тогда, что надо подтянуться, почитать новые пособия, полетать в тренировочном отряде. Но время шло, а он все откладывал, откладывал...

«И вот дождался...» — подумал Бутов.

Но видеть в происшедшем свою вину было ему тяжело, он отогнал от себя такую мысль. Ему казалось, что если б секретарь партбюро не был в отпуску, все было бы иначе. «Он отстоял бы меня... Он же меня знал... Мы вместе были в подшефном колхозе...». Он смотрел в лица товарищей, стараясь увидеть недоброжелательство, вспоминал какие-то

ссоры. Но ничего такого не было. И от этого становилось еще досаднее. Бутов жалел себя. Но когда выступил Семенов и стал защищать его, Бутов перебил его и закричал, что ему не надо защитников, ошибки надо исправлять работой.

— Что ж, это правильно... — сказал Ситницкий.

Когда бюро окончилось, Бутов не знал, что ему делать. Прежде он любил шум, который поднимался после заседания, когда все сразу начинали вставать, ходить по комнате, говорить, закуривать, пить воду. Но сегодня между ним и товарищами лежала какая-то преграда. В нерешительности он остановился у двери. К нему подошел Ситницкий. Все стали разговаривать с Бутовым, как ни в чем не бывало. И ему приятно было, что его никто не жалеет.

«Значит, считают еще человеком» — думал он, поджидая Семенова. Ему уже стыдно было, что он так резко Семенова оборвал.

— Ты меня извини, Петр Иванович... — сказал Бутов.

— Ладно, ладно... — пробормотал тот и сказал: — Ну, идем ужинать...

После возвращения из больницы Бутов почти все время проводил в семье у Семенова. Анна Ивановна встретила его, как родного. Бутов особенно ценил то, что она попрежнему хорошо отзывалась о Лене. Другие знакомые почему-то ругали ее, уверенные, что этим они доставят удовольствие покинутому мужу. Сам Семенов относился к Бутову с грогательной нежностью, заставлял его кушать и кричал на младших детей, чтоб не приставали к «дяде Саше».

И сегодня Семенов сказал:

— На ужин Анна Ивановна обещала сырники со сметаной. Ты любишь? Посидим, потолкуем. Детвора, наверное, уже спит...

Бутову хотелось зайти к Лизе, — он как-то привык уже к ней, — но неудобно было отказаться от приглашения Семенова.

Анна Ивановна, седая, несмотря на свое молодое, румяное лицо, вышла им навстречу и, осторожно держа перед собой испачканные мукой руки, сказала, как бы успокаивая мужчин:

— Сейчас будет готово...

За столом, подперев кулаками лицо, сидел Володя, старший сын Семенова. Перед ним лежала книга. Он встал и, захлопывая книгу, сказал:

— Здорово я сегодня провернул... Повторил всю «теплоту» с задачами и примерами.

Володя готовился к экзамену в университет.

Семенов пошел к жене на кухню, а Володя сказал, полузакрыв глаза:

— Вы знаете, товарищ Бутов, мне кажется, что из меня выйдет классный ученый...

«Молодость, молодость... — грустно подумал Бутов. — Все у тебя впереди... А потом, как стукнет по башке, держись только...».

Вошла Анна Ивановна и деловито стала рассказывать, что прачка принесла Бутову белье.

— Я все пересмотрела, — сказала Анна Ивановна, — пришила пуговицы, зашила, где надо...

— Зачем же вы затруднялись? — краснея, сказал Бутов. — Я бы и сам мог.

— Знаю я вас, — сказала Анна Ивановна, — будете пуговицы к белью черной ниточкой пришивать.

Сели за стол. Над столом чуть покачивалась лампа в большом оранжевом абжуре. Володя рассказывал про футбольный матч между курсантскими командами. В открытое окно залетели ночные бабочки. Вкусно пахли поджаренные, золотистые сырники.

Бутову приятно было сидеть за столом в семье. Но он вспоминал стол, за которым ужинал с женой и сыном, и ему становилось грустно.

«Все мне придется начинать сначала, — думал он. — Всю жизнь...».

★

Уезжая, Бутов надел штатский костюм. Он и прежде не любил носить на курорте летнюю форму, но теперь чувствовал себя в штатском неуклюжим и все время одергивал рукава пиджака.

По дороге в санаторий он все время лежал на верхней полке, прикрыв глаза,

чтобы ни с кем не разговаривать. Даже читать ему не хотелось.

Место на нижней полке напротив занимала какая-то худенькая женщина, которая все время ела. Почти на каждой остановке она покупала жареных кур, яблоки, помидоры. Когда бы Бутов ни посмотрел в ее сторону, он видел большой жующий рот. «Вот фараонова королева» — думал он, раздражаясь.

Это состояние тайного раздражения и недовольства не покидало его и в санатории. «Выбрал время для отдыха» — думал он, досадуя, что пришлось выполнить приказ начальника и ехать на курорт.

В санатории соседом его по палате оказался пожилой, грузный и немного мрачный человек с красным лицом.

Прошло несколько дней, прежде чем он поближе познакомился с соседом.

Как-то утром Иван Тимофеевич сказал:

— Что вы все на балконе сидите, Александр Сергеевич? Пошли бы лучше в горы... Если желаете, пойдём после завтрака вместе. Скучно мне одному. Какие-то девицы полуголые мимо бегают... Тьфу, думаю, оглашенные...

Бутов улыбнулся.

— Дело летнее, — сказал он. — Всем загорать хочется... Дома ведь уже осень.

— Это правда, конечно, — неохотно согласился Иван Тимофеевич.

После завтрака они вышли из санатория. Сильно припекало солнце.

— Надо было раньше выходить, — сказал Иван Тимофеевич, вытирая большим платком шею.

В парке было много гуляющих. Все скамейки под тенистыми деревьями были заняты пожилыми женщинами, стариками и детьми. По аллеям, испещренным солнечными пятнами, с деловым, озабоченным видом шли загорелые женщины в пестрых сарафанах и мужчины в белом.

Деревья изнемогали под тяжестью листвы.

Только изредка медленно проплывала по синеве белая, прозрачная дымка.

— Хорошо! — сказал Бутов, жадно вдыхая воздух.

Он шел, энергично размахивая руками, улыбаясь. Солнечный день, могучие сосны, акации с крупными листьями, каких он никогда не видал раньше, коричневые спины женщин, идущих впереди, смех, горный воздух — все веселило его.

Они вышли на поляну. Далеко на горизонте, врезываясь темной линией в небо, виднелись горы. На траве, у самой дорожки, по которой шли Бутов и Иван Тимофеевич, раскинув в стороны руки, лежали, загорая, полуголые, красные, разомлевшие от жары люди.

— Я же вам говорил — одно безобразие... — сказал Иван Тимофеевич, подтакнув спутника. — Ну, посмотрите... Как на пляже...

Бутов и Иван Тимофеевич обошли ложбину, на дне которой играли в футбол мальчишки, и присели отдохнуть на скамье, под нависающими глыбами красного камня. За поворотом дорожки раздался женский смех, потом послышалась песня.

Иван Тимофеевич неожиданно сказал:

— Все могу отдать за хорошую песню... Эх, люблю...

И вздохнул.

Песня сразу же оборвалась.

На дорожке показалось несколько девушек. С ними шел летчик в щегольском, белоснежном кителе...

— Хо, Сашка! — закричал летчик преувеличенно громко, увидев Бутова. — Сколько лет?

Он сделал попытку остановиться, но девушки потащили его за собой.

— Заходи ко мне, — крикнул еще раз летчик, — я в «Красной поляне», палата 20... — И, уже скрываясь из виду, спросил: — А ты где летаешь, орел?..

— Все там же... — неуверенно ответил Бутов.

Иван Тимофеевич внимательно посмотрел на Бутова, окинул взглядом его руки, плечи, но ничего не спросил. И только позже, когда они, взобравшись по крутой тропинке наверх, вышли к обрыву, сказал:

— Я ведь тоже сидел за штурвалом когда-то, а теперь за баранкой. Шофер...

— Почему так? — спросил Бутов, вглядываясь в горизонт.

Кругом были горы. На склоне их пастухи в больших мохнатых шапках пасли коров. На тропинке сидела большая собака и, шевеля хвостом, выжидающе смотрела на Бутова.

— Представьте, гуляющих поджидает... — сказал Иван Тимофеевич про собаку. — Приспособилась. Выходит сюда и ждет. Ну, конечно, ее кормят. Многие с собой хлеб там несут, колбасу, закусывают после прогулки...

Было тихо. Дышалось легко. Бутов не чувствовал усталости, ему все хотелось идти вперед и вперед, подниматься все выше и выше.

— Так пойдем? — спросил Иван Тимофеевич. И, когда они пошли, спокойно стал рассказывать: — История, Александр Сергеевич, у меня простая... (Он нагнулся и поправил на ноге сбившийся шлепанец.) Летал я, как все летали, ничем особенно не выделялся. Пил... Но в те годы многие пили... Слышали сами, как старый летчик на свое дело смотрел. Хоть час, да мой... А я к тому же отличался упрямством. Это у меня черта фамильная. У меня мать — она еще до сих пор жива — такая упрямая кержачка. Летал я на линии с пассажирами и почтой... Было это в Средней Азии... Пыль, жара... Вспомнить противно. Летишь над песками, материальная часть неважная, смотришь вниз и думаешь: тут, если вынужденная, вовек не выбраться... Засыплет песком. В общем, скучная жизнь. А я человек, как говорится, сильных страстей. Полюблю, так от всего сердца, ненавижу начну — только держись. Помоложе был — женщинами увлекался. Трижды женат был... Когда умерла моя последняя жена, — Маргаритой звали, — решил — точка. Собрал всех детей своих. От Анны сын, она замуж вторично вышла, от Катерины две девочки, после Маргариты грудной малыш остался... А у сестры муж умер, я сестру с мальчишкой к себе перевез. Думаю: ладно, с бабами покончено... Живу, вожусь с ребятами. Товарищи смеются: «Наш Ванька присмирел, в родильном доме теперь пусто стало...». А между прочим,

я вовсе не бабник. Просто не повезло мне на жен. Вы женаты, Александр Сергеевич?

— Я? — Бутов замялся. — Почти холостой... Ну, а дальше что?

— Загвоздка вся в том, что пил я здорово. Сначала все пили, потом компания распадаться стала. Ну, в общем, кончилось плохо. Пришел на аэродром пьяный. Дежурный говорит: «Я тебе, Ваня, летать не советую». А пьяный всегда дурак... «Как, мне, старому летчику, указания делать?..». Строгостей еще не было. Сел в самолет, погрузили мне почту, к счастью, пассажиров не было, а то бы я не с вами, а где-нибудь в лагерях трудовых сейчас сидел, — и вылетел я. Лечу пьяный... На компас смотрю, а того, что в районе моря магнитная девиация сильная, не понимаю... И укатил в пустыню... Горючее вышло. Разложил я машину на составные части. Как сам жив остался, не знаю. Погиб бы там, но помог случай... Племя какое-то кочевое на мою удачу решило перейти на новое место. Подобрали. Финал простой. Судили меня... Лишили звания летчика и так далее. Посидел немного, потом выпустили. Теперь шофером работаю... Зарабатываю ничего, только скучаю.

— А пьете? — спросил Бутов.

— Пить перестал, — ответил Иван Тимофеевич и остановился: — Вы посмотрите, какая кругом красота... Весь хребет, как на ладони... А ведь до него километров полтора ста...

— А неплохо бы над ним полетать? — вдруг спросил Бутов у Ивана Тимофеевича, кивая головой в сторону хребта. И решил тотчас же, что будет проситься на работу в горную местность.

— Я теперь увлекаюсь изобретательством, — сказал Иван Тимофеевич неожиданно. — Я тогда еще, когда около самолета, пораненный, побитый, лежал, дал себе слово отработать за самолет... Потом выздоровел, подумал... Из жалованья мне вовек не выплатить... Хуже, чем алименты... Стал мозгами туда-сюда раскидывать... Думаю: одно изобретательство — верное дело... И представьте, — сказал он с гордостью, — за эти

годы двадцать семь тысяч экономии запатентовал... Мне в управлении даже специальный счет бухгалтерия открыла. Все учитывают... Я по заправке несколько предложений сделал, костыли сконструировал... В математике я не мастак, так мне сын старший помогает. У него мать — бухгалтер. Он способностями в нее...

«Вот это человек» — подумал Бутов, проникаясь уважением к спутнику. И спросил, желая убедиться, что он не ошибся, что он правильно понял Ивана Тимофеевича:

— Это как же? Суд вас приговорил к уплате?..

— Нет, я сам, — удивленно ответил Иван Тимофеевич. — Разбил, надо же заплатить. У меня принцип простой — товарищу за пиво можно и не отдавать, а государственного мне не надо. Пойдем обратно, что ли? Определенно пора обедать.

Они пошли вниз по узенькой, едва заметной тропинке. Итти было легко. Когда Бутов оглянулся, линии хребта уже не было видно, только одна гора врезалась в небосклон острыми вершинами, покрытыми голубоватым снегом.

«Вот это да...» — подумал Бутов и еще раз внимательно посмотрел на красный затылок спутника. И вдруг ему захотелось все рассказать этому человеку.

— Иван Тимофеевич! — сказал он. — У меня ведь тоже сейчас передраги...

И, волнуясь, он рассказал о том, как пошел один в полет попробовать после ремонта машину. Неожиданно надвинулся туман. «Как нарочно, — сказал Бутов, — потому что в наших местах такой туман очень редко бывает». Не видя земли, Бутов растерялся. На машине были приборы, но он не верил им. Ему казалось все время, что машина ложится на крыло. Он выравнивал ее, веря каким-то своим инстинктам и чувствам. Но чувства обманули его.

— До сих пор мне странно... — сказал Бутов. — Кажется, приборная доска передо мной... А голос какой-то шепчет: «Крен, крен». Не мог я побороть этот голос.

— Тренировки не было? — сочувственно спросил Иван Тимофеевич.

— Чорт его знает... — сказал Бутов. — Правда, ночь перед тем не спал. Неприятности у меня были... А тут, — прибавил он, — приказ поступил о борьбе с аварийностью... На мне и заострили, как говорится. Пока я в больнице лежал, — Бутов разгорячился, — такую раздули историю... И до того мне обидно, передать не могу... Хоть совсем бросай летное дело...

— Ну, и дурак, — спокойно сказал Иван Тимофеевич. — Что же ты, на работу разве не устроишься? Моментально устроишься.

— Конечно, устроюсь. Да я и в школе могу остаться, никто меня не гонит. Но неудобно как-то...

— Обижаться не стоит, по-моему... — сказал Иван Тимофеевич. — Это последнее дело обижаться. Ты на себя обижайся, если виноват. Да и то не стоит, работать надо... А что ты мне давеча сказал, когда я спросил — женатый ли?

— Ушла от меня жена... — сказал Бутов, отвернувшись.

— Ну, это ничего... Парень ты красивый, видный, другую найдешь... Теперь мне все понятно... Все понятно... — повторил Иван Тимофеевич и стал нахвистывать какой-то мотив.

Бутов шел за ним и думал, что встреча эта не пройдет для него бесследно. Он как будто выходил из темной комнаты на яркий свет. Он не принял еще никакого решения, не знал, что именно будет делать после курорта, но в одном он был уверен — вчерашнего Бутова, удрученного неудачей, больше не было, был Бутов, готовый бороться за успех в жизни.

★

Ночью Лиза долго не могла уснуть. Письмо, которое она получила от Бутова, лежало под подушкой. И, хотя в письме ничего особенного не было, Лиза волновалась, часто доставала его из-под подушки, пыталась прочесть.

Она думала о том, что Бутов одинок и несчастен. Ей хотелось прочесть между строк, что она нужна ему, что он зовет ее. Но этого в письме не было.

«А может быть, он думает, что меня смущают его неудачи. Мне безразлич-

но, командир он или рядовой летчик. Все равно, он хороший... Я его люблю... Я хочу быть с ним, раз ему тяжело...».

Луна, полная и яркая, заливала всю комнату, освещала голые черные деревья в саду. Белые тюлевые занавески на окнах казались голубыми.

Лизе хотелось встать, накинуть на себя платье и выйти в сад. Но она боялась разбудить мать. Мать спала рядом, на соседней кровати.

В письме Бутов сообщал, что он много гуляет, ходит в горы вдвоем со своим соседом по палате, вспоминает о Лизе и жалеет, что ее нет с ним... «У вас ведь уже осень...» — писал Бутов.

«Да, у нас осень» — подумала Лиза.

Ей хотелось сегодня по-особенному красиво думать. Подруг у нее не было, поделиться своей радостью она ни с кем не могла. Весь день она вспоминала Бутова, разговоры с ним, часы, проведенные с ним в больничном саду. Вечером она вылила зачем-то несколько капель одеколона на свою постель и, не уживая, легла.

Сон не приходил.

Лиза лежала на спине, подложив под голову руки. Там, где отдыхал Бутов, жила лизина тетка. Тетка давно уже звала Лизу в гости, значит, она сможет поехать так, чтобы никто — ни мать, ни сам Бутов не знали, зачем она туда едет.

«Эх, если бы мама отдала мне свое пестрое платье» — подумала Лиза и представила себе, как хорошо бы она выглядела в этом старинном, из добротного шелка платье. Конечно, его надо будет перешить.

Платье много лет лежало в сундуке, завернутое в бумагу. Мать говорила всегда, что она слишком стара для него, а Лиза слишком молода. Лиза не спорила. Но теперь ей хотелось, чтобы Бутов увидел ее, такую тоненькую, в шелковом платье с широкими рукавами.

Вообще же, нарядами она не интересовалась. Волосы зачесывала гладко. Летом носила туфли на босу ногу.

Они жили с матерью вдвоем.

Мать, красивая, высокая женщина, работала кассиршей в магазине авиа-

городка. Лишних денег в доме никогда не было.

Отца лизиного убили под Перекопом, но мать не верила, что его нет в живых, и все надеялась, что он когда-нибудь вернется. «Ты себе не представляешь, что это за человек, — говорила мать, — такого не могли убить. Если мне скажут, что он в Австралии готовит революцию, я нисколько не удивлюсь...».

Вся жизнь была заполнена воспоминаниями об отце.

Лиза старалась жить тихо, чтобы не мешать матери.

Иногда приезжала бабушка из деревни, плакала и корила мать, почему она не выходит замуж. «Так и будешь жить с дитем на руках?» — спрашивала она.

«Неужели я для мамы обуза? — думала в страхе десятилетняя Лиза. — Ведь я чашки мою и на огороде работаю».

И ей, начитавшейся книг не по возрасту, казалось, что мать принесла свою жизнь ей в жертву. Лиза отказывала себе в развлечениях, редко ходила в гости к подругам, старалась всячески угодить матери.

Когда Лиза кончила семилетку, она решила никуда не уезжать учиться, чтобы не расставаться с матерью, а поступить в летную школу, где работала мать. Они решили, что Лизе лучше поступить в звено мотористов.

Экзамен Лиза сдала хорошо, и ее приняли.

В школе Лиза впервые увидела Бутова. Он сразу же понравился ей, высокий, чуть рыжеватый, с веселой, добродушной улыбкой. Но за все три года, что она училась, ей не приходилось с ним разговаривать, и она жалела, что послушалась мать и пошла в звено мотористов. Лучше бы ей летать в отряде у Бутова.

Лиза считала себя неудачницей. Она была застенчива и обидчива и каждое свое маленькое горе переживала глубоко и долго. Товарищи считали ее недоτροгой, хотя и уважали ее, — она очень хорошо училась.

Ближе они с ней не сходились, потому что она жила не в общежитии, а в поселке вместе с матерью. Лиза же дума-

ла, что все считают ее некрасивой и поэтому предпочитают общество, может быть, более глупых, но зато хорошеньких девушек.

Из гордости она никогда не оставалась на вечерах в клубе, боясь, что весь вечер просидит одна и никто не заговорит с ней. В глубине же души она надеялась на большое счастье и верила, что неожиданно придет какой-то замечательный человек и полюбит ее.

Может быть, он скажет ей:

— Я вижу, какое у вас нежное сердце, Лиза.

Знакомство ее с Бутовым произошло уже перед самым окончанием школы.

Звено работало в ангаре, проверяя моторы на самолетах. У курсанта, который работал рядом с Лизой, что-то не ладилось, и он, выведенный из терпения, вдруг грубо выругался.

Лиза заплакала. Ей обидно и горько стало, что товарищи не считаются с ее присутствием. Она плакала, прислонившись головой к плоскости самолета. Плечи ее вздрагивали.

В это время в ангар вошел Бутов. Обычно тихий и вежливый, он резко кричал на курсанта, когда узнал, что произошло. Лиза подняла на командира заплаканные, благодарные глаза и подумала, что, может быть, только он один и понял, почему она плакала.

С этой минуты она его полюбила.

Теперь Лиза вспоминала это и думала, что в жизни все происходит неожиданно. Тогда она и мечтать не могла о более близком знакомстве с Бутовым. С какой завистью смотрела она всегда на его жену.

«А что, если она захочет к нему вернуться?» — вдруг подумала Лиза.

И, любясь своим великодушием, представляла себе, что они с Бутовым живут вместе, и вдруг возвращается Лена с сыном и плачет. «Я женат» — говорит Бутов и держит Лизу за руку. Но Лиза выходит вперед и говорит: «Нет, Саша, это ведь мать твоего сына...».

И, заранее ощущая всю горечь расставания с Бутовым, Лиза заплакала, повторяя все время мысленно: «Саша, Саша, Саша».

★

Две недели спустя Лиза поджидала Бутова в парке под часами. Ей было холодно, и она накинула на плечи мохнатое полотенце. Солнце еще не всходило. Последние бледные звезды потухали в небе. Меж соснами, как будто зацепившись за ветки, висела огромная бесцветная луна.

Уборщицы, в синих выгоревших халатах, подметали дорожки. Проехала телега, доверху нагруженная желтыми, сухими листьями. «Вывозят осень из парка, — подумала Лиза. — Ну что же он не идет?». И опять стала смотреть в том направлении, откуда должен был появиться Бутов.

Они условились выйти на прогулку рано, чтобы взобраться на вершину горы прежде, чем начнется жара. Днем солнце грело совсем полетнему.

Увидя Бутова, Лиза вскочила и стала махать ему полотенцем.

— Эй, вы, соня! — закричала она.

За эти дни отношения их стали совсем простыми.

— Опять проспали? — спросила она, здороваясь.

— Проспал, — виновато моргая, признался Бутов.

— А меня из-за вас тетка ругала... — укорила Лиза. — Не верит, что я с вами раньше знакома была. Я говорю: «Что вы, тетя? Это же наш командир. Мама его тоже знает».

Болтая о пустяках, они пошли по усыпанной камешками тропинке, обогнали какого-то толстяка в смешной детской панамке.

Запели птицы. Взошло солнце, и тотчас же из-за порозовевших камней стали вылетать бабочки. В траве затрещали кузнечики. Началось утро.

Они шли по дорожке, пробитой в камнях. Слева стеной стояла гора, поросшая лесом, справа она обрывалась, — глубоко внизу было вспаханное поле, кое-где стояли домики, паслись коровы.

У самого горизонта сверкала на солнце снежная вершина Эльбруса.

Трава была еще мокрая от росы.

Бутов смотрел на Лизу сбоку, слушал

ее болтовню и рассеянно улыбался каким-то своим мыслям.

— Вы почему все молчите? — спросила внезапно Лиза, останавливаясь. — Думаете, я буду все время за двоих говорить?

— Не хочется говорить, Лизок...

Лиза ничего не сказала больше, и они пошли молча. Все, что бы ни говорил, что бы ни делал Бутов, казалось Лизе правильным. Через минуту она уже думала, что действительно хорошо итти вот так, молча. Ей хотелось навсегда запомнить все, что было вокруг них сейчас, — кусты шиповника, голубой цветок, выросший из-под камня на дороге, пушистое облако, медленно плывущее над ними к сверкающим горным вершинам.

Воздух опьянял ее. Всю неделю, что она прожила у тетки, она почти не спала, все ночи просиживая у окошка. «Ну, как вы можете спать, тетечка?» — удивлялась она. Тетка вздыхала. От бессонных ночей глаза у Лизы запали, но она загорела и даже похорошела немного.

Неопределенности своих отношений с Бутовым Лиза как будто не замечала. Ей приятно было видеть его, ходить с ним рядом. Что будет дальше, она не знала. Каждая нежная нотка в его голосе, нечаянное «Лизок» делали ее счастливой.

И, идя сейчас рядом с ним, она думала, что ничего ей больше не надо. «Буду жить, как мать, одна, полная любви и воспоминаний».

Лицо ее приняло мечтательное и грустное выражение.

Бутов заметил это и испугался. «Может, она обиделась?» — подумал он.

— Вы чего пригорюнились, Лиза? Устали?

Они подходили к любимому месту Бутова, откуда виден был весь горный хребет. Здесь они обычно отдыхали.

Лиза разостлала на траве полотенце и легла лицом вниз, подставляя солнцу спину.

— Разбудите меня, если засну... * — сказала она.

Бутов сел у самого обрыва, отгоняя веткой кузнечиков.

Внизу в долине недавно скосили сено. Зеленоватые копны казались сверху маленькими, как пуговицы.

Близко от Бутова летали две птицы. Он с увлечением наблюдал, как они плавно переворачивались через крыло.

— Лиза! — позвал Бутов.

Лиза подошла и села рядом с ним. Он показал ей на птиц.

— Легчику на современном самолете не все эти эволюции можно делать, — сказал он. — Вы посмотрите, как они летят боком, не меняя положения тела. Ведь у птицы только крылья, никаких специальных органов управления нет.

— Как это интересно, — послушно сказала Лиза.

— Это очень интересно, — подтвердил Бутов. — Ведь все мысли об авиации возникли потому, что человек стал наблюдать за полетом птиц. Вот Леонардо да Винчи. Шестьсот лет назад стал изучать полеты птиц и строил летательный аппарат. Он предполагал свои опыты производить на одной горе в Италии и писал, что с горы начнет свой полет знаменитая птица, которая весь мир наполнит своей великой славой. Замечательный был человек!.. — Бутов вздохнул: — Правда, я его книг не читал...

— Я могу зайти сегодня в библиотеку. У моей тети есть абонемент, — предложила Лиза.

Бутов ничего не сказал. Готовность Лизы всегда сделать для него что-нибудь приятное удивляла его. Он с обидой вспомнил почему-то, что такой черты не было в характере у Лены.

— Какая вы славная девушка! — сказал он вдруг с чувством и нежно пожал лизину руку.

Лиза вспыхнула.

— Чем уже и острее крылья, — сказал Бутов, глядя вслед улетающим птицам, — тем быстрее они летают. А у парителей, у сипов, например, они как будто обрубленные, с далеко расставленными друг от друга на концах перьями.

— А вы любите летать? — спросила Лиза.

— Люблю, — ответил Бутов и задумался.

— Мне мама не позволила стать летчицей, — сказала Лиза. И, волнуясь, стала рассказывать, какой хороший человек ее мать, как она предана памяти отца.

Бутов не слушал ее, он думал об Иване Тимофеевиче.

С того дня, как приехала Лиза, Иван Тимофеевич под всякими предлогами уклонялся от совместных прогулок, полагая, очевидно, что у Бутова с Лизой роман. Бутову неловко было разубеждать его, так как прямой разговор об этом не возникал, а впрочем, он и сам теперь не знал, к чему приведут его отношения с Лизой.

Приезд Лизы и удивил, и обрадовал его. Он понимал, конечно, что она влюблена, может быть, даже по-серьезному любит его, но держала она себя так просто, так по-товарищески, что он начинал иногда в этом сомневаться... Дружба Лизы нужна была ему. Но без Ивана Тимофеевича он тоже скучал.

Иван Тимофеевич, который показался ему вначале человеком мрачным, молчаливым и даже заурядным, оказался неожиданно интересным и умным собеседником. После памятного для Бутова разговора на горе они стали друзьями. Очень интересно Иван Тимофеевич рассказывал о старых летчиках, о нравах. Бутов удивлялся и с интересом слушал, хотя многое из того, что рассказывал Иван Тимофеевич, он знал. Но он знал это по книгам или очеркам в газете, а Иван Тимофеевич был очевидцем. Еще в начале империалистической войны Иван Тимофеевич попал в Гатчинскую авиационную школу. Как нижний чин, он был механиком, мотористом, техником, и лишь после революции, на фронте стал летать. Он рассказывал Бутову о храбрости летчиков, которая удивительно уживалась у них наряду с суеверием. Бутов смеялся.

— Вот ты смеешься, — укоризненно говорил Иван Тимофеевич, — а я это видел... Меня после гражданской послали в школу доучиваться, так мой инструктор носил серьгу в ухе. Понял? Тогда почти все инструктора из бывших офицеров были... Мы их богами какими-

то, а не людьми считали. Так и говорили про своего инструктора: «мой бог сказал» или «мой бог уехал в город к жене».

Оба смеялись.

Бутов спросил как-то у Ивана Тимофеевича, не собирается ли он снова стать летчиком. Иван Тимофеевич вздохнул.

— Э, нет, — сказал он, — мне время уже прошло. Теперь самолеты другие, техника посложнее. Да что я говорю посложнее, совсем новая техника... Возраст у меня не такой, чтоб начинать сначала... Но за литературой я слежу. Я не отрываюсь. Я ведь в порту шофером работаю... — Он помолчал и прибавил: — Если ты вздумаешь из школы уходить, то советую итти к нам, в транспортную авиацию... В ведомственную не советую... Хотя там заработок большой, но все-таки очень уж кустарно все поставлено...

Бутов вспоминал теперь этот разговор.

Птицы подлетели совсем близко. Бутову показалось, что они озадаченно на него посмотрели. Это рассмешило его. «Ведь они взлетели с долины, — подумал он, наклоняясь над обрывом, — и вдруг на высоте увидели человека. Для них это, конечно, задача...».

Птицы перевернулись еще раз через крыло и, громко крича, улетели...

«Поколение идет на смену поколению... — думал Бутов. — Да, Иван Тимофеевич для нашей авиации уже устарел... Не та техника... И психика у летчика должна быть другая...». И ему вдруг мучительно стыдно стало за свою аварию. «Отстал... — подумал он. — Отстал... Но ведь еще не поздно... Я в самом расцвете сил... Нужно только заставить себя...».

Он вытянул перед собой руки. Ему хотелось положить их на штурвал, почувствовать знакомое, приятное покачивание самолета, увидеть сверху милую, родную землю...

«Кто не поймет сейчас, что техника это все, — тот погиб» — подумал опять Бутов. И вспомнил, что Семенов, сидя как-то за ужином, говорил ему об этом. Но тогда он согласился с Семеновым

машинально, из вежливости. Он думал тогда о другом.

Ужины у Семенова, ласковое отношение Анны Ивановны вспомнились Бутову. Он подумал, что недостаточно тепло с ними распрощался. «А какие они хорошие, сердечные люди». Растроганный этими мыслями, он решил, что сердечность — это главное в людях.

Он посмотрел на Лизу, которая продолжала что-то рассказывать, и подумал, что она была бы ему прекрасной женой. Но тотчас же он рассердился сам на себя за такое предположение и зло подумал: «Правда, она изменять не будет. Она достаточно некрасива». И усмехнулся.

Лиза остановилась вдруг и спросила растерянно:

— Вам не нравится, что я рассказываю про маму?

— Ну, что вы, Лиза, и мама ваша мне нравится, и вы. — Он взял лизину руку в свою и погладил.

Лизе стало грустно. Она замолчала. «Какая я нечуткая, — подумала она. — У Саши такие переживания, а я пристаю со своими рассказами. Ему вовсе не интересно». И вспомнила вдруг о том, что дома — поздняя осень, у матери нет калош и дрова на зиму еще не куплены. «А я здесь, в сарафане, загораю... — подумала она. — А мама там одна...».

★

Бутов проводил Лизу, помог ей донести до вокзала старенький чемоданчик в аккуратном парусиновом чехле. Тетка Лизы шла рядом с Бутовым, неодобрительно на него поглядывая. Бутов чувствовал себя неловко, не зная, о чем с ней говорить.

Он обрадовался, когда на вокзале вдруг оторвалась от чемодана ручка. В хлопотах быстрее шло время.

Тетка звала Лизу приехать обязательно еще раз. Лиза обещала.

— Может, замуж выйдешь, так с мужем приезжай, — значительно сказала тетка.

Лиза покраснела и небрежно махнула рукой, будто хотела показать этим,

что никогда такой глупости, как замужество, не совершит.

На перроне было шумно. Бойкая цветочница в пестром платочке на черных волосах поднесла розы.

— Может, купите? — спросила она Бутова. — Чудные цветы. Аромат какой...

Бутов сконфузился и купил большой букет.

— Это вам, Лиза, в дорогу, — сказал он.

Лиза прижала к себе букет и, вдыхая запах цветов, сказала:

— Я их сохранию, эти розы. До чего они хороши!

Тетка обиженно поджала губы. Раздался звонок. Поезд тронулся.

Лиза махала с площадки белым платком.

«Ну, зачем мне все это нужно было? — с досадой подумал Бутов. — Ведь не собираюсь же я на ней жениться? А впрочем, почему бы и не жениться? Девушка она умная, хорошая... Любит меня... А я все равно теперь никого полюбить не могу...».

Когда он пришел в санаторий, Иван Тимофеевич уже лежал в постели.

— Холодно, знаете, — сказал Иван Тимофеевич. — Я себе еще одно одеяло попросил.

— Да, ночи холодные, — рассеянно подтвердил Бутов и, присев на свою кровать, стал расшнуровывать ботинок. Шнурок не развязывался. — Вот черт, — сказал он сердито.

Иван Тимофеевич спросил:

— Что это с вами сегодня, сосед? Как туча, хмурый...

— Просто так, мысли... — ответила Бутов и погасил свет.

Иван Тимофеевич помолчал немного, потом сказал:

— Да, мысли... Приходят они неожиданно, как туман, и только горизонт затемняют. Впустите вы к себе в нутро такие мысли, и будут они томить... А толк какой? Я, Александр Сергеевич, думаю, что наш век — это век действия, дела. — Он помолчал и вдруг неожиданно спросил: — Вы себе подушку как кладете?

— Подушку? — спросил Бутов.

— Вы подушку так кладите, — поучительно сказал Иван Тимофеевич, — чтобы она между плечом и щекой лежала. Чрезвычайно удобно спать...

— Попробую, — сказал Бутов, перекладывая подушку. — А знаете, вы правы, так очень удобно... Ну, спокойной ночи.

— Приятных снов...

Комната, в которой жил Бутов, расположена была на самом верху дома, в какой-то странной надстройке. Потолок был низкий, а окошечки круглые, как иллюминаторы на корабле. По ночам, когда в саду шелестели листья на высоких деревьях, Бутов, просыпаясь, часто не мог сообразить, где он находится. В окошечке, как будто вписанный в круглую рамку, виднелся высокий кипарис, темная извилистая линия горной гряды и ярко освещенные окна большого нового санатория. Комната нравилась Бутову.

Но сегодня и холодный лунный свет, и ветер, качавший деревья в саду, мешали ему заснуть. Стараясь не шуметь, чтобы не разбудить Ивана Тимофеевича, Бутов встал, надел ночные туфли, накинул на плечи пальто и вышел на балкон.

Луна заливала сад, листья на кленах блестели, как мокрые. Под деревьями кто-то шептался.

Бутов закурил.

«Ну, чего я расстраиваюсь, на самом-то деле? — подумал он. — Ничего ведь особенного не произошло. Лизу я ничем не обидел, ничего ей не обещал, не увлекал ее».

Но рассуждения эти не успокаивали его.

Он чувствовал себя виноватым. Он представил себе Лизу — худенькую, некрасивую, доверчивую, готовую жертвовать собой для него. «А я все принимаю, как должное, — подумал Бутов. — Как будто мне суждено быть любимым».

Он стал думать о себе, как о постороннем человеке, взвешивать свои поступки. Спорил сам с собой. Возражал. Ему казалось теперь, что и Лену он потерял по своей вине. Лена его полюби-

ла девочкой. Он был старше Лены. Он должен был, как старший, помогать ей, направлять ее жизнь, помочь ей найти интерес в жизни. А он... он женился и успокоился. Он был счастлив. Он гордился тем, что Лена хорошенькая. Он любил ее. Он был доволен собой потому, что не изменял жене. И ему казалось, что так будет всегда, вечно, что Лена будет любить его, потому что он ее муж. А Лена была беспокойная, порывистая, все чего-то искала, ждала, читала стихи, плакала, пела.

«Тогда я ничего этого не замечал... — думал Бутов. — Я уверен был, что жизнь так и пойдет дальше, гладко, как по нотам. Ведь всегда, еще с самого детства, все шло у меня хорошо».

Он вспомнил детство, голубей, драки на улице, пионерские костры в лагере. Он вспомнил, как торжественно передавали его в комсомол. В авиационную школу он поехал по путевке, выданной в райкоме. У него был хороший характер, веселая улыбка. За улыбку он нравился девушкам, товарищи любили его за доброту, честность, откровенность.

И только однажды он услышал неприятные для себя слова. Это было в школе.

С необычайной яркостью встала вдруг в памяти Бутова сцена, как они, будучи еще курсантами, окружили своего инструктора и наперебой стали спрашивать, будут ли они хорошими летчиками. Разговор происходил в поле, когда возвращались после полетов. Инструктор, отшучиваясь, дал всем оценку, а Бутову сказал:

— С тобой будет разговор отдельный...

И, когда курсанты разошлись, сказал серьезно:

— Боюсь утверждать, конечно. Думаю, что хорошо летать будешь, но художественно никогда...

— Почему? — спросил Бутов, краснея.

— Мягко ты очень... — сказал инструктор. — Сердечен, к сердцу все слишком близко принимаешь. Впрочем, может, когда старше станешь, закалишься. Горе у тебя какое-нибудь случится,

и выйдешь из этих передрыг стойким. Будет дело, а нет — будешь всю жизнь рядовым...

Бутов даже не обиделся тогда, настолько смешным и несерьезным показалось ему мнение инструктора.

Но теперь Бутов вспомнил этот разговор и задумался.

«Да, он был прав... — Бутов провел рукой по влажным от ночной росы перилам. — Он был прав... Я все брал от жизни, а отдавал очень мало... Меня оставили инструктором в школе, назначили командиром звена, потом отряда... Я все принимал, как должное... А ведь я был самый молодой командир... Семенов намного старше меня».

Какой-то внутренний голос сказал: «Подожди, подожди, Саша, не горячись... Ты не так уж плохо работал... Ты всю душу вкладывал в свою работу». «Это правда, — подумал Бутов, — но ведь не в этом дело... Не только душу. Надо и голову вложить... Надо всегда быть на уровне... а я летал и летал, как птичка, не думая... И партийцем был рядовым... А у коммуниста всегда должны быть повышенные нормы...».

Снизу доносился жаркий шопот. Люди, сидевшие на скамье, встали и прошли по дорожке. Бутов стяхнул с папиросы пепел и прислушался. Голоса были незнакомые.

Бутов волновался.

«Разбил самолет, скотина, — продолжал он думать, — не подумал даже, сколько самолет денег стоит. А обиделся... Учили, воспитывали, все в жизни, как подарок, получил, без борьбы... Сгореть со стыда надо бы. А я? Раскис. Лечиться послали. Я и это принял, как должное. — Бутов скомкал окурок и бросил его вниз. Ветер раскачивал вершины деревьев. — А я буду художественно летать, буду» — почти вслух произнес он.

Ночь прошла. Звезды на потускневшем небе зеленели.

Из-за дома вышел сторож и широко зевнул, подняв кверху лицо. Видна была его желтая рубаха, куртка, теплая барашковая шапка. Бормоча, он нагнулся над скамейкой, с которой доносился

раньше шопот, и поднял с нее носовой платок.

Бутов вспомнил скамейку под соснами, где обычно поджидала его Лиза, чтобы идти в горы, и подумал, что ему скучно, пожалуй, будет сегодня одному.

— Привязался я к ней... — опять вслух подумал он, удивляясь, и сокрушенно покачал головой.

Ему было жаль Лизу. Может быть, теперь она тоже думает о нем и терзается, потому что он ничего определенного ей не сказал. «Но что бы я мог ей сказать? У меня было о чем подумать...».

И в то же мгновение он почувствовал, что мысли, возникшие у него сегодня ночью, — признак энергии, скрытой в нем, той самой энергии, которая нужна, чтобы совершать большие дела.

— Ничего страшного, — сказал он, глядя куда-то далеко за деревья. — Может, я еще Героем Советского Союза буду. Кто знает? — И усмехнулся. — Ох, и нахал же ты, Сашка!..

Он вошел в комнату. Спящий Иван Тимофеевич ловил пальцами сбившееся одеяло. Бутов подошел к нему, поправил одеяло, с нежностью посмотрел на седую голову Ивана Тимофеевича. Потом, поеживаясь, лег в свою остывшую постель.

Он чувствовал себя бодрым, здоровым, и впервые за все время у него появилось желание обнять женщину. И это не была больше тоска о Лене.

★

Бутов приехал на новое место службы. Носильщик на вокзале сказал ему, что до аэропорта очень далеко. Трамвай туда не ходит.

— Лучшее всего, — посоветовал носильщик, — пойдите в городское агентство, оно на проспекте, в самом центре города. Оттуда в порт ходят машины...

Бутов вышел на площадь.

Город был шумный, веселый, южный. Далеко на горизонте синели горы. Бутов пошел по широкому проспекту. От проспекта вниз убегали узкие, кривые улочки. Бутов вспомнил про знаменитые городские бани. После дороги не

мешало бы помыться. Но Бутову хотелось скорее явиться в порт. Он решил только зайти в парикмахерскую побриться. «Неудобно же являться к командиру небритым».

В парикмахерской он долго стоял перед зеркалом, поправлял пилотку на голове, подтягивал пояс.

Потом он пошел в агентство, которое издали уже узнал по голубоватой вывеске. Носильщик был прав. Около агентства стояла машина. Машина ехала в порт.

Рядом с Бутовым сел какой-то стриженный человек в белой открытой рубашке, с засученными рукавами. Около шофера сидела высокая темноглазая блондинка.

— На дежурство? — спросил у нее сосед Бутова.

— Да, я дежурю сегодня... — ответила женщина. — А вы ведь сегодня выходной?..

— Мне к командиру надо...

«Какое же они имеют отношение к авиации?» — подумал Бутов, удивляясь.

Из агентства вынесли какие-то ящики и поставили их в машину. Потом выбежал низенький, курчавый человек в полинявшем кителе и стал кричать шоферу так, будто тот был глухой:

— Сережа! Ты скажи Николаю Петровичу. У меня есть дополнительный груз на Ростов. Будет он завтра посылать один самолет или два? И пусть он пошлет хорошего летчика, чтоб было надежно, а то у меня груз дорогой... Ты слышишь, Сережа?

— Слышу, — неохотно сказал шофер. — А вы бы по телефону лучше сказали. Разве запомнишь?

— А ты поймай его по телефону раньше, тогда советуй... Разве он на одном месте сидит? — И низенький попросил молодого человека в белой рубашке: — Пожалуйста, товарищ Супрун, передайте...

— Хорошо, передам... — сказал Супрун. — Ну, Сережа, поехали.

Машина тронулась.

— И еще скажите, что билеты на Москву я все продал, — закричал низенький вслед.

Машина свернула с проспекта на узкую улицу, обсаженную чинарами. Мостовая была старая, автомобиль встряхивало, гремели ящики. Бутов старался поддерживать их ногой.

«Странно все это выглядит» — подумал он.

Машина выехала на шоссе и понеслась вдоль садов. Сады, отгороженные глиняными низкими заборами, тянулись по обе стороны дороги. Тяжелые ветки свисали с деревьев, обрызганные утренней росой.

Была уже поздняя осень, но все еще было жарко.

«Да здесь и зимы почти не бывает» — подумал Бутов.

Необычный город, природа, горы — все это нравилось ему. Но потом он вспоминал работника агентства, разговоры о грузе, билетах, пассажирах, и ему становилось скучно. «Буду воздушным извозчиком, — думал он и с досадой смотрел на спутника. — У нас командир — это фигура, а здесь... Вот к нему и этот штатский без всяких едет...».

Когда под'езжали к аэропорту, в воздухе показался самолет. Он летел низко. Супрун, задрав голову, посмотрел в небо. Шофер Сережа, не снимая рук с руля, спросил:

— Это кто, товарищ Супрун? Это Шумейко пришел?

— Да, это Шумейко...

Бутова почему-то раздражил этот разговор.

Самолет скрылся за зданием аэровокзала, очевидно, пошел на посадку. Здание вокзала было небольшое, белое, украшенное белой же статуей, изображавшей молотобойца. Перед зданием росли большие красные цветы на толстых стеблях. Вокруг лежала степь. От проезжей дороги порт отделяла колючая проволока, натянутая на низкие некрашенные столбики.

Бутов вышел из машины и пошел медленно, охватывая глазами все, что он мог увидеть, — почтовый ящик у двери, стенную газету, прибиту на щитке, большие круглые часы. Он мысленно отметил время, — было десять минут одиннадцатого. Ну, вот здесь бу-

дет он теперь служить. В этом маленьком, убогом порту. Здесь начнется то, что он называет «новой жизнью».

«В десять минут одиннадцатого пилот гражданского воздушного флота товарищ Бутов начал свою новую жизнь» — иронически подумал Бутов. Но в это время где-то за зданием зарокотал мотор, и Бутов сразу же повеселел. «Была, не была, — подумал он. — Лишь бы скорее в воздух, скорее летать...».

И он открыл дверь.

Бутов прошел в комнату, которую ему указали. Командира не было. Бутов постоял у стола. Под толстым стеклом лежали отпечатанные на машинке сводки выполнения плана. Бутов прочел слова: «тонно-километраж», «регулярность», «экономия горючего». Он вздохнул. В сводке на первом месте стояла фамилия «Супрун».

Бутов подошел к окну. Окно выходило на летное поле. Самолет, который Бутов видел, подвезжая к порту, катился по земле. К самолету шли люди в белых кителях. Бутов решил, что там, может быть, и командир отряда. Он прошел через коридор и вышел на террасу. От самолета уже шли пассажиры. Летчики окружили тоненькую женщину в белом пальто и шляпе. Бутов услышал, как она говорила:

— Меня ничуть, ничуть не болтало... А я так боялась. Я взяла с собой нашатырный спирт, но он мне не понадобился...

— Теперь будете всегда летать, — сказал молодой человек в рубашке, приехавший вместе с Бутовым, которого шофер называл товарищем Супруном.

— Теперь буду... — женщина засмеялась. — А муж мой побоялся лететь, он уехал поездом. Я вынуждена была остаться, потому что у меня выступление... Вы приходите сегодня в театр, — сказала она. — Я вам напишу записку к администратору... Я очень вас прошу. И пилот, с которым я летела, пусть придет. Вы ему передайте...

Супрун, заметив Бутова, шепнул что-то широкоплечему, коричневому от загара мужчине в белом кителе со свер-

кающими пуговицами, тот подошел к Бутову, спросил:

— Вы ко мне, товарищ?

— Летчик Бутов. Прибыл в распоряжение командира отряда...

— Так вы пройдите ко мне, пожалуйста, — просто сказал командир. — Я только распоряжусь относительно машины. Это, знаете, известная актриса... — и командир назвал фамилию.

— Неужели это она? — спросил Бутов и сделал движение, как бы собираясь пойти за пассажиркой, но смутился и, круто повернувшись, пошел в кабинет командира.

«А ведь это здорово, — подумал он, — с какими интересными людьми придется летать...».

Командир вернулся к себе в кабинет вместе с Супруном. Знакомя его с Бутовым, он сказал:

— Это Супрун, пилот наш...

— Мы уже почти знакомы, — сказал удивленный Бутов. — «А почему же он не в форме?» — подумал он.

Командир расспросил Бутова о прежней службе. Договорился с ним о провозных полетах, — Бутов не знал трассы, — потом спросил:

— Вы человек семейный, надо полагать?

— Да, ко мне приедет жена, — сказал Бутов и почему-то покраснел.

— В квартире, где я живу, есть свободная комната, — сказал командир, — там мы вас и поселим. А как только будет наш новый дом готов, предоставим вам и квартиру... Да вы, может, и не завтракали еще?

— А мы сейчас вместе походим по порту, потом пойдем в буфет, — сказал Супрун. — Только я к вам еще приду, Николай Петрович. Имейте в виду. У меня с вами есть разговор.

— Опять радио? — простонал командир.

— Опять, — ответил Супрун и, взяв Бутова за локоть, вышел с ним в коридор. Навстречу им попался низенький летчик с угрюмым лицом.

— Что ж ты свою артистку не проводил, Шумейко? — спросил Супрун. — Знакомься, новый пилот... А она тебя в

театр приглашала сегодня. Только велела побриться.

— А я бритый, — басом сказал Шумейко. — Николай Петрович у себя?

— Угрюмый на вид, — сказал Супрун Бутову, — но страшно восторженный человек. Стихи пишет. Романы без слез слушать не может. С ним раз художник летел, так он ему стихи посвятил... Буфет у нас наверху, на втором этаже.

— А ведь я вас принял за штатского, — сказал Бутов, когда они уже сидели за столиком и ели яичницу.

— А я выходной сегодня.

Супрун все больше нравился ему. И вообще люди в порту ему понравились. То, что встреча с новым командиром прошла так просто, без лишних разговоров о неприятностях в школе, успокоила его. Он жадно расспрашивал Супруна об отряде, о трассе, о машинах. Часто ли приходится летать? Какие пассажиры бывают? Что это за показатель — тонно-километраж? Хорошая ли метеослужба?

Супрун подробно объяснял все, а на последний вопрос ответил, что в порту только один хороший метеоролог.

— Да ведь вы ее видели, — сказал Супрун. — Татьяна Федоровна. Помните, мы с ней в аэропорт ехали. Интересная такая блондинка.

— Я женат, — сказал Бутов шуточно. — Блондинками не интересуюсь.

— Это к лучшему, — засмеялся Супрун, — а то за ней здесь наш пилот ухаживает. Очень горячий парень... Правда, она женщина строгая...

— А мне здесь нравится у вас, — неожиданно сказал Бутов.

— У нас здесь неплохо, — сказал Супрун. — Вот подождите. Ради первого дня знакомства я вас трогать не буду... Но потом... Меня, знаете, как здесь называют? — Супрун захохотал. — Радиоманиаком. Но ведь нельзя без радио летать в наши дни... Особенно в горах. Я на своем самолете наладил двухстороннюю связь...

Подошел Шумейко.

— Марья Петровна! Натуральную,

четыре яйца! — крикнул он буфетчице. И, подвигая к столику стул, сказал: — О, поймал нового человека. Опять про радио?

Незлобно они стали спорить, запивая реплики апельсиновой водой...

«Хорошие ребята» — подумал Бутов.

Пробили часы.

Бутов вспомнил свое недавнее раздражение. Теперь было два. Время шло незаметно. Он окунался уже в новые дела.

И еще незаметно прошло время, когда он стал летать.

Он чувствовал большой подъем сил, ему хотелось летать, учиться, учить других, спорить. Он сразу же вник во все дела отряда, познакомился с пилотами, с бортмеханиками, с инженерами. Порядки в порту были другие, не такие, как в школе. Не было армейской дисциплины, подтянутости, и, странное дело, это теперь огорчало Бутова. Он скучал иногда по дисциплине, которая раньше чуть-чуть томила его. Тогда хотелось расстегнуть у гимнастерки ворот, распустить пояс, полениться. Теперь Бутов всегда помнил о том, что он пришел из армии.

Полеты над горной местностью были новым для него и трудным делом. Он засел за учебники, за аэронавигацию. Он листал страницы, — вспоминал молодость, товарищей, первые полеты. Он осунулся, мало спал. Он научился воевать с дежурными в портах, через которые он пролетал, сдавать и принимать почту, следить, чтоб ему правильно замеривали горячее.

В первое время он немного стеснялся всего этого, полагал, что «прозой жизни» принижает свою замечательную профессию. Потом привык. Полеты интересовали его, и ради полетов он готов был на все.

В отряде к нему быстро привыкли, стали уважать его, только техники недолюбливали его за излишнюю придирчивость. Он никому не доверял, сам осматривал и машину и мотор перед полетом.

Очень скоро его перевели с почтового самолета на пассажирский.

Несколько рейсов на пассажирской машине он провел вторым пилотом. Первым пилотом летел Супрун.

На третьем рейсе Супрун вытащил из чемоданчика книжку в пестрой обложке и сказал Бутову:

— Иди ты к чорту, Саша, что я тебе, нянька? — И, согнувшись на своем сиденье над книгой, он начал читать.

Бутов повел машину.

Погода была хорошая, ясная. Горные хребты, розовые от солнца, лежали под самолетом. Бутов был счастлив. Он внимательно приглядывался к местности, стараясь все запомнить.

Когда сели в ближайшем порту, Супрун сказал:

— Посадка у тебя хорошая... Ты на истребителе летал?

— Летал.

— Чувствуется, — сказал с завистью Супрун. — У нас, у гражданских, такой точности в движениях нет...

— А ты что, всегда с собой книгу возишь? — спросил Бутов.

— Недавно начал, — сказал Супрун. — Я раз в порту отсиживался семь дней. Туман над перевалом был. А в киоске там только старые журналы. До города далеко. Грязь. Семь дней, как дурак, в домино играл да в небо смотрел, как облака клубятся... С тех пор, как правило, книгу с собой...

Позже, на самолете уже, Супрун потрогал Бутова за плечо и сказал:

— Отдохни, Саша...

И сам сел за штурвал.

Бутов пересел на правое сиденье и взял у Супруна книгу. Книга была интересная. Бутов читал и смеялся. Супрун снова толкнул его:

— Ну, хватит тебе...

— Дай главу дочитать... — прокричал Бутов.

— Мне самому интересно, — сказал Супрун. — Подчиняйся первому пилоту, давай книгу.

Вздыхнув, Бутов сел за штурвал.

Они летели по трассе на Москву.

Горная гряда оборвалась, тянулась ровная степь.

Ровно гудели моторы. Мощные винты рвали голубой, прозрачный воздух.

На земле начиналась зима. Черное

вспаханное поле припорошило легким снегом.

«Зима уже, — подумал Бутов, — а за горным перевалом еще жарко...».

И он вспомнил Ивана Тимофеевича, горы, курорт, Лизу. Лиза жила теперь здесь, с ним. А Иван Тимофеевич? Что он делал теперь, Бутов не знал. Хотя они и условились переписываться, но переписка как-то не наладилась. А ведь Бутов многое мог бы уже рассказать Ивану Тимофеевичу.

«Сегодня же, сегодня же ему напишу» — решил Бутов.

Он посмотрел на Супруна. Супрун хохотал над книгой. Бутов наклонился к нему и обиженно спросил:

— Нашли они бриллианты?

Супрун нетерпеливо махнул рукой.

☆

Однажды, перебирая книги, Лиза нашла письма Бутова к Лене. Очевидно, Лена забыла про них, они так и остались там лежать.

Лизе и раньше хотелось все знать о Лене, но, когда она пробовала расспрашивать Бутова, тот отвечал неохотно и сухо. «Наверное, он ее не забыл» — думала Лиза.

Она долго вертела в руках пачку с письмами, не решаясь их развернуть. Но ей хотелось знать, как писал Бутов Лене. Она подумала: «Он ведь муж мой, я имею право».

Большинство писем было написано еще из школы, когда Бутов был курсантом, но были и более поздние, из командировок, с курортов. «Как он ей часто писал» — ревниво подумала Лиза.

Школьные письма, написанные давно, крупным юношеским почерком, меньше интересовали ее. Но последние...

Она сидела на полу, в красном капотике, и медленно читала письмо за письмом. Она казалась себе жалкой. Бутов никогда не писал ей таких нежных писем. Ее он никогда не любил так, как Лена.

Открытие не ошеломило Лизу. Все это время, что они жили вместе, Лиза не чувствовала себя счастливой. Хотя

Бутов был ласков с ней, никогда не уходил из дому, не поцеловав ее.

Но не этого она ждала.

Была какая-то пустота в жизни Лизы, которую она не могла ничем заполнить. Пустота эта и порождала тоску. Бутов не замечал этого, увлеченный своими делами.

Лиза не работала. Свободной должности механика или моториста в аэропорту не было.

— Это пустяки, — сказал Бутов. — Посиди пока дома. Читай книги или изучай какой-нибудь язык. Ты еще молодая, успеешь...

Знакомых в новом городе у Лизы не было: она подумывала о том, чтобы выписать к себе мать, но боялась, что это будет стеснять Бутова. У них была только одна комната. Когда он улетал, Лиза томилась от волнения и тоски, ей было скучно.

Как-то раз она поехала в порт, посмотрела, как суетятся около самолетов механики, слышала знакомый запах бензина, и ей стало грустно и завидно. Она любила свою работу. Но ей казалось, что лучше быть дома, помогать мужу, что его работа важнее, чем ее. Труд летчика казался ей очень сложным, она думала, что если она не накормит мужа перед рейсом или не проследит, чтобы он вовремя лег спать, то с ним обязательно случится несчастье в полете. С каждым днем она все больше любила его.

Соседки по дому, жены пилотов, посмеивались над ней, уверяя, что со временем она привыкнет спокойно ждать возвращения мужа из рейса.

Лиза не верила.

Дни проходили у нее, заполненные ожиданием. Она хозяйничала, часами сидела на кухне подле Анны Абрамовны, жены командира отряда, выслушивая ее хозяйственные советы и желчные рассуждения о жизни.

— Мужа надо держать в руках, — говорила Анна Абрамовна, вскидывая, как лошадь, головой и гремя кастрюлями. — Муж должен знать, что семья — это все. Он любит котлеты, в доме должны быть котлеты. Он любит свежий хлеб, в доме всегда свежий хлеб...

Но не больше. Поступать он должен так, как хочет жена. Сориться с ним не надо, надо действовать хитростью... Сила женщины — это ее хитрость...

— Я так не могу, — говорила Лиза, возмущаясь. — С какой стати я буду хитрить? Если он меня любит, то все равно...

— Что значит любит? — патетически спрашивала Анна Абрамовна. — Если он на вас женился, он вас обязан любить. Вы ему отдали все — свою молодость, свою невинность...

Лиза краснела.

«Ах, если бы он только любил...» — думала она.

И сегодня она поняла, что муж любит ее вовсе не так сильно, как она этого хотела.

«Саша меня не любит» — подумала она. Ей стало страшно, она старалась отогнать от себя такие мысли, вспоминала ласковые его слова, взгляды, розы, подаренные когда-то на вокзале. «Нет, он любит меня... Зачем бы он женился, если б не любил... Просто, я слишком требовательна».

Все-таки ей было грустно.

Она положила руки на живот и, закрыв глаза, улыбнулась.

Через раскрытое окно донеслись звуки музыки. Лиза встала и пошла к окну. Недалеко был маленький ресторанчик. Там играл оркестр — скрипка, флейта и барабан.

Лиза выглянула в окно.

Серые двухэтажные дома, с узкими желтыми дверями, сплошь заселенные летчиками, инженерами и метеорологами из порта, стояли на тихой улице, далеко от центра.

Дома были некрасивые, неудобные.

Лиза с завистью посмотрела на другую сторону улицы, где тянулись домики, обсаженные деревьями.

«Как хорошо было бы там маленькому» — подумала она.

О беременности Лиза узнала вчера, когда была у доктора. Бутову еще не сказала, он был в рейсе.

«Может, он и не обрадуется ребенку? — подумала она. — Нет, нет. Этого не может быть... Это ведь наш ребенок... Зачем я читала эти письма? Не

надо было. Прошлое надо забыть...».

Но забыть было трудно.

Стемнело. Лиза собрала письма, спрятала их обратно в ящик, умылась, припудрила лицо.

Пришел Бутов.

Они сели за стол обедать.

«Неужели он не видит, как я страдаю?» — думала Лиза.

Но Бутов ничего не замечал.

Он пообедал, взял книгу и улегся на диван. Он пристрастился к чтению в последнее время, и Лизе иногда казалось, что читает он только для того, чтобы не разговаривать с ней.

— Доволен рейсом? — спросила она.

— Рейс, как рейс...

— Пассажиров много было?

— Я не с пассажирами, я с грузом летал... — И, оживившись, Бутов стал ругать коммерческую службу. Опять ему самому пришлось добиваться, чтоб самолет и в обратном рейсе был загружен.

— Там удивительный человек начальник порта, — сказал Бутов, — на ходу спит... Сегодня опять поругались. Летите, говорит, порожняком. Я туда-сюда, узнаю — на складе груз есть. Представляешь себе? А вообще у меня в этом месяце хорошие показатели. На первом месте иду...

— А погода какая была? — спросила Лиза.

— Погода хорошая.

Лиза помолчала немного, убрала со стола посуду, вымыла руки. Потом она вернулась в комнату и села на краешек дивана, где лежал муж.

— Саша, — сказала она.

Бутов отложил книгу.

Лиза посмотрела на него виновато.

— Я, кажется, беременна, Саша, — сказала она.

— Ну вот и прекрасно, — сказал Бутов и стал расспрашивать Лизу о признаках, по которым она судила о беременности.

Лизе было почему-то стыдно оттого, что он все это так хорошо знает. «Это потому, что он был женат» — подумала она. И вместе с тем ей было приятно, что он все знает: себя она чувствовала беспомощной.

Они долго говорили о будущем ребенке.

— Пусть это будет девочка, — сказал Бутов.

— Нет, сын, — заодно сказала Лиза. — Это ведь у тебя есть сын, а у меня нет. Я хочу сына...

Бутов смолчал.

Ночью уже, когда они лежали в постели, Лиза сказала вдруг, вся дрожа, изнемогая от нежности:

— Если она захочет к тебе вернуться, пусть. Я уступлю, слышишь, Саша.

И Бутов почувствовал, как дрожат тоненькие руки жены.

«Какая я свинья» — подумал он и обнял Лизу.

Она прижалась к нему, упираясь костлявым локтем в его грудь. Он прижимал ее к себе и, сокрушаясь, думал, что Лену он никогда не сможет забыть. И почему-то досадно было, что теперь, кроме Женьки, у него будет еще один ребенок. Как будто он обворовывал Женьку. Ему хотелось, чтобы Женька жил с ним. А теперь... Лиза будет слишком занята маленьким, да и не деликатно сейчас об этом говорить...

«Хорошая она женщина, — подумал он с нежностью, — но почему же я так несчастлив?..»

★

Бутов проснулся на рассвете. Он встал с постели. На улице, как-раз под окном, висели на столбе большие круглые часы.

«Ой, как рано! — подумал он, — Зачем же я встал?»

У него был выходной день.

Он еще раз выглянул в окно и увидел машину из аэропорта. Шофер заметил Бутова и махнул ему рукой. Бутов оделся и вышел на улицу.

— Что случилось? — спросил Бутов.

— Командир вызывает... Товарищ Шумейко заболел. Лететь надо.

Бутов посмотрел на небо, неодобрительно вздохнул.

Утро было серое, туманное.

Лицо обвевал ветер.

Улица оживала.

Вышел заспанный дворник с метлой и лениво, нехотя стал подметать тротуар. Пробежали куда-то мальчишки в одних трусиках. Из дому вышла Анна Абрамовна.

— На рынок? — спросил Бутов вежливо.

— Да, пора, — сказала Анна Абрамовна, взглядывая на горизонт. — Прождала своего всю ночь. А он не приехал. Ваша спит?

— Спит. Рано еще...

Под'ехала машина.

— Ну, пока! — сказал Бутов.

— Александр Сергеевич! — крикнула Анна Абрамовна вслед. — Может, по дороге орехи дешевые попадутся или мед, — захватите и на мою долю...

Шофер улыбнулся и, когда машина от'ехала, сказал Бутову дружески:

— Командир у нас всегда из самолета с лукошком вылезает. Смеются все над ним. Она велит, он и возит.

Бутов пожал плечами.

По небу, как дым, стлались облака. Ветер гнал их, сбивал в кучи, солнечные лучи то пробивались сквозь них, то снова исчезали.

Когда приехали на аэродром, Бутов сразу же зашел на метеорологическую станцию. Со сводкой в руке он прошел к командиру отряда.

У командира было сонное, усталое лицо. Он сказал:

— Спасибо тебе, выручил... Шумейко заболел, а тут пассажиры, как назло. Военный один летит, ему срочно надо. Инженер-иностранец.

— Ну что ж, — сказал Бутов.

— Вот за это ты молодец, — обрадовался командир. — За это я тебя люблю. Раз надо, так надо. — И сказал доверительно: — Ты же понимаешь, Саша, стахановский декадник. Загрузку обеспечить я должен? С клиентами разговаривать я должен? Бензин достать должен? Все подготовлено, и вдруг сорвать рейс... Я, Саша, дома уже двое суток не был... Я тут сижу и жду — вот-вот Анну Абрамовну сюда принесет. Ты там ее не видал? Как она?

— На рынок пошла, — ответил Бутов.

Он вошел в пилотскую комнату пере-

одеться. Одевшись, вышел на террасу. Над фасадом трепыхалось косое полотнище, на котором было написано: «Дадим в стахановскую декаду 100 процентов регулярности рейсов».

«Вот тебе и регулярность» — подумал Бутов, всматриваясь в сердитые облака, бегущие по небу.

Самолет уже заправляли. Он стоял в поле, на примятой заморозками траве. Возле самолета, сдвинув шлем на затылок, сутился бортмеханик Норкин. Не здороваясь, он стал жаловаться на заправщиков, которые запоздали на десять минут.

— Ну, ничего, успеем... — сказал Бутов и полез в кабину осматривать управление.

Запустили мотор.

Задрожала земля, засвистел воздух, как будто из-под винта взлетела стая испуганных больших птиц.

Выглянув из кабины, Бутов увидел, как за дежурным быстро идут к самолету пассажиры: женщина в кожаном пальто, худенький штатский в шляпе и высокий военный. Они придерживали рукой шапки, чтобы их не сдуло ветром. И вдруг Бутов признал в военном Никиту. Это было так неожиданно, что Бутов вздрогнул.

Бутов слышал, как Норкин усаживает пассажиров. Обращиваться он не хотел, чтобы не встретиться взглядом с Никитой.

Отбежав в сторону, взмахнул флажком дежурный, и тяжелая машина, подпрыгивая, пошла по полю. «А где же Лена?» — подумал Бутов, привычными движениями открывая дроссель мотора и двигая ручку управления вперед. Но самолет отрывался от земли, и ему некогда было больше думать о Лене.

И только, когда машина легла на курс, он прислушался к себе — не вызовут ли воспоминания о Лене томящей тоски? Ничего не было. Все время, что он летал на линии, он ждал, не возникнет ли у него вдруг в воздухе то противное чувство тошноты и страха, которое долго томило его в больнице после аварии. Но это чувство не приходило.

Самолет спокойно шел над предгорьем. Как сквозь дымку, проглядывала под легкими облачками земля.

Бутов любил эти спокойные минуты ровного полета. В горах они выпадали редко. Здесь погода менялась стремительно, неожиданно срывался резкий ветер, из ущелий выползал туман.

Туман шел бесшумно, как хитрый враг, который хочет захватить врасплох. Из всех неприятных для летчика явлений природы Бутов больше всего боялся тумана.

Правда, после нескольких месяцев работы на горной линии он перестал ощущать это остро, но в первые дни, — ведь в школе летать приходилось с курсантами только в хорошую погоду, — все это было ново и неприятно ему.

Бутов думал о неизбежной встрече с Никитой. Он толком не знал даже, где теперь Лена живет. Она не сообщала почему-то точного адреса, а просила писать ей по адресу матери. Туда Бутов переводил и деньги для Женьки.

О себе Лена ничего не писала, отделяясь короткими сообщениями о сыне. Женька неизменно рисовал в конце письма странное сооружение, под которым подписывал большими буквами «самолет» и звал: «Папочка, прилетай к нам».

Навстречу надвигались густой стеной облака.

Бутов решил набрать высоту, чтобы обойти облачность сверху.

Земля постепенно исчезала из виду, покрытая пенящейся массой. Все предметы в кабине приобрели странный, молочный оттенок. Лицо у Бутова потемнело.

Норкин пришел из пассажирской кабины и встревоженно посмотрел на напряженное, ставшее вдруг некрасивым лицо Бутова.

Бутов сделал движение бровью, как будто отгонял Норкина от себя. Он мешал ему. Норкин ушел.

Не отрываясь, Бутов смотрел на приборную доску, где в строгом порядке были смонтированы стрелки, циферблаты и указатели, показывающие положение самолета относительно земли.

Бутову стало жарко.

Самолет забирался все выше и выше, но просвета попрежнему не было. А в тумане, — Бутову казалось, что он нащупывает их, — теснились горы. Он всматривался в туман, стараясь угадать вершины, — он знал, что там туман идет кругообразно, как бы обтекая их. Но туман был плотный, густой, сквозь него ничего нельзя было разглядеть.

По тому, что высота внезапно перестала набираться, Бутов понял, что он подходит к перевалу, горный склон «тянет» самолет к себе.

«Снижающий поток, — подумал Бутов и резким движением изменил направление полета. — Только бы не вмазать в перевал».

Медленно он повел самолет, нащупывая восходящие потоки воздуха. Стрелка альтиметра, дрожа, то поднималась, то опускалась. С трудом Бутов выжал еще двести метров высоты.

Ревели моторы.

Самолет шел вдоль склона, срывающегося в ущелье. Самолет тянуло вниз, но моторы работали безотказно. Бутов был уже уверен, что его не «прижмет»...

Туман все густел и густел.

В кабине было холодно. Холод пробирался под тяжелый кожаный, на меху, комбинезон. Альтиметр показывал пять тысяч метров высоты. Становилось трудно дышать. Мокрый туман, леденя, цеплялся за винт самолета. Лыдинки срывались с винта и ударяли о стекло кабины. Они стучали, как град.

Бледнея, он доотказа нажал ручку, чтобы пришпорить мотор.

Он не чувствовал страха, — хотя прекрасно понимал, что положение очень опасное, — борьба отнимала все время. Он хотел найти более теплый слой воздуха, — машина, покрытая льдом, тяжелела, — в теплом слое лед растаял бы.

Лед срывался с винтов. Кусок льда пробил окно. Бутов дернул головой. Лыдинка пролетела мимо, оцарапав Бутову щеку.

Скосив глаз, Бутов увидел, как открылась дверь из пассажирской кабины. Он подумал, что это снова вернул-

ся Норкин, и выругался. Норкин ничем не мог ему помочь. А раз не может помочь, то и не надо... Но Норкин не уходил. Бутов зло посмотрел на него. Это был не Норкин, а Никита.

— Я летчик, — сказал Никита, наклоняясь к уху Бутова и не узнавая его.

— Не узнаешь? — спросил Бутов.

Самолет швырнуло вверх. Ветер с визгом промчался по кабине. С грохотом прокатилось что-то по полу. Со стенки сорвало укрепленный термос с водой.

Никита, с трудом удерживаясь на широко расставленных ногах, вытащил из кармана платок и стер Бутову кровь со щеки.

— Пусти, Сашка, — сказал он, — ты ведь устал...

— Уйди, — сказал хрипло Бутов, не поворачивая головы. — Видишь, окно пробило.

Но Никита не уходил.

На самолете все трещало. Лед сплющивал дюралевые покрышки, гофрированную жесть, трубки.

Казалось, спасения не было.

«Не может быть...» — подумал Бутов, стараясь представить себе место, куда может упасть самолет.

Он тяжело вздохнул и прикрыл на секунду глаза.

В бешенстве жал он ручку. Мотор работал на полную мощность, самолет карабкался вверх.

«Еще, еще немножко...» — думал Бутов, сжимая зубы.

Машина стала послушнее, попав в теплый воздушный слой. Бутов повел ее медленно, как бьющуюся в пене лошадь. Постепенно утихла тряска. Самолет оттаивал.

Бутов посмотрел на красивое, мужественное лицо Никиты и вспомнил, как хорошо они дружили когда-то. Бутову было приятно, что Никита сидит рядом с ним.

Впереди было еще самое трудное — пробиться в слепом полете над горами, к земле. Аэропорт был совсем близко.

На верхнем слое облаков Бутов увидел какие-то неясные очертания. Он замечал раньше, что так отражалась вы-

соко в небе долина реки. Аэропорт был на берегу.

Бутов развернул машину в сторону от гор, чтобы не вмазать в них при снижении, и медленно повел машину вниз. Туман редел.

Показалась узкая прогалинка, темная, как след на снегу. Рваные клочья облаков цеплялись за крылья. Слабо потрескивали льдинки, откалываясь от самолета.

Туман внезапно оборвался, открылся горизонт, залитый солнцем. Нестерпимо ярко блестел на вершинах снег. Бутов повел самолет на посадку. Затих мотор. Машина коснулась земли. Бутов долго сидел, не снимая рук с управления. Губы пересохли, ему хотелось пить.

Никита стиснул ему руку и вышел из самолета. Чуть пошатываясь от усталости, Бутов пошел за ним. Пассажиры уже вылезли из самолета.

— Ну, и разделало, — сказал сокрушенно Норкин, осматривая измятую, как будто пробитую пулями, машину. — Как на войне.

Никита отошел в сторону и закурил. Бутов подошел к нему. Оба смутились.

— Откуда это ты? — спросил Бутов.

— Вызвали меня, — ответил Никита, — я же теперь в К. Такое, брат, срочное дело...

— А как там Женька? — спросил Бутов.

— Ничего, здоров...

Они замолчали.

Бутова позвал дежурный, и он, обрадовавшись, отошел.

Вечером Бутов сидел один на террасе. За его спиной в столовой ужинали. Буфетчица Клава щелкала костяшками на счетах. У ног Бутова лежал белый пес Пират.

— Кто тебе глаз подбил, Пиратушка? — спросил Бутов.

Буфетчица выглянула на террасу и сказала, хихикнув:

— Какой смешной... С Пираткой разговаривает...

Бутов ничего не ответил ей. Она постояла немного и ушла.

Из столовой, закончив ужин, вышел Никита и второй пассажир — инженер.

Они заночевали в порту, чтобы утром вылететь дальше.

Инженер, увидев Бутова, обрадовался и, протягивая ему папиросы, сказал:

— Да, попали в переплет сегодня... — Он покачал головой. — Я долго не понимал, что происходит. Думал, так и надо. Я ведь в первый раз лечу...

— За женщину я очень беспокоился, — сказал Бутов. — Думал, укачает ее.

— Представьте себе, ничего, — сказал инженер, удивляясь. — Сидела спокойно. Даже жалела, что дальше сегодня не летим.

За террасой сразу же начиналось поле, покрытое высокой травой. Из-за гор вышла ленивая оранжевая луна и повисла над самым горизонтом. С гор рекою полился лунный свет.

Инженер, церемонно попрощавшись, ушел.

Бутов и Никита долго сидели молча.

— Осень, — сказал Никита. И, помолчав, прибавил: — Трудная у тебя трасса, Саша...

— Сам видел, — сказал Бутов.

Становилось холодно.

Никита докурил папиросу.

— Ну, я пойду спать, — сказал он. — Да и тебе пора. — Он пожал Бутову руку и сказал неожиданно: — А паренек у тебя хороший. Умный, способный мальчик... И знаешь, какая смешная штука. Женька все читает дома «Мойдодыра». Прямо голову забил. Я смотрю сегодня, как лед летит, а в голове стучит: «умывальников начальник и мочалок командир». И еще как-то: «чистим, чистим трубочиста». Это ты, кажется, прислал ему эту книжку?

— Я. — Бутов растерянно улыбнулся.

Никита ушел, а он долго еще сидел, думал о Женьке и ребенке, который еще не родился, о Лене, о Лизе, о себе, о Никите, о жизни и о смерти.

«А Никита — это уже совсем, как в кино...» — думал он. Должно же было так случиться, что пассажиром у него оказался Никита. Никита сам летчик, он понимает, что это был за сложный полет. Бутов гордился собой. Хорошо, что именно сегодня они встретились. И

то, что они мало разговаривали здесь вечером, тоже хорошо. Они понимали друг друга и без слов...

Откуда-то из поселка ветер доносил обрывки мелодии. Очевидно, в парке играл оркестр. Музыка беспокоила Пирата, спавшего у ног Бутова; он вздрагивал и тихонько подвывал во сне. «Что теперь Женька делает? — подумал Бутов. — Вспоминает ли он меня?..».

★

Утро было холодное, но днем взошло солнце и согрело землю. Когда Иван Тимофеевич под'езжал к порту, ему стало жарко. Вытирая клетчатым платком разгоряченный лоб, он спросил первого встретившегося ему пилота, как найти Бутова.

— Он сейчас здесь, — сказал пилот. — Одну минутку...

Мимо проходила высокая женщина в накинутом на плечи плаще. — Вы куда, Татьяна Федоровна? — спросил пилот, и лицо его просветлело. Под сросшимися на переносице бровями улыбнулись большие, черные глаза.

Иван Тимофеевич чуть вздохнул, вспомнив свою молодость.

Женщина остановилась и, отводя рукой упавшие на лоб волосы, сказала:

— На летное поле иду... А вы, Никко, куда?

— В город, — сказал Нико. — Тут Бутова гражданин спрашивает. Вот он. Может, он пойдет с вами, Татьяна Федоровна. Я Бутова только-что около радиостанции видел...

— Хорошо, — сказала Татьяна Федоровна и посмотрела на Ивана Тимофеевича.

Иван Тимофеевич поклонился ей.

Они пошли.

— Татьяна Федоровна! — крикнул Нико. — Когда вы сегодня будете дома?

— Поздно, — не оглядываясь, ответила Татьяна Федоровна и спросила у Ивана Тимофеевича: — Бутов вам родственник?

— Знакомый, — сказал Иван Тимофеевич. — Мы с ним в прошлом году отдыхали вместе на курорте.

— Удивительно, — сказала Татьяна Федоровна и улыбнулась, — обычно курортные знакомства сразу же обрываются...

— Смотря какие, — сказал Иван Тимофеевич.

Ветер играл светлыми волосами Татьяны Федоровны.

— Опять растрепались, — с досадой сказала она. И, сбросив плащ, попросила: — Подержите, пожалуйста, плащ, я их заколю... — Стягивая на затылке волосы, она говорила: — Терпеть не могу шляпу носить, а в косынке жарко.

Иван Тимофеевич смотрел на ее полные руки, поднятые к затылку, на пышную массу волос и думал, что такая женщина может хоть кого свести с ума, не только того молоденького, красивого мальчика. «Хоть бы и меня» — храбро подумал Иван Тимофеевич — и приосанился. Он ловко подал Татьяне Федоровне плащ. Они пошли дальше.

Еще издали Иван Тимофеевич узнал Бутова. Бутов стоял около маленького строения, сложенного из серого кирпича, с каким-то человеком.

— Вон там он стоит, ваш Бутов, — сказала Татьяна Федоровна и показала рукой на домик. — Вы идите к нему, а мне сюда... Тут мои метеорологические приборы стоят. — И она ушла.

Иван Тимофеевич, посмотрев с сожалением ей вслед, пошел к Бутову. Бутов стоял к нему спиной. Подходя, Иван Тимофеевич слышал оживленный голос и смех Бутова.

— Александр Сергеевич, — позвал он.

Бутов быстро повернул голову, увидел Ивана Тимофеевича, обрадовался и кинулся к нему навстречу. Они обнялись и, стесняясь этого, стали хлопать друг друга по спинам.

— Вот уж не ожидал, — сказал Бутов. — Не предупредили даже, ничего...

Иван Тимофеевич вздохнул и махнул рукой.

Где-то на окраине города, у сестры Ивана Тимофеевича, той самой вдовы с мальчиком, что жила теперь с ним, был маленький домик, оставшийся ей от му-

жа. Сестра и решила этот домик продать.

— А я, — сказал Иван Тимофеевич, — думаю, почему не поехать. Скучно на одном месте сидеть. И вас повидать хотел... Приехал, а здесь такая морока, просто не знаю, что делать... Домик заселен жильцами, жильцы платят квартплату по ставке, — кто же его купит? А сестра, — знаете, женщина, — думает, что у нее тысячное состояние. Я в горсовет ходил, они ничем не могут помочь. Зачем же трудящихся будут выселять? А сестра думала за эти деньги мальчишке все обмундирование на зиму справиться. И сама женщина еще не старая... — Иван Тимофеевич снова вздохнул. — Я им говорю в горсовете, — продолжал он, — если они трудящиеся, выдайте им ордера на новые комнаты. А они мне: «Помилуйте, у нас свободного квадратного метра в городе нет. У нас ответственные работники в гостинице живут, квартир нехватает».

— Да, действительно, — подтвердил Бутов. — Вот у меня, например, одна маленькая комната. Жду, пока закончат строить новый дом для пилотов...

— Еще там один тип нашелся, — вспомнил Иван Тимофеевич. — Я, говорит, летчик, как так? Будьте вы, думаю, неладны, зачем я с вами связался. И ушел.

Оба посмеялись...

Радист, стоявший с Бутовым, задумался и спросил:

— А какой же это летчик может быть? Наши все в новых домах живут? Может, осовашихимовский?

— Не спрашивал, — сказал Иван Тимофеевич. — Шут с ним...

Радист спросил у Бутова что-то относительно кабеля. Бутов ответил ему.

— Так вы поработайте еще часок, — попросил Бутов радиста. — Я еще летаю... Вот покажу товарищу, над чем мы здесь головы ломаем.

Радист ушел.

Бутов повел Ивана Тимофеевича к самолету и по дороге спросил:

— А как ваш счет?

— Ничего... — ответил Иван Тимо-

Феевич, — еще одно предложение относительно механической заправки сделал. Я ведь теперь больше с наземным оборудованием связан... — объяснил он. И, хитро сощурился, спросил: — А ваш счет как?

— А вот посмотрите, — смеясь, ответил Бутов.

В самолете сидел круглолицый мальчик в замасленной рубашке.

— Ну, как? — спросил Бутов.

— Проверил. Работает, — сказал мальчик. — Все в порядке. — Он вылез из самолета и сказал задорно, совсем по-детски: — А тут царь природы подходил.

— Близко? — заинтересовался Бутов. И, заметив недоумение на лице Ивана Тимофеевича, объяснил: — У нас тут орел с подбитым крылом опустился... И живет. Но людей боится. Мы с Федей все стараемся его приручить... Ах, ты, шлем я свой на радиостанции забыл. Федя, сбегай, пожалуйста.

— Два? — спросил Федя и, не слушая ответа, побежал вприпрыжку по полю.

— Талантливый радист, — сказал Бутов про Федю. — Прямо не знаем, что с ним делать. Деньги ему платить неудобно. Молод. Разбалуется мальчишка. А работает, как взрослый. Просит, чтобы мы его летать научили... Вот, вот он, — внезапно сказал Бутов. — Смотрите.

Из-под крыла самолета, прихрамывая, вышел орел, увидев людей, остановился и, повернувшись, неспешно пошел обратно.

— Гордость какая, видали? — спросил Бутов. — Такого в воздухе встретишь, ни за что не уступит дорогу. Приходится сворачивать, может вмазать в винт... В туман у нас часто птицы на аэродроме отсиживаются. Туман пройдет — улетают.

— Правильно, значит, трасса выбрана, — сказал Иван Тимофеевич.

Федя принес шлемы.

Бутов надел свой странный шлем, с какими-то витками и шнурами. Удивленный Иван Тимофеевич спросил:

— Это что за марсианский убор?

— Радиофицированный, — сказал Бу-

тов — Собственной конструкции... Теперь слушайте, буду вам объяснять.

Бутов горячо стал говорить о слепой посадке, когда туман стоит низко, почти до самой земли. Приборы позволяют вести самолет, когда земли не видно, но пока еще нет приборов, которые помогают садиться вслепую.

— Недавно я попал в обледенение, — сказал Бутов. — Выбрался из него. Но больше всего боялся посадки. К счастью, когда пробился сквозь туман до земли было еще добрых полтораста метров. А если бы не было? — спросил он. — А многие наши порты на горной трассе расположены как-раз в ложбинах. Там застревает туман. Летишь — небо чистое, а аэродром посадки закрыт...

Торопясь, он объяснил, что вместе с Супруном они придумали простейший способ, позволяющий им использовать радиомаяк также и для посадки.

— Я вам покажу просто, — сказал Бутов и вынул из кармана коробку спичек. — Вот две спички, — сказал он. — С одного конца я их соединяю, получается угол. Радиомаяк посылает два луча. Они расходятся таким вот углом. Лучи передают разные сигналы. Посередине раствора лучей равносигнальная зона. Здесь сигналы слышны с одинаковой силой. Если самолет отклоняется вправо, пилот слышит сильнее только один сигнал. То же самое влево. Это дает возможность пилоту, не видя земли, вести самолет по трассе. Понятно? Теперь посадка. — Бутов торопился. — Предположим, я подошел к аэродрому. Аэродром закрыт. Но ведь очень редко бывает туман до самой земли, все же таки десять-пятнадцать метров всегда остается. Ладно. По громкости сигналов и по полному их слиянию, ведь лучи-то сошлись, я знаю, что я над самым маяком. Засаекаю секундомер, знаю расстояние до аэродрома и делаю расчет на посадку.

— Тонко, — сказал Иван Тимофеевич.

— Но не рвется, — прибавил Бутов. — Я ведь вам все грубо объяснил, схематично. Есть еще много подробностей. А пока давайте полетим.

Иван Тимофеевич надел шлем и осторожно влез во вторую кабину. В первую сел Бутов.

Когда взлетели, Бутов опустил над своей кабиной колпак, он вел теперь машину только по приборам. В правом ухе Ивана Тимофеевича запел сигнал радиомаяка. Он стал стихать, выплыл и второй, и монотонно, перемежаясь, стали звучать короткие и длинные сигналы. Самолет шел по равносигнальной зоне. Иван Тимофеевич встревоженно смотрел перед собой, Бутова не было видно из-под колпака, но самолет летел, делал развороты, крены. Описав над аэродромом круг, Бутов повел самолет на снижение.

«Что он, идиот, делает» — подумал Иван Тимофеевич и инстинктивно ухватился за борт кабины. До земли оставалось несколько метров. Вдруг колпак, скрывавший голову Бутова, упал. Машина коснулась земли и снова взлетела. Бутов опустил опять колпак и полетел по кругу.

«Здорово, — подумал Иван Тимофеевич. — Очень здорово».

Он задумался. Загрустил. И только изредка, опоминаясь, прислушивался к сигналам. Бутов делал заход на посадку и каждый раз, когда самолет касался земли, Иван Тимофеевич восхищался.

Когда сели, он сказал:

— Чорт вас знает, как вы это делаете! Разворот всегда над одним и тем же домиком... Тьфу, у меня до сих пор в ушах свистит.

— Это с непривычки, — сказал Бутов, пристально посмотрел на Ивана Тимофеевича и ничего больше не спросил. — А теперь поедем ко мне обедать.

Они долго шли молча.

Иван Тимофеевич был как будто расстроен. И в машине тоже сидел мрачный. Уже у самой квартиры Бутова, когда поднимались по лестнице, он сказал:

— Позавидовал вам сегодня... Должен признаться... Летаете, влюбляетесь...

— Влюбляетесь? — переспросил Бутов.

— Не вы, так другие... Летчика такого черного встретил. В Татьяну Федоровну влюблен.

— Это Бадридзе, — сказал удивленный Бутов. — А откуда вы знаете?

Иван Тимофеевич рассказал про встречу в порту, потом прибавил:

— Меня самого теперь Осоавиахим к преподаванию привлек. Но я больше по моторам... Где мне летать теперь, слишком я толстый.

Дверь им открыла Лиза.

— Ах, это вы, — сказала она, конфузясь, и теснее запахнула большой платок в цветах, накинутый на плечи. — Пожалуйста, заходите. Обед давно готов.

За обедом снова заговорили о квартирах.

— Все ж таки мне непонятно, — говорил Иван Тимофеевич. — Дома все строят и строят, жилья нехватает, а народ так и прет в большие города... Хотя в провинцию приедешь, и там такая же история... А о Москве и говорить не приходится. Там, если у женщины есть своя комната, так у ней от женихов отбою нет. Представьте себе... Наш летчик, молодой, интересеный парень, женился там на вдове. Она на восемь лет его старше. Он говорит, этот летчик: «Не могу я больше по общежитиям скитаться. А у нее газ, телефон, ванна».

— Вам можно еще супу? — спросила Лиза.

— Благодарю вас.

Раскрасневшаяся Лиза налила Ивану Тимофеевичу вторую тарелку супа. Ей было приятно, что у них обедает гость.

— Да, беспокойный пошел народ, — опять сказал Иван Тимофеевич. — Все ездит, все ездит... А у вас как дела? — спросил он у Бутова. — Службой довольны?

— Доволен, — сказал Бутов. — Интересная оказалась работа... Недостатки, правда, есть. — Он положил ложку. — Утром сегодня было бюро. Говорили о технической учебе. Я в частности выступал... Надо ведь до весенних туманов оснастить все самолеты радио. Смешно сказать, но многие до сих пор мало верят в радиомаяк. Надо ведь людей убедить...

— А вы полетайте с ними, как сегодня со мной, — предложил Иван Тимофеевич. — Это будет весьма убедительно.

— Об этом и разговор. Этого мы и хотим. Командир обещал издать приказ об обязательной тренировке, и все тянет. Мы поставили вопрос на бюро... Теперь он обиделся. Зачем, говорит, вы на меня жалуетесь, я все равно уже приказ написал...

— Тише, Саша, — предостерегающе сказала Лиза.

— А в чем дело? — спросил Бутов, пожимая плечами. И объяснил: — Мы ведь с ним в одной квартире живем. И вообще в хороших отношениях... Он командир неплохой, но слишком перегружен. Видите ли, нам план начисляют по тонно-километражу. Фактически за загрузку самолета отвечает не коммерческая служба, а мы, летный состав. Сейчас об этом уже поднят вопрос перед управлением... А то что получается? Командир думает о загрузке самолетов, а не о летном деле. У него груз в голове, где ему думать о радио или о тренировке. И пилоту тоже неинтересно на пустой машине летать.

Лиза принесла из кухни блюдо с жареным мясом.

— Молодец хозяйка! — похвалил гость. — Даже удивительно. Молодые женщины теперь хозяйство не любят.

— Я всегда маме помогала, — просто сказала Лиза.

Когда пообедали, она унесла посуду на кухню. Бутов с гостем сели играть в шахматы.

«Все не так, как надо» — думала Лиза, перемыывая тарелки.

Похвала Ивана Тимофеевича как будто обидела ее. Неужели она ни на что больше не способна?

Почему и Иван Тимофеевич, и Саша воображают, что она своей жизнью довольна? Да, она не отказывается вести хозяйство. Но это ведь еще не все.

Она любит Сашу. Но ей скучно сидеть дома.

И она твердо решила, что, как только родится ребенок, она начнет работать.

Перетерев посуду, Лиза вернулась в комнату.

Мужчины, подперев ладонями головы, сидели над шахматной доской. Иван Тимофеевич занес своего коня над бутовской королевой.

— Ах, чорт, — пробормотал Бутов. Вечерело.

Лиза повернула выключатель.

Лиза смотрела на мужа, испытывая неожиданный прилив нежности к нему. При электрическом свете волосы его становились совсем светлыми, в них появлялся золотистый оттенок.

«Все равно я его люблю, — подумала она. — Надо пойти поставить на плиту чайник... Какая это глупая работа, домашняя... Целый день, целый день...».

Вздохнув, она вышла из комнаты.

— А знаете, Иван Тимофеевич, — сказал Бутов в раздумьи. — Теперь дело прошлое... Но вы в свое время сильное впечатление на меня произвели. Я после того...

— Я здесь не при чем, — перебил его Иван Тимофеевич. — Куда же это вы пешечку подвинули? Сюда? А тут мы ее, голубушку, вот чем встретим... Просто вы, Саша, накопили жизненный опыт... И все.

— Скромничаете, Иван Тимофеевич. — Бутов помолчал, обдумывая ход, потом двинул коня. — Спасли человека и скромничаете.

— Ну, как вам не стыдно, Александр Сергеевич, конем ходить? Зачем вам здесь конь понадобился? А членом Общества спасения на водах я, действительно, состоял. Я себе вторую жену, можно сказать, из воды вытащил... Ох, запоете вы мне сейчас. — И, победно улыбаясь, Иван Тимофеевич сощурил глаз. — Что вы про этот ход скажете?

Когда партия в шахматы кончилась, сели пить чай с вареньем. Зашла Анна Абрамовна. Она долго отказывалась от чая, уверяя, что «заглянула на минутку, только спросить у Александра Сергеевича, о чем говорили на бюро», — потом согласилась выпить «полчашки».

— Моего ругали? — спросила она.

— Немножко.

Анна Абрамовна огорчилась.

— Удивительное дело, — сказала она, высоко подняв плечи. — Чем больше человек болеет душой за работу, тем больше он имеет неприятностей. Мой муж, — сказала она, обращаясь к Ивану Тимофеевичу, — на командной должности. Человек недосыпает и недоедает. У него, извините, большой желудок. Он должен питаться только дома. И что же? Он не возвращается домой по двое суток.

— Д-да, — неопределенно сказал Иван Тимофеевич.

— Вы почему варенье себе не кладете? — заботливо спросила Лиза, приподвигая к гостю вазочку с вареньем.

Анна Абрамовна положила на блюдце немного варенья, прищурилась, посмотрела, как оно стекает с ложечки, и продолжала начатый разговор.

— Вы не огорчайтесь, Анна Абрамовна, — попытался успокоить ее Бутов. — Вообще говорили о работе отряда.

— Ах, это все равно, — воскликнула Анна Абрамовна. — Нужно ведь замечать, насколько человек предан работе... У него даже со мной другого разговора нет. Все план и план...

— Разговора мало, — вмешался Иван Тимофеевич. — Может, я, например, мечтаю, чтобы все шло бесперебойно, а сам на печке лежу? Что тогда толку?

Анна Абрамовна вспыхнула.

— Если хотите знать, так мой муж буквально сколотил этот отряд. Он открыл эту линию.

— Я про вашего мужа не говорю... Я с вашим мужем незнакомый даже. Я просто высказываю свою точку зрения.

— Пожалуйста, пожалуйста. Каждый думает по-своему, — гордо согласилась Анна Абрамовна.

Когда гости ушли, — Иван Тимофеевич остановился в гостинице, — Лиза, перемывая чашки, сказала:

— А мне с тобой надо поговорить, Саша.

«Опять» — подумал Бутов.

— Я хотел подготовиться к занятиям, завтра у нас кружок по истории партии, — сказал он робко.

— Как хочешь.

Бутов понимал, что Лиза обиделась. Стараясь сделать вид, что ничего не произошло, он подошел к ней и сказал, улыбаясь:

— Я весь — внимание...

— Не надо балаганить, Саша. Ну, вот еще одно доказательство, — сказала она, — ты никогда не разговариваешь со мной серьезно. А я считаю нечестным скрывать от тебя свои мысли... Пусть это глупые мысли. — Она начала волноваться. — Все равно! Неужели я должна делиться ими с Анной Абрамовной?

— Чего же ты хочешь, Лиза?

— Я недовольна своей жизнью, — сказала Лиза в отчаянии.

— Странный вы народ, женщины! Никогда не поймешь, что вам надо.

— Ладно, прекратим этот разговор, — сказал Лиза упавшим голосом и взяла со стола газету.

Бутов шумно вздохнул и сел к столу. Он разложил перед собой тетради и книги, но читать не мог. Его беспокоила Лиза, бледная и грустная, сидевшая на диване с газетой в руках.

— Как твое здоровье? — спросил он ласково.

Лиза отложила газету в сторону:

— Я получила сегодня письмо от мамы. Она просит меня приехать к ней на это время.

— В чем же дело? — спросил Бутов. — Поезжай. — Он отодвинул от себя книгу и встал. — Я понимаю, Лиза, тебе теперь уход нужен, внимание... Я прихожу после рейса усталый... — Он подошел и сел рядом с ней на диван. — Я очень перед тобой виноват, Лиза, я знаю. Ты вместо того, чтобы о себе заботиться, беспокоиться обо мне.

— Ты только люби меня, Саша, — сказала Лиза. — Мне больше ничего не надо.

«Легко сказать — люби...» — подумал Бутов.

★

Лиза уезжала к матери. Она была худая, с желтыми пятнами на ввалившихся щеках.

Они стояли в тамбуре вагона.

— Ты мне пиши, Саша, слышишь? — сказала на прощанье Лиза.

— Обязательно...

Лиза обняла его и посмотрела на него таким долгим, печальным и преданным взглядом, что Бутову стало не по себе. Он пожалел, что не купил ей в дорогу цветов. И вообще грустно стало, что она уезжает.

Но как только отошел поезд и он вышел на вокзальную площадь, ему стало веселее.

Он был свободен. Погода была не летняя. Третий день в горах бушевала вьюга.

Домой идти не хотелось. Он решил зайти в ресторанчик, неподалеку от дома, поужинать.

В ресторанчике, очевидно, из-за раннего времени было немного народу. Почти половина столиков пустовала. Бутов выбрал место в углу, под лампой в пестром шелковом абажуре. Он заказал себе ужин.

Столик обслуживала пожилая женщина с добрыми глазами. Она приняла от него заказ, озабоченно сдвинув брови, словно боялась, что он ошибется в выборе блюда.

Бутов чувствовал себя так, будто пришел к ней в гости.

— А тут высокий у вас один работал, — спросил он, — розовый такой. Он в столовой аэропорта раньше был. Нет его теперь, что ли?

— Не работает, — ответила официантка и поджала губы, демонстративно подчеркивая свое нежелание «выносить сор из избы».

Бутов вытащил из кармана сложенную газету, которую не успел сегодня прочесть из-за отъезда жены, и неторопливо развернул ее. На странице промелькнула его фамилия. Он стал читать. Да, это писали о нем. «Неужели это тот корреспондент, что приезжал? — подумал Бутов. — Как здорово пишет... Красиво пишет... Врет, но красиво. Вовсе это не так опасно было». Раскрасневшись от удовольствия, он еще раз позвал официантку и попросил принести бутылку вина. «Праздник, так праздник» — думал он, наливая вино в стакан.

Распахнулась входная дверь, и в зал с громким смехом вошли сразу несколько человек: Супрун, Бадридзе, Шумейко, Татьяна Федоровна и еще какая-то незнакомая девушка. Они увидели Бутова. Татьяна Федоровна шепнула спутнице что-то на ухо, та очень внимательно посмотрела на Бутова. Он немного смутился и, скомкав газету, сунул ее в карман. Супрун сказал:

— Не прячь... Все равно читали.

В маленьком зале сразу стало шумно. Из-за пестрой занавески, скрывавшей вход на кухню, выглянул толстый заведующий с карандашом за ухом и поклонился посетителям. Сейчас же на кухне послышался его громкий голос. Он посылал за музыкантами.

— Внесли беспокойство, нарушили мирную жизнь, — сказал Супрун. Он подмигнул Бутову.

Сдвинули вместе два столика и стали размещаться. Больше всех суетился Супрун.

Ловкий Бадридзе, улыбаясь, пододвинул Татьяне Федоровне стул и, энергично жестикулируя, стал что-то говорить ей, продолжая, очевидно, спор, начатый еще на улице.

Татьяна Федоровна улыбалась и лениво отмахивалась от него.

Незнакомая девушка села рядом с Бутовым. Он искоса посмотрел на нее и встретился с ней взглядом. Девушка отвернулась.

Шумейко взял меню и сказал серьезно, басом:

— А вот мы тебя проработаем сейчас.

Татьяна Федоровна перегнулась через стол и сказала Бутову, показывая глазами на его соседку:

— Знаете, Бутов, она будет работать в Минеральных, дежурным по порту. Только-что окончила курсы. — Татьяна Федоровна усмехнулась. — А вами она очень интересуется. Ей здесь много о вас чудес рассказывали. Какие девушки в восемнадцать лет не бредят летчиками.

— Можно подумать, Татьяна Федоровна, — сказал Бадридзе обиженно, — будто вам самой по меньшей мере сорок...

— Сорж, не сорок, — сказал Татьяна Федоровна, — но не буду вас, Нико, обманывать: двадцать восемь уже исполнилось.

Соседка протянула Бутову руку и сказала:

— Нина Макарова.

Бутов встал и, вставая, зацепил локтем стакан с вином. Красное пятно расплозлось по скатерти.

— Соли, соли скорее! — закричала Татьяна Федоровна и быстро высыпала соль из солонки на пятно. — Вот видишь, Ниночка, все храбрецы такие... Обледенения он не боится, а с девушкой познакомиться, так он в волнении стаканы на скатерть опрокидывает.

— Танечка, оставьте его в покое, — сказал Шумейко. — Вы кого угодно с толку сбить можете.

— А у нее служба такая, — сказал Супрун весело. — Метеорологи, они всегда нашего брата с толку сбивают.

— Супрун! Бить буду... — пригрозила Татьяна Федоровна.

Бутову приятно стало, что хорошенькая девушка им интересуется.

— Ну, как, хорош? — спросил Супрун у Нины, подмигивая в сторону Бутова. — Она про тебя, Саша, все время спрашивала. И с нами спорила: вы, говорит, мелкие людишки, воздушные извозчики, а он, наверное, в жизни тоже необыкновенный... Я говорю: что вы, Ниночка, — он, ведь, рыжий... Видите теперь сами?

Нина покраснела.

— Как вам не стыдно! — сказала она. — Я вовсе так не говорила.

— Говорила, говорила, — нежно и чуть насмешливо сказала Татьяна Федоровна. — Она, как прочла про вас в газете, так с ума и сошла.

— Татьяна! — закричала Нина.

— Да что вы... — пробормотал Бутов.

Подошла официантка, и Супрун стал договариваться с ней об ужине. Называя блюда, он загибал на руке палец и подмигивал официантке.

— Раньше всего вина... — сказал он. — Потом пять шашлычков.

— Пять шашлычков, — повторила официантка.

Нина вдруг сказала:

— На мою долю не заказывайте. Я пойду домой.

— Да что ты, Ниночка! — всполошилась Татьяна Федоровна. — Ты нам всю компанию расстраиваешь.

— Собрались в кои веки... — мрачно сказал Шумейко.

— Может, ты на меня обиделась? — мягко сказала Татьяна Федоровна. — Извини. Я ничего плохого не имела в виду.

— Останьтесь, Нина, — взмолился Бадридзе.

— Нет, я пойду, — упрямо сказала Нина. — Мне завтра рано уезжать.

— Если вы уйдете, значит, я вам не понравился, — шуточно сказал Бутов.

Нина серьезно посмотрела на него и неожиданно для всех сказала сердито:

— Ну, ладно, я остаюсь...

— Все в порядке, — сказал Супрун официантке. — Курс прежний, пять шашлычков. А ему вы пока не несите, пусть нас ждет. — Он показал на Бутова.

Официантка подала вино. Супрун разлил его, подмигнул Нине и сказал:

— Не надо все-таки изображать нашего брата-пилота каким-то голубоглазым красавцем. Мы и лучше всех, и честнее всех, и храбрее всех... — Он обратился к Бутову. — Вот про тебя в газете написали. Думаю, все правильно, только это не Саша. А почему? Чувства меры нет. — Он разгорячился. — Нет, вы покажите нам летчика-героя, какой он есть... Вы его необыкновенным не показывайте. Вот, например, у меня есть знакомый. Летчик, как летчик. Парень, как парень. Правда, неплохой парень. Дали ему недавно одно ответственное задание, и теперь он Герой Советского Союза. А продолжает работать, как ни в чем не бывало. Сам добряк, шутник, не загордился ничуть. Я к чему клоню? Такой же он человек, как и я, — так же спит, так же ест и так далее. А творит невероятные дела. Постой, я думаю, значит, и ты, товарищ Супрун, можешь? Могу. И как только я это почувствую, становится мне хорошо на душе. Я себя мобилизую. И позови меня в любую минуту, — пожалуй-

ста, Супрун готов. Супрун в себя верит. А теперь наоборот возьмем. Читаю я в газетах и книжках про героев. И описаны они таким возвышенным слогом, что я решаю: нет, мне до таких замечательных людей никогда не допереть... И на этом успокаиваюсь.

Нина покачала головой, как будто не соглашаясь с Супруном.

— Постой, Коля, — возразил Бутов, — ведь так лазейка для каждого из нас остается? Мол, все в потенции хорошие люди, при случае мы себя проявим, а пока можем жить, не задумываясь.

— Чорт его знает, — задумчиво ответил Супрун. — Для хитрого человечка всегда лазейка найдется, а я настоящих парней имел в виду.

— Батюшки, — с комически ужасом сказала Татьяна Федоровна, — какой Супрун философ.

— А вы напрасно думаете, что летчик не может философом быть, — вдруг обиделся Шумейко. — В полете о многом успеваешь передумать. Молчание располагает, как известно, к философствованию.

— Что это на меня все обижаются сегодня? — спросила Татьяна Федоровна.

— Я на вас и вчера обижался, — вздыхая, сказал Бадридзе.

— Ну, вы и завтра будете обижены, — задорно сказала Татьяна Федоровна. — Ниночка, ты все еще злишься?

— Ничуть я не злюсь.

— А все-таки ты, Коля, неправ... — снова сказал Бутов. — Должна быть такая искорка в человеке, по которой сразу можно определить, на что способен человек. Вот ты про своего знакомого рассказал. Ладно. Предположим, он в быту действительно обыкновенный человек, на лбу у него ничего не написано. Но ведь не случайно правительство именно ему дало задание, а не другому кому-нибудь, не третьему. Ведь знали, что на него можно надеяться...

— Это, пожалуй, так... — в раздумьи сказал Супрун.

— Ну, вот... — продолжал Бутов. — Ведь были у него данные, у твоего зна-

когого. Значит, каждый из нас, кто хочет, как ты говоришь, на вопрос партии и правительства: «можешь, товарищ Супрун?» — «Могу» ответить, — должен в себе эти данные подготавливать. И технику, и знания, и то, что в армии называется политико-моральным состоянием.

— Так против этого я не возражаю... — сказал Супрун.

— Все время надо повышать свой уровень... — Бутов посмотрел на Нину. Нина внимательно слушала его. «Какие у нее глаза красивые!» — подумал он. И покраснел. — Давайте выпьем, — сказал он. — Что это мы собрание устроили?

Когда поужинали и вышли на улицу. Бутов взял Нину под руку и спросил:

— Вы всегда такая грустная?

— И с чего вы взяли это? — удивилась Нина. Она помолчала немного, потом сказал твердо: — Я всю жизнь буду верить в людей, не так уж важно, что бывают негодяи или пьяницы. Важно, что человек может всего достигнуть. Был бортмехаником, например, стал пилотом. Разбивался, — опять летал. Ведь это самое главное, стремление к совершенству. Правда? А Таня, с тех пор, как разошлась с мужем, старается обо всех думать плохо. Как будто из-за того, что Петя ее оказался ничтожеством, жизнь стала хуже... — Нина испугалась вдруг и добавила: — Таня сама очень хороший человек, она только скептик. Вы не замечали?

— Я мало знаю Татьяну Федоровну, — ответил Бутов. — Мы ведь в порту только и встречаемся, а там все деловые разговоры...

— Вы чего там отстае? — крикнула из темноты Татьяна Федоровна. — Ско-рее!

— Я думаю, мы с вами будем друзьями, — сказал Бутов. — Мне очень интересно с вами разговаривать.

«Да ведь я ничего особенного не говорила» — подумала Нина. Прощаясь, она сказала:

— Будете пролетать через Минеральные, зайдите ко мне.

— Не верь, Саша, — пропел Супрун, — на словах все хорошие. А там.

только у тебя документы на грузы будут не в порядке, сейчас волокиту начнет.

Возвращаясь домой, Бутов думал о Нине.

Строгие ее глаза, маленький рот и какие-то удивительно легкие, вьющиеся волосы нравились ему. «Вот это девушка!» — подумал он.

Когда он пришел домой, дверь была почему-то заперта на внутренний ключ. Пришлось звонить. Открыла ему Анна Абрамовна.

— Ну, проводили Лизочку? — спросила она ехидно.

— Проводил, — ответил Бутов, сразу трезвев.

★

В обратный рейс из Ростова Бутов вышел одновременно с Бадридзе. Был уже конец дня. Летчики собирались заночевать в Минеральных, чтобы на рассвете вылететь домой. Переваливать через хребет к ночи было опасно.

Бутов хотелось повидать Ницу. Встречи их до этого времени были коротки. Она, не поднимая на него глаз, оформляла летные документы, а он смущался и краснел и, несмотря на то, что говорил для нее много любезных слов, уходил молча, мысленно посылая себя ко всем чертям. Сегодня он твердо решил встретиться с Ниной.

Еще при вылете они заспорили с Бадридзе. Бадридзе, хвастая новым мотором на своей машине, уверял, что придет в Минеральные по крайней мере на полчаса раньше Бутова.

— А это мы еще посмотрим, — посмеивался Бутов.

Бадридзе горячился.

— На дюжину пива спорим? — предложил он.

Бутов согласился.

Они взлетели с аэродрома один за другим. Бутов сразу же стал набирать высоту. Он видел, как лег на курс Бадридзе, деликатно помахав крыльями машины, что должно было означать: «пока моя берет». Но Бутов был спокоен. Время, которое он затратил, забираясь повыше, не страшило его. На высоте он мог использовать попутный ветер и

разреженность воздуха. Все эти дни после отъезда Лизы, когда в горах бушевала вьюга и через перевал не летали, он не даром просидел дома, — читал и думал о высотных полетах.

Еще некоторое время он видел машину Бадридзе, потом ее закрыло облаком.

Бутов подумал, что надо бы узнать у Нины, какие отношения у Татьяны Федоровны и Бадридзе.

«А впрочем, какое мне дело?» — тотчас же решил он.

Белые облака неторопливо плыли под самолетом. День близился к закату, над землей стояла темная, сиреневая дымка.

Бутов смотрел на указатель скорости и радовался. «Ладно...» — думал он, имея в виду Бадридзе.

Норкин, бортмеханик, сидел рядом с Бутовым, забрав в ладони свой узенький подбородок, и дремал. Голова его клонилась вниз, потом Норкин просыпался, таращил глаза и выпрямлялся на своем сиденье.

Бутов показал ему жестом — шел бы, мол, в кабину и ложился, но Норкин покачал головой. Он встал и прошелся зачем-то по кабине. Потом вытащил из кармана кусочек шоколада, завернутый в серебряную бумажку, аккуратно развернул его и положил Бутову в рот. «Жена?» — прокричал Бутов, наклоняясь к самому уху Норкина. Норкин блаженно улыбнулся.

Бутов подумал о своей жене. Лиза писала часто, подробно описывала свои разговоры с матерью, встречи с знакомыми, новости в отряде. О себе она общала мало, но Бутов между строк читал — она сильно по нем скучала. Дородов оставалось почти полтора месяца.

Бутов тоже скучал по Лизе, ему не доставало ее, но чувство это быстро проходило, а случалось, что он и вовсе забывал о ней. Мысленно он сравнивал ее с Ниной, — все было на стороне последней. Она была моложе, красивее, даже умнее.

Приближаясь к городу, Бутов увидел знакомую красную трубу кирпичного завода, блестящие провода, узкую и острую, как кинжал, вершину одинокой горы.

На аэродроме было выложено посадочное «Т». Бутов посадил машину. Бадридзе еще не было. Нина не дежурила. Бутов решил, что это к лучшему, — значит, она свободна. Не дожидаясь, пока прилетит Бадридзе, он пошел в столовую.

— Ночевать будете? — кокетливо спросила буфетчица Клава.

— Заночую...

Бутов распорядился готовить ужин на двоих, заказал пиво и вышел на террасу посмотреть, не летит ли Бадридзе. Небо затягивало тучами, собирался дождь.

— Вот неустойчивая погода, — сказал, покачивая головой, начальник порта, стоявший рядом. — Каждый день — дождь.

На горизонте показался самолет. Уже темнело. Поднявшийся ветер относил шум мотора в сторону. Машина вылетела из-за горы неожиданно.

Бутов спокойно курил, дожидаясь, пока Бадридзе сядет на аэродром.

Стал накрапывать дождь.

Бутов бросил недокуренную папиросу и вошел в столовую. На столе стояли приготовленные двенадцать бутылок пива.

— Что это у вас за праздник? — спросил начальник порта, входя вслед за ним.

— Это Бадридзе день рождения празднует, — ответил Бутов. И сказал: — Садитесь к столу...

Вошел Бадридзе. Он остановился на пороге, стряхивая со шлема капли воды. Бутов крикнул ему:

— Я тут от твоего имени гостей приглашаю, не возражаешь?

— Пожалуйста, пожалуйста, — кисло сказал Бадридзе.

Подшли бортмеханики, дежурный по порту, угрюмый метеоролог в больших, глубоких калошах, шустрый агент с бордочкой и полевой сумкой, надетой поверх плаща.

Даже буфетчица вышла из-за стойки и сказала:

— Поздравляю вас с днем ангела, товарищ Бадридзе.

Бадридзе захохотал и хлопнул Бутова по плечу.

— Ну, ладно, — сказал он. — Завтра ты у меня именинником будешь.

Пиво выпили быстро.

После ужина Бутов вымылся, почистил костюм и сказал Бадридзе:

— Пойдем к Нине Васильевне в гости?

— Я — спать, — ответил Бадридзе зевая.

— Ну, как знаешь...

Нина снимала комнату недалеко от порта. Бутов подробно расспросил у дежурного, как найти ее дом. «Она должна письмо передать своей тетке» — почему-то счел он нужным объяснить дежурному.

Дождь падал, как будто, нехотя. Небо прояснялось. В просветах мелькали бледные звезды.

В домике, где жила Нина, только одно окно было освещено. «Наверное, ее окно» — подумал Бутов.

Он постучал в дверь. Сердце у него забилось.

Нина громко, немного нараспев спросила:

— Кто тут?

— Это я, Бутов.

Нина открыла дверь.

Она стояла перед ним, улыбаясь, не сходя с порога и преграждая ему путь, как-то по-особенному красивая в простом домашнем платье. Ни слова не говоря, он обнял ее, круто повернул к себе и поцеловал.

— Не надо... Что вы!.. — сказала Нина.

Бутов пришел в себя, махнул в отчаянии рукой и вышел на улицу.

— Куда же вы? — закричала Нина и поймала его за рукав.

Он покорно вошел вслед за ней в комнату.

— Никогда больше не смейте этого делать. Слышите?

Бутов злился. Но, как только он посмотрел на Нину, раздражение его прошло. «Нет, я действительно с ума схожу, — решил он, — влюблен, как мальчишка».

— Чай будете пить? — спросила Нина.

Бутов хотел было сказать, что он пил только-что пиво, но во-время опомнил-

ся. Нина могла бы подумать, что этот неожиданный поцелуй у двери вызван тем, что он под хмельком.

— Вы не беспокойтесь...

Но Нина стала готовить чай. Когда она вышла на кухню, Бутов встал и прошелся по комнате. На стуле, стоявшем около кровати, были навалены книги, стояла лампа под розовым абажуром, лежали бумага и карандаш. «Занимается перед сном» — подумал Бутов.

Все предметы, которые окружали Нину, казались ему удивительно красивыми и привлекательными, — большой флакон духов на комодe, портрет Байрона, красная ваза. Над кроватью висел портрет маленькой девочки с бантом в волосах. Личико у девочки было умное и задумчивое.

— Это вы? — спросил Бутов, когда Нина вернулась.

— Мне здесь пять лет.

Она налила Бутову чай в большую красивую чашку и позвала его к столу.

Размешивая сахар, Бутов думал о том, что такая женщина, как Нина, может сделать жизнь нарядной и интересной. Ее движения, странная привычка быстро проводить мизинцем по бровям, голос — все волновало его. Неожиданно для самого себя он резко отодвинул от себя чашку и пошел к Нине.

— Бутов! Мы ведь условились, — сказала она, улыбаясь и защищая себя выставленными вперед ладонями.

Голос ее и жесты напоминали Лену.

— Я совсем потерял голову, — сказал Бутов и резко отвел ее руки. — Со мной никогда такого не было. Понимаете?

Он обнял Нину и заглянул ей в глаза.

— Не надо... — еще раз сказала Нина.

Но он, не слушая, целовал тонкие руки, отталкивающие его. Легкие пряди волос щекотали его лоб.

Нина засмеялась вдруг безмятежно, как девочка, и сказала:

— Я знала, что так будет... Я знала, что вы меня полюбите. Как только я вас увидела...

Смеясь, они припомнили свою первую встречу в ресторане и вино, которое Бутов пролил на скатерть, знакомясь с ней.

Недопитый чай остывал.

Они так и провели весь вечер, целуясь и разговаривая, пока в соседней комнате часы не пробили двенадцать.

— Поздно, — сказала Нина. — Уходите, Саша...

Она накинула на плечи шинель и вышла, чтобы его проводить.

Над поселком стояла луна. Тучи стремительно бежали на запад. Было холодно и светло. Бутов ничего не видел. Он чувствовал себя молодым и счастливым, ему хотелось только одного, чтобы это ощущение молодости и счастья никогда не проходило.

— Когда мы увидимся? — спросила Нина.

И Бутов вспомнил, что ему через несколько часов надо улетать, что он женат, что он ждет ребенка.

— Нина, — спросил он тихо, — ты знаешь, ведь я женат?

— Знаю... — тихо ответила Нина.

— Она через месяц должна родить...

Нина отняла свою руку и сказала сухо:

— Я пойду домой, мне холодно...

Бутов удержал ее.

— Я люблю тебя, — сказал он. И, сознавая, что поступает гадко, стал говорить ей, что Лизу он никогда не любил, что он женился на ней только из-за чувства благодарности и жалости, что он готов с ней разойтись.

— Вы не должны были сегодня приходиться ко мне, — сказала Нина с отчаянием. — Забудем про этот вечер...

— Я не смогу забыть, — покачивая головой, сказал Бутов. — Неужели ты сможешь забыть?..

Нина молчала.

Они долго ходили по освещенному лунной тротуарчику. В поселке все спали. Где-то далеко лаяли собаки.

Бутову хотелось сказать Нине что-нибудь на прощанье, но он не мог. Они разошлись молча.

Он возвращался в порт, мучительно обдумывая положение. Выход был

один: разойтись с Лизой и жениться на Нине.

«Как все это нехорошо получилось, — думал он. — Лену уверял, что буду любить до гроба, Лизу с толку сбил, теперь эта...».

Пират встретил его, виляя хвостом. Бутов небрежно погладил его по голове, потом прошел в пилотскую комнату. На кровати, завернувшись с головой в одеяло, спал Бадридзе.

Он проснулся и, высунув голову из-под одеяла, спросил:

— Ну, как, успешно?

— Кажется, женюсь, — сердито сказал Бутов, — в третий и последний раз...

— Не зарекайся... — сказал Бадридзе. — Может, и в четвертый придется.

Бутов ничего не ответил ему, разделся и лег в постель. Он припомнил Нину, и на мгновение ему показалось, что все его колебания — пустяки по сравнению с тем огромным счастьем, которое его ждало.

★

Утром, при заправке, механики обнаружили какой-то незначительный дефект в моторе на машине Бутова. Вылет задерживался.

— Может, подождешь меня? — спросил Бутов у Бадридзе. — Тем более, что погода неважная...

— Это пустяки... — беспечно сказал Бадридзе, рассматривая сводку, — при такой видимости я всегда летаю... — Он похлопал по плечу Бутова и сказал: — А тебе повезло просто, что мотор забарахлил... Можешь пока еще одно свидание устроить...

— Глупо, — сказал Бутов сердито.

— Может, и глупо, — сказал Бадридзе. — Ну, я пошел. Пока...

Бутов вернулся в пилотскую комнату и лег, как был, в костюме и ботинках, на посланную кровать. Спать не хотелось.

По коридору все время ходили люди, бегала, гремя ключами, буфетчица. Бутову показалось, что он слышит голос Нины. Он встрепенулся, привстал, потом снова лег. Все равно он не мог бы

сейчас держать себя с ней, как посторонний. Это было выше его сил.

Но он мечтал о том, что Нина незначай войдет в эту комнату. Она не приходила. Бутов повернулся на бок и, приподнявшись на локте, стал смотреть в окно. Окно выходило на летное поле. Бутов видел, как заправляли машину Бадридзе. Он вырुливал на старт, мокрая земля комьями летела из-под колес, самолет переваливался с боку на бок, как толстая утка.

«Летит домой, счастливец, — подумал Бутов и встал. — Надо пойти механиков торопить. А то будут теперь воститься».

Он вылетел днем.

Над горами расходился туман. Сквозь редкие облака проглядывало скупое, зимнее солнце. Снег, окутавший горный массив, казался розовым на солнце и синим в тени. Горы были закрыты толстым, плотным покровом снега. Лишь в низинах пробивались иногда ржавые пятна растительности.

В воздухе было спокойно.

«Горный воздух будет полезен для ребенка» — подумал Бутов.

Впервые он думал о будущем ребенке, как о реальном существе, которое будет дышать, двигаться, плакать. Интересно все-таки — мальчик это будет или девочка? Потому ли, что он не хотел соперничества с Женькой, или по другим причинам, но он надеялся, что у Лизы родится девочка.

«Жаль, что нельзя назвать ее Леной» — подумал он. И ему стало вдруг стыдно перед всеми тремя: и перед Леной, и перед Лизой, и перед Ниной. «Это же чорт знает что! Бабник, типичный бабник...».

Но перед глазами вставало лицо Нины, с тонкими черными бровями. Пухлые и розовые ее губы мерещились ему. И он твердо решил разойтись с Лизой.

«От несчастной любви не умирают, — думал он, успокаивая себя. — Я-то хорошо знаю, что не умирают». И он вспомнил день, когда Лена ушла от него.

Главный хребет остался уже позади. Горы как будто бежали вниз, громоздились, обваливались. Чернели ущелья.

Машина шла уже на меньшей высоте, ясно видны были селения, разбросанные по склонам гор.

Уже над самым аэродромом, когда Бутов делал круг перед посадкой, он подумал о предстоящем объяснении с Бадридзе.

«Надо помириться, — решил он. — Ну его к черту! Мы же не дети...».

На старте почему-то не было посадочных знаков.

Бутов пошел на второй круг, низко пролетев над самым зданием аэродрома, чтобы там слышали шум мотора.

Около порта стояло несколько легких машин, и среди них, ярко выделяясь своей окраской и красными крестами на боках, стояла большая санитарная машина.

«Что это?» — подумал Бутов.

Он зашел на круг вторично и увидел, как бегут по полю стартеры.

Бутов посадил машину и, даже не пытаясь сдержать свой гнев, длинно выругался. Когда он вылез из машины, дежурный сказал ему, как-то странно округлив глаза:

— Бадридзе разбился, товарищ Бутов.

— Врешь! — крикнул Бутов, весь дрожа.

— Да нет же, не вру, товарищ Бутов, — поспешно сказал дежурный. И оба они быстро пошли по полю к зданию порта. — Вот в ту трубу вмазал. Утром поганая погода была... Пока к нему добежали, а он — мертвый.

Бутов почти не слышал, что говорил дежурный. Его мало сейчас интересовали подробности...

Он вошел в здание порта и, ни с кем не здороваясь, ни на кого не глядя, прошел к командиру. Командир стоял у окна, постаревший и сгорбившийся, заложив за спину руки. Когда Бутов вошел, командир мельком взглянул на него, опять отвернулся к окну и сказал глухо:

— Какой замечательный парень был!..

Бутов злился в эту минуту. Он почти ненавидел Бадридзе за его горячность и мальчишеское безрассудство.

— Где он? — спросил Бутов.

— В красном уголке... — сказал

командир. Потом вдруг подошел и сказал шопотом. — Оказывается, у него с Татьяной Федоровной роман был... С ней там истерика, говорят. Я ее на квартиру отправил.

Бутов, не заходя в красный уголок, где лежало тело Бадридзе, поехал домой. Весь день провел он в странной хандре. Мучило его, что они сегодня поссорились.

«Когда-нибудь это ждет и меня...» — подумал Бутов, стараясь найти в этом успокоение. Но успокоение не приходило. Все волнения его, все мысли о любви, о счастье, о Нине казались ненужными и мелкими.

Он просидел на диване почти весь день, забыв о том, что голоден. Уже в сумерки постучала Анна Абрамовна и сказала, что для него есть письмо от Лизы.

— Я — сейчас... Спасибо! — сказал Бутов. Он зажег свет, открыл дверь и взял письмо.

«Все то же самое...» — подумал он.

Лиза спрашивала, почему он так редко пишет.

«Надо ей сегодня же послать телеграмму» — решил Бутов, оделся и вышел на улицу.

Высокие деревья, огражденные, как узники, высокими решетчатыми заборами, раскачивались от ветра. Ветер гнал по улице обрывки афиш.

Бутов хотел перейти через улицу и лицом к лицу столкнулся с Татьяной Федоровной. Пальто на ней было растегнуто.

— С ума схожу, — сказала она, глядя куда-то в сторону. И повторила еще раз, как будто слушая собственный голос: — С ума схожу...

Потом встряхнула головой, как бы отгоняя от себя что-то назойливое и страшное, и попросила:

— Отведите меня домой, Бутов...

Бутов проводил ее до дому, вошел вместе с ней в комнату, снял с нее пальто, уговорил ее лечь. Она спросила:

— Непостижимо, правда?

— Ужасный случай... — сказал Бутов, проклиная себя за то, что не находит никаких подходящих слов.

— И ведь просил он меня, — сказала

Татьяна Федоровна, всплескивая руками. — Любил меня. Нет, не соглашалась. — Она схватила Бутова за руку. — Ну, вот сегодня буду кричать, звать, ведь не придет... Нет его... Вы понимаете, нет его. Вчера был, а сегодня нет... Молодость свою берегла, — сказала она горько, — невинность, видите ли, боялась потерять, разведенная-то жена...

— Выпейте воды, успокойтесь... — пробормотал Бутов.

— Да ну вас с вашей водой! — закричала Татьяна Федоровна. — Я ведь, кажется, в здравом уме...

— А я вчера Нину видел, — сказал Бутов, стараясь отвлечь Татьяну Федоровну от мыслей о Бадридзе.

— Нину? — переспросила Татьяна Федоровна. — Ну, как она?

— Ничего, — ответил Бутов, — рабствует.

В дверь вошла какая-то молодая женщина. Татьяна Федоровна бросилась к ней, рыдая. «Ну, ничего, ничего» — говорила та, глядя Татьяну Федоровну по волосам, как ребенка. Бутов взял фуражку и вышел.

Было девять часов вечера. Вчера в это время, взволнованный и счастливый, он сидел рядом с Ниной, уверенный, что не расстанется с ней никогда. Вчера Бадридзе смеялся над ним. Сегодня Бадридзе, пылкого, смелого Бадридзе, не было в живых. А Бутов получил письмо от жены и спешил на телеграф, чтобы ей ответить.

«Надо во всем разобраться, — подумал Бутов. — И, чем скорее, тем лучше...».

★

После катастрофы Татьяна Федоровна резко изменилась, утратила свою веселость и насмешливость. Она старалась казаться спокойной, но это не всегда ей удавалось.

Бутова она удивляла.

Ему казалось, что, не произойди катастрофы, Татьяна Федоровна попрежнему была бы равнодушна к Бадридзе. А теперь она мучила и изводила себя, находя в этом какое-то странное удовольствие.

Бутову все это было непонятно.

Как-то вечером, купив по дороге пирожных, он пошел к Татьяне Федоровне. Он старался бывать у нее часто, чтобы не оставлять ее одну.

Когда он вошел в комнату, Татьяна Федоровна сидела на диване в халате, небрежно причесанная, подле нее стояла пепельница, полная окурков, испачканных у краев губной помадой.

— Опять много курили? — укоризненно спросил Бутов.

— Какая разница?.. — Татьяна Федоровна вздохнула. — Что у вас нового? — спросила она.

— Телеграмму от жены получил, — сказал Бутов. — Сына родила.

— Вот это чудесно, — сказала оживленно Татьяна Федоровна. — Поздравляю вас...

Бутов хотел было сказать, что он все не рад ребенку, но постеснялся. Много раз уже ему хотелось рассказать Татьяне Федоровне, какую путаницу внесла в его жизнь Нина, но он боялся быть неделикатным, — Татьяна Федоровна была всецело поглощена своим горем. Бутов мучился. Ему надо было все окончательно решить. В Минеральных уже ходили слухи об его отношениях с Ниной, Нина не жаловалась, но Бутов знал, что ей это неприятно. Пилоты, пролетающие через порт, пытались ухаживать за ней, Бутов ревновал, скучал без Нины, томился. Раньше ему казалось, что, как только Лиза родит ребенка, он объяснится, и все тогда наладится. Теперь он стал думать, что оставить Лизу с ребенком нельзя.

Но и с Ниной расстаться он не мог. «А может, Лиза отнесется к этому спокойно?» — думал он.

Он старался думать о Лизе беспристрастно. У нее были твердые взгляды на жизнь, принципы. Она знала, что хорошо и что плохо. Она, несмотря на свою застенчивость, была очень самостоятельна. Может быть, притти к ней и честно обо всем сказать?

«А что значит — сказать обо всем? — через минуту издевался он сам над собой. — Ты за мной ухаживала, когда я был болен, ты переживала вместе со мной то паршивое времячко, ты родила

мне ребенка, теперь, пожалуйста, уходи, а я буду платить на содержание ребенка алименты...».

Он припоминал, что у Лизы были всегда грустные, немного виноватые глаза. Такими глазами она посмотрела на него, уезжая. Может, она догадывалась? Ну, а если она знала, что он ее не любит, почему же она не уходит?

«Почему, вообще, даже очень гордые женщины часто живут с мужьями, которые их не любят? Неужели так страшно жить одной?».

Он спросил об этом Татьяну Федоровну.

— Ну, конечно, страшно, — ответила она. — Женщины не любят одиночества, им надо с кем-нибудь нянчиться, кого-нибудь любить.

— А вы как живете?

— Я особенная, — засмеялась Татьяна Федоровна. — И то, видите — волком вою... — Она вдруг остановилась и прислушалась. — Кажется, стучат... — сказала она.

Пришел Супрун.

Он вошел шумно, поздоровался с хозяйкой и сказал Бутову:

— А я у тебя был только-что. Мне командирша сказала, что ты здесь.

— Откуда она знает? — удивленно спросила Татьяна Федоровна.

— О, она все знает... — многозначительно сказал Супрун. — Ей все известно, — то, что было, и то, чего не было.

Супрун попросил чаю, пожаловался на холод и сказал Бутову:

— А нашего отца-командира вызвали зачем-то в крайком партии. Я его видел только-что. Новый китель надел... Любит старик торжественность.

— Не ворчите, Супрунчик, — ласково сказала Татьяна Федоровна. — Он хороший человек, Николай Петрович.

Когда Бутов и Супрун уже стали собираться домой, зазвонил телефон. Татьяна Федоровна вздохнула:

— Неужели вызывают на дежурство?

Она сняла трубку. На лице ее появилось удивление. Она сказала:

— Бутов! Это вас! Из крайкома...

Бутов, одернув китель, подошел к телефону.

— Хорошо, — сказал он, — я сейчас приду... Ладно, и он придет. Он тоже как-раз здесь... — Положив трубку, он сказал Супруну: — И нас с тобой приглашают... Что бы это могло быть?

Озабоченные, они попрощались с Татьяной Федоровной и пошли в крайком, стараясь угадать, зачем их вызывают.

— За тобой, Саша, ничего такого нет? — нерешительно спросил Супрун. — Так нет же, зачем бы всех сразу вызвали? Наверное, по делу отряда.

В крайкоме, несмотря на вечер, было много народу, но уборщицы с решительными лицами уже подметали лестницы и коридоры.

Бутова и Супруна провели к секретарю крайкома. Они вошли, поздоровались. Командир улыбнулся им и даже подмигнул, как бы предупреждая, что ничего неприятного не будет. Познакомились.

— Так вот, дорогие товарищи, — сказал секретарь, — вся надежда на вас. В горах навалило снегу, все дороги отрезаны. — Он подошел к большой карте, что висела на стене, быстро провел пальцем по обведенным красным карандашом местам. — Вот здесь, здесь и здесь, — это Сванетия, — люди сидят без хлеба. Мне ваш командир сказал, что в эти места еще никогда не летали зимой.

Бутов посмотрел на Супруна, и они одновременно сказали:

— Ну, что ж...

— Вы мне только скажите, — секретарь пристально посмотрел на пилотов, — опасно это или не очень... Курите, пожалуйста, — он подвинул папиросы.

— Видите ли, — сказал Бутов, чиркая спичкой. — Полет сам по себе несложен. Опасна только посадка в горах в случае порчи мотора. — Он оглянулся по сторонам, ища, куда бы положить обгоревшую спичку. — Ориентироваться зимой трудно, все покрыто снегом.

— Карт хороших нету, — перебил

его командир. — Сколько мы ругались из-за этих карт, если б вы знали... Воздушный транспорт — дело-то ведь новое...

— Но я считаю, — продолжал Бутов, — что лететь можно. Ты как думаешь? — спросил он у Супруна.

— Что значит можно? — бойко сказал Супрун. — Нужно лететь, и все. Посадку, конечно, делать не будем, а сбросим мешки с продовольствием с воздуха...

— Ну вот и хорошо, — сказал секретарь. — Очень хорошо. Мне вот товарищ командир так и посоветовал обратиться к вам. Так вы идите, товарищи, отдыхайте, к утру вам все привезут в порт. А вы, пожалуйста, — сказал он командиру, — проследите, чтобы самолеты, моторы, все там ваше хозяйство было в порядке...

На улице пилоты несколько минут постояли в нерешительности, не зная, куда идти. Бутов сказал:

— Здорово очень, правда? Интересный будет полет...

— Но трудный, — сказал Супрун.

— Потому и интересный...

Супрун ушел домой, а Бутов решил зайти к своему бортмеханику. Ему захотелось пройтись раньше, чем лечь спать.

Какая-то почти мальчишеская веселость охватила Бутова.

«Вот это дело, настоящее дело для мужчины, — думал он. — А то все рассуждаешь, рассуждаешь — разводиться или не разводиться, — так и жизнь пройдет...».

Норкин жил недалеко, у Бутова был записан его адрес. Он пошел по узким, извилистым улочкам, перешел через мост. Прохожих было мало. Прошли две девушки, напевая. Увидели его, смутились и умолкли.

— Почему замолчали, девушки? — спросил Бутов весело.

Они не ответили ему и только, когда отошли, громко засмеялись.

«Что теперь Нина делает?» — подумал Бутов. Он рассчитывал на этой неделе побывать у нее. Надо было перебраться в Москву, на завод старый самолет и получить там новый. «Куплю ей

шелку на платье... Ей зеленый очень пойдет... И Лизе что-нибудь надо... Да. Лиза еще просила ребенку одеяло крапивоное купить...».

Он вышел на улицу, где жил Норкин, и долго искал, останавливаясь перед каждым домом, нужный номер. Во дворах бешено лаяли собаки. Норкин жил в маленьком домике. У Норкина были гости: какой-то старичок в ватной куцавейке, женщина с быстрыми черными глазами и молодой человек с гитарой в руках, который сидел посреди комнаты, небрежно закинув ногу за ногу.

— Все свои, соседи, — сказал Норкин, приглашая Бутова. — У нас тут вроде собрания... Маня, подай товарищу Бутову стул.

Маня, полная, румяная женщина, встала, жеманно поклонилась и пододвинула гостю стул, сказав: «Очень приятно познакомиться...».

— Представьте себе, у нас тут очень насущный вопрос, — сказал Норкин. — Хотят нас из этого дома выселить. Домовладелица желает этот дом продать...

— А дом — на слом, — сказал молодой человек и рванул струны.

— Вы подумайте, товарищ пилот, какой ужас, — сказала Маня, жена Норкина. — Живем в такой сырости, в такой тесноте, и еще неприятности. Вы не знаете, может, выйдет там Витечке квартира поближе к центру?

— Оставь, оставь, Маня, — всполошился Норкин. — Это же не по ихней части.

— Не по ихней? — разочарованно сказала Маня, утратив как будто сразу же интерес к гостю.

Бутов смутился.

— А вы как считаете, — спросил вдруг старичок. — Имеет она право трудящихся выселять? Есть такой закон? Тем более летчика? — Он показал на Норкина. Норкин смущенно кашлянул. — У летчиков теперь большой авторитет... Домовладелица брата своего летом сюда присылала, но тот, видать, человек с совестью... Посмотрел и говорит: хотя моя сестра и инвалид, и вдова даже, но поскольку я вижу, что выселиться вы не можете, то так, мол, и

быть... А все же нам беспокойство. Хозяйка-то ведь сестра.

— Какой же она инвалид? — затараторила женщина с черными глазами. — Вполне она здоровая. Я этому брату ее, что летом приезжал, заявила... Я ему сказала: ты у меня не пищи... Никуда я выселяться не буду, я сама инвалид...

Бутов стал припоминать, что слышал уже историю о каком-то доме, который надо продать, каком-то летчике, и вспомнил. Так это Норкин выдавал себя за летчика.

Это рассмешило его.

Помолчав немного, он спросил у Норкина, не знает ли тот чего-нибудь о маршруте. Норкин давно уже жил в этих местах.

— Да вот, Семен Иванович может нам рассказать, — сказал Норкин, указывая на старичка. — Он тут всю свою жизнь провел. Он все горы верхом на коне об'ехал.

— У папаша подходящая должность была, — скромно отозвался молодой человек с гитарой.

— Хотя должность и небольшая, — сказал Семен Иванович, вставая и кланяясь Бутову, — но по любви к свежему воздуху много времени проводил в горах. Тем более на казенном коне.

— Они почтальон были, — шепнула женщина с черными глазами.

Семен Иванович, очень довольный тем, что его внимательно слушают, спросил названия селений, куда надо было лететь.

— Бывал там, — сказал он, мечтательно глядя вдаль.

Он попросил карандаш и кусочек бумаги.

— Вот тут город кончился, — сказал он и нарисовал черту, — а вот тут дорога вверх пойдет. Понятно? Эх, лучше бы мне с вами полететь, я бы вам все показал... Дальше ущелье будет. Потом три горы, как три брата, рядом. Потом опять по ущелью. Потом гора круглая, как купол на церкви.

— А ущелье, Семен Иванович, широкое? — спросил Бутов, думая о том, что придется лететь по ущелью.

— Метров сорок.

— Вот как...

— Эх, жаль, что зима, — сказал Семен Иванович, — а то бы я обязательно с вами полетел. Нет у меня обмундирования зимнего, подходящего. А там же вечные снега, без валенок не полетишь...

— Ишь, чего захотел, Семен Иванович! — насмешливо сказала жена Норкина. — Думаешь, всякий захотел и полетел. Напрасно думаешь. Да и страшно бы тебе было.

— А что ж, — захорохорился старик, — что же такого? Вот попрошусь у товарища летчика.

— Ну, ну!.. — прикрикнула чернглазая. — Не пищи, я тебе говорю. Благодарите за компанию и пойдем.

Когда все ушли, жена Норкина сказала Бутову:

— С какими соседями придется жить! Разве они Вите компания? И что бы вы думали? Эта молоденькая — любовница старика. А он какой нахальный старик! И сын у него какой-то ледящий...

— Будто уж и ледящий... — мрачно сказал Норкин.

— Это он меня ревнует! — сказала Маня. — Ужас один.

— Ладно, ладно... — пробормотал Норкин.

Бутов посидел еще несколько минут. Провожая его, Норкин сказал задумчиво:

— Я бы сам этот домик не прочь купить. Домик крепкий. Да все думаю, может, мне казенную квартиру дадут, или переведут в другой город. Зачем зря деньги выбрасывать? Так вы, Александр Сергеевич, не беспокойтесь. Я все, как вы сказали, сделаю. Вы спите спокойно. Я же понимаю, что это за полет...

★

В Москву Бутов собрался только через месяц. Новый самолет, который надо было получить на заводе для отряда, отдали на другую линию. И только теперь, когда все уже перестали надеяться, прибыло распоряжение сдать в капитальный ремонт старую и получить новую машину.

Вечером, накануне вылета, к Бутову постучалась Анна Абрамовна и попросила его зайти к мужу. Командир хворал уже второй день и лежал дома.

Бутов прошел к нему.

Николай Петрович лежал на диване, заботливо покрытый одеялом, в рубашке, отороченной голубым кантиком. Из рук выглядели его большие волосатые руки. На столике около кровати стоял недопитый стакан крепкого чая, бутылочка с лекарством, лежали журналы.

— Хвораешь, Николай Петрович? — спросил Бутов.

— Мне бы можно и встать... — нерешительно сказал командир.

— Пожалуйста, пожалуйста, лежи, — прикрикнула Анна Абрамовна.

— Лежу, — кротко сказал Николай Петрович. — Вот картинки смотрю...

Бутов присел на стул и, взяв со столика журнал, стал его рассматривать.

— Ничего интересного нету, — сказал командир. — Только один кроссворд. Я, признаться, из-за кроссворда и покупаю. А не то выброшенный полтинник. А кроссворд, я тебе скажу, Саша, замечательная игра. Она ум развивает.

— Будто уж... — насмешливо сказала Анна Абрамовна.

Она сидела около большого стола и вышивала. Вышивки у Анны Абрамовны были везде, на скатертях, на занавесках, даже на спинках кресел лежали круглые вышитые салфеточки.

— Лизочка скоро придет? — спросила она.

— Как только потеплеет, — ответил Бутов. — Ее мать не отпускает.

— А-а!.. — протянула Анна Абрамовна.

Бутову казалось, что Анна Абрамовна подозревает его в чем-то. Стараясь скрыть смущение, он прибавил:

— Вот вернусь из Москвы... и Лиза придет к тому времени.

— Ты знаешь, Саша, какая приятная новость? — сказал командир. — У нас теперь в управлении свой человек есть... Чуть что, ты иди прямо к нему от моего имени... Он помнит. — Командир оживился. — Сегодня утром

в газете прочел. Я этот отдел «Назначения и перемещения» всегда читаю для ориентации. Смотрю, Васька Федорченко назначен. Он в ВВС большую должность занимал, а теперь — у нас... А мы с ним в одном отряде еще во время гражданской войны служили... Какие друзья были!.. Я, он да Петя Семенов. Не знаю, где он теперь.

— Это какой Семенов? — спросил Бутов. — Чернявый такой? Петр Иваныч?

— А ты его откуда знаешь? — удивился командир.

— Я с ним вместе в школе работал.

— Аня, ты слышишь? — закричал Николай Петрович жене. — Он Петюшку Семенова знает. Боже ж ты мой! Сколько времени в одной квартире живем, и только сегодня разговорились. — Он сердито махнул рукой. — Мы же его с Аней, как своего, любили. Женили. У него жена тоже Аня. Мы их так и звали: «моя Аня» и «твоя Аня».

— Может, он с ней развелся уже? — сказала Анна Абрамовна и искоса посмотрела на Бутова. — Теперь это часто бывает.

— Нет, — возразил Бутов. — У них уже дети большие. Старший сын — студент.

— Боже ты мой! — закричал Николай Петрович. — У Петьки сын — студент. Аня, ты слышишь?

Анна Абрамовна вдруг бросила на стол свое вышиванье, резко встала и вышла из комнаты.

— Ох, дурень! — спохватился Николай Петрович. И сказал шопотом. — Они вместе с Аней Семеновой беременные ходили. И произошла неприятная история. Отряд отступил, мы улетели, а женщин вместе с канцелярией в вагон погрузили. Она из теплушки прыгнула как-то неудачно. Ну, и... — командир поморщился и махнул рукой. — Она это так переживала потом... Ничего мне, говорит, не надо, я теперь не женщина, а труп... Еле-еле пришла в себя. — Командир потер левый глаз и сказал, помолчав: — С Петей Семеновым интересная история была. Мы его раз заживо похоронили.

— Это когда он горел? — вспомнил Бутов.

— Ну, да. А ты откуда же знаешь? — удивился командир.

— Он мне рассказывал.

Анна Абрамовна вернулась в комнату. Глаза у нее после слез блестели.

— Будем чай пить? — спросила она.

— Выпьем, Анечка, — с какой-то особенной нежностью в голосе сказал Николай Петрович.

Вздыхая, Анна Абрамовна сняла цветную скатерть и положила на стол белую, потом, отвернувшись к буфету и доставая чашки, сказала:

— Вы ведь все думаете, Анна Абрамовна такая, Анна Абрамовна всякая... А то, что Анну Абрамовну к стенке ставили из-за этого сокровища, — она обернулась и ткнула пальцем в сторону мужа, — не знаете... Я себе все нервы на гражданской войне испортила.. Вы мне помогите, Александр Сергеевич, стол поближе к дивану подвинуть. Конечно, время уж не то. Раньше бы я этот стол сама свободно передвинула.

Бутов помог ей придвинуть стол поближе к Николаю Петровичу. Когда стали пить чай, Николай Петрович спросил:

— А какая она теперь, Аня Семенова? Хорошенькая она была. Кукла... Косы до самых колен.

— Это ты преувеличиваешь... — отозвалась Анна Абрамовна, и Бутов уловил в ее голосе нотки застарелой обиды. — Личико у нее было хорошенькое, но фигура неважная.

— И фигура была хорошая, — твердо сказал Николай Петрович.

Анна Абрамовна посмотрела на него мрачно и с сожалением, как на ребенка, не отдающего себе отчета в том, что он говорит.

Бутов не слушал дальше. Было что-то грустное и немного смешное в ревности Анны Абрамовны. И она, и Николай Петрович представляли себе Аню Семенову все еще молодой. А она была пожилой, седеющей матерью взрослых детей. Бутов понимал, что Николая Петровича Семенов тоже вспоминает, как Кольку, а Анну Абра-

мовну до сих пор зовет «твоей Аней», и все они чувствуют себя молодыми.

«Значит, можно до самой смерти не понимать, что молодость прошла, — подумал Бутов. — Сохранить все радости и печали, а то, что утверждают люди, будто «все забывается и проходит», просто чепуха...».

Бутов почувствовал такую боль от одного только предположения о разлуке с Ниной, что Анна Абрамовна вынуждена была повторить свой вопрос дважды, раньше, чем он понял, о чем она спрашивает.

«Обниму ее завтра, расцелую... — продолжал он думать, не попадая ответа Анне Абрамовне. — Скажу, что вернусь из Москвы, распрощаюсь с Лизой и — точка. Измучил девушку совсем».

И, довольный, что принял окончательное решение, он поблагодарил Анну Абрамовну за чай и стал прощаться, ссылаясь на то, что завтра надо рано вставать.

В комнате у себя он долго стоял, не зажигая света, у окна, под открытой форточкой. Свежий воздух врвался в комнату. В воздухе бродили весенние запахи, — ветер был острый и порывистый, он дул с гор, а на южных склонах уже начинала пробиваться трава.

★

Перед тем, как лечь в постель, Нина достала из чемодана чистую ночную сорочку. Поеживаясь от холода, она разделась, озноб пробежал от кончиков пальцев до самой шеи. Она провела руками по груди и бедрам, надела сорочку и легла.

В квартире была глубокая тишина. Лампа под голубым абажуром стояла на низком стуле, в комнате было почти темно. Нина чувствовала себя так, будто она одна во всем мире и, кроме нее, живет еще в нем только Бутов. Она лежит здесь и ждет его.

Завтра она его увидит.

Нина взяла книгу и стала читать. Она читала быстро, вся дрожа от нетерпения.

Сначала ей показалось, что Татьяна Федоровна, которая прислала ей эту книгу, напрасно пришла в такой восторг — обычная сентиментальная книга.

Потом она почувствовала, как по щеке ее побежала слеза.

«Неужели я плачу?» — спросила она сама себя и залилась слезами, сочувствуя сразу всем — и девушке, которая не может соединиться со своим возлюбленным, и женщине, которая состарилась, и брошенной любовнице, и отцу, который стыдится своей дочери.

Она плакала, чувствуя себя несчастной оттого, что любимого не было рядом с ней, оттого, что в любви ее, в случайных встречах с любимым человеком было что-то нехорошее и позорное для нее.

— Неужели ты не слышишь? — звала она Бутова.

Она плакала, наслаждаясь своими слезами, потом вытирала глаза и читала дальше, перелистывая страницы холодными пальцами.

Камни, поросшие мхом, ароматная хвоя, нагретая солнцем, холодные ручьи, валуны, горы, о которых она читала, вызывали в ней умиление и любовь к миру. Она широко раздувала ноздри, как бы вдыхая запах лесных трав. Ей казалось, что деревья шумят над ней. Потом она приходила в себя, терла мизинцем брови и думала о Бутове. Он обещал приехать к ней и увезти ее навсегда.

«Неужели мы будем всегда вместе?» — думала она. — Нет, я не верю, не верю...».

Нина села на кровати, обхватив руками колени. Никогда в жизни не будет у нее такой прекрасной минуты, такой сладкой и щемящей боли в груди. Ей казалось, что она все понимает. Ничего не нужно было ей, ни замужества, ни счастья, — нужна была только любовь, огромная и сметающая все по пути, такая любовь, которая могла бы привести к ней Бутова сейчас, сию минуту, через горы и туман, — когда она ждала его так мучительно и так безнадежно.

И она плакала оттого еще, что зна-

ла — никогда больше она не будет так сильно любить Бутова, как сегодня.

— Ну, и пусть, — упрямо сказала она. — Нельзя слишком долго ждать.

Все было ей неважно: и насмешливые вопросы знакомых о Бутове, и мысли о том, что где-то останется жена его и маленький сын. Мысли эти мучили ее, и счастье, которое обещал ей Бутов, казалось ненастоящим.

Она вспомнила, как в детстве боялась блюда с выщербленными краями, а мать заставляла ее пить чай из этого блюда и всем говорила: «У Ниночки всегда какие-нибудь фокусы в голове».

Этими «фокусами» она мучила, возможно, и Бутова. Но чего же он хотел от нее? Бутов и любил ее, и страдал оттого, что ее любил.

Она же хотела, чтобы Бутов любил ее одну, позабыв о жене.

«Все или ничего, все или ничего...».

Но воображение рисовало ей упрямую, некрасивую Лизу, тоже любившую Бутова. Разве мог Бутов вычеркнуть Лизу из своей жизни? Нет, это было бы бесчеловечно.

«Ну а если невозможно, так пусть лучше уходит... — решила она. — Мне ничего, ничего не надо».

— Я не хочу, — сказала она вслух. И испугалась — так странно прозвучал в тишине ее голос.

Испуг отрезвил ее.

Нина снова взялась за книгу, будто надеясь найти там какую-то правду, которая поможет ей в ее любви.

Но книга не помогала. Книга не отвечала ни на один ее вопрос. Страна, которая описывалась в книге, люди, эпоха, нравы — все было чужое и чуждое, и только слезы и сомнения любящей девушки были похожи на ее собственные.

Зашумел за окном ветер. Хлынул дождь. Ветер рванул плохо прикрытую форточку, и капли стали падать на подоконник. Нина потушила лампу, вылезла из-под одеяла и подошла к окну. Ветер был острый, пронзительный, весенний. Нина поднялась на подоконник, чтобы закрыть форточку. От дождя пахло весной.

Она прислушалась. Что-то шумело

вдали. Ей казалось, что это с горных склонов сползает снег. Земля разбухла, впитывая в трещины теплый дождь. Трещала кора на деревьях. По мостовой проехал верхом на коне кто-то в черной папахе и бурке. Конь заржал, и ветер пронес по улице ржание коня вместе с цокотом его копыт.

Нина закрыла форточку.

Пенясь, бежали вдоль тротуаров потоки воды.

«А ведь наверху в горах еще зима» — подумала Нина.

Только недавно Бутов летал над горами, сбрасывая горцам, отрезанным снежными метелями, мешки с продовольствием. Он мало рассказывал об этих полетах, но Нина знала, как это было трудно и опасно. И оттого, что он был такой сильный и смелый, и молчаливый, она любила его еще больше.

«Ведь летать может не каждый» — думала она.

Значит, было в нем что-то особенное, что позволяло ему вести свой самолет над вздыбленными хребтами гор, не боясь того, что его отделяют от земли тысячи метров пространства.

— Саша! — крикнула она, уверенная в том, что он сейчас ей ответит.

Она рванула раму, открылось окно. Ее горячее тело обдуло ветром. Над пустынной улицей попрежнему лил дождь.

«Что я делаю» — подумала Нина в ужасе и закрыла окно.

Странное чувство восхищения перед Бутовым внезапно угасло. Она чувствовала слабость во всем теле.

Он не пришел.

Пошатываясь от внезапной усталости, она пошла к своей постели.

«Я засыпаю» — думала она, свертываясь комочком, не понимая толком, что с ней произошло. Но ей казалось, что завтра она проснется иной, более взрослой и серьезной.

☆

По дороге Бутову не удалось поговорить с Ниной. Она дежурила. Какой-то высокий летчик, прилетевший раньше

Бутова, почему-то кричал на Нину. Причины спора Бутов не знал, но его возмущало, что посторонний человек грубо разговаривает с ней, и он еле сдерживал желание обругать высокого.

«Ух, сволочь какая!» — думал он злобно.

Нина стояла перед летчиком, красная и разгневанная. В комнате сидели начальник порта, инженер, какие-то летчики. Все они лукаво поглядывали на Бутова. Бутову стало неловко.

— Давайте вылет, — сказал он Нине мрачно.

В кителе и фуражке, с флажком в руке, Нина выглядела старше, чем дома.

Они пошли вместе к самолету.

Нина молчала.

Бутов смотрел на ее опущенные длинные ресницы. Ресницы чуть-чуть вздрагивали.

Сердитые облака бежали по небу, почти застияя его, придавая всему серый, безжизненный цвет. Дул ветер.

— Погода плохая как будто, — сказала Нина, не подымая глаз.

— А сводка была хорошая, — сказал Бутов. — И в пути было хорошо. — И прибавил многозначительно. — Как только вернусь из Москвы...

Он не договорил, улыбнулся Нине и слегка пожал ей руку.

Самолет заправили.

Только поднявшись в воздух, Бутов подумал, что погода действительно испортилась. Самолет болтало.

Слева сплошной стеной стояли облака. Они окружали самолет, отрезая его от земли. Когда он поднялся на три тысячи метров, над ним было синее небо и солнце. Земля то скрывалась за облаками, то показывалась вновь.

Бутов решил уже, что полет пройдет спокойно, тем более, что он летел над ровной степью, а не над горами, но внезапно разыгралась гроза. Начался ливень. Потоки воды хлестали по плоскостям самолета. Черная грозовая туча встала перед самолетом, как стена. Машину бросало, мяло и сплющивало в водовороте воздушных потоков. Машина была старая. Вспыхивали мол-

нии, озаряя на мгновение небо, ливень становился желтым, и тотчас же снова наступала темнота. Бутов резко изменил курс, чтобы уйти от грозового фронта.

Но гроза растянулась, казалось, на много километров.

Бутов был один, без пассажиров, без борт-механика, на старой машине, которую могло в любую минуту смять. А вчера еще стоял у себя в комнате, у окна, радуясь весеннему ветру.

Гроза была тоже весенняя.

Бутов подумал, что будет очень нескладно, если он разобьет машину. Станут расследовать, кто выпустил из Минеральных машину, и виноватой, как дежурный по порту, окажется Нина. Только этого еще не хватало!

О том, что он может разбиться сам, он старался не думать.

Он шел среди туч, как слепой идет по земле, осторожно и напряженно. Машину подбрасывало вверх. Он выравнивал ее. Машина проваливалась вниз, он падал, потом выбирался из воздушной ямы и снова шел влево, туда, где синел просвет. Гроза уходила вправо. И вдруг самолет со страшной силой бросило вперед. Когда Бутов оглянулся, черная стена грозы была уже далеко. Его «выплюнуло», как говорят старые летчики. Так всегда бывает при сильной грозе.

Бутову вспомнилось, как любил он грозовые дожди в детстве, когда можно было босиком шлепать по лужам.

«Да, меняется точка зрения» — весело подумал он.

Самолет снова лежал на курсе.

Небо было чистое, синее, земля внизу была покрыта белыми пятнами снега.

Бутов внезапно почувствовал голод.

«Здорово меня вымотало!» — подумал он. И только теперь стал думать о себе. Он был счастлив оттого, что остался жить, что летел, что чувствовал голод.

Чувство радости не покидало его на всем пути.

Он получил на заводе новый самолет. Таких еще не было у них в отряде. Целые дни проводил он на аэро-

дроме с инженером и пилотом-инструктором, осваивая машину. И то, что он быстро научился на ней летать, тоже радовало его...

Все шло благополучно. В управление, к Федорченко, ему не пришлось обращаться за помощью. Однако в последний день своего пребывания в Москве он пошел туда, думая, что надо бы передать Федорченко привет от командира.

В приемной у Федорченко сидел секретарь, круглолицый украинец.

— По якому делу? — спросил он у Бутова.

— Хотел поговорить, — сказал Бутов, смущаясь.

— Начальник невозможно занятый, — сказал секретарь. — Разве ж вы не видите?

Бутов посмотрел на темные, отделанные под дуб стены приемной, тяжелые столы, телефоны, на посетителей и подумал, что в самом деле не стоит ждать.

— Я в другой раз, — сказал он.

Но в это время дверь из кабинета Федорченко открылась, Бутов оглянулся и увидел выходявшего оттуда Петра Ивановича Семенова.

— Ты или не ты? — сказал Семенов, останавливаясь.

— Я, — сказал Бутов.

Они вместе вышли из приемной.

Семенов сказал:

— Заходил старого дружка проведать. — Он щелкнул пальцами. — Не то, знаешь... Говорит: «Очень рад, может, хочешь в нашу систему перейти?». Но я вижу, что он занят. Постарел как-то.

Семенов вздохнул.

Бутов рассказал ему, что служит в отряде у Николая Петровича, и выслушал еще раз, уже от Семенова, все рассказы про «мою» и «твою» Аню и прошлые славные времена.

— А что ты здесь делаешь? — спросил Бутов.

Оказалось, что Семенов приезжал к больному сыну, тому самому Володьке, что учится в университете.

— Представь себе, — сказал Семенов, — у этого подлеца барышня есть.

Черненькая такая, самостоятельная. «Мы с Володей» — все говорит. А я как будто и не отец... Вот женился, дурак, в 19 лет, теперь они меня в сорок дедушкой сделают... Видал? — Семенов засмеялся. — Идет жизнь... Она меня сегодня на концерт пригласила, володина барышня. На дневной... Говорит, что мне обязательно надо послушать какую-то симфонию... Вот билет дала... — И, как будто боясь, что Бутов ему не поверит, он вынул из кармана розовый билет.

Они пошли вместе обедать.

За обедом выпили водки. Семенов повеселел и, хлопнув Бутова по плечу, сказал:

— Тебе, я вижу, на пользу пошел уход из школы. Ты солиднее как-то стал, интереснее.

— А я не жалею, — сказал Бутов. И прибавил: — Хотя, если говорить правду, слишком сурово ко мне тогда подошли.

— Военная школа, — как бы извиняясь, сказал Семенов. — Я тебе правду скажу...

Но Бутов не слушал его.

— Я не обижаюсь, — сказал он. — В случае войны мы же все равно в резерве. Нас призовут, об этом я не беспокоюсь. Я сам себя узнал на горной линии...

— Очень рад за тебя, — сказал Семенов. — Хорошо то, что хорошо кончается.

— Позволь, — спросил Бутов. — Ты же сам меня отстаивал тогда на бюро. Помнишь?

— Отстаивал, — подтвердил Семенов. — Но считал тебя летчиком средним. Как бы мне свою мысль выразить? Лихости в тебе не было. А наше дело этого требует.

— Не согласен! — сказал Бутов решительно и ударил ладонью по столу. — То-есть, в какой-то степени я эту лихость признаю. Смешно было бы не признавать. Но в слепом полете, например, что меня выручит, по-твоему, — знание приборов или другое что?

— Ты, значит, так ставишь вопрос: искусство летное дело или техника? —

раздосадованно сказал Семенов. — Что-то очень уж стали в последнее время поговаривать, будто летать может всякий.

— Этого я не говорю... Всегда будут летчики талантливые и неталантливые. Но, что без знаний, без техники ничего на новом самолете сделать нельзя, это тоже факт. И отрицать его нельзя. И отрицают это только люди неумные, которые не умеют вперед смотреть...

Бутов разгорячился.

— Не кипятись, Саша, — засмеялся Семенов. И спросил: — Ну, а мальчик твой как?

— С Леной, — сказал Бутов. — Понимаешь, за весь год ни разу не смог к ним выбраться. Во сне его даже вижу. Теперь решил — точка. На все лето его к себе заберу. Только вот некоторые свои личные дела улажу. Стосковался я без него...

После обеда Бутов решил итти вместе с Семеновым на концерт.

Оставив в гардеробной шинели, они стали подниматься наверх по роскошной, устланной коврами лестнице. Какие-то тонкие молодые люди бойко пробежали мимо них, проплывали стройные женщины в длинных платьях.

— Ой, не люблю худых! — сказал Семенов.

Володина невеста уже сидела в зале. Семенов познакомил ее с Бутовым. Бутов поклонился ей и, несмотря на умоляющие взгляды Семенова, ушел на свое место.

Рядом с ним сидела какая-то седая, сутулая женщина, со «знаком почета» на черном шелковом платье. Бутову очень интересно было знать, за что у нее может быть орден. К ней подбегали молодые девушки, подходили мужчины в хорошо сшитых пиджаках, здороваясь, целовали ее удивительно молодую руку, с длинными сильными пальцами. И все они разговаривали о композиторе, симфонию которого должны были исполнять. Бутов решил, что женщина, наверное, профессор музыки, и вздохнул. Он ничего не понимал в музыке.

Бутов рассеянно посмотрел на сцену, где сидели оркестранты. Среди них были три женщины. Нелепый гул настрои-

ваемых инструментов немного раздражал его. Вышел дирижер, и все стихло.

Вслед за дирижером вышла солистка, совсем молоденькая девочка, с чолкой на лбу, в белом атласном платье. И у нее тоже был «Знак почета».

Скрипачка встряхнула головой, подетки вытерла ладонь о белое свое платье, подняла скрипку к плечу и заиграла. И, как только она заиграла, Бутову стало совсем легко и радостно.

Девочка играла что-то грустное и решительное, а Бутову вспоминалась вся его жизнь, обиды и разочарования, и только странно было, что он сидит здесь перед этой девочкой, которая ведет его мысли вслед за своим смычком. И это было действительно так, потому что, как только она заиграла о веселом, он подумал, что жизнь его идет хорошо, что он живет интересно и будет еще интереснее жить, как только к нему переедет Нина.

Ему очень хотелось бы знать, сколько лет скрипачке, действительно ли она хорошо играет. Собственному мнению он не доверял. И, когда она кончила, когда в зале грянули аплодисменты и даже соседка Бутова зааплодировала, он был очень доволен.

В антракте к седой женщине опять подходили знакомые, и все они хвалили игру беленькой скрипачки.

Бутов пошел к Семенову и водил вместе с ним володину невесту кушать мороженое. Оба они очень стеснялись. Семенов бодрился и называл невесту «дочкой». Но Бутову сказал, что это просто скандал, он никогда еще не чувствовал себя таким дураком перед женщиной. «Наверное, я еще не старый человек» — говорил он.

Во втором отделении играли симфонию. Бутов сидел, удобно откинувшись на спинку кресла. Он пытался следить за дирижером, тот поднимал кверху руку, и за рукой, как вихрь, тянулись к потолку высокие скрипичные ноты. Бутов не знал, что означала волна этих звуков, но ему было хорошо. Он и сам удивлялся тому, что музыка так его трогает. «Еще заплачу» — подумал он. А в оркестре уже играли про утро. Бутов не сомневался, что это утро, — та-

кое утро в горах, какое он видел, когда летал зимой над Сванетией. Горные вершины, окутанные вечным, розовым от солнца снегом, вспоминались ему. И странное дело. Тогда он думал только о том, чтобы выполнить задание. Горы были его врагами. И только теперь он вспомнил, как они хороши. Горы проплывали под ним. Он видел снег, ущелья, седловины, обрывы. Он вспомнил селения сванов такими, как он видел их тогда с самолета. Низкие домики и много высоких, зубчатых башен-крепостей, в которых запирались когда-то старики и женщины, пока мужчины отражали набег врага.

Когда концерт окончился, Бутов чувствовал себя счастливым и усталым, как после бури. Он торопливо распрощался с Семеновым и поехал через весь город к себе в гостиницу.

★

На обратном пути из Москвы Бутов все время думал об объяснении с Лизой. Она со дня на день должна была вернуться домой. «Я ей все объясню, — думал Бутов. — Буду говорить с ней откровенно. Она поймет, я не виноват, что полюбил другую. Это может случиться с каждым, даже с ней. Я помогу ей устроиться. Хочет работать, пусть работает, не хочет, не надо...».

Бутову хотелось только, чтобы разговор прошел мирно, без слез. Он не выносил, когда Лиза плакала.

В Минеральных он отдал Нине пакет с подарками и сказал, что как только придет жена и он объяснится с ней, то пошлет Нине телеграмму. Нина выглядела усталой и печальной.

На аэродроме Бутов встретил командира, сказал ему, что к Федорченко не заходил, но зато случайно встретил Семенова.

— А к тебе жена приехала, — сказал командир. — Кричит ваш сынишка по ночам, спать не дает... Анна Абрамовна теперь из вашей комнаты не выходит. Про меня совсем забыла.

— Вот как, — сказал Бутов. И у него сразу же пропала охота идти домой.

— А у секретарши для тебя письмо лежит, — сказал командир. — Спешное. Я хотел Лизочке отдать, а потом думаю: может, от дамы. — И командир добродушно усмехнулся.

Бутов пошел за письмом. Письмо было от Лены. Бутов взял его и вышел на улицу. Светило солнце.

Бутов остановился на крыльце и, облокотившись о перила, стал читать. Лена писала, что Женька болел scarлатиной и умер. «Все вспоминал тебя, — писала она. — Я хотела тебя вызвать, но это случилось так неожиданно».

Бутов не дочитал письма, скомкал его и сунул в карман.

— Нету Женьки... — прошелтал он.

За перилами легкий ветер раскачивал ветки, усыпанные цветами жасмина.

«Весна...» — подумал Бутов. Как он мечтал о том, что летом увидит сына! «Вот куда надо было торопиться, — подумал он. — К нему, к Жене...».

Подъехала машина, шофер окликнул Бутова. Надо было ехать домой.

Бутов сел в машину.

Он вспомнил, как стоял ночью под окнами больницы, где рожала Лена. Ночь была короткая, летняя. Но ему казалось, что никогда этой ночи не будет конца. На рассвете к нему вышла сиделка и сказала, сдерживая зевок:

— Поздравляю вас с сыном, папаша...

«Эх, отдал ребенка в чужие руки!..» — подумал Бутов. И заплакал. Несколько слезинок покатились по щекам, он вытер их кулаком и достал из кармана смятое письмо. Машину подбрасывало на ухабистой мостовой. Строчки прыгали перед глазами.

«Хоть бы Нина была здесь...» — подумал Бутов. Ему было бы легче, если б он мог поплакать подле нее.

Машина проехала через город и остановилась у дома, где жил Бутов. Перед домом играли дети.

— Дядя Саша, покатай нас!.. — кричала маленькая дочка Шумейко.

Бутов посмотрел на нее, на ее голубую шапочку и голые ножки.

— В другой раз, детка, — сказал он и вошел в дом.

Лиза сидела в кресле около окна и держала на руках ребенка. День был солнечный, широкая солнечная полоса врывалась в окно. Лиза сидела, наклонив голову, золотая прядь нависла ей на глаза. Она улыбнулась Бутову, и он увидел, как осветилось ее преобразенное материнством лицо. Ребенок, причмокивая, сосал грудь. Бутов увидел крепкую, чуть рыжеватую голову сына. Ребенок перестал сосать и вздохнул. И в ту же минуту Бутов понял, что он вернулся домой.

«Этого уж я никому не отдам» — подумал он.

Ребенок морщился и шевелил бровями.

Бутов смотрел на ребенка, не слыша и не понимая, что говорит ему Лиза. Все, что он пережил в жизни, передумал, перечувствовал, возникало перед ним. «Отец не должен отпускать от себя сына» — думал он и вспомнил одинокого белецкого садовника из большого сада. Лиза потянула Бутова за рукав.

— Что? — спросил он, как бы просыпаясь.

— Ну, посмотри же на меня, что ты все смотришь на маленького?

Она смеялась.

Бутов посмотрел на нее.

Это была она, добрая, преданная Лиза.

И мгновенно, как в воздухе, когда ему грозила опасность и надо было принимать решение, он выбрал навсегда Лизу и сына, и только подумал, что теперь надо строить жизнь втроем так же, как он уже строил ее для одного себя.

Он посмотрел снова на сына.

Ребенок морщился и шевелил бровями. На шее у него было такое же черное пятнышко, как у Бутова.

«Это ведь я» — подумал блаженно Бутов и, потянувшись к сыну, спросил:

— Я его возьму на руки, Лиза. Можно?

Горная баллада

А. КОЦ

★

Славным бойцам горно-спасательной бригады гг. Лосьеву, Заморову, Быкову, Шипулину, Шилоносову и Угланову.

Несметны богатства Урала,
Безмерны пространства его.
Здесь некогда буйно справляла
Природа свое торжество.
Рукою рассыпала щедрой
Камней самоцветную сеть
И золото бросила в недра,
И в горы — железо и медь.
Несметны богатства Урала
В сердцах его лучших сынов:
Здесь вольница рать собирала,
Здесь жил Емельян Пугачев.
Не эта ли удаля былая
Вскипала, как в море прибой,
Когда легендарный Чапаев
Бросался неистово в бой?
Не эту ли ненависть злую
Таили в сердцах горняки,
Когда свою шахту родную
Спасали от вражьей руки?

★

В тот день уж с самого утра
Над шахтой вьюга свирепела,
А под землей, как и вчера,
Работа бурная кипела.
Гремел отбойный молоток,
И грохотала врубмашина,
И мощный угольный поток
Спадал, как черная лавина.
Но вдруг все смолкло. Свет погас,
Замолкли шум и громыханье —

И застилает дымом глаз,
И затрудняется дыханье.
Скорей на штрек, на главный ход,
Под свежий ток струи воздушной!
Но на столпившийся народ
Вдруг хлынул смрад волною душной.
И мысль, как молнии удар,
В сердца тревогою вонзилась,
И слово грозное «пожар!»
По шахте мигом прокатилось.
И, словно гром издадека,
Гремел и неся вслед за вьюгой
Сигнал тревожного гудка
Над всполошившейся округой...

★

Четвертые сутки и ночью, и днем
Жестокую битву с подземным огнем
Ведут боевые отряды
Спасательной горной бригады.
По узким ходкам пробираясь гуськом,
По низким ходам продвигаясь ползком,
Идут они в противогазах,
Как в масках зверей пучеглазых.
Пробравшись во все очаги и концы,
Дорогу огню преграждали бойцы,
Воздвигнув из камня преграды,
Подземные баррикады.
Людей, что с потухшею лампой в руке,
Лежали, поникнув в предсмертной тоске,
Они «на-гора» выдавали
И — мертвые оживали.

Но руки устали, устали сердца,
 А битве жестокой не видно конца:
 Огонь то, смиряясь, затихнет,
 То с новою яростью вспыхнет.
 Четвертые сутки уходят прочь,
 На шахту надвинулась пятая ночь.
 И кликнул начальник бригады
 Свои боевые отряды.
 «Бойцы! — он сказал им. — Здесь
 каждый очаг —
 Окоп, а за ним — притаившийся враг,
 Охваченный злобою дикой
 К Республике нашей великой.
 Огнем не охвачен еще весь фронт,
 Но дым уже в верхний проник горизонт,
 Он срмадом наполнил все ходы,
 И зной раскаляет их своды.
 Там в камеру ход есть — и в ней
 динамит,
 Он страшную силу, он гибель таит:
 От сводов и стен раскаленных
 Там взрыв назревает в патронах.
 Мгновенье — и шахта, и все, что
 вокруг,
 Плоды нашей воли, труды наших рук —
 Надшахтные зданья, машины —
 Подземная скроет пучина.
 Нам Сталина шахта, как мать, дорога.
 Чтоб шахту спасти от удара врага,
 Один только путь пред нами,
 Бойцами и горняками:
 Всю камеру снегом и льдом обложить,
 И стены, и своды ее охладить, —
 И вырвать заряд охлажденный
 Из пасти ее обнаженной!
 Пусть тот, кто готов добровольно
 в поход,
 Немедленно двинется в шахту вперед,
 Покуда гроза не приспела!
 Решайте — и мигом за дело!».
 Начальник умолк — и бригада молчит.
 У каждого сердце, как молот, стучит,
 У каждого зреет решенье.
 ... И замерли все на мгновенье.
 Но вот посреди тишины гробовой
 «Согласен!» — раздался ответ боевой,
 И следом волной перекатной
 Ответ прозвучал многократно.
 То пятеро смелых, готовых в поход,
 Один за другим выступают вперед, —
 И первый, весь в копоты черной,
 Воскликнул с усмешкой задорной:
 «В двадцатом я бил, не добил их
 штыком, —

И вот они к шахте подкрались тайком...
 Попробую, братцы, по гадам
 Ударить ледовым снарядом».
 «Я — старый бурильщик! — другой
 говорит. —
 И в шахтах мне горы взрывал динамит.
 Я здесь его силы послаблю,
 Молчать его здесь заставляю».
 Тяжелая поступь, насуленный взгляд...
 То — трое последних становятся в ряд.
 Молчат, но их облик суровый,
 Их взгляд говорит: «Мы готовы!».
 По знаку сигнал затрубил на посту,
 Народ за запретную вышел черту,
 Вся площадь кругом опустела,
 И — пятеро взялись за дело.
 И снегом, и льдом нагрузивши мешки,
 На плечи взвалили свой груз горняки
 И к шахте знакомой тропую
 Подходят тяжелой стопою.
 В лицо им пахнуло горячей волной:
 То шахта, дыша, как тяжелый больной,
 Их зноем густым охватила —
 И в недра свои поглотила.
 Бойцы осторожным движеньем руки
 Снимают с себя ледяные мешки
 И бережно, щупая стены,
 Спускают свой груз драгоценный...
 На миг по ходку пробежал холодок,
 На миг им навстречу подул ветерок
 И тотчас же стих, замирая,
 От зноя изнемогая.
 Но снова и снова приходит отряд,
 Бросает в пути за снарядом снаряд —
 И стынут подземные ходы,
 И в камере — стены и своды.
 Из камеры, грозно разинувшей пасть,
 Неспешной рукой, опасаясь упасть,
 Бойцы вырывают патроны,
 Как зубы из пасти дракона.
 И, бережно в ящиках ношу свою
 Прижавши к себе, точно зная в бою,
 Идут осторожной стопою
 Извилистой шахтной тропую.
 Вот вышли бойцы на поверхность земли,
 Вот видно, как груз их мелькает вдаль.
 И вдруг, точно гром из орудий,
 «Ура!» прокатилось из грудей.
 То, радостным гулом пронзив небосвод,
 Гремел за чертою стоявший народ,
 Прорвавший плотину молчанья,
 Свинцового ожиданья...
 Работа кипела всю ночь до зари,
 Погасли один за другим фонари —

И ветром доносится слово,
 Бойцы рапортуют: «Готово!».
 Исполнен приказ — и враг поражен,
 Из камеры вынут последний патрон —
 И вырван заряд охлажденный
 Из пасти ее обнаженной!

☆

Три дня, три ночи до утра
 Еще продлился бой упорный
 С огнем гигантского костра,
 С его дыханием тлетворным.
 И день настал: огонь погас!
 Но дух не гаснет, неустанный, —
 И, залечив больные раны,
 Вновь к жизни шахта поднялась...
 Гремит отбойный молоток,
 И слышен лязг и стук машинный,
 И мощный угольный поток
 Несется черною лавиной.

Он выйдет кверху, на простор,
 Он разольется, неуёмный,
 По всем полям, по склонам гор —
 И потечет в котлы и в домны,
 К электростанциям, туда,
 Где тока первое рождение,
 Наполнив мощью провода,
 Дает и силу, и движенье.
 Живи, Урал! Дыши, Урал!
 Горняк, сын ленинских заветов,
 Недаром небо штурмом брал
 И в нем зажег звезду Советов.
 Свети, советская звезда!
 На рубежах и здесь, на шахте,
 Твои бойцы везде, всегда
 Стоят на-страже, как на вахте.
 Как морем светлых огоньков,
 Страна моя покрыта ими...
 Пусть славят Сталинское имя
 Огни уральских горняков!

Дело об игумене Парфении

РОМАН-ХРОНИКА

(Окончание ¹)

А. ДЕРМАН

★

ГЛАВА XXIII

ГЕНЕРАЛ-АД'ЮТАНТ КОЦЕБУ

Новороссийский и бессарабский генерал-губернатор, командующий войсками Одесского военного округа, свиты его величества генерал-ад'ютант, член государственного совета, генерал-от-инфантерии Коцебу был крошечный человек, прямо карлик, — двух аршин в нем не было даже при самых высоких каблучках. Солдаты называли его промеж себя «безвершковым» с прибавлением неудобных эпитетов. Для военного человека такой рост был несчастьем. Но императора Николая, любившего рослых и полагавшего, что собственная его фигура создана природой в качестве образца красоты и величия, забавлял этот «оловянный солдатик из сказки Андерсена», как называл он Коцебу в своем кругу, и не только ни разу не зачеркнул он его имени в списках предоставляемых к награде или к производству, но, напротив, с улыбкой встречал это имя, повышал порой награду и в шутку говорил, что для знаков монаршей милости на груди Коцебу вскоре не останется места. Слабость, питаемая императором к маленькому вонну, была всем известна, и ближайшее начальство в свою очередь не забывало его при составлении списков.

Благосклонность Николая к Коцебу имела впрочем и другие источники. Впервые, Николай Павлович памятовал,

что отец Коцебу погиб от руки крамольника Занда. Правда, это произошло не в России, а в герцогстве Баденском, но погибший состоял агентом русской службы, главное же — император пренебрегал соображениями узкого патриотизма, раз дело касалось борьбы с крамолой, и немецких крамольников почитал такими же своими личными врагами, как и русских. Во-вторых, Коцебу, где бы он ни служил, был нелюбим в офицерской среде и ненавидим солдатами, — и за это Николай всегда был склонен к его поощрению: ибо всякая популярность, особенно же популярность военного человека, была ему неприятна и внушала опасение. С людьми, которых никто не любил, было спокойнее: вокруг них не станут собираться смутьяны.

С самых юных лет Коцебу жил в постоянном ожидании обиды. Его фамилия, столь звучная для немецкого уха, на языке русских варваров, среди которых судьба ему определила жить, породила соблазны, давала поводы к пошлым улыбкам, к грубым эпиграммам, которыми забавлялись все, от Пушкина до последнего солдата. Его рост — опять шуточки и насмешки. Его удачи — опять издевательства.

Страх в ожидании обиды особенно в нем развился после случая с одним солдатом, когда Коцебу еще ротой командовал. Солдат портил строй на учении и нагло, сверху вниз, посмотрел на своего начальника в ту минуту, как тот носочком сапога подбивал в линию его ногу.

¹ См. «Новый мир», кн.кн. 7 и 8 с. г.

— Прислать его ко мне, — спокойно приказал фельдфебелю Коцебу.

Все хорошо знали, что это значило. Чувствуя, что получается смешно, когда он тянется ударить по лицу рослого солдата, Коцебу отдавал в таких случаях распоряжение прислать провинившегося к нему на дом и там, приказав сесть на стул, с удобством и без свидетелей его наказывал.

Лукашов, похожий на цыгана солдат, взойдя в нарядный кабинет Коцебу, остановился у двери. Он был бледен и на командира роты глядел исподлобья. Коцебу, указав на стул, сам встал и произнес тихо:

— Сядь.

Лукашов помотал головой.

— Сядь, тебе говорят.

Солдат стал белей стены, захлебнулся.

— Никак нет, не сяду, ваше благородие, — глухо сказал он. И, видя, что маленький человечек направляется к нему, добавил скороговоркой: — Не троньте, ваше благородие...

Коцебу остановился, глядя Лукашovu в потемневшие глаза, и вдруг, самозабвенно, как в холодную воду, кинулся с поднятой рукой на солдата. Страшная боль внезапно резанула его пониже живота, такая боль, что перехватило голос (к счастью!), тошнота поползла к горлу. Перегнувшись пополам, он в бессильной ярости, как сквозь туман, смотрел на врага. Лукашов тоже наклонился, в упор, с гадливой ненавистью, глядя начальнику в помутневшие глаза, борясь с искушением задушить его. Потом выпрямился и вышел.

Узнали его враги об этом позоре или не узнали? Долго мучился Коцебу этим вопросом. На всякий случай он подавил в своей душе жажду отомстить солдату и до той поры, пока не выхлопотал себе, под придуманным предлогом, перевода в другой полк, ходил на ученье, видел его лицо, его глаза — и наружно сохранял спокойствие! Но с того дня страх, что его внезапно ударят, завладел им надолго.

Он, однако, рано понял, что, не поборов страха, он, как военный, ничего не достигнет. И он заставлял себя мчаться верхом иль в экипаже—по са-

мым рискованным крутизнам; в грозу, надев бурку, выходил под открытое небо, уверяя, что обожает грозу; в перестрелке кидался всегда вперед. И при этом он помнил, что тошноту страха необходимо скрыть ото всех, а для этого надо, когда замирает сердце, спокойно улыбаться. И Коцебу насильственно поселил на своем лице улыбку: сухая и любезная, она лопомалу приросла к его лицу навсегда.

Но, всех обманув, прослыв храбрцом, Коцебу не избавился от насмешек. Самая отвага его давала к ним повод: людям было забавно и смешно, что он храбр, о подвигах его говорили без уважения, все с какими-то улыбочками.

И Коцебу овладел тайной наслаждаться всеобщим презрением. Ничем ему нельзя было так угодить, как сообщением дурных или даже позорных слухов, распускаемых о нем врагами.

В начале ноября 1866 года, в холодный день, когда с серого моря неприятный ветер бил сухою крупой в зеркальные, высокие окна генерал-губернаторского дворца на Приморском бульваре, генерал Коцебу, в мундире, подпиравшем его широкий, лопаточкой, подбородок, быстрыми, твердыми шажками прошел после завтрака из столовой в кабинет и, сев в кресло за громадный письменный стол, приказал позвать генерала Старынкевича.

Управляющего генерал-губернаторской канцелярией, пьяницу и отъявленного взяточника генерала Старынкевича, Коцебу любил той любовью, какую только он обычно и мог любить, — любил за то, что имел право его презирать, за его дрянность, подтверждавшую мнение Коцебу о русских вообще, о русских генералах — в особенности. Небрежно отзив на почтительное приветствие краснорядного генерала, он указал ему кресло напротив и тотчас заговорил, сложив перед собою на столе крошечные белые ручки, из которых на правой, кроме обручального, красовался широкий, с голубым камнем перстень — подарок императора Николая.

— Готово у вас отношение к Валуеву по поводу убийц игумена?

— Точно так. ваше высокопревосходительство, — поспешно ответил Старынкевич.

— Я просмотрел. Оно при вас?

— Сию минуту, — заторопился Старынкевич, доставая бумагу из портфеля. — Извольте, ваше высокопревосходительство.

Коцебу, не меняя на лице улыбки, стал читать. Генерал Старынкевич от нечего делать водил глазами по стенам. И вдруг приятно улыбнулся.

Новая картина появилась как-раз напротив стола начальника края: Наполеон в окружении маршалов. Генерал Коцебу издавна собирал коллекцию его изображений, пристрастие свое к знаменитому полководцу объясняя тем, что, в отличие от прочих знаменитостей, своим величием он был обязан исключительно самому себе. Все, однако, прекрасно понимали, что это только приличный предлог и что Наполеон служит генералу Коцебу утешителем, свидетельствуя перед тайными насмешниками, что вместилищем истинного величия судьба избирает порою сосуд отнюдь не крупных размеров.

Глупый, но хитрый Старынкевич поднялся и медленно приблизился к картине. Казалось, она всецело поглотила его внимание. Но в то самое мгновение, как левый его глаз, воровато следивший за начальником, заметил, что тот кончил читать бумагу, Старынкевич глубоко вздохнул, как бы с сожалением отрываясь от картины, и повернулся к Коцебу.

— Гравюркой заинтересовались? — жиденько процедил генерал, не меняя на лице улыбочки.

— Charmante, — умиленно произнес Старынкевич и добавил: — Ведь главная-то мысль художника, ваше высокопревосходительство, как удачно выражена!

— Какая же, по-вашему?

Генерал Старынкевич отступил на шаг, взглянул на начальника, потом на гравюру, опять на начальника, опять на гравюру. Слово стыдливость мешала ему высказать то, что он думает... И вдруг, весь просияв, он вкрадчиво проговорил:

— Пигмеи — и орел!

На лице Коцебу улыбочка на самый-самый тонкий волосочек оживилась. «Понял, огузок цыплячий!» — мысленно воскликнул Старынкевич, не спуская с лица умиления.

— Да, пожалуй, — процедил Коцебу. — Да-да... Так вот, я прочел. В общем, ничего, но кой-какие ремарочки я все-таки позволю себе сделать. Присядьте, пожалуйста. Я бы желал подчеркнуть несколько энергичнее, что полевой суд нужен здесь не ради усиления кары, а равномерно... Впрочем, лучше я это набросаю.

Он взял карандаш и, перекладывая головку справа налево, слева направо, принялся писать. Потом прочел про себя и протянул бумагу Старынкевичу:

— Прочтите мне вслух, чтоб потом ошибочки не вышло. Почерк-то у меня труден, я знаю.

Почерк у генерала Коцебу был вполне разборчив, но он не вполне доверялся своему знанию варварского языка, промахи в котором яснее чувствовал, когда слушал в чужом чтении написанные им бумаги.

Генерал Старынкевич нацепил на свой мощный нос золотое пенсне и с торжественностью, подобавшей отношению одного высокопревосходительства к другому высокопревосходительству, медленно прочел:

«Господину министру внутренних дел.

Из донесений начальника Таврической губернии вашему высокопревосходительству известно, что 22 августа сего года в Крыму, в горной части Феодосийского уезда, был убит и сожжен на костре настоятель Кизильтапшской обители игумен Парфений, пользовавшийся особым уважением окрестных жителей, и что в совершении этого страшного преступления обвиняются три местных татарина, против которых обнаружены улики, вполне достаточные для осуждения их по совести, но не представляющие собою всех требуемых законом доказательств.

Генерал-лейтенант Жуковский, опасаясь посяму, чтобы убийцы, при суждении их обыкновенным уголовным судом, не избегли заслуженного наказания, просит моего ходатайства о назначении над убийцами игумена полевого военного суда.

С тою же просьбою обратился ко мне и садовладелец м. Судак, объясняя, что упомянутое убийство навело на них такой страх, что

теперь они не решаются без оружия выезжать из домов.

Вообще, подобные ходатайства об отступлении от законного порядка я принимаю на себя неохотно; но в настоящем случае считаю долгом заявить вашему высокопревосходительству, что назначение полевого суда нахожу необходимым для успокоения жителей Судакской долины, ввиду изложенных обстоятельств и заявления губернатора, что теперь уже родственники обвиняемых татар собирают значительные материальные средства к их освобождению: нельзя не принять в соображение, что безнаказанность убийц произвела бы пагубное влияние на татар, усилив их дерзость, и крайне тягостное впечатление на христиан, питавших особенное уважение и любовь к погибшему игумену».

Старынкевич кончил и склонил голову в знак полнейшего своего согласия.

— Все разобрали? Отлично. Распорядитесь поаккуратней перебелить и нынче же отправить.

Упоминание о неохоте к отступлениям от законного порядка сделано было генералом Коцебу с умыслом и предназначалось исключительно для самого министра Валуева. Министр внутренних дел Валуев слыл за либерала.

ГЛАВА XXIV

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ ВАЛУЕВ

Петра Александровича Валуева, министра внутренних дел и статс-секретаря, в петербургском высшем свете многие считали не только либералом, но даже конституционалистом. Но никто, даже из самых близких ему людей, не подозревал истинной причины, в силу которой Петр Александрович питал такого рода склонности. Причиной этой была его внешность.

Его внешность... Другой такой внешности не было ни в тогдашней, ни в прежней России, как не было и в позднейшей. Подобная наружность рождалась в одной только Англии, да и то не более, как в двух-трех экземплярах на целое столетие. И он, министр Валуев, знал это и втайне души грустил, что дар этот пропадает совершенно зря в дикой стране.

Россия ли не знала парадных сановников! Но такого торжественного, парадного и плавного не было никогда, даже при самой Екатерине.

Плавны, торжественны и уравновешены были самые его мысли, его принципы. Он любил повторять, что главное в жизни — это «постоянно сохранять» равновесие между много и мало», и наиболее частым его замечанием по адресу подчиненных было то, что тот или иной из них «перехлынул через края благоразумия». Свою провиденциальную миссию он видел в постоянном выполнении роли медиатора между крайностями, и если при этом на что жаловался, то именно на то, что «весьма трудно соблюсти надлежащую середину между безоговорочною правдою и оговорками, перестающими быть правдою». Эти именно качества создали ему исключительное положение при императоре Александре.

Ничто так не было мило этому монарху, как безмятежное спокойствие и мирные утехи личной жизни, а ему с первых же минут царствования вплоть до рокового выезда на Екатерининский канал довелось пребывать в волнении почти непрерывном. И посему Валуев одно время был для него совершенный бальзам. Более своим несравненным тактом, нежели умом, впрочем этюдь не ничтожным, Валуев это превосходно усвоил, и потому плавная, торжественная уравновешенность не оставляла его и за порогом государева кабинета. Являясь к монарху, он не снимал с себя совершенно торжественной своей внушительности, но снимал слегка, на половину или, может быть, всего на четверть, как бы показывая, на какую жертву он способен ради своего государя.

Все почитали Валуева счастливейшим из людей. Но так как вид всем довольно человека заключает в себе оттенок пошлости, чего изысканный вкус Петра Александровича не мог допустить, то не только в состав выражения своего лица, но в самый состав своих мыслей и чувств Валуев подмешивал некоторую долю меланхолии. Фундаментом, на котором покоилась эта меланхолия, было сознание, что грубая жизнь насилует возвышенный строй его души, навязывая поступки, ей противные.

Обойтись без меланхолии в те годы

было решительно невозможно. Без нее Валуев в своих собственных глазах стоял бы на одной линии с Муравьевым, с Паниным и с другими крепостниками. «Закон, — писал он в своем дневнике, — для Муравьева имеет смысл и силу только там, где только не случится или нельзя приурочить повеления. Хан, бек, мирза, паша, мандарин — все, что угодно, но не министр». Он язвительно заносил на страницы дневника слова Панина: «Я провел свою жизнь в подписывании того, что не одобрял». И хотя сам же он заготовлял для Муравьева и Панина проекты бичуемых им, Валуевым, постановлений против крестьянской реформы, которые тот представлял затем государю, он не только не ставил себя с ними в один ряд, но в том именно и усматривал свое неизмеримое над ними превосходство, что одно и то же дело они совершали с радостным сердцем, а он — с сокрушенным. Одним словом, меланхолия служила родом масла, заглаживавшего мельчайшие царапинки на служебном пути Петра Александровича, по которому он скользил, как по зеркальному льду.

Так бы, верно, он и докатился в полной безмятежности до самой могилы. Но вскоре после Крымской кампании ему довелось совершить путешествие по Западной Европе и заехать в Лондон. А в Лондоне, вместе с другими достопримечательностями, посетить обе палаты. И это посещение оказалось для него роковым.

В тот момент, как Петр Александрович с достоинством уселся на отведенное ему место, по сонному и даже оцепенелому парламенту вдруг прошла буря, в которой можно было уловить только одно слово: Пальмерстон. Петр Александрович насторожился и обратил внимательный взор на трибуну, на которую неторопливо, с такую же самой умышленной скромностью, с какой приступал к своим докладам сам Петр Александрович, всходил видный, крупный, осанистый джентльмен с изумительной красоты бакенбардами цвета свеженастоенного крепкого чая, точь-вточь с такими же бакенбардами, какими во всей России обладал один лишь Петр

Александрович. Джентльмен разложил перед собою бумаги и, подняв голову, обвел замерший зал слегка меланхолическим взглядом. Этот жест и этот взгляд были тоже совершенно его, Петра Александровича. Короче сказать, на трибуне могущественного парламента стоял его признанный владыка, великий Пальмерстон, и этот владыка был он сам, Петр Александрович Валуев! Пожалуй, у Петра Александровича все атрибуты были даже чуточку поэффектней, а нижняя челюсть была у него, несомненно, более английская, нежели у Пальмерстона. Когда же Пальмерстон заговорил, запинаясь, с усилием подбирая нужные слова, то уже минут десять спустя на свете одним счастливым человеком было меньше: грязная, мохнатая лапа сатаны, именуемая завистью, играла, как играет кошка пойманной мышью, чистым сердцем Петра Александровича, сжимала его до боли, потом отпускала, щекотала, царапала... Ни малейшего сомнения не могло быть в том, что великий Пальмерстон говорит во сто раз хуже, чем Петр Александрович!

Три часа продолжалась речь Пальмерстона. И сколько раз за это время, когда оратор делал паузы, все существо Петра Александровича, позабыв всякую солидность, содрогалось в безмолвной вопле: «Пустите меня! Послушали б, как это место выйдет у меня!».

Петр Александрович воротился в отечество таким же по виду торжественным, благожелательным, плавным, как и уехал из него. Но в существе его что-то дрогнуло и сдвинулось с места.

Было бы несправедливо утверждать, что манеры и образ мыслей Валуева стали иными после его путешествия в Англию, но что английские черты в его манерах и мыслях, отличавшие его и до этой поездки, сделались, так сказать, гуще, — это не подлежит сомнению. Выступая с проектом какого-нибудь административного мероприятия, Петр Александрович почитал непременно долгом предварительно расшаркаться перед законом, который обрекался предлагаемой мерой на уничтожение. Следствием этого было то, что мало-помалу репутация конституционалиста

укрепилась за ним окончательно. Будущий же наследник престола, тогда еще просто великий князь, Александр Александрович, слушая в таких случаях Валуева, судорожно зевал и с раздражением сжимал покрытые рыжей щетиной кулаки: как ни был он туг на соображение, он понимал, что Валуев предлагает что-то запретить или прекратить, и с этим всегда соглашался. Но ради какого чорта он распускается при этом в красноречии и битый час своим масляным баритоном тянет насчет святости закона и прочих либеральных бомбошек, от чего голова трещит, как с похмелья, — этого он не мог постичь. И нередко жаловался отцу, что у Валуева до нужного не доберешься. Государь посмеивался и замечал порой:

— Да, красноречие в нем имеет шаг над всем остальным. Впрочем, это беды большой не составляет.

И звезда Валуева продолжала сиять на безоблачном горизонте.

Однако в 1863 году ее внезапно затмила набежавшая туча. Восстали поляки. В Петербурге стали искать виновных среди либералов, к сонму коих молва издавна причисляла и Петра Александровича. Затем он дознался, что всесильный Муравьев, находясь в Вильне, вот-вот готов оттуда дотянуться и до него, как уже дотянулся до других, с кем имел давние счеты. Далее, Валуев стал замечать, что на докладах государь глядит на разложенные перед ним бумаги, а не на докладчика, если же и взглянет на него, то теми выкатившимися водянисто-стеклянными глазами, какие он всегда делал, когда хотел придать своему лицу сходство с грозным ликом Николая Павловича.

Петр Александрович, говоря грубо, струхнул и не стал медлить. Зная, что монарх подвержен горьким чувствам по поводу неблагодарности его подданных, Валуев решил мобилизовать благодарственные чувства крестьян Северо-Западного края, где как-раз кипел мятеж и где восставшие поляки и русские чиновники старались перетянуть на свою сторону православную часть крестьянского населения. Он заготовил (разумеется, совершенно секретно) образец

речи, с которой мировые посредники должны были обращаться к временно-обязанным крестьянам по случаю их освобождения от крепостной зависимости.

«Когда после этой речи, — указано было в инструкции министра, — последует взрыв единодушного согласия на подпись адреса, тотчас же предъявить его и подписывать. Речь должна быть читана напамять, потому что весь процесс дела должен быть покрыт глубокою тайною для врагов наших, доведомою одному богу». Само собою, что и образец адреса был выработан предусмотрительным министром. Однако тайна, которая должна была быть «доведомою одному богу», стала известна Герцену, который в своем «Колоколе» предал ее грубому осмеянию.

Чего стоило Петру Александровичу сохранить самообладание, готовясь к очередному докладу после прочтения герценовского пашквиля, — это тоже тайна, доведомая одному богу. Он ожидал всего. Но того, что он встретил, он все-таки не ожидал. Государь был весел, оживлен и на все решительно, что испрашивал министр, давал соизволение. Валуев про себя заключил, что о выходке Герцена еще не успели довести до сведения государя. Но, когда он, уже покончив с докладами, собирал в портфель свои бумаги, внезапно раздался громкий хохот, и, вздернув голову, Валуев увидел, что царь хохочет, глядя на него с нескрываемым лукавством.

— Ты что ж про Герцена молчишь? А? Ловко, признайся, он тебя высек?

И не успел министр рта раскрыть, как государь добавил:

— Ну, мои виленские и гродненские мужики, слава богу, «Колокола» не читают.

— Ваше величество, да хотя бы и читали. Ведь цель, которую я преследовал своим циркуляром, состояла единственно лишь в том, чтобы помочь крестьянам раскрыть сокровенное простых, но чистых сердец, преисполненных любви и благодарности к своему отцу и благодетелю...

И три года после этой аудиенции протекли для Петра Александровича в бле-

ске значительного и признанного влияния на дела государственные. Главная его задача в эти годы состояла в том, чтобы уравновесить крайности «Положения» 19 февраля 1861 г. На языке статс-секретаря Валуева, предпочитавшего выражения фигуральные и несколько приподнятые, это гласило так: «Солнце царское тепло озарило доли — 19 февраля. Теперь нужно осветить и пригреть вершины и окраины». Именно таков и был в эти годы курс корабля русской государственности.

Как вдруг осторожность снова на мгновение изменила усыпленному успехом министру. Когда 4 апреля 1866 г. произошло близ Летнего сада покушение на жизнь государя, и сановники, еще не знавшие, кто был посягнувший злодей, поспешно с'езжались во дворец, — почти одновременно в разных концах его прозвучали две фразы. Государыня Мария Александровна произнесла, подняв к небу заплаканные глаза: «Только бы это не оказался русский», — а Валуев, в душе которого еще не изгладилась следы волнений, пережитых в связи с тяготевшими над ним подозрениями в симпатии к полякам, воскликнул: «Только бы это не оказался поляк».

Сопоставление получилось совершенно неприличное, оно тотчас же было доведено до сведения его величества.

В тот же день Петру Александровичу пришлось давать тягостное объяснение государю. И хотя император внешне как будто удовлетворился исповедью своего министра, доказывавшего, что восклицание его не имело иного смысла, как только то, что, если бы злодей оказался поляком, это могло бы подать новые поводы к мятежным вспышкам в недавно лишь замренном крае, Валуев по блеску холодной подозрительности в глазах Александра ясно читал: врешь, каналья, боялся, что тебе полонофильство припомнят.

— Надеюсь, ты этого урока не забудешь, — отпуская Валуева, процедил государь. И Валуев, точно, не забыл: теперь, когда дело касалось не только поляка, но и любого инородца, он, не раздумывая ни минуты, соглашался на

самую крайнюю меру, какую ему предлагали, а нередко добавлял что-нибудь и лично от себя.

Бумага от генерал-ад'ютанта Коцебу получена была Валуевым как-раз в начале этого болезненного периода. По своему содержанию она никаких колебаний не порождала. Были у министра какие-либо основания отклонить это ходатайство и сделать соответственное представление государю? Ни малейших. Во-первых, государь почти наверное согласится с Коцебу, и Петр Александрович окажется в глупом положении. Во-вторых, речь идет об инородцах и даже инроверцах, стало быть, не поддержки он ходатайства генерал-губернатора, — налицо готовый упрек в космополитизме. И, наконец, третье обстоятельство в ображаемой картине — сугубое нерасположение государя к крымским татарам.

Обширная память Валуева хранила в своих недрах случай, происшедший лет шесть-семь назад. Находясь в Ливадии и приватно беседуя с приближенными, государь назвал весьма благоприятным событием происходившее в ту пору массовое переселение крымских татар в Турцию. Равным образом известен был Валуеву позднейший забавный эпизод с таврическим вице-губернатором Сонцовым и с ливадийскими татарами-садовниками. Таким образом, вопрос, какое движение дать ходатайству генерала Коцебу, не заключал в себе для министра ничего неясного.

Но было два обстоятельства, которые, нимало не влияя на исход ходатайства, делали его для Валуева несколько неприятным.

Первое заключалось в том, что мероприятия по части земельного устройства Крыма, вызвавшие массовое переселение татар в Турцию и именно ради этого предпринятые, были проведены Муравьевым в бытность его министром государственных имуществ. И это были как-раз те мероприятия, которые служивший при Муравьеве Валуев старательно и обдуманно выработывал в департаменте днем, с тем, чтобы дома у себя перед сном горько сетовать по по-

воду них в дневнике на свою судьбу подневольного человека, выполняющего предначертания грубого хана, бека, мурзы и проч., как именовал он Муравьева.

Теперь, по содержанию бумаги генерала Коцебу, сославшегося на ходатайство судакских садовладельцев, Валуев ясно видел, что и последними руководит то самое желание подтолкнуть татар к переселению, какое имел в виду Муравьев. Но тогда Муравьев был министром, а Валуев — у него директором департамента, теперь же сам Валуев был министром и гораздо более могущественным. И получалось, что сам он и хан, и бек, и мурза и прочее. Противоречие это наводило на грустные размышления, место которым было, разумеется, не в министерстве, а на страницах дневника, — и Петр Александрович отложил их до конца присутствия.

Второе обстоятельство, весьма и весьма щекотливое, состояло в том, что из приватной беседы государя о переселении татар в Турцию местная администрация вывела правильное заключение о необходимости принятия мер к поощрению татарской эмиграции, но сделала это неуклюже и крайне бестактно. Генерал-губернатор обратился с соответствующим указанием к таврическому губернатору, а сей последний не нашел лучше, как разослать по волостным правлениям циркуляр, где делалась ссылка на слова его величества! От волостных правлений циркуляр пошел бродить по сельским управлениям, и кончилось тем, что генерал-адъютант Тотлебен, которому случайно попал в руки один из таких циркуляров, доставил его лично государю, притом, как на грех, отношение, сопровождавшее циркуляр, оказалось подписанным волостным головой татаринцом! Получился совершенный анекдот, государь был взбешен, и кой-кому учинен был разнос.

Это произошло еще до вступления в управление Новороссийским краем генерала Коцебу. Теперь своею бумагой он, вероятно, и не зная о факте, имевшем место шесть лет назад, побуждал Валуева делать государю доклад по поводу крымских татар, что могло растревожить заглохшее раздражение в памя-

тием на неприятности императоре. Правда, шесть лет назад и Валуев еще не был министром и потому стоял в стороне от происшедшего анекдота, но это дела не меняло: его величество знал, с какою легкостью распространяются по Петербургу пикантные случаи, происходящие во дворце, и едва ли поверит, что Валуеву ничего не известно о смешном положении, в котором монарх тогда был поставлен таврической администрацией.

Таким образом, перед Валуевым стоял трудный выбор: либо играть во время доклада наивную роль ничего не знающего о прошлом, либо дать понять, что таковое ему известно. В последнем случае его величество будет испытывать неловкость, что порою крайне его раздражает, а в первом случае — он легко может впасть в подозрительность. И то, и другое чрезвычайно тягостно, а пожалуй, и небезопасно.

Наконец, решение было принято: взять тон в зависимости от того, в каком состоянии духа будет его величество на докладе: если, вообще, в раздражительном, то рискнуть на угрожающую подозрительностью игнорацию, а если в благорасположенном, то рискнуть и не скрывать, что старая история Валуеву известна.

Петр Александрович решительно позвонил и приказал запросить у военного министра отзыва по существу ходатайства генерала Коцебу.

Уже на другой день правитель канцелярии доложил отзыв от военного министра:

«Имею честь уведомить ваше высокопревосходительство, что со стороны военного министерства не встречается препятствий к исполнению высочайшего разрешения на предание военному суду по полевым уголовным законам трех татар, обвиняемых в убийстве настоятеля Кизильташской обители игумена Парфения, с тем, чтобы право окончательной «конфирмации» по сему делу предоставлено было командующему войсками Одесского военного округа».

— Так-с, — промолвил Валуев. — В таком случае изготуйте доклад его величеству. Изложите вкратце обстоятельства дела, а затем, приведя ссылку генерала Коцебу на петицию судакских садовладельцев и упомянув про отзыв военного министерства, заключите хода-

тайством о предании татар полевому суду. О неохоте генерала Коцебу к отступлениям от законного порядка, разумеется, опустите, — добавил Петр Александрович, с легкой иронией по адресу генерала.

Правитель склонился, давая чувствовать, что он все понимает. Валуев кивком головы отпустил его.

А поздно ночью, дома, в тиши кабинета, слабо освещенного двумя свечами под зеленым абажуром, Валуев, наконец, очистился от неприятных ощущений этого и предыдущего дня. С повышенной грустью он писал в своем дневнике:

«Владыко дней моих! Дух праздности унылой
Не дай душе моей!

Я бездомный, безземельный постоялец. Дух мой также постоянно чувствует себя постояльцем. Он за деньги дома, как и мое тело. Мысль моя квартирует в департаментах. Тень дерев, зелень лугов, светлое зеркало родных рек, сизая даль горизонта, пыльный след возвращающегося с пастбища стада, тихий вечерний гул отходящего ко сну села! Где вы? Где ты, родная кровля, где я рос и жил, и начинал мыслить и чувствовать, березовая аллея, роща над прудом, цветущие липы вокруг дома, зеленеющее, благоухающее, улыбающееся преддверие жизни!».

ГЛАВА XXV

ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР

Подобно тому, как самым несчастным человеком в Феодосии был дворянский заседатель Кондараки, в целой России самым несчастным человеком был император Александр II. Разница состояла лишь в том, что всю жизнь Кондараки стремился догнать фортуны, но всякий раз, как он ее настигал, она внезапно исчезала, уклонившись куда-то в сторону. Между тем император Александр сам всю жизнь уклонялся от фортуны, делавшей невероятные усилия его догнать.

Судьба, словно нарочно, сделала все, чтобы Александр чувствовал себя счастливейшим из царей. Он занял престол

после монарха, которого вся страна отупело и бессильно ненавидела, — и это было необыкновенно благоприятно для первых шагов его царствования. Войну, которую он застал по воцарении, невозможно было продолжать. Ее не мог бы продолжать и Николай Павлович, если бы был жив. Но заслуга окончания страшной войны досталась всецело Александру. Крепостное право не могло уже существовать, — это сознавал не только Николай, но и Павел, — оба последние даже яснее, чем сознавал это Александр. Но слава отмены крепостного права увенчала именно его. Старая солдатчина потерпела крах, когда на престол взошел Александр. Но заслуга ее замены досталась ему. Старую администрацию и суды вдребезги разнесла буря Севастополя, — Александр пожал лавры их обновления.

Его провозглашали освободителем, преобразователем. В честь его слагали стихи. Гул приветствий шел к нему навстречу отовсюду, — от официальных ликователей, именовавших его библейским Моисеем с ижицей, до самого Герцена, именовавшего его евангельским галилеянином. Выше этого, казалось, не могла уже воспарить слава царя.

А для него все это было несчастьем. Потому что во всей России не было человека, который более его ненавидел бы происходящие перемены и который сильнее, чем он, противился бы в душе реформам. Его идеалом был отец, идеалом недосыгаемым. То самое, за что Александру пели осанну, в его сознании было позорным проявлением малодушия и слабости, которых никогда не допустил бы отец, и горшей обиды для себя не мог он и представить, чем те горячие строки, какими его приветствовал крамольник Герцен.

Чтобы как-нибудь поддержать готовую рухнуть вместе с тронном российскую государственность, Александру приходилось приближать к себе людей, которых он боялся, ненавидел, презирал, называл либералишками, и делать вид, что отдаляет тех, кого он любил, кого любил его отец. Потом, когда становилось невтерпежь, вероломно избавляться от первых и, раздражая страну,

возвращать отцовских слуг. А главное — приходилось официально принимать позорные титулы освободителя, преобразователя и проч., не только принимать, но приноравливаться к ним. В продолжение всей жизни ему выпал жребий позировать чуть не на Гракха, когда хотелось позировать на отца, который и сам всю жизнь позировал на Веспасиана или Цезаря.

И в личной жизни все вышло как-то шиворот-навыворот, — тут уж и фортуна немного пошалаила. Он питал симпатию к женщинам крепким, мускулистым, ловким, тренированным в любви, а в жены ему отец выбрал болезненную, религиозную немку, от которой всегда чуть попахивало киндербальзамом и кипарисовым деревом и которая вдобавок превосходила его умом, что всегда неприятно было Александру в людях. Он гордился своим сыном-наследником, стройным и гибким красавцем. Но вот — внезапно его уносит чахотка, и наследником становится сын Александр, тяжеловесный мужлан с сонными глазами и движениями, уже ровно ничем не напоминающий цезареподобного деда.

Все раздражало Александра. Раздражала жена, словно нарочно легко схватывавшая то, что ему самому приходилось долго втолковывать. Раздражали славословия за позорную уступчивость, словно все сговорились его дразнить. Раздражали разногласия между министрами, между членами государственного совета, между членами разных комитетов. Столковаться бы им между собой и представить общее мнение. Нет, один говорит одно, другой доказывает совсем иное, в совете получается большинство и меньшинство, и вот — надобно решать. За решением разногласий обращаются к нему. Это бы еще не беда. Но несчастье в том, что при докладе о происшедшем разногласии у всякого докладчика, кто бы он ни был, одинаково подлое выражение на лице: наружно — смиренное, подбострастное, покорно склоняющееся перед мудрым всеведеньем монарха. А позади этой покорности, где-то в недосягаемой глубине зрачков, коварная усмешечка: благоговеть-то пред тобой я обязан, а понять-то ты

все-таки не можешь. Но ты не конфузись: я великодушен и снисходительно притворяюсь, что не замечаю, в каком ты находишься глупом положении.

Вот это-то и было мучительно. К оскорбительному великодушию своих слуг Александр никогда не мог привыкнуть. Тягостная мнительность почти не оставляла его, и нередко ему казалось, что даже по самым простым вопросам министры, члены совета и прочие затевают разногласия лишь для того, чтобы его подразнить, принудить его требовать у них объяснений, то-есть обнаруживать свое невежество.

И, как все болезненно самолюбивые и мнительные люди, он, чтобы прикрыть смущение, постепенно выработал свой прием борьбы: притворялся разгневанным по поводу того, что к нему лезут со всякими пустяками, ясными для малого ребенка. Он стал ворчлив, брюзглив и подозрителен.

Но всего более раздражала Александра людская неблагодарность. Он так часто повторял: «*je ne suis plus à la reconnaissance humaine*», всякий раз при этом делая холодное, оскорбленное лицо, что это вошло у него в поговорку. Неблагодарны были поголовно все. Неблагодарны были монархи, которым Россия оказывала помощь, когда тронам их грозила опасность со стороны их собственных неблагодарных подданных, и которые затем коварно предавали и его, и его отца. Но это еще куда ни шло. А вот неблагодарность внутри империи...

Ведь в конце-концов Александр ничего бы не имел и против этих реформ, которые ему отовсюду навязывали, но с одним лишь условием: чтобы те, кого эти реформы касались, не спешили ими пользоваться и были за них благодарны. Происходило же как-раз наоборот. Вот он провел крестьянскую реформу. Какие старания были приложены, чтобы ею остались довольны и крестьяне, получившие свободу, и помещики, владения которых почти не потерпели ущерба: если крестьянам и отвели кое-что, то из тех земель, которые все равно они и при помещиках обрабатывали для собственной нужды, а главное — поме-

щикам за них щедро заплатили. Между тем недовольны и те, и другие: крестьяне бунтуют и требуют прирезки, помещики втихомолку ворчат, что их ограбили..

То же и с земством. Кричали-кричали: земство необходимо. Проведена земская реформа. И опять, вместо того, чтобы быть благодарными, заявляют дерзкие требования, всюду суют свой нос, болтают на собраниях, лезут в *tiers-états*. Приходится их обуздывать, — и в результате — жалобы и недовольство.

То же с печатью: плакали — печать не ограждена законом. Оградил. И тотчас же вместо благодарности — критика действий власти, возмутительные выходки, своеволие, непрошенные советы, нахальство, наглый тон. Волея-неволей приходится обуздывать и этих писак. А тогда поднимаются вопли, — где же закон?

На такой акт внимания к полякам, как назначение наместником царского брата, поляки ответили неслыханными по дерзости требованиями и наконец открытым восстанием. Можно ли далее идти в вероломной неблагодарности!

И Александр II глубоко и навсегда разочаровался в людях. С течением лет раздражение сделалось его обычным состоянием, что выражалось и в манере вдруг вскидывать на собеседника холодный, недоверчивый взгляд оловянных глаз, и в брюзгливых репликах, и в раздражительных ремарках на полях докладов. Многим поэтому он казался человеком требовательным и сильной воли, между тем как это происходило от смущения и бессилия. Этот средней руки русский помещик замучился тем, что ему ниоткуда нет покою, что в то самое время, как его тянет охотиться на медведей, играть в баккара, заниматься веселыми интрижками с веселыми красотками, развлекаться рисованием придумываемых военных обмундировок, к чему у него положительно был талант, — в это время со всех концов обширной империи к нему лезут за разными головоломными решениями и приказами, а он не знает, как решать и что приказывать. В тех же случаях, когда по за-

веденной форме к нему обращались за решениями вопросов мелких, либо столь ясных, что никаких сомнений они не вызывали, — это раздражало его еще более, именно потому, что кем-то, точно нарочно, был учрежден порядок, чтобы беспокоить его даже по пустякам.

★

18 ноября 1866 года государь с утра был мрачен. Откушав в одиночестве кофе, он удалился в кабинет, где тотчас уткнулся в бумаги, на которые падал мертвый желтый свет от горевших на столе свечей.

Позаявшись с час, государь почувствовал онемение в теле. Встал, потянулся и, зевая, подошел к окну. Но громадное окно сплошь было заляпано ноздреватой жижей, с самой ночи лившейся с неба, и, пройдясь по кабинету, Александр снова уселся за стол. В кабинете было достаточно тепло, на государе надета была теплая гусарская венгерка, но его знобило как-то, и все казалось неудобным.

Когда в 12 часов Петр Александрович Валуев переступил порог кабинета и с низким, придворным поклоном приветствовал государя, Александр, не подымая головы, протянул ему руку и едва буркнул: «Садись». Валуев, обладавший, как никто, драгоценным секретом соединять в присутствии государя быстроту движений с плавностью оных, тотчас же сел, раскрыл портфель и приготовился докладывать.

— Ну, что там у тебя? — спросил через минуту Александр, восклонившись.

Император Александр бывал либо очень красив, — красотой степного, холеного, загорелого на охотах с борзыми, породистого помещика, — когда лицо его было спокойно и весело; либо он был отталкивающе-безобразен и похож со своими вровень с усами подстриженными бакенбардами на непомерно раздувшуюся злую жабу, — когда он гневался и старался уподобиться громовержцу. В эту минуту лицо государя было крайне неприятно, и Валуев избегал глядеть на него, перебирая прине-

сенные бумаги. Если государь был в духе, министр начинал свои доклады с наиболее рискованных. И обратно: если он замечал в своем повелителе недовольство, то начинал с самых невинных дел. Но именно такого дела на сей раз не было в его распоряжении. Собственно — было: проект высочайшего повеления об ограничении права земских собраний облагать промышленные и торговые предприятия. Но и он имел опасную сторону: был длинен, сух и скучен. Мысленно перекрестясь, Валуев приступил к докладу.

Когда министр перешел к цифрам, избежать которых не представлялось возможности, Александр зевнул, перестал глядеть на него, наконец, мрачно молвил:

— Много ль еще там?

С непостижимой быстротой Петр Александрович доложил несколько мелких дел, — разные «дрязки», как называли их Александр. Наконец и они были исчерпаны.

— Дальше, дальше, — понукал государь Валуева.

— Последнее, ваше величество, — с совершенно невинной непринужденностью проговорил министр. — Ходатайство генерал-ад'ютанта Коцебу о предании военно-полевому суду трех татар... — и осекся.

Император грозно глядел на него, выкатив бессмысленные оловянные глаза, — именно так, как он это делал, когда пытался уподобиться в гневе своему отцу. Длинная спина его выпрямилась и отделилась от спинки кресла.

— Убийц игумена?

— Точно так, ваше величество... Ваше величеству уже известно...

— Да, мне известно. Только не от тебя, представь! — крикнул государь, сделав угрожающий жест. — Уж ты бы лучше через год мне сообщил.

— Осмелюсь доложить, ваше величество: ходатайство генерал-ад'ютанта Коцебу поступило ко мне 13-го сего ноября, 14-го запрошен по нем отзыв военного министра, каковой получен мною 15-го...

— А до того, — перебил его Але-

ксандр, — тебе об этом деле ничего не было известно?

— Имел, ваше величество, донесение от таврического губернатора, но...

— Имел донесение, но не счел нужным довести его до меня! — воскликнул с злобой иронией государь и, вскочив с кресла, громадными шагами заходил по кабинету. Валуев встал.

— Простите, ваше величество! Я полагал...

— Ты полагал! — круто повернулся к нему государь. — Ты — мой министр или гоф-курьер, передающий пакеты? Пойми! Мерзавцы-татары среди бела дня подстреливают, как дичь, православного игумена, сжигают его на костре... Где? В Крыму, в двух шагах от моей резиденции! И ты три месяца — подумай, три месяца! — мне об этом ни звука! Почему ты хотел от меня это скрыть? — быстро проговорил он, выпрямившись и подозрительно глядя Валуеву в глаза. — Говори всю правду, не бойся.

Валуев не был бы тем, кем он был, если бы не нашел выхода из безвыходного, казалось, положения. Он выдержал взгляд государя и с выражением грусти, необычайно глубокой, но всеми силами подавляемой, тихо промолвил:

— Ваше императорское величество. Мне тяжело было сообщением об этом страшном злодеянии омрачить светлое семейное торжество моего возлюбленного монарха. Простите.

И поник головой.

Александр отступил и снова заходил по кабинету, но уже медленней.

— Д-да, сашина свадьба... — пробормотал он... — Ну, извини, коли так. Хотя свадьба — свадьбой, а дело — своим чередом... Ведь это чорт знает что, согласись. Не успели поляки отбунтовать — так вот тебе тараре... Татары! — с гримасой раздражения поправился он. — Это уж вовсе les anciens rêveries (старые мечтания).

— Соизволите, ваше величество, уважить ходатайство генерал-ад'ютанта Коцебу? — уже вполне оправившись, спросил Валуев.

— Что за вопрос? Расстрелять мерзавцев, чтобы впредь никому не было

повадно. *Point de rêveries, point de rêveries* (никаких мечтаний).

— Военный министр в своем отзыве полагает, чтобы конфирмацию приговора предоставить генерал-губернатору, в чем я совершенно с ним согласен. Как будет угодно вашему величеству?

— Ну что ж. Избытком мягкосердия этот Самсон, кажется, не страдает, — в первый раз за весь день улыбнувшись, сказал государь, мысленно представив себе обезьянью фигурку Коцебу. — Все? Ну, прощай.

ГЛАВА XXVI

КОНФИРМАЦИЯ

В феврале 1868 года, после продолжительного отсутствия, генерал-адъютант Коцебу воротился из Петербурга в Одессу.

За время его отлучки накопилось множество важных дел, — менее важные вершились его помощником, — и среди них — производство военно-полевого суда с приговором, который надлежало подтверждать. С этого именно и вознамерился генерал возобновить свою деятельность, прерванную поездкой в Петербург, где государь в прощальной аудиенции выразил ему свое благоволение, слегка даже намекнув на возможность возведения генерала в графское достоинство. В той же аудиенции, отпустив генерала, государь, когда Коцебу, пятясь спиною к дверям и отвешивая поклоны, находился уже у порога, вдруг нахмурился и остановил его последним вопросом:

— А как там у тебя с татарами?.. Ну, мерзавцы эти, которые попа убили или архимандрита... как бишь его... Панкратий, Пафнутий!.. Повесил ты их?

— Нет еще, ваше величество, — поспешно ответил Коцебу, опасаясь, чтобы государь не спросил об имени убитого игумена, которое и сам он позабыл, — но приговор уже состоялся и по возвращении я его подтверждаю без малейшего промедления.

— Пора, пора, — молвил государь и кивнул головой, напоследок все-таки улыбнувшись своему генерал-адъютанту,

вертялая фигурка которого его всегда забавляла.

Коцебу в блаженной улыбке еще ниже склонился перед монархом и исчез за дверьми.

Рано утром 17 февраля он поднялся с постели, чувствуя во всех членах приятную истому отдыха после долгого путешествия и несколько утомительного торжества встречи, накинул серый с малиновыми отворотами и кистями фланелевый халатик и отправился в ванную комнату, предшествуемый похожей на старенького ангела генеральшей, аккуратной, чистенькой и тоже крошечной старушкой в кремовом халатике и в белом чепце, никому не уступавшей своего традиционного права купать генерала в ванне.

После ванны супруги прошли в столовую, где на столе, возле *tête-à-tête*'а (прибора на двоих) из тонкого, как папирсная бумага, китайского фарфора, на спиртовой лампочке стоял серебряный кофейник. Генерал зажег фитиль, и через пять минут генеральша наполнила чашки крепким, душистым кофею.

Накануне, за поздним часом и многолюдством при встрече, им почти не пришлось побеседовать с глазу на глаз, и только сейчас супруги могли без помехи поговорить. Собственно, говорил главным образом генерал, генеральша лишь задавала вопросы. И все, что она слышала о его успехах в Петербурге (что и составляло единственный предмет их разговора), было так прекрасно и чудесно, что генеральше оставалось лишь время от времени всплескивать ручками, подымать к небу глаза и с разнообразным по возможности выражением произносить:

— Ach, du, lieber Gott! (О, господи!).

Но более всего, конечно, умилило старушку сообщение (шопотом и по глубокому секрету) о намеке государя на графство.

— Ist's möglich? (Возможно ли?) — воскликнула она, сделав самое восторженное выражение. Но, как ни было оно восторженно, этого было недостаточно, и, проворно вскочив, она запечатлела поцелуй на генеральском челе.

Вторая чашка была допита, и генерал Коцебу поднялся. По утрам он занимался наиболее важными делами у себя в кабинете, тотчас после кофью, в халате, и в это время ни одна душа не смела нарушать его сосредоточенное одиночество. Эта минута приблизилась, и генеральша сразу сделала подобострастное лицо, робко осведомившись, чем именно предстоит мужу сейчас заняться. Он ответил, что конфирмацией приговора по делу татар, с которой торопит государя.

— Ах, ужасно! — произнесла она с гримасой. — Только не будь слишком суров!

Генерал поднял руку и, обратив ее ладонью к жене, сурово покачал головой: этого никто, и даже она, не должен касаться. Старушка благоговейно опустила глаза и, вздохнув, удалилась. Генерал Коцебу проследовал в свой обширный кабинет.

Придвинув к громадному столу высокое кресло со специальной подножкой, чтоб ноги не болтались в воздухе, Коцебу взглянул на приготовленные дела. Две колонны на целый аршин возвышались над столом. Как-раз сверху лежало дело об игумене Парфении: шесть громадных томов, тысячи листов! Не могло быть и речи, чтобы все это прочесть. Да и не к чему: в необходимости конфирмовать приговор сомнений у него не было никаких. Но для порядка генерал решил ознакомиться с заключением суда и речами защитника и прокурора. Это заняло полчаса. Проекты резолюции находились при деле: один — с утверждением приговора в том виде, как его вынес суд, второй — с заменой казни плетями и каторжными работами. По заведенному порядку канцелярия всегда изготовляла для генерала два варианта.

Ни минуты не колеблясь, Коцебу скомкал и кинул под стол второй вариант, со смягчением, и углубился в первый. В нем заключалось обстоятельство, весьма его смутившее...

В приговоре военно-полевого суда указано было: «наказать смертью — расстрелянием». Между тем у генерала Коцебу еще звучали в ушах слова го-

сударя: «Повесил ты их?». Правда, легко было допустить, что государь просто интересовался, совершена ли казнь над злодеями. Но кто поручится, не желал ли государь, чтобы преступников именно повесили, а не расстреляли, то-есть чтобы казнь для них была самая позорная?

С другой же стороны, такого рода замена означала бы усиление наказания, чего при конфирмации по давней традиции не полагалось. Напротив, конфирмация связывалась с представлением о милосердии, о смягчении.

И еще одно обстоятельство, хотя и не столь важное: в Петербурге дважды пришлось беседовать с знатной дамой Надеждой Дмитриевной Половцевой, рассказавшей ему про беззакония и безобразия, якобы учиненные судом в Феодосии, и усердно добивавшейся с его стороны обещания смягчить приговор. О том же и, как был уверен генерал Коцебу, по связям той же госпожи Половцевой, ходатайствовало перед ним одно значительное лицо. Правда, у генерала достало мужества ничего определенного им не посулить, но все же он был вынужден в самой общей и туманной форме пообещать, что постарается сделать, что будет возможно по обстоятельствам дела. Заменить после этого расстреляние повешением было как-то немного не того...

Генерал Коцебу задумался. Однако и в том, и в другом случае надлежало прежде всего изложить общие свои соображения о преступлении татар и о наказании, которое они заслужили, и, взяв свежечерченное гусиное перо (стальные перья в ту пору уже водились, но генерал находил, что в гусиных было как-то больше уюту), Коцебу склонился над бумагой.

«По рассмотрении дела сего, ознакомившись с обстоятельствами оного во всех подробностях; взвесив со вниманием показания очевидцев совершившегося преступления и свидетелей, а также соображения и выводы бывших при полевом военном суде защитников подсудимых, по совокупности улик и доказательств, собранных к делу, я пришел к полному и глубокому убеждению в виновности татар: 1-е Сейдамета Эмир Али огулу, 2-е Сеид Ибрама Сеид Амет огулу и 3-е Эмир Усеина Аб-

драман оглу в совершении убийства игумена Парфения и сожжении потом труп его. За такое преступление я конфирмациею моею, положенною в 17-й день сего февраля, определил: утвердить приговор военного суда о смертной казни над виновными в убийстве тремя татарами...».

Здесь генерал Коцебу остановился, потому что именно в этом месте надлежало оговорить те или иные изменения в приговоре суда, если бы он пожелал их внести. Он положил перо и опять задумался.

В это время через неплотно им притворенную дверь донеслись звуки фортепиано. Генеральша, будущая графиня, покончив с утренними заботами, села поиграть. Ему это заниматься не мешало, напротив, какое-то успокоение вносили тихие, приятные звуки, помогали думать. Он прислушался и с улыбкой в такт закивал головой: милая старушка играла его любимые «Lieder ohne Worte» Мендельсона. Но вдруг он вздрогнул и сердито насунился: за спиной у него скрипнула дверь. Кто-то осмелился нарушить...

Генерал Коцебу резко повернул голову, и... на одно короткое мгновение гнев застрял на лице, но тотчас же его словно ветром сдуло, и генерал, всем телом повернувшись к двери, залился счастливым смехом: на пороге сладко потягивался его любимчик Маркитант, пушистый, белый сибирский кот, имевший право нарушать все установленные во дворце запреты.

— Ach du, Habenke! Komm doch! (Ах, негодяй! поди-ка сюда!).

Маркитант направился, не спеша, к генералу и с тяжелой грацией вспрыгнул ему на колени.

— Warum bist du so kotig? (Ты что такой грязный?) — удивился генерал, заметя, что рот у Маркитанта выпачкан, но тут же, приглядевшись, весело воскликнул: — Act, du hast ein Mäuschen verspeist? Ein süßes Mäuschen hast du aufgespeist? Nicht wahr? (Ах, ты мышку скушал? Вкусную мышку? Правда?)

Музыка меж тем замолкла: в паузе после одной из песен без слов генеральша услышала голос мужа, с кем-то разговаривавшего в кабинете. Пора-

женная, испуганная, она кинулась к притворенной двери. Вид генерала, беседующего с Маркитантом, не тотчас ее успокоил, но, так как он заливался веселым смехом, она поняла, что грозы не будет, и осмелилась переступить священный порог, сохраняя на лице сконфуженное выражение провинившейся жены, допустившей беспорядок в доме.

— Was thust du hier? (Ты что здесь делаешь?) — грозно обрушилась она на кота. — Verzeihe bitte, mein lieber... (Прости, милый...) — И она протянула руки, чтоб забрать нарушителя порядка.

Но муж не выпустил Маркитанта, взглядом приглашая супругу полюбоваться чудесным существом. И оба они, как бы онемев от восхищенья, попеременно глядели то друг на друга, то на кота, как он медленно шевелил пышной белой кистью длинного хвоста и то открывал, то жмурил глаза, — два дивных, громадных зеленых изумруда.

Генерал не выдержал и, подняв палец, сделал Маркитанту козу. Тут уж и генеральша не выдержала и, в свою очередь, стала щекотать кота меж ушей. И тому, и другому хотелось поддержать этот живой, белый шелковый ком, в котором утопала рука. Наконец, первой опомнилась генеральша:

— Он помешал тебе работать, — молвила она, пытаясь унести кота.

Но муж решительно запротестовал:

— Нет, нет, злодей здесь останется, пока я не кончу.

Старушка удалилась, плотно притворив за собой дверь. Генерал Коцебу распахнул на груди халатик и стал прилаживать Маркитанта к себе за пазушку. Животу и груди стало необыкновенно тепло, мягко, уютно, только пришлось чуть отодвинуться от стола, чтоб не слишком прижимать Маркитанта.

В ту самую минуту, как генерал Коцебу, управившись, взял гусиное перо, за дверью снова раздались звуки мендельсоновской музыки. Своими милыми ручками в морщинах старушка заиграла «Венецианского гондольера» и, одновременно с первыми звуками, генерал, перечитав последнюю написан-

ную им фразу: «Утвердить приговор военного суда о смертной казни над виновными в убийстве тремя татарами» — и поставив запятую, принялся писать далее:

...с тем однако, чтобы казнь сия была совершена над ними через повешение. Четвертого подсудимого, Сеид Мемета Эмир Али оглу, во внимание к отсутствию таких же сильных улик и доказательств, какие открыты против первых трех вышеназванных преступников, отослать для водворения в менее отдаленные места Сибири.

О таковой конфирмации моей, сообщая вашему превосходительству, покорнейше прошу сделать зависящее от вас распоряжение о приведении оной в действительное исполнение на законном основании.

Генерал Коцебу, написав этот период, перевел дух и пустился писать далее:

«При этом нужным считаю просить вас, 1-е, по важности настоящего случая все распоряжения и приготовления по исполнению настоящей конфирмации возложить при содействии местной полиции на одного из высших губернских чиновников по вашему личному избранию и, 2-е, самую казнь над тремя преступниками распорядиться произвести в г. Феодосии, куда к назначенному дню казни выслать для присутствия при оной старшин Большого и Малого Таракташа и человек двенадцать тамошних поселян. Казнь сия должна быть произведена при выводе в строй 13-го стрелкового батальона, расположенного в г. Феодосии.

Об исполнении изложенной конфирмации я прошу, ваше превосходительство, своевременно меня уведомить».

ГЛАВА XXVII ИСПОЛНЕНИЕ

23 февраля конфирмация была доставлена по эстафете в Феодосию с приказанием от губернатора немедля объявить ее приговоренным и при этом вновь подвергнуть их увещанию магюмстанской духовной власти, дабы склонить к сознанию. На другой день то и другое было исполнено.

Однако и после этого преступники продолжали упорствовать. Впрочем, против ожидания начальства, объявление конфирмации, сделанное при внушительной обстановке, каждому в отдельности, не произвело должного впечатления. Сейдамет и Сеид Мемет, словно сговорясь, одинаково злобно глядели ис-

подлюбья на читавшего приговор переводчика. На увещания кадия, указывавшего на бесполезность дальнейшего заpiresательства, Сеид Мемет не проронил ни слова, Сейдамет же дошел до неприличия, предложив кадию обратить свои увещания к Якубу, Байрахтару и родственнику кадия, следователю Крым-Гирею, всех их называя ворами и предателями.

Не более успешны были попытки в отношении двух других. Сеид Ибрам перед каждым, кто бы ни обращался к нему, падал на колени, плакал, целовал всем руки, однако поступки эти изобличали не раскаянье, но для всех очевидное помутнение рассудка, вследствие чего и были начальством вскоре прекращены, как не имеющие цены для правосудия. Последний из злодеев, Эмир Усеин, выслушав конфирмацию со спокойствием, нечувствительно переходящим в хладнокровный цинизм, позволил себе даже усмехнуться в том месте чтения, где предписывалось расстреляние замкнуть повешением, что вызвало негодование большинства присутствующих.

Смотритель тюремного замка Мудров не в силах был примириться с мыслию, что столь громкое дело, уже успевшее возвысить нескольких чиновников и сулившее возвышение многим другим, для него пройдет впустую. И он сделал последнюю попытку «привести к самосознанию» преступников.

1 марта, накануне дня, назначенного для казни, когда родственникам осужденных дозволено было свидеться с ними в тюрьме, Мудров распорядился обставить это свидание особенным образом. Рассудив, что, чем больше будет драматизма, тем больше надежды на истощение упорства у приговоренных, он дал им всем общее и совместное свидание, дозволив явиться на него всем желающим. Однако из друзей и знакомых никто не осмелился явиться, да и родственников пришло весьма мало. К Сейдамету и Сеид Мемету приехали только старик отец и родной брат Эмир Сале, далее, сестра их, она же и жена Сеид Ибрама. К последнему больше никто не явился. И лишь к Эмир Усеину пришло четверо: жена с Апазом и тещь

с тещей. Несмотря на то, что преступники впервые после ареста получили здесь возможность вступить в никем не стесняемую беседу, они ни словом не обмолвились о преступлении, которое их соединяло, да и вообще между собой почти не говорили. И единственное, что отчасти походило на пререкание, была короткая вспышка Сейдамета при встрече с Эмир Усеином. Увидя Сейдамета, мрачно, ни на кого не глядя, с низко опущенной головой вошедшего в обширную камеру, Эмир Усеин прежде всего удивился. «А еще умным считается! — воскликнул он мысленно, с приятным чувством своего превосходства. — Те его веревкой пугают, а он, осел, верит». И он направился быстрыми шагами к Сейдамету.

— Здравствуй! Подыми нос, не бойся, — произнес он весело, подмигнув хитро своим глазом. — Через месяц будем с тобой кебаб кушать. Ты этих дел не знаешь, а я им...

Он не договорил. Сейдамет тяжело поднял на него глаза — воспаленные, желтые, горящие ненавистью и презрением к этому вору и болтуну. Сейдамет затрясся всем телом, сжал кулаки и ринулся было, но удержался и с гадливостью плюнул ему прямо на бушлат.

— Уйди с глаз!.. — прохрипел он.

— Что ты...

— Убирайся, а не то виселицы не дожدهшься!

Эмир Усеин пожал плечами, как можно презрительнее, и отошел, стирая рукавом плевков этого бешеного осла. Усевшись в углу, он, переводя свой глаз с одной группы на другую, с нетерпением предвкушал, как явятся сейчас к нему родные и он им расскажет, какой он молодец, как ловко окрутил он одного за другим целую кучу русских начальников, пытавшихся его запугать. Сейдамета, после того, как тот его оскорбил, ему уже не было жалко. Он даже старался изобразить насмешку, когда взглядывал в его сторону. Три брата и старик отец сидели тесной кучкой, и лишь изредка кто-нибудь из них негромким словом нарушал молчание, словно им не о чем было говорить. Старика Эмир Усеину было немножко

все-таки жалко. Но кого он жалел всем сердцем, так это Сеид Ибрама. Ничего не осталось от этого добродушного толстяка! Первое время Эмир Усеину даже показалось, что он пьян: Сеид Ибрам качался на табурете, так что жена изо всей силы его поддерживала, бормотал какие-то слова, вскрикивал, а потом вдруг заливался слезами.

— Отец! — в отчаянии позвала его жена. — Отец, помоги ему!

Эмир Али поглядел в ее сторону, улыбнулся жалобно, виновато и бессильно и, подняв к потолку серый тонкий палец, пробормотал:

— Алла акбар.. Кысмет...

— Сейдамет! — крикнула женщина. — Ты у нас самый умный... Скажи ему что-нибудь. Он тебя слушает...

Оставив отца с братьями, Сейдамет подошел к ней. Некоторое время он вслушивался в бормотанье Сеид Ибрама, потом, положив ему руки на плечи, склонился над ним.

— Завтра конец нашим мукам... Слышишь, Сеид Ибрам? Завтра конец, — произнес он раздельно, с какой-то сумрачной лаской.

— Дай Байрахтару лошадь, дай корову, отдай все... — заговорил Сеид Ибрам, обратясь к жене.

Она всплеснула руками, закричала, повалилась на пол в рыданиях. Сейдамет наклонился над ней, погладил ее по плечу. Она чуть притихла. Он постоял еще немного, вдруг выпрямился, махнул рукой и направился к отцу.

В это мгновение отворилась дверь, — теснясь, испуганной кучкой, вошли родственники Эмир Усеина. Он кинулся к ним и вдруг остолбенел, вглядываясь в их лица, в Апаза. Только на похороны приходят люди с такими лицами! И Апаз был не тот. Апаз был серый, тощий, вялый. Эмир Усеин пересилил себя, со всеми поздоровался и протянул руки взять сына, но мальчик, уткнувшись матери в плечо, закричал испуганно, пронзительно. И точно оборвалось что-то в сердце Эмир Усеина.

Они сели в углу. Жена стала развязывать узелок, где у нее были гостинцы: жареная баранина, свежий сыр, яблоки, груши и даже один апельсин.

Что-то долго возилась, и Эмир Усеин видел, что у нее пальцы дрожат, а, когда кончила и подняла голову, лицо ее было мокрое. Есть Эмир Усенну прежде сильно хотелось, но сейчас пропала охота. Он взял апельсин и стал на него подмакивать мальчика. Апаз, наконец, решился пойти к отцу на руки.

Но Апаз был легкий и жидкий, было страшно его держать. Разговор не клеился. Он стал спрашивать жену про хозяйство, она отвечала отрывисто и при этом избегала глядеть на него. Понемногу все-таки Эмир Усеин пришел в себя, дрожь в теле унялась, и он даже попробовал вернуть себе бодрость, сказал, что из них он смелей всех держал себя с начальством, — конвойные рассказывали.

— Ничего не бойтесь, я им новых двадцать свидетелей назвал, — проговорил он, поглаживая по голове Апаза. — Этих допросят, я еще двадцать назову...

Он все пытался поймать своим взглядом жену, но она сидела, понурясь, носом шмурыгала. Тесть с тещей также отводили глаза. Тогда Эмир Усеин почувствовал, что силы снова уходят. Он стал глядеть на Апаза, запикивавшего в рот апельсин, и тут увидел, что у мальчика за ухом и на тонкой шее ползут медленно две громадные вши. Нестерпимая жалость к сыну проколола ему сердце. Он хотел попрекнуть жену, что так запустила мальчика, но вдруг догадался, что с него-то и наполнила эта гадость на Апаза, и вспомнил, что весь он во вшах уже больше года и давно привык к ним. А жена у него чистехя первая в деревне, все в доме у нее было всегда, как серебро, и сам он ходил чистый. Но сделали так, что сейчас он — вшивая собака... которую завтра повесят!

И жалость к Апазу вдруг повернулась на жалость к себе. Как будто весь страх, все муки, которые Сейдамет и другие терпели целый год, кинулись на его сердце в одно это мгновение, и Эмир Усеин, роняя Апаза и гостинцы, грузно повалился. Он крепко ударился головою о каменный пол, и от боли сознание тотчас к нему вернулось. Он за-

кричал, давясь рыданиями, задыхаясь, призывая на помощь:

— Я не виноват! Я не виноват!

Тогда и жена его завопила, и теща, и жена Сеид Ибрама... Камера сразу превратилась в сумасшедший дом, и смотритель Мудров с раздражением прекратил свидание. Эмир Усеин уж и не помнил, куда девались родные, и, когда ему в руки совали надкушенный апельсин, то у него было такое чувство, что всех их тоже повесили, повесили и Апаза, и вот после него остался апельсин.

★

Убивали трех татар за городом, на другой день. Вот как доносил защитник Волков в рапорте губернскому прокурору о том, как это происходило:

«2-го марта, суббота, в 8 часов утра преступники, государственные крестьяне Сейдамет Эмир Али оглу, Сеид Ибрам Сеид Амет оглу и Эмир Усеин Абдраман оглу, были выведены из секретных камер тюремного замка тихо и спокойно, а вне оного при стечении народа посажены на позорную телегу, упряженную тремя лошадьми, последовали под прикрытием отряда солдат 13-го Стрелкового батальона к месту казни, назначенной вблизи самого города.

В 8¼ часов преступники привезены на место казни, близ которого находился в строю в полном составе 13-й Стрелковый батальон, расположенный в Феодосии, господин таврический губернатор, полковник корпуса жандармов и множество народа, как жителей города Феодосии, так равно и близких деревень, за исключением татар. Сих последних вовсе не было, исключая обязательно призванных трех старшин волостей Феодосийского уезда и 12-ти человек местных жителей деревни Таракташ, отколь родом и преступники. Все же жители татары городские, закрыв в тот день свои лавки, резницы и другие заведения, находились в мечети.

По приказанию его превосходительства г. таврического губернатора, преступники поставлены были в середине каре, построенного из числа назначенных солдат, и прочтена им всенародно конфирмация, затем духовник магометанского исповедания напутствовал их молитвой, по окончании которой палач приступил надеть на них белые саваны, и как только успел одеть одного, другой из преступников, обратясь к народу, громким голосом сказал: «Христиане и мусульмане, будьте свидетелями, что меня напрасно повесят», другие же два совершенно ничего не говорили и только смотрели на народ и устроенные три виселицы.

В 9 часов 5 минут все трое были повешены к виселицам и в один момент повешены.

Признаки жизни сохранялись до семи минут, а потом не было заметно ни одного судорожного движения. Провисев полчаса времени, трупы сняты и брошены в могилы, порознь для каждого приготовленные там же на месте казни. Зрелище было поразительное.

Все осужденные при увещаниях муллы не сознались и не раскаялись».

★

3 марта губернатор по телеграфу кратко донес министру внутренних дел: «Вчера Феодосии совершена казнь вешаньем над тремя убийцами игумена Парфения».

Депеша эта не вызвала к себе в министерстве никакого внимания. Там было не до нее: как-раз в эти дни круто оборвалась сказочная карьера Петра Александровича Валуева в связи с открывшейся полной неурядицей продовольственного дела в ряде губерний, и со дня на день ждали его отставки, которая и последовала 9 марта.

★

В обширный океан российской государственности три тела казненных татар были брошены — и воды над ними сомкнулись навсегда. Но круги еще некоторое время расходились по глади океана. Порой они были крохотные, едва заметные. Так, канула в пучину жизнь зачатшего Апаза, еще кой-кого из родных погибших. Но были круги и более заметные. Из разных мест Крыма, особенно же из Феодосийского уезда, великое множество татар с их семьями устремились к берегам Анатолии, покидая виноградники, сады, поля, плантации, распродавая за гроши, а то и так бросая, хижины, землю, скот и домашний скраб, усевая путь наспех вырытыми могилами.

В самом Таракташе, с которого снята была экзекуция военного постоя, редко произносили имена казненных, — мир и тишина наступили поистине совершенные. И лишь посещавшие изредка Таракташ путешественники, даже много лет спустя, с недоумением отмечали, что в указанном селении татары держат себя странно, необычно. Что лица их ред-

ко оживляются улыбкой, что они не глядят в глаза, если же и взглянет кто исподлобья, то этот взгляд смущает путешественника, словно перед лицом его мелькнули клинки кинжалов.

ЭПИЛОГ

Весной 1880 года, в особой зале игорного дома в Монте-Карло, куда стремятся проникнуть все, потому что допускаются туда лишь избранные, происходило то, что случается крайне редко и что затем долго передается из уст в уста. Одному из игроков в рулетку сверхъестественно везло.

Высокого роста крепкий старик с карими жесткими глазами, одетый в широкий чесучевый костюм, небрежно положив тысячефранковый билет на только-что освободившуюся ставку, буркнул басом: «En plein» (на один). Как-раз в эту секунду крупье уже раскрыл рот, чтобы возгласить: «Rien ne va plus» (больше не ставить), и потому с неудовольствием поднял глаза на нового игрока, но, увидя внушительную фигуру, а на ставке крупную кредитку, мгновенно перестроил выражение на самое приветливое. «Rien ne va plus!» — шарик завертелся в гнезде, медленно замирая, вместе с замирающими сердцами играющих, и весь стол издал единый вздох. Крупье с почтением поглядел на высокого старика и быстро стал подгребать к нему полированными грабельками, подбитыми сукном, кредитки и золото, покрывавшие стол: старик забрал 35 тысяч франков — все ставки. «Messieurs, faites le jeu!» (ставьте, господа). Высокий старик положил на тот же номер два тысячефранковых билета и снова проговорил: «En plein».

Сразу на всевозможных языках, в том числе и на русском, раздались отовсюду предостерегающие возгласы: разве можно ставить подряд на тот же номер! Да еще «en plein»! Верный проигрыш!

Старик оглянулся и, сумрачно усмехнувшись, громко сказал по-русски:

— Наплевать.

Шарик завертелся, замер, — ах! — крупье со страхом взглянул на старика и стал сгребать к нему груды денег.

Весь зал загудел, как морской прибой. Отовсюду к столу спешили взглянуть на сказочного игрока, небрежно перегружавшего прямо в карманы кредитки и золото.

— Неужто опять на тот же номер рискнете? — подобострастно обратился к нему крошечный, похожий на куклу, древний старичок, задрал голову, точно он на колокольню взирал.

— А почему бы и нет? — сверху вниз кинул ему игрок.

— Судьбу искушаете... А знаете что? — примите меня в долю.

— К чему это? А впрочем — ладно, — добавил он, смеясь, — богатейте. Ставьте тысячу, я — три.

— Эх! — с отчаянной решимостью произнес старичок и дрожащими пальцами стал доставать из бумажника деньги. — Только извольте положить вашей рукою.

— На свою не надеетесь? — презрительно засмеялся высокий старик. — А вы богу помолитесь. Ну ладно, давайте.

Он положил на тот же номер четыре тысячи и опять отрубил: «En plein».

«Безумие!» — раздалось кругом. Но через минуту побагровевший крупье доставал из запаса деньги вдобавок к лежащим на столе, а ошарашенная публика с ужасом взирала на таинственного игрока. Маленький старичок, мокрый от волнения, запихивал в карманы деньги. Игрока обступили с просьбами и мольбами принять в долю, но старичок с азартом запротестовал, точно игрок составлял его собственность:

— Нет, нет, ни в коем случае! — кричал он и по-французски, и по-немецки, и по-русски. — Мы вдвоем, и больше никого!

— Не велит, — развел руками высокий, со смехом обращаясь к пристававшим. — Я бы с удовольствием.

— Messieurs, faites le jeu! — возгласил между тем крупье.

Счастливый игрок обернулся и внезапно переменял и номер, и ставку, снизив ее в семь раз: «Transversale à six» (на шесть) — проговорил он, отмахнувшись небрежно от своего партнера, с недоумением допытывавшегося, почему не

на «en plein». И опять завертелся шарик, и опять игрок взял пятикратный на этот раз выигрыш.

Далее все походило на фантастический сон. Игрок то псевторял номер и ставку, то вдруг менял одно либо другое, или и то, и другое. И всякий раз ошалевший крупье неизменно подгрел ему то или другое количество денег. Было похоже будто игрок всеми силами стремится увернуться от счастья, а оно упорно следует за ним.

Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не один пустой случай: после какого-то выигрыша, запихивая в карманы деньги, старичок обронил золотую монету, куда-то закатившуюся. Лакеи кинулись ее искать. Старичок упал на колени и, словно обезьянка, с руками, полными кредиток, стал елозить по полу в поисках монеты. Высокий старик поглядел под ноги, как тот копошится, — и вдруг, громко расхохотавшись, взмахнул руками и направился к выходу.

— Погодите, погодите, куда же вы? — возопил его партнер. — Ведь нам везет!..

— Не хочу больше, играйте сами.

— Нет, нет, подождите, я с вами... Relevez moi donc! (Подымите же меня!), — произнес он жалобно, не в силах подняться, и даже поднял ручки, как ребенок к няне.

Гарсоны подскочили и, под сдержанный смех всего зала, поставили старичка на ноги, после чего он поспешно засеменял вдогонку за высоким. Они шли с набухшими, тяжелыми карманами, провожаемые жадными глазами публики. Через пышный атриум выйдя на под'езд, они спустились вниз, — высокий шагал твердо и широко, не оглядываясь на спутника, который с лестницы сходил бочком, ставя на ступеньку сначала одну ногу, потом другую.

— Пить хочется, — сказал высокий, жадно раздувая ноздри.

Они зашли под тент кафе и, усевшись за столик, напились содовой воды. Маленький вытащил из карманов деньги, стал считать, сбился и махнул рукой.

— После сочтете, — иронически молвил высокий, — когда придете в себя.

— Да, да... Совершенно верно... Опомниться не могу... Однако я еще вас не поблагодарил...

— Полноте, я тут ни при чем, — махнул тот рукой.

— Нет, как же. — Он церемонно приподнялся и протянул ручку. — Позвольте кстати представиться: граф Коцебу, Павел Евстафьевич. А ваше имя осмелюсь спросить?

— Черепяхин, Евдоким Петрович, — с любопытством глядя на старичка, назвал он. — Но... позвольте однако: это вы были новороссийским генерал-губернатором?

— Точно так, а впоследствии и варшавским.

— А графом же когда вы сделали? — грубовато спросил Черепяхин.

— О-о, еще в семьдесят четвертом возведен. С своей стороны смею спросить: вы, Евдоким Петрович, помещик или на военной службе состоите?

— Пожалуй, что и помещик.

— А в каких местах, смею спросить, поместье ваше расположено?

— В Мичиганской губернии.

— Как-с?..

— В Америке.

— Ах, да-да... Так вот оно что. А я полагал, что мы земляки в некотором роде... Соотечественники...

— Был, да разземлячился, — со смехом промолвил Черепяхин.

— Так, стало быть, в Америке изволите проживать... Интересно. Каким же это ветром вас занесло эдакую даль?

— Каким ветром? — в раздумье повторил тот, глядя на расстилавшееся внизу море. — Да-да, ветром... Гнилым ветром, ваше сиятельство. Гнилым. — И замолчал.

В эту минуту перед террасой остановился молодой, высокий итальянец в расшитой позументом куртке и с ним девушка-арфистка, молоденькая и хрупкая, с белыми волосами, подобранными под шапочку, тоже расшитую золотом. Он раскланялся с публикой, отдохавшей на террасе, и, держа в руке широкополую шляпу, зашел приятным тенором под аккомпанемент арфы неаполитанскую песенку.

Черепяхин слушал с видимым удовольствием, притопывая в такт пению, но маленький граф приходил все в большее раздражение. Наконец, не выдержав, дернул собеседника за рукав:

— Уйдемте, Евдоким Петрович, ей-богу, не могу видеть эти рожи.

— Что вы! Премило поют. Я люблю этих итальяшек.

— Да какой он итальянец, помилуйте! Бьюсь об заклад — румын или того хуже — цыган. А она, взгляните: слава богу, если англичанка, а скорей всего — немка! Ну да, немка! Белая, румяная, глаза голубые... Это он, негодяй, шлялся где-нибудь там в Саксонии, глотку драг: «Bello Napoli, bello Napoli» (прекрасный Неаполь), — передразнил Коцебу, — она и разомлела... Я уверен, сбежала с ним...

— Да что вы горячитесь? Дочка, что ли, у вас с татариним сбежала?

— Как-с? Ошибаетесь, милостивый государь. У меня и дочерей-то вовсе нет... И вообще замечание ваше...

В это время певец окончил третью или четвертую песенку и стал обходить публику. Коцебу злым взглядом следовал за ним. Черепяхин, когда очередь дошла до него, сунул пальцы в жилетный карман и, не глядя, кинул певцу в шляпу какие-то монеты. Коцебу презрительно отмахнулся:

— Ступай, ступай... свинья. Все равно пропешь... Да, извольте: пьяница, нищий, бродяга, а бабы, я уверен, так и льнут. Черномаз! Женщин, знаете, хлебом не корми, а таких молодчиков подай. В Крыму, когда я генерал-губернатором был, ни одно лето не обходилось, чтоб петербургская барыня или московская купчиха с татариним не сбежала. Проверите, даже государь однажды спросил: что там у тебя за скандалы? Нельзя ли это прекратить? А как их прекратить? Да что толковать — то все-таки русские... Вы не обижайтесь, но, сами понимаете, европейская женщина — это не русская, уж ей бы не пристало за восточными человеками бегать. А между тем...

— И их разбирает? — захохотал Черепяхин, с каким-то ироническим любопытством глядя на Коцебу.

— Нет, до чего доходят! Тоже в Крыму случай был. Селение там есть, Судак. Прибрежное. Развалины романтические, скалы, башни... Я как-то посетил с царской семьей. Красивое место... Так вот семейство там французское проживало. Не высокого ранга, но так, знаете, приличное, вполне приличное. Мать-вдова, сын, дочь Мария. Я ее не видал, но передавали, что весьма собой недурна, даже элегантна, прилично воспитана. Так можете себе представить — снюхалась с татаринном! Притом не мурзак, — это дворян у них так называют, — а самый простой, пошлый татарин, приказчиком у помещика служил. Только что рожа, говорили, смазливая, — вот вроде этого Napoli... Ну, хорошо, пусть так, если плоть в тебе заговорила, только обставь же это прилично! Нет, на преступление ради него пошла! На всенародный скандал! До того, что позволила себя в тюрьму посадить!

— Расскажите-ка, расскажите, это интересно, — подвинулся к столику Черепяхин.

— Это целая история... В двух словах: девица эта пошла на заведомое лжесвидетельство, чтобы выгородить своего любовника. Он, видите ли, мало того, что татарин, но вдобавок разбойником оказался... Они, азиаты, все, впрочем, разбойники. Ну, этот особенно отличился. Там неподалеку от Судака монастырь есть... Не помню уж теперь, как называется. Татарское тоже название... Так татарин этот составил шайку, да и укокошил игумена. Тот верхом на лошади ехал лесом, а они его подкараулили и застрелили. А чтоб концы схоронить, тут же и сожгли его на костре. То да се — поймали негодяев. А у них родственники. Видят — дело плохо, стали свидетелей подкупать. Одного за другим. Ну, раз татарин убил, то свидетель-татарин значения почти не имеет. Тогда — можете себе представить? — французенка выступает свидетельницей, будто в самый час, как произошло убийство, татарин этот находился у них в доме...

— Как татарина звали? — перебил Черепяхин.

— Сейчас... Ну, как же?.. Нет, не вспомню. Знаете, эти татарские имена — Абдул, Надул, — кто их упомнит. У Стевена он работал, Антон Христиановича. Почтенный такой человек. Я с ним потом встречался... Но не в татарине дело, позвольте к этой девице вернуться. Доходит до суда. Допрашивают ее, и она перед судом повторяет свое лжесвидетельство. Сажают ее в острог. Так что вы думаете? Подымается гвалт, ко мне летят депеши: помилуйте, приличную девушку, французенку, посадили в тюрьму! Скрепя сердце, даю распоряжение: освободить девицу. Получается невозможное положение, соблазн...

— Ну, а с татаринном чем кончилось?

— Можете себе представить — девица подбила сердобольных дам просить у меня и за этого негодяя. Ну, уж туг я, разумеется, attendez-с (постойте), вздернул за милую душу вместе с другими из той же шайки.

— То-есть как? — приблизив лицо к Коцебу, спросил Черепяхин.

— Ну как? Очень просто, — сказал тот, быстро изобразив пальцами на своей шее. — Суд-то ведь был военный. Помещики тамошние обратились ко мне с просьбой, а я испросил у государя соизволения.

— Татарина звали Сейдамет? — тихо произнес Черепяхин, через стол тяжело глядя на Коцебу потемневшими глазами.

— Вот-вот-вот! — воскликнул он. — Так вы слышали про это дело? — И, не договорив, стал приподыматься вслед за собеседником. Черепяхин возвышался над столом, склонившись к старичку, сверля его горящими глазами. Он ударил себя кулаком в грудь — раз, потом другой раз:

— Я... Понимаешь?.. Я — убитый игумен, — тихо проговорил он.

Левая рука его шарила по столу, он стал тяжело дышать. Коцебу не только не отшатнулся от его бешеного взгляда, но, словно под гипнозом, в свою очередь тянулся к нему непонимающим взглядом. И вдруг улыбнулся сконфуженно:

— В самом деле?.. Оно, положим, слухи тогда ходили, будто вы...

Он не договорил: высокий старик, нашарив сложенный газетный лист, ос-

калившись, с остервенением шлепнул его прямо по лысому темени:

— Мерзкая гнида! — загремел он. — Самого бы тебя, лягушонка, задушить!

Раз, два, три, четыре... — яростно шлепал он его по лысине. А Коцебу даже не пытался отступить и лишь испуганно мигал глазами всякий раз, как газета касалась его головы.

Черепяхин опомнился, швырнул на пол газету и быстрыми, громадными шагами ринулся с террасы.

★

Тот год — 1880-й — был жаркий в Крыму, безводный, с июня месяца ни одной капли не упало с неба. Пост — ураза — начался в августе, дни стали короче, но жара не сбавляла, только ветры задули, — сухие, восточные, злые, — и стало еще хуже.

Старик Эмир Али все еще был жив. только ослеп совсем, но и слепые глаза непрерывно точили слезу. Сеид Мемет, софта, давно пропал в Сибири. Первое время было от него два письма. Писал — забнет и день, и ночь, даже огнем не может согреться. Потом перестал писать. Значит, кончился. С отцом теперь остался только один младший сын Эмир Сале с женой. Детей в доме не было, — в тот год, как началась война с Турцией, в Таракташе горловая болезнь почти всех детей передушила, ну, и внуков Эмира Али. Летом сын с женой жили на винограднике, там и ночевали в шалаше, — только на пятницу домой приходили, а в будни приходил из них кто-нибудь перед вечером проведать старика. А весь длинный-длинный летний день проводил Эмир Али один. Сидел под навесом на войлоке, бормотал сам с собой, снимал слезу, почесывал курчавые седые волосы на черной груди. А мыслей в голове давно уже не было никаких, — так носились обрывки, как пыль от ветра.

Случалось, заглянет кто из соседей на минутку. Изредка навещала барыня, — сын говорил: из Судака, — привозила белого хлеба, сахару. С нею приезжали детишки, мальчик и девочка. Детишки убегали во двор поиграть, а барыня оставалась посидеть. С сыном говорила по-русски, а с ним, со стариком, по-татарски. Умела немножко.

Вот и тогда, ураза еще не кончилась, приехала барыня из Судака.

Спросила барыня про здоровье, немножко поговорили. Потом молчали. Долго молчали. Эмир Али снимал тряпочкой водицу с красных, невидящих глаз. А ветер все стонал, жаловался, пугал, — сердце от него давило. Верно, и у барыни сердце заболело, — стала плакать. Потихоньку, но слышно, что плачет.

— Ты не забыл Сейдамета? — спросила барыня.

Старик не знал, что ей сказать. — Сейдамет умный. Красивый. Сеид Мемет, тот ученый, — ответил он. — О-о, софта...

Тут ветер завыл-завыл, с тоской, жалобно стал петь про Сейдамета.

— Слышишь? — спросил Эмир Али. Но барыня сказала, что не слышит ничего, и тогда старик, раскачиваясь, заскулил дребезжащим голосом, подпевая ветру, чтоб и она поняла:

Сейдамет мое имя.

Придешь в деревню — друзьям кланяйся!
Вот предо мной столб виселицы.
А сердце Сейдамета на куски разорвалось!
Не ходил я по дорогам Таракташа,
Того пола, прости аллах, не видел...
В пятницу меня похоронили,
И смыли с виселицы мою черную кровь!
Мой друг, мой старший брат, не осуди!
Сжальтесь, Сейдамет кончился на виселице!

Он бы еще и еще пел вслед за ветром, но силы кончились, да и барыня заплакала громче.

И барыня встала, сказала: «Прощай. Эмир-Али», и уехала.

Гейне

А. ОЙСЛЕНДЕР

★

Я жил еще, когда родимый город
Покинул, как изгнанник, навсегда.
Еще я помню пашни и озера.
Тебя я помню, рейнская вода!
Теперь я мертв и книги сожжены
На площади, в глухую ночь позора, —
Я дважды изгнан из родной страны!

Я превратился в прах — и кулаками
Я не могу грозить издалека.
Нет нужных сил поднять с дороги камень,
Чтобы швырнуть... и даже нет плевка,
Чтоб запятнать навеки эту гнусь...
Но все-таки, хотя я жду годами, —
Я все-таки в Германию вернусь!

Как гром обвала, голос мой домчится
В Германию, где давит духота,
В Германию, чьи острые ключицы
Прикрыла ветошь жалкая — и та
Вот-вот совсем развалится, друзья!
Зато, присев на корточки, с границы
Зевают жерла, Франции грозя!

На листья, на порог, на сруб колодца
Ложится тень прямая от штыка.
Земля — и та боится уколиться! —
И корчится в тенетах паука...
О, если б мог вернуться я назад, —
Я стал бы рядом с Тельманом бороться
На проволочных гребнях баррикад!

И тот, кто жив, — тот не стихийной силе
Даст выход, а решимости крутой.
Чем я могу помочь, истлев в могиле,
Сраженью света с душной темнотой?
Уже не за горами ясный день,
Когда найдет покой в отчизне милой
Моя всю жизнь метавшая тень!

Январь. Июль. Опять январь. Быстрее!
Чем я могу помочь в борьбе? Постой —
Пусть подлеца казнит, а друга греет
Горящей книги пламень золотой!

★

Сигналы бедствий

ПОВЕСТЬ

Кл. КЛССС

★

1

Радистка заснула... Ей снились ко-
рабли, при полном солнце они вхо-
дили в гавань. Чуть шевелилось цвет-
ное поле волн, чуть вздрагивали на мач-
тах знойные флаги. Впереди стоял па-
роход «Юность», его забрасывали цве-
тами, цветы падали за борт и расплы-
вались по воде. На верхней палубе
стоял Борис и махал ей рукой. Ира по-
бежала к нему навстречу. «Борис, Бо-
рис, — закричала она, — а мы думали,
что вы утонули». Они были совсем
близко друг от друга, он протянул ей
руки, она рванулась к нему, но вдруг
толпа загородила ей путь. И вдруг все
потемнело, море вздулось, горы из си-
него стекла уперлись в небо, ветер кач-
нул их, они упали и разбились, и шум
был такой, что радистка проснулась...

Волны прыгали через мол и разбива-
лись о чугунную решетку сада. Мокрые
деревья стряхивали воду прямо на по-
доконник, капли падали на журнал. Ра-
дистка сняла наушники, встала и подо-
шла к окну. Темнота была такая плот-
ная, что не видно было огней города,
только в порту горели сигналы да на
бакенах вспыхивали мигалки. Какой
страшный шторм! Радистка закрыла
окно и торопливо подошла к аппарату.
Какой страшный шторм! Она надела
наушники и включила приемник. Вторые
сутки она сидела у аппарата и в бес-
покойном эфире ловила сигналы бед-
ствий. Шторм не пропускал катера на
радиостанцию, и радистка сказала, что

будет дежурить, пока шторм не кончит-
ся. И вдруг задремала, нет, не задрема-
ла, а уснула. Стыд какой... Но она ви-
дела Бориса, он не утонул. Это был
только сон, он утонул. А может быть,
то был не сон, может быть, передавали
по радио, и утомленный мозг воспринял
это, как сон? Нет, этого не передавали
по радио. Она поправила наушники и
сквозь шум уловила знакомый сигнал;
он мелькнул искрой и утонул в бушую-
щих волнах эфира. Радистка взволно-
ванно поворачивала ручку приемника, но
вместо сигнала в уши ей врезалась на-
зойливая песенка:

Приходи ко мне, моя малютка,
Когда звезды в небе спят.
Если даже нас они увидят,
То простят...

Радистка повернула регулятор. В
ушах застрял свист оборванных волн.
И вдруг ясно вспыхнуло: «Sos!..». Ра-
дистка вздрогнула, включила передат-
чик и застучала ключом. «Слышу! Слы-
шу! Дайте ваши точные координаты...».

В течение томительных секунд не
было никакого ответа. Радистка закры-
вала глаза от страха. Может быть, ко-
рабль уже тонет, может быть, море уже
пошло на палубы и сорвало радиорубку.
А может быть, они думают, что мир их
не слышит, и готовятся броситься в вол-
ны. «Я слышу вас» — хотелось крик-
нуть ей в эфир. «Мы слышим вас, идем
на помощь. Держитесь. Повторите ко-
ординаты... Повторите...» — кричала
она в эфир и не замечала, как на поли-

рованном пульте рассыпались белые слезы. «Неужели опоздала? — думала она. — Неужели корабль утонул? Утонул?.. Как страшно. Так, должно быть, и корабль Бориса взывал в мир о помощи, и никто не услышал, никто не откликнулся ему».

Радистка настойчиво твердила: «Слушаю, слушаю... Принимаю сигнал, повторите...».

И вдруг, ударом гонга перервав шумные волны, вырвался долгожданный сигнал:

«Sos. Судно «Жюлье Мар» охвачено пламенем...».

Корабль в огне... Это было страшнее всего, что она представляла. Она схватила телефонную трубку и вызвала спасательную станцию. Хриплым, прерывающимся от волнения голосом она сообщила местонахождение гибнущего корабля. Еще не успели потухнуть звуки ее голоса в мембране, как раздался ответ: «Вышло судно с ближайшего квадрата».

Радистка бросила трубку и снова склонилась над передатчиком. И стучала, стучала, стучала... «Продержитесь немного, вышли, идем на помощь».

Она смотрела на часы, и ей казалось, что время замерло.

Она представила, как, разрывая мглу, несется по верхушкам волн спасательное судно. Успеет ли?

Радистка взглянула в окно. Темноту с трудом рассекали огни маяка. Ах, в эти черные ночи, в эти дикие штормы она так за всех болела душой, что хотела бы сердце свое зажечь, и пусть бы оно светило и сердечной силой притягивало бы все корабли в свои гавани.

И вдруг, как бы в ответ на ее волнение, издали, усиливаясь по мере движения регулятора, спасательная станция сообщала: люди с горевшего корабля подобраны учебной шхуной.

Радистка облегченно вздохнула и включила приемник. В эфире опять старалась перекрыть все шумы все та же назойливая песенка.

Радистка поворачивала ручки приемника и вслушивалась в эфир. Ей все казалось — не сегодня, так завтра она

услышит о Борисе. Ведь говорили, что команда с потонувшего парохода «Юность» спасена. Но где же они? Вот уж сколько месяцев прошло... И разве можно верить тому, что за границей говорят, там люди так изолгались. Если не утонули, они были бы дома... И вдруг она услышала разговор кораблей в Северном море. Какой-то морской труженик, угольщик из Тронсэ, сообщал миру, что он идет со скоростью семи узлов в час навстречу пароходу «Адмирал Свенсон». До места встречи осталось двести семьдесят миль.

— Двести семьдесят миль! — вскрикнула Ира и рассмеялась. — Ничего, голубчик, наберись терпения, придешь на свидание в будущем году.

Путешествуя по эфиру, она услышала знакомые сигналы «УПЛ». Она сейчас же связалась со станцией «Северный полюс» и спросила их, не нужна ли им ее помощь. Станция ответила, что у них все в порядке. Она сказала: «Очень рада за вас». И опять окунулась в волны эфира, — навстречу тем, кто нуждался в ее помощи.

Из Норвегии станция Вадзе сообщала, что три китоловных судна, захваченные штормом у берегов Гренландии, благополучно избежали опасностей. Радистка улыбнулась: «Очень рада, очень рада за них...».

Испанская станция Барселона на волне 377,4 метра сообщала о гибели английского судна, взорванного подводной лодкой неизвестной национальности.

Радистка слушала сообщения и хмурилась брови. «Так, — думала она, — так, это надо запомнить, все это надо хорошенько запомнить и не забывать никогда и ни на минуту». Она записала: «Подводная лодка, неизвестной национальности... Должно быть, веселый командир подводной лодки, выпустив торпеду, смотрел на часы: во сколько минут закончится вся операция. Он насчитал минут семнадцать. Наверно, не больше, они ведь такие ловкачи по этой части. Они не задумываются, сколько надо времени, труда, чтобы построить корабль, их интересует только, во сколько минут можно его уничтожить».

«Вж-и-и!»—взвизгнула, оборвавшись, длинная волна.

Радистка взволнованно путешествовала по эфиру.

Ирландская станция Атлона на волне 531,0 метра оповещала мир о новых столкновениях свободных ирландцев с английской полицией. Шведская станция Эстерзунд сообщала о локауте лесопромышленников, объявленном в ответ на стачки рабочих на лесных разработках. Радио из Мадрида голосом Долорес Ибаррури извещало мир о новой победе республиканцев. Но ее перебивала и всех заглушала назойливая песенка:

Приходи ко мне, моя малютка,
Когда папа с мамой спят.
Если даже нас они увидят,
То простят...

Эту песенку пускали в эфир, чтобы заглушить все неполадки земли. На земле бури, убийства, забастовки, война. Тысячи бедствий. А в эфире должны быть радость и веселье.

Приходи ко мне, моя малютка... —

надрывался до хрипоты с английской станции беспечный джаз Хилтона.

Радистка настойчиво перебирала волны, стараясь в веселом шуме выловить сигналы бедствий.

Московская станция имени Коминтерна передавала для Америки концерт Шостаковича, и рядом с ней оглушительным металлом гудела финляндская Лахти. Станция Сталинабад сообщала об окончании выборов в Верховный Совет Союза республик, станция Будапешт-2 старалась заглушить ее тягучей мессой.

В глубинах эфира тонули трепетные сигналы бедствий.

Радистка перебирала ручки всеволнового приемника. Она не могла пропустить ни одного сигнала, ей хотелось подать помощь всем, всем, кто просил о ней. Хотя она очень хорошо знала, как часто вместо благодарности приходилось принимать огорчения. Она знала, что десятки судов, спасенные советскими моряками, не стыдились лгать, — когда извещали своих хозяев, они сообщали о спасении, не называя страны, выручившей их из бедствия. Тонкой

ложью окутывали они сообщения о Советском Союзе. Радистка очень хорошо помнила, как застрявшему на камнях советскому танкеру предложили помощь за золото, и, когда капитан не мог дать столько, сколько просили, то его покинули на произвол судьбы. Она знает мужество советских моряков. С какой отвагой они старались вырваться из лап беды. И как навстречу им, чуть слыша сигналы о бедствии, двинулись все близ проходившие советские корабли. Они меняли путь, ломали графики и расписания, чтобы выручить из беды своих сограждан и друзей. И она помнит, боясь вспомнить об этом, как погиб в Средиземном море пароход «Юность», взорванный пиратской торпедой.

2

Учебная шхуна тихо покачивалась на рейде. На белых мачтах распухали паруса, воздушный корабль готовился к полету. Шхуна отправлялась в учебный поход под парусами.

Только успело очиститься от тумана светлое солнце, как залилась дудка вахтенного курсанта:

— Все наверх! С якоря сниматься!

Загромыхал ручной шпиль на носу. По мачтам поползли косые паруса. Подняли кливер, убрали якоря и двинулись с рейда, подгоняемые попутным островным ветром.

На большом рейде прибавили паруса, срезали¹ корму огромному «Комсомолю», показали свои позывные легендарной крепости «Авроре» и легли на прямой курс. Тугие паруса отлично стояли под напором большого ветра. Шхуна бежала по 19 узлов в час. И небо, и море были выкрашены синькой. Быстролетная шхуна, казалось, собрала с неба все облака и нанизала их на свои мачты.

Все курсанты стояли на палубе и прищуренным глазом измеряли даль. Гордо откинув головы, они втягивали в легкие крепкий настой морского воздуха.

И вдруг раздалось:

¹ Прошли очень близко.

— Человек за бортом!

Шхуна легла на дрейф. Сбросили буюк, и за ним по штурмтрапу гребцы спустились в шлюпку, отдали конец и пошли спасать резинового ут- пленника.

Задание было выполнено на «отлично». Через пять минут шхуна снялась с дрейфа и продолжала путь. И было спокойное небо, и была спокойная, гладенькая вода, как вдруг шхуна на резком повороте сделала сильный крен, и штурман Румянцева, взмахнув руками, полетела в море.

Она так испугалась, что разучилась плавать. Несколько минут она бессмысленно месила руками воду, стараясь удержаться от глубокого падения, но скоро она почувствовала, что падение кончилось, тугие струи стали выталкивать ее вверх. Не открывая глаз, она ощущала приближение света. Лицо обдала холодная струя ветра, она открыла глаза и увидела в голубом небе груды белоснежных парусов. Потом что-то шлепнулось перед ней, она покачала головой, отгоняя испуг, и вдруг почувствовала, что ее пальцы задели за спасательный круг. И тут она поняла все. Поняла, что за ней следят, что надо точно и умело, по всем правилам, спасти себя.

Мокрая, как лягушка, она стояла на палубе, и вся команда, пряча улыбки, смотрела на нее. Ей было так стыдно, что она торопливо спряталась в свою каюту.

Ночью шхуна скользила бесшумно. В безветренной тишине слышались только шаги вахтенного курсанта. Штурман Румянцева ходила по своей каюте. Она никак не могла заснуть. Она закрывала глаза, но покоя не было, голова ее гудела, как раковина. Она взяла роман Джека Лондона «Морской волк», закуталась в одеяло и стала читать.

Она не слышала, как в два часа ночи из кормовой каюты вышел командир шхуны. Тревожным шагом он обошел корабль и вернулся на ют. На кронштейне висел судовой колокол. Вдруг тишину разорвали удары колокола. Водяная тревога. С последним ударом рынды корабль ожил. В кубриках за-

жегся свет. Курсанты, наскоро одевшись, заняли свои места.

«Уж не наскочил ли корабль на скалу?» — подумала штурман Румянцева, прыгнула с койки и прямо в одеяле выбежала на палубу.

— Пробоина с правого борта! — крикнул помощник командира. И сейчас же вся команда бросилась на правый борт ставить пластырь на пробоину. Стали раскатывать огромный квадрат парусины. И тут только штурман Румянцева заметила, что держит книгу в руках. Она отбросила ее и побежала к боцману. Но тот вдруг вытянулся перед ней, окинул ее холодным взглядом, и штурман Румянцева увидела, что выбежала на аврал в одеяле.

И когда пластырь был заведен и внутренний ремонт окончен, штурман Румянцева вбежала в каюту и, обняв голову руками, опустилась на койку.

«Еще один проступок, и меня спишут на берег. Это ясно, как дважды два... Куда к чорту годится такой штурман? Это командир у нас золотой, другой бы давно списал. Я провалилась. Мне не выдадут диплома, и мне останется только выйти замуж за Сашу Королькова...». Она долго ругала себя, долго сидела в горестном раздумьи и все твердила себе: «Девчонка, девчонка, плакса».

Шхуна плавала два дня в покое, на третьи сутки море стало темнеть, ветер покатила по воде тяжелые валы. Шхуна вошла в шторм.

Штурман Румянцева стояла на вахте. Вдруг она согнулась, закрыла ладонями рот и побежала к борту. Потом она, хватаясь за мачты, проковыляла по палубе. Шхуна дала кормовой крен, и штурман, сорвавшись, загремел по лестнице в кубрик.

Кто-то поднял ее и понес. Она закрыла лицо ладонями... Ей казалось, что ее поднял капитан. Она увидела сквозь пальцы его седую голову. Ей захотелось немедленно умереть. Ее внесли в каюту и положили, она боялась открыть глаза. Капитан озабоченно спрашивал ее:

— Что с вами? Что с вами? Заболело? И только! Э, пустяки, от этого

не умирают, с этого начинают. Не сло-мали руку, ногу? Все в порядке? Очень рад. Ничего, это на пользу. Это зака-ляет.

Плавание шло на «отлично». Шхуна гордо раздувала паруса, и шторм ей был ничем. Темнота была такая, что не видно было, где кончается море и где начинается небо; вдруг на линии гори-зонта темноту разорвало огненное пят-но, и сейчас же радист доложил коман-диру, что принял сигнал.

Решение командира было молниенос-но. Он ручался за свою команду. Шхуна распахнула паруса и полетела на по-мощь гибнущему судну.

Пожар приближался, на шхуне по-светлело, и паруса стали алыми. В гу-стом зареве обрисовался контур тонуще-го корабля. Он стоял, вздернув вверх корму, из бака с горючим бил черный дым. Огонь растекался по палубе све-жей краской, разбрызгивался и капал в черную воду. Вокруг огненной чаши бурлили волны.

Шхуна с алыми парусами остано-вилась на большой дистанции, она боя-лась подпалить свои легкие крылья. Команда на шлюпках спустилась в мо-ре. Волны словно отяжелели, они еле ворочались. Штурман Румянцева боялась (чего скрывать) — вдруг вол-ны опрокинут шлюпку. Но, когда они ударили веслами по воде, волны при-смирели, шлюпки храбро прыгали с гребня на гребень. Румянцева смотрела вперед, щуря глаза и прикрывая их ла-донью. От горящего корабля отделились шлюпки, они прорвали огненную черту на воде и двигались вперед, черпая бор-тами воду. Шлюпки со шхуны полетели им навстречу. Курсанты хорошо знали только английский язык, правда, кое-как они знали и немецкий, и француз-ский, но не решались говорить. Моряки с горящего судна в круглых шапочках с красными помпонами взволнованно рас-сказывали...

Капитан переводил:

— Мы не знаем, отчего пожар. Мы знаем, что пароход можно купить но-вый, что надо спасать себя, но капитан говорит — это большой убыток для хозяина, надо спасать судно...

Штурман Румянцева вспомнила толь-ко четыре французских слова, она гля-дела в лицо взволнованному моряку, кивала головой и твердила:

— C'est vrai, camarade, si, c'est bien ¹.

— ...Мы сказали, что жизнь команды дороже судна, — переводил капитан, — но он нас не слушал. Он угрожал нам револьверами, тогда мы обезоружили его, взяли шлюпки и покинули судно.

— C'est vrai, camarade, si, c'est bien ¹.

Уже перевязывали ожоги, готовили ужин, шхуна поднимала якоря, вдруг, рассекая темноту прожекторами, подо-шло спасательное судно. Капитан крик-нул в мегафон, чтобы вся команда с горящего судна перешла к ним на борт. Шлюпки спустились. Курсанты по-жали руки французским морякам, по-махали им вслед, и шхуна продолжала свой учебный рейс.

3

Кофейник бил, как вулкан. Черная лава затопила сахарницу, масло и по-двигалась уже к булочкам. А Федор Сергеевич все стоял у кровати дочери и уговаривал ее позавтракать. Ирина не просыпалась.

— Ну, подожду еще пять минут, — сказал Федор Сергеевич и, подойдя к окну, стал дочитывать «Правду».

И вдруг в тишину ворвалось:

— Алло! Алло...

Федор Сергеевич удивленно взглянул на приемник. Он выключил его еще вче-ра вечером, он даже отнес в другую комнату будильник, чтобы ничто не по-мешало дочери отдохнуть. И вдруг этот шум? Он поднял очки и прислушался.

— Алло! Алло! Ира! Ира...

Федор Сергеевич поднял брови и по-качал головой.

— Говорит Борис. Говорит Борис. Здравствуйте, здравствуйте. Как жи-вете?

Федор Сергеевич нахмурился, схватил газету и торопливо, на носках пошел в другую комнату.

Под куполом клетки, пестрый, словно комок индийского шелка, сидел попугай. Склонив голову на бочок, он прислуши-

¹ Правильно, товарищ, так, хорошо.

вался к своему голосу с полным самодовольством. Он закрывал глаза, кивал хохолком и словно ждал награды за свое искусство.

Федор Сергеевич подкрался и накрыл его газетой.

Попугай, удивленный, несколько минут молчал. Затем зашуршал газетой, прорвал клювом бумагу, высунул голову и закричал:

— Алло. Алло, Ира, Ира. Говорит Борис, говорит Борис.

— Боря! — раздалось из другой комнаты.

Федор Сергеевич испуганно повернулся и пошел в комнату дочери.

— Ты, наконец, проснулась, — сказал он, робко улыбаясь.

Ирина поднялась с подушки и удивленно оглянулась:

— Ах, это ты? А мне послышалось... — Она потерла ладонями лоб. — Снилось мне? Или это ты сейчас меня звал?

Федор Сергеевич, нерешительно улыбаясь, сказал:

— Целый час тебя зову, не могу дозваться. Кофе давно готово.

Ирина закрыла руками лицо, стараясь сосредоточиться.

— Я сейчас, сейчас, — произнесла она, медленно откинувшись на подушку и опять погрузилась в сон.

Федор Сергеевич присел на стул, склонив в раздумьи голову. И вдруг он увидел на коврике пуговочку. Он поднял ее, надел очки, отыскал иголку и стал пришивать пуговочку к туфлю. Потом он оглядел подошвы, покачал головой и подумал: «Какое сегодня число? Двенадцатое! Дотянет ли до полочки? А двадцатого вечером, как только получу зарплату, надо немедленно купить новые, а эти отдать в починку». Он долго держал туфли в руках, думая о том, о другом, потом достал щетку. В это время у дверей позвонили. «Кого еще там несет» — подумал он, тихонечко шагая к двери. Открыл и попятился: вошел его старый дружище — Андрей Миронович Рубинов.

— Вот это хорошо! — обрадовался Федор Сергеевич. — Хорошо, что забрел, а я тут в одиночестве кофе пью.

— Пьешь кофе, — засмеялся Андрей Миронович. — Вижу, вижу, пьешь кофе и закусываешь гуталином. Ирина Федоровна дома?

Он тяжело опустился на стул и не знал, как пошутить и что еще сказать.

Федор Сергеевич торопливо отошел к столу.

— Мать родная! Кофе-то все убежало. — И он схватил тряпочку и стал тщательно вытирать стол.

Андрей Миронович курил, закрыв глаза.

— Ирочка не рассказывала, ничего не слышать? — спросил он, стараясь казаться спокойным.

— Какое! Не могла рта раскрыть, — сказал Федор Сергеевич. — Двое суток — это не шутка. Пришла, в лице ни кровинки. Я уж не стал ни о чем расспрашивать.

Андрей Миронович сел к окну, подперев большим пальцем подбородок, прищурясь, глядел вдаль.

— Ну, пусть отдохнет. Я не тороплюсь.

И наступила тишина. Оба слушали, как шуршал бумагой попугай.

— Двое суток? — задумчиво переспросил Андрей Миронович. — Я так и знал: смотрю, море бушует, ну, думаю, теперь Ирину Федоровну от эфира не оторвешь.

— Да.

— Да.

Теперь надо было говорить только о главном, но об этом оба боялись начинать. Оба думали о Борисе, оба молчали. Потом молчать стало неудобно, и Федор Сергеевич сказал:

— Да. — И посмотрел в окно. — Вот и последний шторм кончился... Скоро весна. Только нынче уж рыбку в Сестрорецке не поудишь.

— Что так? — спросил Андрей Миронович.

— Постановили спустить корабли на воду первого августа. Придется отказаться от отпуска. Как постановило общее собрание, так и сделаем. На место одного потонувшего судна построим три.

Андрей Миронович ничего не сказал. Он думал не о судах. Он думал о сы-

не. Судов можно построить бесчисленное множество, а сына-то, сына-то чем заменить? И такого сына. Он не мог допустить, чтобы такой сын, такой бесценный человек — и пропал. Сгинул в море. Нет, не может быть этого на свете. Тогда бы солнце закатилось, а то вот оно выходит, светит. Значит, Борис существует. Где? Где-нибудь. Должен он был спастись, даже обязан. Советские моряки в море не тонут. Андрей Миرونвич очень твердо в это верил. Каждый свободный день он шел к Ирине, не слыхала ли она чего? Ей-то известны все новости мира. Он приходил, всегда, как сегодня, садился у окна и терпеливо ждал, когда Ирина проснется.

Оба сидели и думали. Вдруг с грохотом в комнату ворвался моряк. Взяв, должно быть, с разгона сразу все пять этажей, он долго не мог отдышаться.

— Новость слыхали? — сказал он, откашлявшись.

— Какую? — спросил Федор Сергеевич, глядя на моряка и вспоминая про себя, где он его видел. Сережка это или Митя, товарищ Лены по училищу?

— Говорят, сегодня ночью моряков спасли?

— Ну и что же? — сказал Федор Сергеевич, усмехнувшись.

Моряк не знал, что добавить, он замаялся, потом нерешительно спросил:

— А не слышно ли чего об наших?

— А каких моряков спасли? — спросил Андрей Миرونвич.

Федор Сергеевич махнул рукой.

— Да слушай ты их. Брехня одна. — Он сердито посмотрел на моряка. — Каких моряков? Кто тебе сказал?

— Мне сказал Васька, сигнальщик с подводной лодки, а ему говорил один радист с береговой, а тому говорил знакомый летчик, а ему говорил радист с канонерки.

Федор Сергеевич отвернулся и сердито отошел к окну.

— Ну, так и есть, брехня. Все они мастера стрелять холостыми. Я еще не видал парня с подводной лодки, который бы не врал. У них один сигнальщик может перевернуть целую команду дальнего плавания.

— Васька-сигнальщик, вы разве его знаете? — удивился моряк, нерешительно подвигаясь вслед за Федором Сергеевичем.

— А ты спроси, кого я не знаю? Васька-сигнальщик? Это такой рябой?

— Что вы, что вы! Васька первый парень в хороводе, а вы — рябой, тоже сказали. Он белый, румяный.

— Ах, белый, румяный! Ну, так бы и сказал. Знаю. Знаю. Врун.

Моряк прислонился к косяку и стоял, шевеля плечами, не зная, что делать дальше.

— Это, конечно, верно, — сказал он, немного подумав. — Залить он любит... Я потому и зашел: хотел у Ирины Федоровны все проверить.

— Ну, из-за вас я ее будить не буду, — сказал Федор Сергеевич и взглянул очень неприветливо.

Моряк торопливо перебил его:

— Нет, пожалуйста, не будите, только позвольте мне вечером забежать.

— Заходи, — сказал Федор Сергеевич и улыбнулся. — Погоди! — крикнул он вдогонку: — Я так и не понял — Сережа ты или Митя?

Моряк улыбнулся, остановился в замешательстве, ласково разглаживая ленточку на фуражке.

— Я — Митя, брат Веры, подруги Ирины Федоровны. Я был вашим соседом в Сестроречке, — помните, еще вас катал на катере. У меня был самодельный катер с подвесными моторами, «Архимед».

Федор Сергеевич развел руками:

— Ну, так и есть, Митя! Я же гляжу на вас и думаю: Митя вы или не Митя. Отец ваш капитаном на аварийном? Как же не знать-то? Всех вас знаю. Ну, заходи, заходи вечером.

Повеселевший моряк долго раскланивался, пятясь к выходу, и, наконец, исчез. Не успели утихнуть его шаги, не успели оба рот раскрыть, чтобы поделиться впечатлением, как дверь распахнулась и вошел другой моряк.

— Ирочка дома? — спросил он, оглядывая комнату.

— Дома, — сказал Федор Сергеевич, поднимаясь навстречу.

Моряк оглянулся и вдруг вспомнил,

что надо снять фуражку. На лоб посыпались золотые кудряшки.

Федор Сергеевич взглянул на него и рассмеялся вслух.

— Можно ее видеть? — сказал моряк, делая вид, что не замечает никакого смеха.

— Нельзя. Спит.

Моряк нерешительно взглянул в лицо Федора Сергеевича. Его озадачил смех, про себя он подумал: «Какого чорта он усмежается?».

— С кем имею честь? — спросил Федор Сергеевич, не переставая улыбаться.

— Василий Дымок.

— Ах, это вы — сигнальщик с подводной лодки? Очень приятно. Садитесь. Это вы говорили, что сегодня ночью каких-то моряков спасли?

Моряк шагнул вперед и покачал головой.

— Нет, я этого не знаю, я сам слышал от радиста с береговой. Хотя он мой лучший товарищ, но, извините, любитель накручивать, потому я и пришел к Ирочке проверить. Не дежурила ли она эту ночь?

Федор Сергеевич взглянул в озабоченное лицо Андрея Мироновича, потом шуточно подмигнул ему и взглядом спросил: «Понимаешь ли что-нибудь?». Тот улыбнулся.

— Пройдите вперед, сядьте! — сказал Федор Сергеевич. — Скажите по совести — правда ли это?

Моряк оперся руками о стенку и стоял, раскачиваясь на носках.

— Не могу сказать, правда или нет. Продаю, по чем купил.—Он надел фуражку и направился к двери. Но вдруг Федор Сергеевич взял его за плечо и повел вперед. Моряк сделал шаг, другой, вдруг увидел Андрея Мироновича и покраснел, как пойманный вор.

— А-а, — сказал Андрей Миронович и нахмурил брови. Моряк ничего не сказал.

— Знакомы? — удивился Федор Сергеевич.

— Тысячу лет, — ответил Андрей Миронович и отвернулся.

Федор Сергеевич подвел моряка к окну и внимательно взглянул в лицо.

— А я-то думал, какой это Васыка Дымок, а он вот какой. Действительно, в первый раз вижу. Всю память перерыл и не мог вспомнить тебя, Тебя. Но... — Федор Сергеевич поднял указательный палец и затаенным голосом добавил: — Но папашу твоего я очень хорошо знаю. Дай бог памяти, знаю и мамашу. Ты родился в Ревеле? Да? Вот видишь! Я знал о тебе еще, когда ты и не родился. Мы с твоим папашей в то время в тюрьме сидели, после одного маленького бунта, а твоя мамаша носила нам передачу. А потом, когда мы выкарабкались из ящика, твоя мамаша штопала нам бушлаты. Как его, Остап Григорыч, кажется, так твоего папашу звали?

Удивленный моряк еле успевал кивать головой.

— Смотри, как время-то летит! — продолжал Федор Сергеевич. — Теперь ты уже сигнальщик, а тогда только тебя на свет ждали.

Федор Сергеевич мог бы припомнить и больше; он мог бы рассказать, — это никогда не потухало в памяти, — как он в восемнадцатом году с Остапом Дымком взрывал в Ревеле береговые батареи, как потом все корабли из Ревеля двинулись вслед за ледоколами в Гельсингфорс, а потом по льду двинулись в Кронштадт. Это был незабываемый ледовый поход. Финский залив был закупорен льдом, через него надо было провести домой линейные корабли, крейсера, миноносцы, подводные лодки. Лед блестел, как сталь. Лыдины были такие острые, что без большого нажима могли бы разрезать слабые корпуса судов. Но хуже льдов были финские «хозяева»; уж как только они ни ухищрялись, пытаются задержать наш флот до прихода немцев, чтобы с их помощью захватить суда! Они рассыпали золото, стараясь подкупить моряков, запугивали неизбежной гибелью во льдах и даже прямо пытались захватить ледоколы. Но ни мороз, ни золото не задержали моряков. Они привели свои корабли к своим берегам. Привели и поставили их, чтоб немцы не лезли, оградили их минами и объявили всему миру: дорога на Петроград закрыта. И вот теперь эти

корабли, прошедшие по льду, прошедшие под огнем интервентов, ходили вокруг всей земли.

— Если позволите, — сказал моряк, — я зайду вечером, когда Ирочка проснется.

— Заходи, заходи! — сказал Федор Сергеевич, провожая его до двери. Но не успел он вернуться, как в комнату бесшумно влетел маленький человек, черненький, как жук.

— Товарищ Румянцева дома?

— Дома.

— Можно ее увидеть?

— Нет, нельзя. Она спит.

— Спит, — прошептал жучок в форме связиста и попятился назад; в дверях он вдруг остановился и сказал: — А нельзя ли ее разбудить, у меня очень важное дело.

Федор Сергеевич не мог оправиться от удивления. Откуда такой прибор? Кто их выстреливает из пушки? Разбудить Ирину? Вот тоже придумал! Ни за что. Он решительно покачал головой.

Связист не уходил, он ждал, что решение вдруг переменится, Румянцеву разбудят, он увидит ее и поговорит с глазу на глаз.

Федор Сергеевич строго взглянул на связиста.

— А вы по какому делу к товарищу Румянцевой?

— Это, собственно, не я, — сказал связист, подвигаясь снова вперед: — Я с товарищем Румянцевой не знаком. Это меня Лёня, радист с береговой, послал, а сам он побежал на дежурство.

— Ни-че-го не понимаю!.. — развел руками Федор Сергеевич. — Послал Леня-радист... А вы-то кто же тогда будете?

— А я — Коля Павлинов, радист с канонерки.

Федор Сергеевич подошел к Андрею Мироновичу.

— Понимаешь ты что-нибудь?

Андрей Миронович устало откашлялся и сказал:

— Может быть, в самом деле моряков спасли?

Федор Сергеевич отвернулся от его беспokoйных глаз и сказал связисту:

— А что вы знаете об этом?

Связист смущенно развел руками:

— Я-то ничего не знаю. Меня Леня-ка послал узнать: может быть, говорит, врут, может быть, говорит, перепутали, может быть, говорит, не иностранных моряков, а, может быть, наших моряков. Друг у нас там где-то пропал.

Федор Сергеевич нахмурился и оборвал его.

— Зайдите попозже, зайдите попозже, тогда сама Румянцева к вам выйдет, а я ничего не знаю... — Отмахиваясь, он прошел вглубь комнаты. — Мы ничего не знаем... — раздраженно твердил он.

Связист робко повернулся и тихонечко, как мог, вышел за дверь.

Федор Сергеевич устало побрел за ним запереть дверь, и вдруг прямо на него ураганом ворвалась Лена.

— Я на секунду, — крикнула она, с лету обнимая отца. — Ирина дома? Что слышно о Борисе? А-а, Мироныч! — Лена с распростертыми руками пошла навстречу Андрею Мироновичу.

— Тише! — зашипел Федор Сергеевич.

— Голодная, как слон... — запела Лена, проходя мимо стола. — А вы, Мироныч, зачем пришли? Со мной ссориться? Я же не велела вам ходить к Ире? А вы, что же, забыли? Я же вам сто раз говорила: как только Ира что узнает, так мы мигом прибежим вам сообщить и найдем вас хоть за тридевять земель, хоть на маневрах. Говорила я это вам? Говорила. Просила вас не беспокоиться? Просила. Вы обещали? Обещали. А теперь чего же пришли? Сидите тут в плену у беды и дымом задыхаетесь.

— Леночка, — сказал Андрей Миронович, — я же не могу ничего с сердцем сделать, и не хочу сюда идти, а оно подталкивает: иди! может быть...

— Нет, нет, не оправдывайтесь, сержусь, сержусь, — сказала Лена. — А ты, — крикнула она отцу, — чего тут с ним сидишь да грусть разводишь? Пошли бы куда-нибудь, на лодке, что ли, покатались бы, пива выпили, развлеклись.

Она подошла к столу и стала торопливо есть.

— Куда торопишься? — сердито заворчал Федор Сергеевич. — Присядь — выходной день сегодня. Или для вас уже нет ни дня, ни отдыха? Дочек бог послал!.. Эта два дня пропадала на дежурстве, и ты тоже закатилась, как солнышко. Или уж так и не нашлось полчаса?

— Я только-что с практики. Понимаешь? Из плавания вернулась, а ты ворчишь?

— А мне все равно, — перебил ее Федор Сергеевич, — из плавания ты или не из плавания. Могла бы выбрать минутку, взглянуть, жив ли старик единственный, или нет.

Лена развела руками и приподняла брови, она глядела на Андрея Мироновича и призывала его в свидетели несправедливых нападков. Она несколько раз пыталась перебить отца, сказать слово в оправдание, но Федор Сергеевич не желал ничего слушать.

— Носятся новость где, а я тут сижу один, как сторож. Сгони петуха-то: не видишь, долбонит фикус?

Лена отошла от стола, сняла попугая с фикуса и стала заталкивать его в клетку.

— Ох, — смеялась она, — давно не слышала твоей воркотни, прямо соскучилась. Ух, ты, проклятый!

Отец изумленно вытаращил глаза:

— Это кто же?

— Ох, ох! — застонала Лена. — До крови, посмотри, до крови клюнул папец.

Отец мигом достал с полки иод.

— Говорю, говорю с утра до вечера: уберите этого дурака! Нет вот, не могут они жить без попугая.

Лена нахмурилась и сказала тихо:

— Ты о попугае больше не говори. Иринка не хочет и слышать об этом. Это самое дорогое, что у нее осталось от Бориса.

Отец махнул рукой и покосился на друга, тот сидел у двери на сундучке, курил и улыбался своим мыслям.

Федор Сергеевич сел с ним рядом, поставив локти на колени, молча курил и рассматривал пол.

Лена допила холодный кофе и, встав посреди комнаты, торжественно объявила:

— Сегодня ночью наша учебная шхуна спасла моряков с иностранного судна. Подобрали всех до одного, а пароход утонул. Мы пришли первыми, и уж только потом подошло спасательное судно... Молодцы, верно? Капитан нами очень доволен. Я... — Тут она умолкла; она хотела немножко прихвастнуть, но вспомнила все свои беды. О них ей не хотелось рассказывать, и она умолкла.

Оба старика замерли от удивления. Лена смутилась: «Вот так сообщила новость!». Не дожидаясь их вопросов, она рассказала о всех событиях последней ночи.

— Так уж в мире заведено, если корабль тонет, то моряков обязательно спасают, — сказала она и покосилась на Андрея Мироновича.

— Не везде так, — задумчиво сказал Андрей Миронович.

— Везде, везде! — перебила Лена. — Я хочу думать — везде. Негодяев не должно быть в мире. Я хочу думать, что мир заселен людьми, а все люди знают свой великий долг — помогать друг другу.

Старики шурились от дыма и качали головами.

«Они не согласны, — думала Лена, — но я верю, что Борис, что наши моряки не должны пропасть в море. Дождаться Иру, спросить, может быть, есть какие известия, или пойти... Ах, да, уже два часа, я опоздала». Она остановилась в раздумьи. Утром в училище она получила телеграмму. Александр вызывал ее срочно, ровно в два часа быть у Аничкина моста. Она не видалась с ним уже три выходных дня. стоваривалась, но не приходила: большие дела задерживали ее. Он сердился, он думал, что она обманывает его и не любит. Оправдательным письмам он не верил, он хотел увидеть ее с глазу на глаз.

«А чего обсуждать-то? Вчерашнюю беду не воротишь, вчера я думала с горя — выйду за него замуж, а сегодня мне надо к зачетам готовиться. Вот

вырвалась на минутку к отцу. Сбегаю и к нему на две минутки, а потом опять в училище» — решила Лена и стала одеваться.

— Уж убегаешь? — сказал отец. — Или тебе так уж совсем и не нужен отец? А, да что говорить!.. Я давно уже на это махнул рукой.

— И хорошо сделал... — сказала Лена, наклоняясь и обнимая отца за плечи. — Чего зря говорить-то! Ты не какой-нибудь старорежимный папаша, а настоящий социалистический отец. Да? Друг. Да? Товарищ. Да? Есть у тебя деньги?

— А что?

— Я получила стипендию, могу оставить тебе сотню рублей.

Отец улыбнулся.

— Давай. Не лишние. Нужно Ирине башмаки купить. А у тебя почему перчатки дырявые? Что мне самому, что ли, за всем смотреть? Какой номер носишь?

Лена нагнулась, поцеловала отца и побежала к двери.

— До свидания, Мироныч, — сказала она, обнимая старика. — Идите домой и ждите, когда мы с Ирой примчимся. Отправляйтесь на маневры и будьте спокойны: не через месяц, не через два, а будем пировать на их свадьбе. А потом еще раз будем пировать, когда я окончу школу.

Она метнулась по комнате, помахала рукой и исчезла.

Хлопнул лифт, загудел — и тишина.

Федор Сергеевич устало побрел запирать дверь.

— Сейчас вскипятим чайник, выпьем по маленькой, немного прояснится в мозгах, а то в голове — смерч. Больше отпирать никому не буду, а если поступят, то прямо пойду к Ирине: выходи, голубка, и сама с ними разговаривай, а у меня голова распухла. Да.

Но не успел он дойти до двери, как отступил от стремительного натиска веселого человека в форме летчика.

— Здравствуйте, папаша! — сказал летчик, надвигаясь на Федора Сергеевича. — Я забежал к вам проверить сообщение. Говорят...

— Нынче ночью моряков спасли, — перебил его уже рассерженный Федор Сергеевич.

— Так, значит, это верно?

Федор Сергеевич усмехнулся:

— Вернее и быть не может. Нам это передавал Мишка-радист, а ему передавал Гришка-моторист, а ему Васька-сигнальщик, а ему Гараська-электрик, а ему Сашка-летчик.

— П-позвольте, какой Сашка-летчик? Александр Корольков? Это — я. Но я сам ничего не знаю: мне только сказал...

— Довольно! Довольно! — закричал Федор Сергеевич и побежал по комнате, закрыв уши руками.

— Мироныч, ты, как хочешь, а я сейчас в окно от них выброшусь.

Летчик стал посреди комнаты и удивленно оглядывался. Краска заливала его бритые щеки. Он старался догадаться: что, собственно, он такого сделал и чем рассердил их?

Федор Сергеевич сжалился.

— Садитесь, — сказал он, вздыхая, и, отойдя подальше, сам опустился на стул.

— Так это вы — Саша-летчик? Почему же вы не заявили об этом раньше? Я же вас знаю. Встречал. Помнится, когда мы жили летом недалеко от «Красной Горки», так вы, насколько помнится, каждый вечер стояли на вахте у нашей калитки. Только уж забыл: за Леной или за Ириной?..

Летчик заиграл бровями:

— За Еленой Федоровной.

— Ага! — Федор Сергеевич, лукаво щурясь, осмотрел летчика и остался доволен. — «Симпатичный молодой человек» — решил он про себя и скинул суровость.

— Жалко, Леночку не застали — вот бы она удивилась. Да и вы бы ее теперь не узнали. Выросла. Экзамены на штурмана сдает, в далекое плавание собирается. Вот была здесь минуту назад и убежала. Видите ли, у нее деловое свидание назначено в два часа.

— Как в два часа? — вскрикнул летчик. — Но я ее ждал до половины третьего.

Федор Сергеевич удивленно поднял

плечи и не знал, что ответить. После долгого молчания он выдал из себя последнее слово.

— Не знаю, — сказал он, — ничего не знаю. Позвольте мне пойти на кухню и поставить чайник на плитку.

Он с трудом поднялся, обнял Мироныча за плечи и повел с собой.

Летчик остался один. Он сидел в кресле и думал: как это он мог с Леной разойтись? Куда теперь ему направить путь? Где встретиться с ней? Он взглянул на часы — скоро три, Лена должна притти обедать. «Подожду» — решил он, раскрыл полевую сумку, вынул книгу и стал читать «Анну Каренину».

Федор Сергеевич с Миронычем по очереди каждые пять минут заглядывали в столовую — не ушел ли? Наконец, махнули рукой и стали на кухне пить чай. Потом очистили селедочку, с'ели. Зажарили яичницу с колбасой — с'ели, а летчик все сидел и сидел. Федор Сергеевич с горя уже хотел лечь спать, как вдруг раздался звонок и вбежала Лена. Федор Сергеевич поскорее опять спрятался на кухню, чтобы не слышать, о чем это Лена говорила со своим летчиком. Но он не мог заставить себя не слышать и не видеть: не утерпел и заглянул в столовую. Заглянул и увидел, как раскрылась дверь, и в нее один за другим врывались утренние посетители. И слышалось только: Ира, Ирина, Ирочка...

Вдруг он увидел, как зашевелились кисточки на шторе, и в дверях действительно появилась Ира, всем улыбаясь и приветливо махая рукой.

— Здравствуйте, здравствуйте, друзья мои! Что это вы собрались? Может быть, сегодня день моего рождения?

— Ах, нет, Ирочка, — сказал Васька — сигнальщик с подводной лодки. — Я пришел узнать...

— Позвольте, товарищ Румянцева, — перебил Ваську Митя, он первый взял ее за локоть и повел в сторонку, — поговорить по секрету.

Ира растерялась: она не знала, куда взглянуть, все ждали от нее ответа, и она боялась произнести его. Она нагнула голову, расправляя кушак.

— Пока ничего, товарищи, не известно.

Она увидела седые брови Мироныча. — Идите все домой, честное слово. Как только что узнаю, всех вас оповещу.

— Идите, идите... — покашливая, проговорил Федор Сергеевич. — Сидите и ждите — сами придем, оповестим. И — никакого беспокойства. Дисциплина — как на корабле.

Он засмеялся, и все улыбнулись. Торопливо попрощались и ушли по домам.

4

Вечером они сидели на скамейке в Пушкинском саду и удрученно молчали.

— Ну, что же, Лена, это «нет» — окончательное? — спросил Александр и про себя подумал: — «Ну, чего я пристаю, ведь сказала уже». — Он поднял голову и посмотрел на небо. — Завтра будет дождь.

— Да ну? — вскрикнула Лена и тоже взглянула на небо. — Пускай идет, наше плавание уже закончено.

— Скоро экзамены? — грустно глядя в сторону, спросил он.

— Так точно! — отрапортовала Лена и засмеялась. — Сдам экзамен и — до свидания: отправимся в дальнее плавание.

Александр резко повернулся и обнял ее за плечи.

— А как же я?

Надо было решительно высказаться. Больше увливать было невозможно. Да она и не хотела таиться и фальшивить. Она знала, что слова ее огорчат Александра, но молчать дольше нельзя, и она внимательно подбирала в уме мягкие и ясные слова.

— Моя мать, — сказала она, — была женой моряка. Она родила семерых детей и умерла, потом один за другим умерли дети, и остались только две девочки. И вот я до сих пор не могу постигнуть горестной жизни этой женщины, ничего в жизни не видевшей, кроме одних мук. И, когда я вспоминаю об этом, мне становится страшно. Она, бедняжка, ничего не могла сделать со своей злой судьбой. Ну, а я настолько

сильна, что сумею переделать даже свою судьбу. Если она передалась мне по наследству злой, то я переделаю ее в добрую, — переделаю, как захочу. И — не одна: мне придут на помощь отец, сестра, друзья, все, кого попрошу. Я любила тебя совершенно неожиданно, даже испугалась: ну, думаю, застряла, хлопот не оберешься! Но, благодарение судьбе, все обошлось хорошо, без всяких сцен и мучений. Так? да? Теперь ты предлагаешь мне выйти замуж. Я думала об этом пять дней и решила: нет. Нет, нет, нет. Ни женой моряка, ни женой летчика я не хочу быть. Я чувствую себя такой цельной, что не хочу быть ничьей половиной. Ты не сердись, пожалуйста. Ну, могу я не хотеть? Ты мечтаешь о даче в Сестрорецке, о мальчике в матроске, который будет кататься по песочным дорожкам в голубом педальном автомобиле. Да? А я мечтаю о далеких плаваниях, невиданных землях, таинственных морях и островах.

Она умолкла, боясь взглянуть на побледневшего Александра.

Но Александр вовсе не побледнел, он рассмеялся и обнял ее:

— Лена, Лена, как в тебе еще бурлит детство! Ну пойдем, мой капитан, пойдем плавать по бурному морю, пока нас не прибьет волна к тихому очагу.

— И не говори! — вскрикнула Лена, закрывая ладонью его рот. — Никогда не говори больше так, а то буду сердиться по целому часу.

— Больше, — подмигнул Александр, — по целому дню.

Они поднялись и пошли по аллее, крепко прижавшись друг к другу. И, пока шли под фонарями, — напевали песенку, но, только вошли в темную аллею, умолкли и стали целоваться, потом неровным шагом продолжали путь.

5

Радистка сидела у аппарата и вспоминала, с какой станцией она еще не связалась. Неужели все станции мира ответили «нет»? А вдруг еще одна станция ждет ее вопроса? Вдруг она сейчас ответит «да»?

Она бросала в эфир свой позывной сигнал: «Борис, Борис, Борис», но никто не отозвался. Еще раз и еще она спрашивала все станции мира, не выдали ли команды с утонувшего судна «Юность». Станции молчали.

— Коллинг Лондон! Коллинг Лондон!.. — услышала она и прильнула к аппарату. Наконец-то Англия отозвалась. О, это всегда была добрая и умная страна благородных, отзывчивых людей. Радистка затаила дыхание. Пробыло двенадцать ударов, затем стала передаваться завывающая музыка для танцев.

Радистка горестно вздохнула и стала ловить другую станцию. По позывным сигналам она поймала станцию Цеезен, но не успела задать своего вопроса. Усталый баритон опередил ее.

«Майнэ дамэн унд хэрн, унзэрэс хейтигэс программ ист бээндэт. Вир вюншен инэн гуте нахт...»¹.

Радистка печально поникла головой и понесла свой вопрос в третью страну.

«Пронто, пронто! — услышала она. — Эйяр радиофоника италяна ди Рома».

Радистка приготовилась крикнуть: «Слушайте, слушайте, не выдали ли вы...», но станция из Рима торжественно объявила о трансляции оперы «Лючия» из Миланского театра La Scala.

Куда еще настроить приемник? Кого позвать, кого спросить? Радистка перебрала все станции мира, осталась одна, и это была станция Лиги наций. Это единственная надежда. Она-то должна знать, куда девалась команда советских моряков. Не могла же она пропасть, — не иголка, Лига наций должна знать...

Радистка настроилась на волну 37,47 метра и услышала позывные сигналы НВР, и вслед за тем ее оглушила дробь зашифрованных радиogramм.

Радистка опустила голову на руки. Как жесток, как равнодушен мир! Или у людей окаменели сердца, что тревоги, волнения, горе и бедствия уже не находят там откликов? Есть ли еще настоящие люди в этом мире? Или это, что

¹ Дамы и господа, наша сегодняшняя программа окончена, желаем вам спокойной ночи.

зовется таким тихим словом «мир», таит в себе всю дикость джунглей?

Этого не может быть. Ведь мы же слушаем все сигналы бедствий. Мы болеем душой за всех голодных, холодных, невинно томящихся в тюрьмах. Болеем душой за все республиканские армии, за всех борющихся за свободу, всем жеедем победы, всем готовы помочь... И разве может поступать по-другому человек, полный горячей крови? Молчать могут только мертвецы.

Ночью, когда утихали разбойничьи свисты радиоспортсменов, она сидела у аппарата и глядела в черную даль. Море горело сигнальными знаками; все короткие волны были заполнены разговором маневрирующих кораблей.

Радистка вертела ручки своего всеволнового приемника. Вдруг на короткой волне она услышала позывные незнакомой станции. «Ира, Ира, Ира».

Ирина настроилась на волну и с удивлением стала слушать.

— Ира, Ира. Вы меня слышите? Говорит радист с канонерки Коля Павлинов. Мой друг Лёня, радист с береговой, просил передать вам привет. Вы меня слышите?

Ирина улыбнулась и тугим басом произнесла:

— Да. Слышу. Передайте ему привет, и вам спокойной ночи.

Но спокойных дней, ни ночей больше не стало. Коля Павлинов атаковал ее своей короткой волны. Раза три в день раздавались в эфире позывные сигналы:

— Ира, Ира. Говорит Коля Павлинов. Мой друг Лёня велел спросить у вас, не слышно ли что о его друге Борисе? Что? Без перемен? Так ему и передать? Хорошо, передам. — Он покашивал в микрофон, ему очень хотелось продолжить разговор, но он не знал, как. — Товарищ Ира, мой друг Лёня очень беспокоится о своем пропавшем друге Борисе. Он просил меня спросить у вас утром, не будет ли каких радостных вестей. Если вы позволите, то я вас завтра вызову.

— Вызовите, — сказала Ирина, нахмурившись. — Если что услышу, сообщу.

Вызовы с канонерки участились. Ирина уже затруднялась на них отвечать. Они начинались всегда с одного: «Мой друг Лёня велел спросить о своем друге Борисе».

— Ничего, ничего пока не известно.

Радист откашлялся:

— Я хотел давно у вас спросить... Вы меня знаете?

— Да, знаю, а что?

— А я вас — нет. Один мой приятель все время мне говорит о вас: он, извините, в вас влюблен. Мы с ним иногда целые ночи все говорим о вас, только вот я вас не знаю... А как же вы меня знаете?

— Ну, знаю, да и все. — Ира старалась поскорее закончить разговор. Но радисту совсем не хотелось так скоро прерывать разговор. Он засмеялся:

— Вы, Ирочка, шутите: вы меня не знаете.

— Нет, знаю. Я всех знаю.

— Ну, какой же я, скажите? Какие у меня глаза?

— Какие глаза? Серые.

— Верно, серые. А у вас?

— У меня тоже серые.

— Да что вы! — вскрикнул радист. — Какая жалость! А я очень люблю черные глазки.

— Какая жалость! — засмеялась Ирина. — Ну, покойной ночи...

Она решила на другой же день зайти на береговую станцию и спросить у Лёни, что это за весельчак надоедает ей. Но позывные «Ира, Ира» вдруг прекратились. Она вспомнила об этом на второй день. «Что за странности? — думала она. — Куда снялась эта станция с позывными сигналами «Ира, Ира»?». На третьи сутки она преспокойно забыла о странном знакомстве в эфире... И вдруг ровно через трое суток раздались глухие сигналы: «Ира, Ира». Они произносились почти шопотом.

Она прислушалась, знакомый голос таинственным шопотом сообщал ей:

— Ира, я не разговаривал с вами трое суток, потому что отбывал гауптвахту за частные разговоры в эфире. Если меня поймут сегодня, мне дадут уже шесть суток, а потому я кончаю. Ирочка, вы не сердитесь. В выходной

день я с Лёнкой приду к вам, а пока до свидания. Целую вас. Слышите, как целую? Тц-ц... Слышите?

— Да, слышу, — засмеялась Ира. — Много я слышала в эфире, но поцелуй слышу в первый раз.

— Торжествую! — крикнул радист, забыв о наказаниях, и разговор вдруг оборвался.

Ира хотела посмеяться над ним, но ей вдруг стало очень грустно. Как это так? Из-за нее вдруг пострадал человек. Трое суток гауптвахты — это не шутка. Для кого-нибудь другого это — пустяки, но для радиста — это тяжело, мучительно, как соловью в клетке. «Вот бедняга!» — думала она. — В выходной день я обязательно буду сидеть дома и ждать их.

6

Рассветало, звезды таяли. Просторнее становился круг горизонта. Только к зюйду, над зеленоватым морским простором, серела полоска предутреннего тумана. Из-за алой кромки горизонта показалось солнце, золотые стрелы упали на верхнюю палубу подводной лодки. Лодка шла в крейсерском положении. Похоже было, что движется сказочная гигантская рыба, чудо с морского дна. Командир лодки стоял в боевой рубке и рассматривал горизонт, щурясь от ослепительного блеска заштилевого моря. Он часто подносил тяжелый бинокль к усталым, припухшим глазам. Чуть поодаль от командира стоял, держась за поручни, сигнальщик. Он сурово смотрел на солнце: ему было грустно. Солнце светило, как ни в чем не бывало, а между тем, кажется, нет никаких оснований сверкать так ослепительно. Сигнальщик был наполнен беспокойством. Во-первых, он ушел в плавание, так и не поговорив с Ирой. Хотел обо всем поговорить и не успел. Не успел спросить и о Борисе. Да, Борис, Борис! Где он сейчас? Василий огляделся; равнодушное море шевелилось вокруг. Неужели эти крупные волны не могли вынести его на какой-нибудь теплый берег? Может быть, вынесли. Море, оно доброе. Василий с детства любил его. Волны не могли задавить такого хорошего товарища,

как Борис. Они, наверное, вынесли Бориса и других ребят на необитаемый остров. А там нет радио. И Борис не может заявить о себе. Бывает и так. Он когда-то об этом читал. Конечно, не такой Борька парень, чтобы сгинуть в море: поживет, поживет на необитаемом острове и об'явится. Уж придумает что-нибудь. Если и радио там нет, так это такие парни, что у них камни заговорят. Если они живы, то мы услышим их.

— Да, да, да! — раздался над его головой хриплый крик. Он даже вздрогнул, поднял голову. Перламутровая чайка кружилась над ним.

Василий испуганно взглянул на нее. Уж не оттуда ли? Уж не принесла ли она письмецо в клюве с борисова острова?

У чайки не было письма ни в клюве, ни на лапке, но она так настойчиво кружилась над головой Василия, словно хотела ему пошептать на ухо. Он улыбался ей, кивал головой, всеми знаками подбадривая ее открыться. Чайка захватила все его внимание: он не слышал, как командир окликнул его; он не чувствовал, как за ним внимательно следили усталые глаза командира.

Командир еще никогда не видел его таким задумчивым. Задумчивым моряк бывает или с похмелья, или когда влюблен. Но командир не мог допустить, чтобы сигнальщик был влюблен: он не какой-нибудь вертопрах, он, Василий Дымок, можно сказать, — герой.

Однажды глубокой осенью, в темную ночь лодка возвращалась в базу. Третий день в море свирепствовал девятибалльный шторм. Горы воды рушились на палубу, окатывая соленым ливнем тесный мостик, где застыли командир и рулевой. Нырять в бешеной пене, пронзая водяные холмы, лодка медленно двигалась вперед. Вдруг она стремительно ринулась в сторону от курса и беспомощно закружилась на месте.

— Испортился руль!

Застопорили дизеля. Потерявшую управление лодку стало швырять с одного борта на другой.

— Ликвидировать аварию! — раздалась команда.

И сейчас же, выполняя приказание, сигнальщик и старшина-электрик осторожно стали перебираться на корму к месту повреждения. Осветить надстройку было невозможно, флот находился в состоянии учебно-боевой тревоги.

Сигнальщик шел вперед, волны с жестокой настойчивостью сбивали его. Он выпрямлялся во весь рост, когда корма уходила под воду, и стремительно ложился на узкую палубу, когда она с обнаженным винтом взлетала на гребень. Пальцы его коченели, теряли упругость и силу. Вдруг лодку рывком накренило на один борт, через палубу перекатилась сильная волна и увлекла в кипящее море старшину—электрика. Все произошло с молниеносной быстротой.

Сигнальщик крикнул:

— Человек за бортом! — и прыгнул в волны.

Но за шумом бушующей стихии его не услышали в боевой рубке. Лодку попрежнему бросало с волны на волну.

Через несколько минут оба явились к командиру и доложили, что задание выполнено.

Вспомнив об этом, командир взглянул на сигнальщика: «Таких ребят поискать. Нигде в мире больше нет таких ребят. Но что с ним?».

Командир уже два раза окликал его, а он не отзывался.

Сигнальщик думал... Он думал: если Борис вернется, то они с Ириной поженятся, а если Борис не вернется, то как же Ирина? Нет, я не говорю, что Борис утонул, утонуть он не может, но если этот остров? Для того, чтобы придумать какую-нибудь новую связь, нужно время. Год, два. На таких островах, он читал, и до старости живут. Он забыл, не то Уэллс, не то Жюль-Верн иде-то об этом подробно писали. Ирина к тому времени, наверное, выйдет замуж. Вот интересно, за кого она, года через полтора, два, выйдет замуж?

— За кого! — произнес он вслух, поднимая сильный бинокль, и вдруг за линией горизонта показался едва приметными точками неприятель.

— Тревога!..

— По местам стоять, к погружению!..

Вентиляционные клапаны открылись. Из цистерн с шумом вырвался воздух, хлынула зеленая вода.

Командир закрыл за собой люк центрального поста.

— Поднять перископ.

Из одного отсека в другой передался рапорт: все готово к погружению.

— Погружайся! — раздалась команда.

Боцман положил рули на погружение.

— Срочно!

— Полный!

Вода с шумом вошла в цистерны. На коромысле диферентометра виден наклон, нос идет вниз, корма вверх.

— Восемь метров!

— Держать восемь метров.

На поверхности моря остался только пенный след да испуганная чайка.

Стальной снаряд разрывал зеленую глубину. Но не рыб, не камни, не морских чудовищ видел сигнальщик. Из синей глубины он увидел два эскадренных миноносца. Они шли встречным, часто меняющимся, зигзагообразным курсом. Командир быстро произвел расчеты скорости курса и расстояния до противника. Для большей скрытности он поставил лодку со стороны солнца. Проверив по карте глубину, он выбрал такую позицию для атаки, которая позволила бы уйти на безопасное место от глубинных бомб «противника»...

Наконец форштвень одного эсминца оказался в поле зрения перископа слева и прошел нитку визира на прицеле.

— Левый аппарат, ...товьсь!

Из отсека, как эхо, донеслось репетование команды, потом раздался приказ:

— Левый аппарат, пли!

В тот же миг лодка почувствовала легкий толчок. Торпеда вышла из аппарата.

После торпедной атаки сигнальщик принял с флагмана знаки одобрения. Команда с честью выдержала учебные испытания.

Сигнальщик больше не грустил, он ночевал на дне моря и, забыв все невзгоды, сладко спал, положив голову на ручное колесо кингстона. Но утром, когда всплыли, он вдруг снова беспокойно засуетился, без очереди пролез в баню, приделся. На верхней палубе

говорило радио. Василий все мысли устремил на берег, — туда, где жили его дорогие друзья. Пока-что друзья... Он робко улыбался, разглядывая даль... Впереди шла эскадра. За кормой миноносца «20 лет» поднимался белогривый бурун и далеко расстилался пенистый след. Впереди него под флагом наркома шел флагманский корабль «Октябрь». Он двигался вперед грозной пловучей крепостью.

Сигнальщик знал все корабли. Всех их он любил, но командиру миноносца «20 лет» он ни за что не хотел бы сейчас попасться на глаза...

Лодка прибавила ход, догоняя миноносец.

Василий с тревогой думал: «А что я скажу командиру Андрею Мироновичу Рубинову? Что я скажу, если он на меня посмотрит?..». Не опуская бинокля, он следил, как уменьшалась дистанция.

Подводная лодка хотела нагнать миноносец. Команда любила салютовать ему. У них была старинная дружба. Она завязалась в девятнадцатом году. В один летний день английская подводная лодка атаковала красный миноносец. Ему удалось благополучно избежать двух торпед. Но, когда подводная лодка всплыла, миноносец открыл огонь и устремился на нее для нанесения таранного удара. Первый же выстрел из носового орудия ныряющим снарядом дал прямое попадание в рубку. На подлодке показался столб пламени и черного дыма. Из воды поднялся огромный пузырь, и подводная лодка пошла на дно. Она лежала там и выжидала, когда кончатся бои. Бои кончились. Началось мирное строительство Красного флота, и тогда Эпрон поднял с морского дна отдохнувшую лодку: соскоблили с нее ракушки, почистили, покрасили, сняли с кормы флаг британского флота, отправили его в Военно-Морской музей, а ожившая лодка вышла в море под боевым вымпелом СССР. Она ходила по волнам и под волнами и бережно носила в себе отряд отважных подводников.

Сейчас она неслась за миноносцем. Он видел ее, но шел спокойно. Это было вопреки обычаю. Миноносец и подводная лодка любили друг друга. Один

только сигнальщик боялся миноносца, боялся встретиться с командиром миноносца. Как только миноносец становится на якорь, командир обегает всех товарищей Бориса и спрашивает их: не слышно ли чего? И самое тяжелое—это отвечать «нет». «Только бы мне с ним не встретиться» — думает сигнальщик.

И, словно исполнив желание сигнальщика, лодка замедлила, ход и пришла на базу, когда уже все корабли, потушив огни, спали.

7

Целое утро Ира была охвачена беспокойством. Она не находила себе ни места, ни дела. Ходила по комнате или сидела у окна, подперев голову руками, и думала о Борисе:

«Он видит это же солнце, но что он чувствует, о чем думает? Может быть, он тоже думает обо мне?».

Ее мысли перебила Лена: она вбежала, сияя золотым отблеском пушистых волос, и с лету обняла сестру.

— Если ты сейчас не пойдешь с нами купаться, то будешь моим личным врагом.

— Но мне в четыре на дежурство, — начала было Ира, но Лена закрыла ей рот ладонью. Александр подхватил ее с одной стороны, Лена с другой и общими силами вытащили ее на улицу.

Они шли и ссорились. Ира тянула домой: ей еще надо кое о ком подумать; Лена тянула на Неву, Александр вел обеих в парк. В парке старые деревья с трудом удерживали солнце: оно сочилось сквозь выцветшие листья и капало на песочные дорожки. Гравий шуршал под колесами педальных автомобилей. Они ползли, как бронзовые жуки, угрожающе кричали сирены, но посреди дороги стоял, как слон, большой летчик и не пропускал жучков дальше. Водители кричали:

— Дядя, пропусти!

— Не могу, — пробасил Александр. — Семафор закрыт, дорогу переходят тетя Лена и тетя Ира: я боюсь, что вы их задавите.

— Нет, — сказал мальчик в синей матроске. — Тети пускай встанут на скамейки, и мы их не задавим.

— Тети, на скамейки, живо!—скомандовал Александр.

Ира и Лена, подобрав юбки, вскочили на скамейки. Александр поднял руки вверх и крикнул:

— Путь свободен!

И автомобильчики, один за другим, проползли мимо длинных ног.

— Держись правой стороны! — кричал Александр, и Лена вместе с ним смеялась.

Ира, прислонившись к тополю, улыбалась своим мыслям.

Потом Александр побежал, и дети всей гурьбой на всех скоростях помчались за длинноногим летчиком. Он бежал, бежал и вдруг вскочил на скамейку и, танцуя, запел:

— Вот и не догнали! Вот и не догнали!

Дети звонким смехом оглушали парк.

Лена смеялась, хотя ей совсем не хотелось смеяться. Александр, чего доброго, подумает, что она увидела здесь свое счастье. Ну, нет. И она тянула его на Неву.

— Идем же, идем. Мы не успеем выкупаться. Ирочке нужно на дежурство.

С большим трудом они выбрались с автодрома. На аллее Александр подпрыгнул, сломал ветку плакучей березы, связал ее и надел этот венок на голову Иры. Она старалась оторваться от своих мыслей, прислушивалась к общему разговору, но никак не могла понять, почему Саша и Лена все время смеются.

Одной плохо, а с ними еще хуже. Надо поскорее отстать от них, сесть куда-нибудь в уголок на скамеечку, отдохнуть, ни о чем не думать. Так она измучилась, так измучилась.

Нева беспокойно качала волны, белокрылые яхты скользили по ней, рассекали острыми выпелами горячей воздух.

По гранитной лестнице Лена первая спустилась к воде и, прикрыв глаза ладонью, разглядывала проходившие яхты. Она махала знакомым и подзывала:

— Сюда, сюда!

Но яхты не останавливались, они мчались в соревновании.

И вдруг, черпая бортами воду, подо-

шла облупленная яхта, с одеялом вместо паруса, то была собственная яхта Василия Дымка.

— Садитесь скорей, — крикнул он. — Сколько лет, сколько зим! Дорогая Ирочка!

Он стоял, расставив ноги для равновесия, и одной рукой поддерживал мачту.

Лена, как на крыльях, влетела на яхту, даже не качнув ее, но Александр чуть не перевернул этот хитроумный кораблик.

Ира не прыгнула за ними, она отступила шаг, другой. Она решила остаться одна. Слишком шумно было на реке, и ей стало очень грустно. Она решительно отступала назад.

Василий Дымок протянул ей руки:

— Ирочка, садитесь, мне надо с вами поговорить.

Ира отступала, качая головой:

— Не могу, бегу на дежурство.

— Да погодите!—кричал Василий.— Подойдите поближе, дайте взглянуть одним глазом. Тысячу лет.

Ира отступала, махая рукой.

— Плывите, плывите, счастливый путь! Плывите, а то вас сейчас катер разобьет.

Но Василий не трогался, он клялся, что у него к ней очень серьезное дело, и просил ее подвинуться хотя на один шаг.

Ира спустилась на одну ступень.

Василий сделал из ладони рупор и закричал:

— Вам кланяется Коля Павлинов.

— Какой Коля? — сказала Ира, спускаясь еще на три ступеньки.

— Радист с канонерки. Садитесь, едемте на взморье, там я вас с ним познакомя. Садитесь, будьте так добры, а то он мне всю душу вымотал. Познакомь да познакомь. Уж вы будьте так добры.

— Хорошо, завтра,—сказала Ира,— а сегодня, правда, я очень тороплюсь.

Василий хмуро посмотрел на нее, и правая бровь его загнулась вверх. «Вечно она торопится. Рисуется, что ли? Уж так и не может поехать на часок» — думал он, сердито разглядывая Иру.

— Ну, довольно разговоров! — крикнула Лена и оттолкнулась от берега. Она встала посередине и замахала рукой. Ветер развевал ее волосы, как дым.

— До свидания, Ира, идем в рейс во-круг света!

Торжественно подняв руки, она стала декламировать стихи:

До свидания, мыс Флоры,
Лил Мод, Зунд Рауленсона,
Материк Александра, стоянка Джексона
И ледакол, как его имя —
Седов, Русанов...

Ира тихо шла по набережной и думала. Бежать, бежать. Часы показывали только двенадцатый час. На дежурство рано, но ее переполняло какое-то смутное беспокойство. Скорее к аппарату — узнать, спросить, не слышно ли что? «А что слышать?» — произнесла она вслух и остановилась. Положила руки на парапет и опустила на них голову.

«О-о, как я измучилась, как измучилась!». — Она, не открывая глаз, догадывалась, как внизу скользит яхта, как улыбаются знакомые лица.

— Боря, Боря, Боря, — шептала она, не поднимая головы. Потом вдруг выпрямилась и побежала к радиостанции. Ничего не случилось, она видела это издалека. Спокойно горел флаг на антенне, вокруг молчали деревья.

Радистка сидела у аппарата. Ровно в двенадцать станция имени Коминтерна сообщила, что команда моряков с потонувшего судна «Юность» в полном составе возвращается на родину.

8

Девушки усыпали стол цветами. Все было готово. Сначала беспокоились, что нет музыки, но вскоре пришел Василий Дымок и принес радиолу. Потом все начали беспокоиться, что еще нет Бориса.

— Я заходил за ним, — сказал Василий, — его уже не было. Я думал, он здесь. Я всю дорогу разводил пары, боясь опоздать. Я думал, что вы уже отчалили. — Он взглянул на стол. Стол пестрый, как ладыя варягов, нагруженный доотказа, готовился к отплытию.

— Странно, — сказал Митя, поправ-

ля перед зеркалом шелковую рубашку, — я тоже заходил за ним, ждал, ждал его, пока терпение не лопнуло.

— Я тоже заходил, — сказал Лёня, отстраняя Митю от зеркала, внимательно разглядывая себя в необычайном клетчатом костюме:

— Я тоже заходил — сказал Василий, поправляя шелковый шарф и косясь на Иру.

Она стояла у клетки и кормила попугая виноградом. Попугай закрывал от удовольствия золотые глаза и кричал: «Алло, Ира, Ира, говорит Борис...».

За каждое слово он получал прозрачную ягоду и был доволен больше хозяйки. Он вертелся на жердочке и прислушивался к смеху. Несколько раз он пытался подражать радостному смеху Ирины, но такой смех он слышал впервые. Склонив головку набок, он вслушивался, но никак не мог точно передать его... Смех получался птичий. Все смеялись, слушая его, и терпеливо ждали Бориса.

Лёня таинственно отвел Иру к окну и сунул ей в руку письмоцо.

— От кого? — спросила Ира.

— Читай, сама узнаешь.

Ира разорвала конверт.

«...Дорогая Ирочка, так мне и не удалось в выходной притти к вам, не удалось и сегодня притти поздравить вас. Я отбываю шестые сутки гауптвахты, и вы знаете, за что. До скорого свидания... Всегда думающий о вас Коля Павлинов».

Лена ходила из комнаты на балкон. Опершись на барьер, вытягивалась вперед и разглядывала даль, не покажется ли где Саша? Он обещал быть, но не твердо, возможно, у них начнутся маневры, и тогда он просил не беспокоиться.

Часы на башне пробили шесть. «Значит, не придет» — сказала Лена, и ей стало очень грустно. Она вошла в комнату и бросилась навстречу отцу. Он только перешагнул порог, и сейчас же рухнула на пол гора неизвестно как державшихся покупок. И вслед за сверточками покатались по полу пуговицы с кителя.

— Ах, ах! — вскрикнул Федор Сер-

геевич, и все бросились поднимать рассыпавшиеся яблоки, печенье, конфеты.

— Уф! — произнес Федор Сергеевич и опустил на стул. Обтер лицо платком, оглянулся и крикнул:

— Что я вижу! Весь Балтийский флот на дому. И это две дочери, а если было бы пять дочерей, то моя квартира превратилась бы в клуб интернациональных моряков! Василий, сигнальщик, подойди ко мне, где ты такой чемберленовский фрак подобрал?

Василий покосился в зеркало, поправил шелковый шарф и самодовольно улыбнулся. Давно он не видел себя таким красивым.

Федор Сергеевич удивленно рассматривал всех. Узнать нельзя. То ходили какие-то братишки, а теперь, гляди, красавчики с заграничной кинокартины. Как, все равно, банкиры, или миллионеры какие-то американские. Он покачал головой и начал раскупоривать бутылки. Не успел он расставить рюмки, как вошел Андрей Миронович. Вошел да улыбнулся, да и раскланялся, как двадцать лет назад, — ну, прямо молодой молодец, — и так обнял Федора Сергеевича, что тот раздавил рюмку, которую не успел поставить на стол. Потом он с размаху обнял Ирину и уколол ее усами.

— Сколько стукнуло?

— Двадцать три.

— Ну, ешьте, — сказал он, подавая ей торт, высокий, как башня, — поправляйтесь, а то вы стали тонкая, как веревка, а это вам теперь не к лицу. — Он поздоровался с Леной, с ее подругами и прошел мимо моряков.

— С вами со всеми уже виделся. Ни свет, ни заря начали летать, глаза мозолить, а как Бориса не было, так я по всем переулкам, закоулкам разыскивал их, чтобы спросить, не слышали ли они чего о Борисе. Все адреса у меня в мозгу перепутались: приду на канал Грибоедова к Мите, а он на Васильевском острове живет. Вот и бегал, как розовый физкультурник. — Он подошел к Василию. — А тебя, ирода, три дня ловил. Как ни приду, все говорят: «На маневрах». Врете, говорю, его подлодка стоит на базе... А его все нет, все

нет. А живет он за версту от меня, у бывших казачьих бань, да на пятом этаже, блоха его заешь...

Василий Дымок смеялся вместе со всеми, стараясь скрыть смущение.

— Ну, кто старое вспомянет... — сказал Андрей Миронович и махнул рукой. Никто больше не хотел вспоминать пережитое... Все с нетерпением косились на рюмки, будто боялись, что они простынут. А Бориса все не было. От нетерпения гости уже не знали, что и говорить. Молча курили и улыбались друг другу. Василий косился на стол и думал: «Я сразу начну с этого, моего любимого балычка».

Лена несла к столу пирог, когда в комнату вбежал Александр, она так удивилась, что крепко прижала к груди пирог. Так крепко, что вишенки из варенья прилипли к блузке, как пуговочки.

— Как, ты... — сказала она, но Александр перебил ее:

— Так вот, освободился и прилетел. А где новорожденная? — Он подошел к Ирине. — Можно обнять? Благодарю вас. Можно поцеловать? С громадным удовольствием. — Он обнял Ирину, обнял Федора Сергеевича, потом обнял Лену и повел ее к столу.

— Это что за бутылка? Сколько лет? Федор Сергеевич подмигнул и сказал:

— Столько же, сколько невесте. Видишь — паутина.

— Э-э, — засмеялся Андрей Миронович, — боюсь, как бы вино не усохло, невеста засиделась. Твои девушки засиделись. Правда, Александр Ильич?

— Факт! — сказал Александр, взглянув на Лену. — Совсем старушки.

— А я что, держу их, что ли, — сердито сказал Федор Сергеевич, — выходите хоть сейчас. У Лены вон уже какое лицо стало, словно клюквы наелась. Еще не жена, а, как услышала о маневрах, побледнела хуже жены.

— Совсем нет, — оправдывалась Лена, но нерешительно. И вдруг добавила: — Море, это я понимаю, море. А воздух, — что может быть хуже воздуха? — вдруг авария и уцепиться не за что.

— Нашла, о чем думать, — перебил ее Александр. — Да разве я когда-нибудь умру? некогда мне умирать, и нету никакой охоты. И все эти старые сказки о смерти ты выбрось из головы. Мы смерти не признаем...

— Вот правильно! — воскликнул Федор Сергеевич. — И я все время говорю: смерть нужна тем, кто ждет наследства от дядюшки, от тетюшки, для них смерть желанна, а нам зачем? Отменили ее.

— Так-то так, — задумчиво сказала Лена, — мы-то знаем все, а вот матери-то ничего не знают.

— Вот, вот, — перебил ее Федор Сергеевич, — я же говорил, глядите, так и есть — еще не замужем, а уже плачет, как жена.

— Неужели плачет? — удивился Александр. — Ну, этого я ей не позволю. — Он притянул ее к себе и заглянул в лицо. — Вот тебе и раз!.. Ну, хорошо, плачь, а, когда ты пойдешь в плавание, я тоже буду плакать.

— Ты-то чего? — засмеялась Лена.

— Как чего? Мало ли страху. Поведет моя прекрасная Елена корабль в дальнее плавание, а враги возьмут, да и подпустят под нее мину и потопят, как потопили «Юность».

— Ну, ну, — сказал Андрей Миرونвич, грозно поднимаясь, будто на встречу врагу. — «Юность» — это корабль, один потопили, построили три. А за прекрасную Елену мы им такую Троянскую войну покажем, что не забудут вовек.

— Вот, правильно! — сказала Лена. Изо всех углов, как эхо, прокатилось «правильно».

— Правильно, — басом заявил Александр и обнял Лену. — Плыви, моя прекрасная Елена, я буду мужественно ждать тебя.

— Пусти, — смущенно вырвалась Лена, — мне надо переменить кофточку. Я ведь не знала, что ты так скоро вернешься.

— Вот тебе раз! Ты что же, думала, маневры — это война на год? Без пяти двенадцать звено получило задание обстрелять подводные лодки, охраняющие крейсер, в двенадцать вылетели... Ле-

тим — вода прозрачная, как кисея. Видим — недалеко от крейсера чернеет на дне длинная тень, снижаемся, видим — так и есть, тени от лодок, берем расчет и сбрасываем бомбы, кружимся, узнаем попадание, поворачиваемся и летим на аэродром. Еще час, и я тут, как тут. С самолета на пирушку, как сказал бы А. С. Пушкин. С самолета — и к обеду, как сказал бы Грибоедов.

Все смеялись, и Василий Дымков так громко, что Андрей Миرونвич сердито посмотрел на него и вспомнил старую обиду:

— Ты чего раскатываешься? Уж не откупорил ли ты главную бутылку. За вами только смотри да смотри. И чего вы сюда сбежались, не понимаю. Ну, у Бориса здесь невеста, понимаю, а вы чего?

— Как чего? — пожал плечами Василий. — А мы его товарищи.

— Ах, вот что, я все забываю. — Он подошел к столу, взял бутылку с серебряным горлом, сел с ней поодаль и сказал: — Ей тоже хочется дожидаться Бориса.

И вдруг Борис вошел... Все ждали грохота и шума, но чуть слышно открылась дверь, и показался Борис. Он остановился у порога, смущенно переминаясь с ноги на ногу.

На нем был старый, выгоревший костюм, вокруг шеи был завязан испанский народный платок, красный, как знамя, посередине нарисована голова быка, а по краям — торреадоры.

Он шагнул вперед и подал Ирине букетик красных гвоздик, потом взглянул на товарищей и отвернулся. Он всю дорогу сюда ругал их и сейчас совсем не хотел скрывать, что сердится. «Так товарищи не делают. Я им скажу потом, я их отчитаю». Он только взглянул и увидел сразу: на Леньке клетчатый костюм, который он купил в Гамбурге, на Митьке галстук, привезенный из Милана, на Ваське тоже костюм, настоящий лондонский костюм, ни разу не надетый. «Ну, ладно, ладно, я вам это припомню» — думал Борис.

Ира взяла гвоздики в левую руку, правой обняла Бориса и довела его к столу.

Гости подняли рюмки.

— Да здравствуют двадцать три года!

После третьей или четвертой, — нет, он не помнит, какой рюмки, — Василий почувствовал себя пьяненьким. Самую малость, но все же пьяненьким. Он это почувствовал тогда, когда ему захотелось вдруг запеть... Не то от радости, не то от обиды. Он сидел такой нарядный и красивый, а Ира ни разу не взглянула на него. Она отрывала губами лепестки с гвоздики, смотрела на Бориса и улыбалась ему. А на него даже ни разу не взглянула, не поинтересовалась даже, почему он такой сегодня красивый. А с Бориса вот глаз не сводит.

А он, друг наш Борька, очень похудел, а испанский платок он надел на шею, потому что воротник на рубашке весь залатан, и нет ни одной пуговочки. Бедняга! Мы его здорово обчистили.

Василию вдруг стало стыдно. Он робко поднялся и, держась за стулья, подошел к Борису.

— Боря, — шепнул он, нагнувшись, — ты меня извини. Я забежал за тобой, ждал, ждал, да от нечего делать и примерил твой новый костюм, и так он мне понравился, что я позабыл его снять.

— Какой костюм? Ах, да! — Борис махнул рукой. Он уже забыл и про костюм, и про свой страх показаться Ире в старом костюме. Он все забыл. Он отвернулся от Василия и снова взглянул на Ирину.

Василий почувствовал, как легко стало на душе: «Ай да Борька, прости, как бог». Он хотел на радостях обнять Бориса, но во-время сказала себе: «Не лезь, Вася, не лезь, видишь, что лишний, не мешай. Сюда путь закрыт. Ход назад. Отчаливай...». Он прошел в другую комнату, где танцевали девушки, и стал выбирать свободную.

Ирина вышла на балкон, сигнальные звезды мерцали в темноте, ночная прохлада возбудила в памяти пережитые волнения.

— Боря, Боря... — прошептала она, положив голову ему на плечо.

— Я здесь, Ира, с тобой, — ответил

он, крепко обнимая ее. Прижавшись щекой к щеке, они закрыли глаза и умолкли.

9

В красный день первого августа суда спускались в воду. Свежий бриз надувал знамена, огненные вымпелы полыхали на ветру. Казалось, верфь горела. Как только смолкли оркестры, на трибуну вошел директор судостроительного завода. Все лица поднялись вверх, огромной улыбкой встречая его.

— Мои дорогие товарищи, — сказал Федор Сергеевич, — вот мы и выполнили свое желание. Как порешили, так и сделали. Вот они, три корабля, построенные стахановцами вместо одного, потопленного фашистами. Сейчас они выйдут в море — и до свидания, а мы примемся делать еще и еще большие и маленькие корабли. Молодежь, принимайте наши корабли и плывите. Счастливый путь! — Он улыбнулся, и шумные аплодисменты заглушили его слова. Он сошел с трибуны, взял Бориса за плечо и сказал:

— Ну, теперь ты выходи.

Борис вышел вперед и увидел шершавый, еще не облизанный водой корпус броненосца. Он стоял, как крепость, и у Бориса мелькнуло в голове: «Ну, с этим им не справиться...». Он вспомнил хрупкое судно «Юность», оно могло только защищаться, а этот казался таким несокрушимым, готовым не только защищаться, но и нападать. Это был броненосец береговой обороны.

Борис взглянул на знакомые лица и сказал, что он не знает, как сказать, как передать свою радость. Он хотел рассказать, как они мучились, как прятали слезы, когда тонул их любимый корабль «Юность», как они, стиснув зубы, сидели в тюрьме у фашистов и изучали врага. Он хотел рассказать, как они ждали свободы, но вспомнил, что обо всем этом он говорил при первой встрече с родной землей. Теперь надо говорить не то. Теперь, ах, да!.. — он взглянул на броненосец и вдруг почувствовал себя твердо и уверенно. Он сказал, что вся команда с потонувшего судна переходит на броненосец.

Броненосец вздрогнул, когда из-под него выбили тормозные клинья, вздрогнул всем корпусом и затих, словно обдумывая, как сделать первый шаг; потом опять шевельнулся и пополз по скатам, все увеличивая и увеличивая скорость. Вот он вышел в воду, грудью разорвал ее на два громадных полотнища. Люди следили за ним, затаив дыхание, потом радостный крик взорвался над землей. Броненосец, установив равновесие, встал, готовый стеречь и защищать родные берега.

Как только успокоилась вода и утихли люди, стали спускать два коммерче-

ских судна. И директор судостроительной верфи сказал:

— Принимайте и эти корабли и бергите, помните, как мы построили их.

Он еще хотел что-то сказать, но не мог перекричать молодых моряков. Из их белой стаи вышел молодой штурман Румянцева, она пожала руку директору судовой верфи и сказала:

— Спасибо, отец, мы будем водить эти корабли вокруг земли, будем охранять их от пиратских налетов.

Люди еще обнимали друг друга, а корабли под звуки «Интернационала» один за другим спускались в воду.

Ф л а г

Рассказ немецкого рабочего

КОНСТ. СИМОНОВ

★

Видал ли ты, товарищ, имперские знамена
И черно-бело-красный фашистский флаг,
Посередине красного ворованого фсна
На ровном белом круге хвостатый черный знак?

Когда они в Берлине всю власть забрали в руки,
Над домом Карла Либкнехта наш флаг еще висел.
Один из них забрался, засунув руки в брюки,
Прошелся по карнизу и рядом с флагом сел.

Он был не трус, как видно. Хоть там сидеть опасно,
Он свесил ноги с крыши, сорвал наш флаг с древка
И, вынув из кармана свой черно-бело-красный,
Прибил его ударами складного молотка.

Нас было слишком мало, чтоб с их отрядом драться.
На парня мы глядели — он, правда, был не трус,
Но я подумал: если он днем сумел добраться,
Я ночью по карнизу до флага доберусь.

Я десять лет в монтерах, как лазить — мне знакомо,
За пять последних пфеннигов я ножницы точил,
Весь вечер я, как маятник, шатался возле дома,
Но только поздней ночью минуту улучил.

Как я туда добрался, рассказывать не стоит,
Да это и не важно. Важнее, что к утру,
Коллебя их священные имперские устои,
Кровавое полотнище гремело на ветру.

Себе по назначению мы красный цвет вернули.
Намгодились ножницы и пара крепких рук.
С дырою вместо свастики мы знамя развернули,
В нем было видно небо сквозь выстриженный круг.

И тот, кто шел по улице в холодный час рассвета,
Ни черного, ни белого не видел над собой,
Он видел только наши два лучших в мире цвета:
Свободы — ярко-красный.

И неба — голубой.

★

Последний выстрел

РАССКАЗ

П. РУСИН

★

Главные силы Хал-Ходжи стремительно сходили с предгорий Памира в Ферганскую долину, обрастая по пути все новыми шайками басмачей. И утром 4 июня 1919 года первые басмаческие всадники — шестнадцать бывших военнопленных австро-германцев с двумя пулеметами, под командой обер-лейтенанта Цоггера, и сотня алайских киргизов — вступили в кишлак Мады. Внизу, в двенадцати верстах от кишлака, лежал город Ош, вытянутый длинной полосой вдоль берега реки Ак-Буры. Ближайший от Оша город Андижан был обложен басмаческими шайками Мадамин-бека. Вся Ферганская долина была наводнена басмачами, железные дороги и мосты разрушены. Безоружное тридцатитысячное русско-узбекское население Оша стало под удар Хал-Ходжи — самого вероломного и неумолимого из басмачей. Помощи ждать было неоткуда.

Вступив в кишлак, обер-лейтенант Цоггер распорядился разбить свою юрту в центре кишлака, под громадной густой кроной древнего карагача. В любых условиях боя, при самых неожиданных отступлениях, зимой и летом Цоггер не расставался со своей юртой. Получая от Хал-Ходжи ежемесячно тысячу фунтов стерлингов, кроме премий за удачные бои, Цоггер имел возможность нерушимо сохранять все свои привычки. Его длинное, худощавое тело немецкого дворянина требовало уюта и чистоты и надежной защиты от холода и солнца, — все это давала юрта — про-

стое и удивительное изобретение кочевника.

Пока развьючивали лошадей от двух станковых пулеметов, от ящиков с пулеметными лентами и от разного другого военного скарба, юрта Цоггера была приведена в порядок. Решетчатый деревянный остов был обтянут войлоком, пол заслан толстыми коврами, и на коротком древке повис над юртой черно-бело-красный военный германский флаг с черным квадратным крестом посредине. Два киргиза из личной охраны Хал-Ходжи, отданные в распоряжение Цоггера, встали у входа в юрту с десятизарядными ли-энфильдами.

Полусотня алайских киргизов ускакала вниз по горной дороге в сторону города Оша охранять подступы к кишлаку. Остальные всадники, расставленные на постах, начали нести патрульную службу. Один пулемет был оставлен Цоггером около юрты, для другого была выбрана на краю кишлака одна из плоских крыш, с которой хорошо обстреливалась дорога на Ош.

С минуты на минуту в кишлак Мады должен был въехать Хал-Ходжа. Юзбаши сотни алайских киргизов созвал кишлачных пятидесятников, приказал им собрать население Мады и выставить музыкантов и угощение для торжественной встречи Хал-Ходжи. Под строгой ответственностью тех же пятидесятников началась запись добровольцев.

Кишлачные музыканты готовились ознаменовать въезд Хал-Ходжи, устро-

ившись на крыше самой большой чайханы на площади. Двое трубачей пробовали давно не употреблявшиеся полуторасаженные карнаи, обитые листовой желтой медью. По временам из широких раструбов вылетало оглушительное хрюканье. Барабанщик налаживал подогреваемый на углях гигантский катта-нагар, обтянутый воловьей шкурой и похожий на сорокаведерную кадушку, перевернутую вверх дном. Рядом подогревался такой же барабан, но немного меньших размеров. Изредка барабанщик со всей руки бил короткой дубиной в натянутую горячую кожу, и по кишлаку неслись мощные удары. Потом над всеми шумами взлетал неимоверно высокий писк, пронзающий все, — это свистун проверял пригодность бритвенно-тонких камышевых язычков на сурнае.

Сыгровка на мгновение прекратилась, когда на площадь влетело двое всадников с криками:

— Курбаши келяды! Хал-Ходжа кегян! (Командующий едет! Хал-Ходжа приехал!).

Обер-лейтенант Цоггер скомандовал своему отряду на-караул. Музыканты на крыше чайханы пустили в ход все свои инструменты, наводя страх на окрестных собак за три версты вокруг. В древности враги, заслышав такой оркестр, неминуемо приходили в замешательство.

Но музыканты только еще начинают входить в силу. Трубачи, с трудом поддерживая свои длинные трубы, вспыхивающие медью, опускали их и поднимали, одновременно топчась на месте и делая полный круг. Рядом с барабанщиком, подвернув под себя ноги, сидел, раскачивая туловище взад и вперед, вконец оглушенный сурнаист. Тараща глаза и пузырями надувая щеки, он выводил немислимо высокие ноты сложного мотива.

Первыми появились на площади бритоголовые всадники из личной охраны Хал-Ходжи в зеленых, с черными полосами, халатах и в ферганских черных тюбетейках, сдвинутых набекрень. Сбоку у каждого болталась короткая, кривая сабля кустарного изготовления и из-

за спины выглядывал ствол ли-энфильда.

Едва всадники успели занять проходы на площадь, как появился и сам Хал-Ходжа, на черном жеребце, во главе второй сотни своей личной охраны. Короткое, широкое туловище курбаши было закутано в нарядный яркорозовый халат с кисточками в разрезах для шага. Несмотря на жаркое июньское утро, он был в стеганой бархатной шапке, опущенной лисьим хвостом. Из-под шапки выглядывало бледное черношерстое лицо с небольшой полукруглой бородкой. За богато расшитым цветными блестками поясным платком торчала рукоятка револьвера скотт-веблей. К револьверу была пристегнута серебряная цепочка, спускавшаяся с короткой пухлой шеи, на которой дополнительно висел на красном шнурке костяной полицейский свисток. Нервный черный жеребец, с белыми от пыли копытами, норовил боком пронести Хал-Ходжу по площади. Курбаши слегка взмахивал камчой, стараясь концом ее попадать в самое щекотливое место под брюхом у жеребца. Конь рвался вперед, но, не получая повода, часто перебирал передними ногами, словно ступал по раскаленной земле.

Темп музыки участился. Казалось, самые сокрушительные горные обвалы и каменные осыпи с грохотом наваливались на кишлак.

Хал-Ходжа проехал в раскрытые ворота самого богатого в кишлаке дома Миркамиль-бая, что был рядом с самой большой чайханой. Туда же вскоре проследовало около десятка верховых женщин, жен курбаши, наглухо завернутых в серые паранджи. Самая молодая из них была тринадцатилетняя правнучка бывшей царицы Алая — Датхи. И, завершая везд Хал-Ходжи в кишлак, по площади пропылила сотня Поплавского — русские кулаки из-под Джелал-Абада.

Но главные силы курбаши находились пока еще на полпути от Лангара до Мады в широком ущелье, по дну которого течет река Талдык. Оставшиеся в ущелье ждали только приказа Хал-Ходжи, чтобы затем, оторвав своих ко-

ней от вольных трав и воды, в один переход покрыть расстояние до Оша, часы падения которого были уже сочтены.

★

Еще площадь дымилась от пыли, еще приехавшие не успели покурить на свободе, как на помостах чайханы появился Хал-Ходжа в сопровождении своих приближенных. Курбаши торопились показать себя населению Мады. Он ожидал дополнительно получить от этого кишлака до двухсот джигитов. Сегодня он был в хорошем настроении, довольный донесением разведки, что передовые отряды алайских киргизов без выстрела подошли к предместьям Оша. В ущелье, где находились главные силы, уже полетел приказ — выступить на Ош.

Медленно опустившись на гору подушек, Хал-Ходжа принял наиболее выгодную, по его мнению, позу. Левой рукой он взялся за серебряную цепь, спускавшуюся с шеи, а правую небрежно положил на рукоять револьвера, заткнутого спереди за поясной платок. По одну сторону от курбаши уселся на ковре, неловко расставляя колени, худой и плоский англичанин, одетый в штатское, с легким пробковым шлемом на голове. Лицо англичанина, стиснутое в скулах, было крупно и худощаво. Ушные раковины его до того были велики, что пробковый шлем, казалось, держался не на голове, а на ушах. За спиной англичанина разместились три вооруженных сипая в зеленых обмотках и в коротких штанах, не доходящих до колен. По другую сторону от Хал-Ходжи сел грузный Миркамиль-бай в пухлом цветастом халате. Это был тот самый Миркамиль-бай, про которого говорили, что если за время пути от Мады до Оша задать десять вопросов: чья это земля?—то в пяти случаях следовал ответ: земля Миркамиль-бая. Здесь же сидел, стараясь держаться ближе к курбаши, сын джелал-абадского кулака, ташкентский юнкер и командир русской сотни Поплавский. Он был известен тем, что всюду возил с собой рослую молодую Марфушу, которую иногда уступал своим приятелям за бутылку английского рома

или просто проигрывал ее Цоггеру в шахматы на одну ночь.

При появлении Хал-Ходжи не успевшие отдохнуть музыканты снова ударили на весь кишлак. Попросив подоткнуть ему сзади еще одну подушку, курбаши снял шапку с бритой головы и остался в ферганской тюбетейке с четырьмя белыми запятыми по черному полю. Не поворачивая шеи, он быстро обежал площадь своими маленькими черными глазами. Всадники из сотни личной охраны надежно запирали все входы с улиц. За всадниками толплась кишлачная беднота — старики и пожилые узбеки, пришедшие по приказу пятидесятников. На деревьях и на крышах соседних с площадью домов виднелись любопытствующие узбечата в оборванных халатах. Но в кишлачной толпе не видно было молодых узбеков, скрывшихся, по обыкновению, от басмаческой мобилизации в горных закоулках вместе с лошадьми. Глаза курбаши злое еще загорелись, и он перестал смотреть на площадь.

Когда музыканты выбились из сил и смолкли, это и обозначило конец торжественной части. Сейчас же, не медля, к помосту, на котором восседал курбаши, подступили всевозможные докладчики, наблюдатели, доносчики, просители, ходоки, осведомители и исполнители распоряжений Хал-Ходжи. Но через шерстяную веревку, проходящую у самого помоста, можно было перешагнуть и приблизиться к курбаше только с разрешения первого юзбаши его личной охраны.

И лишь в тех редких случаях, когда Хал-Ходжа поднимал свой пухлый короткий палец и сам манил нужного ему человека, юзбаши не отвечал за перешагнувшего веревку.

Первым был допущен конюх курбаши. Конюх сообщил, что его любимый жеребец вычищен, хорошо ест ячмень и затем получит сухой клевер, сбрызнутый родниковой водой.

Внимательно выслушав конюха, Хал-Ходжа сказал:

— Джюда яқшй (очень хорошо), — и велел показать ему коня.

Затем приблизился к помосту бело-

бородый старик, наблюдающий за женами курбаши. Припав к уху Хал-Ходжи, старик что-то долго стал нашептывать.

— Хошь! (Пусть будет так), — сказал Хал-Ходжа, самодовольно улыбаясь и отстраняясь от старика в знак окончания доклада.

В это время к помосту чайханы подвели поджарого жеребца с широкой грудью и низко осажженным задом. Черная шерсть его, протертая тряпкой, блестела на солнце, как антрацит. Проскакавший около всадник взволновал жеребца, — он зашевелил вывернутыми ноздрями и заплясал на месте, пытаясь вырвать у конюха повод.

— Булды инды! (Довольно, хватит), — обеспокоенно сказал Хал-Ходжа, махнув рукой, чтобы увели жеребца.

Последующих докладчиков и просителей курбаши едва выслушивал, давая им короткие и общие, а потому и безошибочные ответы. Но каждому, говорившему с Хал-Ходжей, казалось, что этот ответ был приготовлен только для него.

Наученный английскими инструкторами, Хал-Ходжа в совершенстве постиг нехитрую политику: разделяй и властвуй. Под строгой тайной он обещал киргизам отдать их земли, захваченные русскими кулаками. Узбекам он предназначал выделити богатые выпасы вокруг кишлаков за счет киргизских земель. Ходоков от русского кулачества он уверял, что их земли останутся за ними навечно. Всем же вместе он говорил, что для всеобщего блага надо, прежде всего, уничтожить ядовитое племя туртынчи (большевиков). Слабодушных своих соперников Хал-Ходжа держал в страхе, счастлюбивым бросал подачки, сильных — лишал власти и головы. И за год басмачества удача не изменяла курбаше.

Вокруг помоста продолжали толпиться перед курбашей жаждавшие перешагнуть веревку. Но среди них уже не было крупных дельцов — все они прошли раньше, остались лишь мелкие фискалы и сплетники, которых долго допрашивали, прежде чем допустить.

Под конец приема Хал-Ходжа начал

заметно дремать. Может быть, он уже видел себя повелителем Памиров от Афганистана и до Китая. Иногда он будто бы отгонял дремоту, подымал припухшие веки и коротко давал ответ, смешивая дела трех просителей сразу. Или же вдруг заносил такое, что кишлачных пятидесятников, оставшихся в последней очереди, охватывала невольная дрожь. Юзбаши личной охраны, учитывая момент, объявил прием отложенным и тут же сообщил Хал-Ходже, что сейчас немец начнет учить своих солдат на площади.

— Джарман? (Немец?), — оживляясь, переспросил Хал-Ходжа. — Хоп! (Ладно!).

И он сделал затяжку из урчащего чилима, переместился на подушках и искося, самодовольно взглянул на англичанина. Курбаши гордился своими немцами с двумя пулеметами — грозой плохо вооруженных партизанских отрядов. Но англичанин не заметил многозначительного взгляда Хал-Ходжи и продолжал равнодушно сосать сигару с зологым пояском на утолщенной середине.

С противоположного конца площади из-за угла мечети показался отряд Цоггера со вскинутыми на плечо винтовками. Отряд быстрым, мерным шагом вышел на площадь, на ходу выстраиваясь в одну шеренгу.

— Джарман-ляр! (Немцы!) — пронзительно закричал узбеченок на крыше, на четвереньках выглядывая из-за снопов сухой люцерны.

Когда шеренга дошла до середины площади, обер-лейтенант Цоггер поднял руку в белой перчатке, и люди, взметая пыль, в тридцать два сапога стали отбивать шаг на месте.

Все шестнадцать бойцов были испытанными фронтовиками, захваченными в плен во время наступления русских под Луцком. Лица венгерцев, австрийцев и немцев были одинаково коричневыми от постоянных горных ветров, яркости солнца и сухости воздуха. Все они, брошенные эсеровским командованием на произвол судьбы во время голода в 1918 году, ушли на службу в басмаческую шайку в погоне за горячей лепешкой и жирным куском баранины. Они

считали тогда, что поступают честно — за хлеб рискуют жизнью.

Рослый правофланговый, венгерец, пулеметчик Кароле Басш, хмуро смотрел перед собой и, казалось, едва шевелил своими длинными ногами. В прошлом году, зимой, его, распухшего от голода, товарищи на руках унесли из скобелевских лагерей в кишлак Уч-Курган, где и был тогда сформирован отряд под командой Цоггера.

Рядом с правофланговым, добросовестнее всех поднимая ноги, отбивал шаг на месте немец Иоганн Клеве — майнский батрак и кавалер Железного креста. На серой суконной куртке его еще не успела выцвететь свежая тень. Иоганн Клеве имел право входить в юрту оберлейтенанта Цоггера без доклада в любое время дня и ночи. Но этим правом он никогда не пользовался, чтобы не возмущать товарищей по отряду.

Шеренга, держа равнение, будто по нитке, продолжала отбивать шаг на месте. Цоггер решил показать сегодня перед Хал-Ходжей и приехавшим англичанином полный курс военной выучки своего отряда. У Цоггера была затаенная мысль, что, быть может, еще сегодня, до боя под Ошем, он сумеет получить от Хал-Ходжи свой очередной месячный оклад. «Я должен убедить этого дикаря, — автоматически шевеля губами в такт шагу шеренги, думал Цоггер, — что мои фронтовики с двумя пулеметами стоят больше, чем все его скопище».

На левом фланге, едва подымая ноги, вяло отбивал шаг рядовой 103 австро-венгерского полка, тирольский горняк Штанге. Цоггер не любил этого маленького австрийца, который еще ни разу не обратился к нему, как к командиру отряда.

— Эйнс-цвей, эйнс-цвей, — высоким голосом стал подсчитывать Цоггер, ожидая шеренгу.

Шаг на месте стал отчетливее и громче, нагнетая упрямый маршевый ритм. Лессовая пыль ползла из-под ног марширующих, закрывая шеренгу густым белым облаком. Только граненые штыки русских винтовок, мерно вздрагивая, искрились на солнце. Цоггер вывел ше-

ренгу из пыльной полосы и скомандовал:

— Фейер! (Огонь!).

Последовал залп-салют, и шеренга, подхлестнутая командой: «лауф» (бегом), бросилась вперед, ошетилив штыки. Среди телохранителей Хал-Ходжи произошло движение, сипаи за спиной англичанина ниже опустили стволы лююисов. Шеренга, оставляя за собой дымную полосу, шумно и часто отбивала шаг и приближалась к помосту чайханы. Когда разгоряченные, потные и грязные от пыли лица солдат появились у помоста, тучный Миркамиль-бай торопливо поднял пухлую ладонь и испуганно крикнул:

— Тохта! Э! (Стой! Ну!).

Издали послышался голос Цоггера:

— Хальт! (Стой!).

Солдаты замерли, перехватив винтовки на-караул.

— Не шеренга — струна, прямо цирк, — с видом бывалого фронтовика сказал юнкер Поплавский, оборачиваясь к англичанину.

В следующее мгновение, повернувшись кругом, шеренга ускоренным маршевым шагом отошла опять на середину площади.

Нестерпимо жаркое солнце вступало во вторую половину дня, оглушая все живое и иссушая травы, выросшие за ночь. Металл винтовок под открытым небом жег пальцы, раскаленный воздух сушил губы, и язык во рту прилипал к сухому небу.

На помосте уже готовились встать, ожидая лишь, когда первым поднимется Хал-Ходжа. Но курбаши терпеливо сидели на подушках, желая показать англичанину свою по-европейски обученную часть.

Солдаты, пройдя по площади змейкой, журавлиной стайей и полукругом, замкнули строй в каре и продолжали итти до тех пор, пока не раздался на всю площадь истерический выкрик Цоггера:

— Козакен! (Казак!).

После боя под Гумбиненом Цоггер не мог спокойно произнести это слово.

Движущееся каре замерло и мгновенно перестроилось: шестеро легли в

пыль, пять приготовились с колена, и остальные пять прицелились стоя. Получился донельзя сжатый строй в густой щетине штыков. Цоггер взмахнул рукой — раздался залп.

— Рингс херум! (Кругом!) — фальцетом крикнул Цоггер.

Щетина штыков обернулась в другую сторону, и опять — взмах руки и залп. Узбечата на ближних крышах от страха ринулись на землю, обдирая об кусты руки и халаты. Это была последняя, заключительная сцена, в которой Цоггер показал, как надо отбиваться от наседающих со всех сторон казаков.

Когда отряд стал уходить с площади, Цоггер заметил, как левофланговый, отстав и ковыляя не в ногу, волочил за собой винтовку по земле. Белки светлых, волчьих глаз обер-лейтенанта подернулись кровавой сеткой. Он остановил отряд и скомандовал:

— Штанге, ко мне!

Левофланговый повернулся и медленно стал приближаться к Цоггеру, оставляя в глубокой пыли длинно прочерченные следы от едва поднимаемых сапог. Не доходя до Цоггера двух шагов, Штанге остановился и опустил приклад в пыль. Мертвенно-бледное, худое и небритое лицо тирольского горняка окаменело, и только сухие, потрескавшиеся до крови губы вздрагивали и шевелились, будто левофланговый повторял про себя подсчет на сложной маршировке. У Штанге был очередной приступ тропической лихорадки.

— Что это значит? — повелительно спросил Цоггер.

Штанге молчал, мрачно разглядывая сухими, воспаленными глазами пыльную пуговицу на френче обер-лейтенанта.

— Я спрашиваю?! — повысил голос Цоггер.

Штанге с болью сделал глотательное движение, но во рту не было ни капли слюны.

— Перед кем стоишь? — закричал Цоггер, сжимая в кулак длинные пальцы, затянутые в белую перчатку.

Штанге развернул плечи, втянул в себя подбородок и тихо сказал, не глядя на Цоггера:

— Я болен, герр обер-лейтенант.

Чайхана опустела, зрители покинули места, направляясь за Хал-Ходжей в ворота дома Миркамиль-бая. Цоггер заторопился.

— На место! — сказал он Штанге, и подал команду отряду: — Разойдись!

Забежав в чайхану, Цоггер наскоро сполоснул лицо, заставил чайханщика, убиравшего посуду, обмести пыль с френча, вытер чистым полотенцем каску, кобуру, сапоги и, посмотревшись в карманное зеркало, торопливо пошел к дому Миркамиль-бая, чтобы успеть занять место на обеде рядом с Хал-Ходжей.

★

Всю вторую половину дня кишлачная площадь, знаменитая когда-то своими шумными базарами, оставалась безлюдной под отвесно палящими лучами солнца. Две сотни аскеров личной охраны Хал-Ходжи попрятались от солнца в чайханах, устроив коновязи в ближних садах. Сотня русских кулаков изпод Желал-Абада и австро-германцы расположились под навесами каравансарая вместе с лошадьми. Но под навесами и всюду в тени людей наступала мертвая духота, отнимающая мысли и желания.

И только с первой вечерней звездой поднялась жизнь. На смену неподвижной, отупляющей жаре пришел едва заметный, ленивый, но живой ветерок.

Отяжелевший теплый мелкий лёсс толсто лежал в глубоких и узких улицах Мады. Из-за каждого кишлачного дувала доверчиво свисали крупные вырезные листья шелковицы и карагача в серых рукавицах пыли. Даже недосыгаемые вершины вечных снегов, затянутые сумерками, розовели и казались теплыми. Внизу над долиной остывало и темнело жаркое ферганское небо с узкой полосой перистых облаков, еще продолжавших гореть в вышине.

Во дворе каравансарая около самого большого навеса ярко пылал огонь под большим казаном, где готовился плов для русской сотни. Отдельно от русских, в углу двора, близ своей коновязи, готовили себе ужин военнопленные.

Обязанности кашеваго выполнял самый молодой в отряде Цоггера, австриец Блоссер, за что освобождался от ночных дежурств по коновязи и у пулеметов. Со своим делом Блоссер справлялся быстро и ловко. Когда в котле у русских еще доваривалась баранина и не запускался рис, австро-германцы уже кончили ужинать и вытирали клочками чистой ваты свои алюминиевые ложки и перочинные ножи.

Тирольский горняк Штанге отказался от ужина, и его порция осталась нетронутой. После занятий на площади горняка Штанге привели в караван-сарай под руки, и теперь он лежал в жару, едва признавая своих товарищей. В углу под навесом для больного сделали постель из сухой люцерны, положили ему на лоб мокрую тряпку и часто меняли ее, обмакивая в конское ведро с теплой и мутной водой из хауза.

После ужина, когда совсем стемнело, зажгли под навесом свет в двух черепках с хлопковым маслом. Один черепок поставили на землю у изголовья больного, другой — на ящик из-под пулеметной ленты. Около ящика кто-то постелил вытертую, заплатанную шинель и бросил на нее колоду заигранных пухлых карт. Принесли по снопу люцерны и сели в кружок. Но через несколько слач все увидели, что игра не клеится. Карты бросали зря, лишь бы сделать ход, в конце распасовки оказывалось, что у одних на руках больше карт, чем у других. Когда очередь сдавать дошла до Кароле Басша, он почти всем сдал разное количество карт, а при передаче напутал еще больше.

— Ах, товарищи, товарищи!.. — зажимая в кулак грязные карты, задумчиво сказал Кароле Басш.

Он еще что-то хотел сказать, но, взглянув на Иоганна Клеве, на отчетливый рисунок креста на его куртке, нахмурился и спросил:

— Дежурным у пулеметов отнесли ужин?

— Отнесли, — коротко ответил Блоссер.

Наступило томительное молчание, которое в эту ночь перед боем было выразительнее и серьезнее, чем слова.

Тьма безлунной субтропической ночи, быстро сменившая ослепительный день, вселяла беспричинную тревогу. Беспокойно отдавался в сердце несмолкаемый глухой шум, наплывающий из глубины темного двора, где лошади на коновязях фыркали, тяжело вздыхали, переступали с ноги на ногу, лязгали железом и с непрерывным хрустом жевали сухую люцерну. Над черным двором повис кусок тревожного неба с крупными мохнатыми звездами.

Далеко от родных мест, среди чужих гор, под чужим небом людей коснулась одна тоска, говорящая одним, всем понятным языком.

— Споем? — по-венгерски спросил Кароле Басш.

— Споем, — ответил австриец Блоссер.

— Про родину, — сказал по-немецки Иоганн Клеве.

И все понимали друг друга.

Блоссер, несравненный запевала в отряде, чувствуя на себе ждущие взгляды, начал высоким голосом, таким простым и таким обыкновенным, что казалось, каждый мог бы так спеть:

Товарищ, я слышал во сне,
Как мать меня кличет по имени.

Пел Блоссер тенором, высоко взмывая над хором, повторявшим его слова. И по темному двору караван-сарая поплыл печальный и гибкий мотив любимой песни военнопленных. Иоганн Клеве вел свою партию низким вторым голосом, то отставая, то догоняя и сливаясь с высоким голосом Блоссера.

— Нет, — тоскливо вскрикивал Клеве и протяжно повторял:

Не-ет, не забуду прощальный тот взгляд.

Когда все подхватывали припев, то выделялся голос Кароле Басша, выстилавший густым широким басом:

Милая моя, родная сторона.

В другом конце караван-сарая, где разместилась под навесом русская сотня, посылались выкрики:

— Слышь, камрады, перестаньте скучить, без вас тошно.

— Завтра в Оше напоетесь.

— Эй, камрад, перцу тебе в зад, — визгнул из темноты чей-то молодой, звонкий и озорной голос.

— Не ори, дурак-самоучка, — видишь, люди тоскуют. Ты знаешь, за что бьешься, а они за что? Не трог их, поскулят и перестанут.

Но военнопленные не слышали русских и продолжали петь. Вдруг Иоганн Клеве, сидевший лицом к открытой стороне навеса, мгновенно оправил на голове бескозырку, вскочил, вытянулся и оглушительно крикнул, не соразмеряя голоса:

— Смирно!

Сидевший на земле Кароле Басш оглянулся и увидел над головой шинель мышиного цвета, козырек каски и лакированный чешуйчатый ремень под подбородком. Он вскочил так же быстро, как и Иоганн Клеве. В полосе света стоял обер-лейтенант Цоггер.

— Приказываю прекратить пение и не давать дурного примера другим, — сказал Цоггер, сдвигая брови и вывертывая нижнюю губу так, что она почти соприкасалась с подбородком.

— Слушаемся, герр обер-лейтенант, — отчеканивая каждый слог, ответил за всех Иоганн Клеве.

— Приказываю погасить свет и спать, не раздеваясь.

— Слушаемся, герр обер-лейтенант, — опять ответил Клеве за всех.

Когда Цоггер ушел, Кароле Басш посмотрел на Блоссера и повел глазами в сторону, куда ушел обер-лейтенант. Блоссер понимающе подмигнул и вышел из-под навеса.

Погасили свет, запахло паленой ватой. В темноте послышалось шуршанье сухой люцерны, расстилаемой по полу; в нос ударила едкая щекощущая пыль.

— Пить, — слабым голосом попросил Штанге.

Его напоили теплой водой с запахом бараньего сала, но зато вода была кипяченая.

— Клеве, — позвал Кароле Басш, — ложись со мной; я на двоих постелил.

— А на меня хватит места? — спросил вернувшийся Блоссер.

— Хватит и на тебя.

Все трое, расстелив шинели поверх

хрустящей люцерны, улеглись один возле другого.

— Он ушел к себе в юрту, — вполголоса сообщил Блоссер.

Кароле Басш сказал намеренно громко:

— Ну, и чорт с ним! Тут поважнее дело есть. Кто там крайний, поставьте на всякий случай ящик у входа. — Кароле Басш зажег папиросу. — Ребята, слух подтвердился: в Венгрии установлена советская власть. Ты слышал об этом, Клеве?

— Слышал, — тихо ответил Иоганн Клеве.

На минуту темнота стала безмолвней. Мелькнула и остановилась искра, непомерно увеличиваясь в объеме и яркости; кто-то из куривших сделал длинную затяжку.

— А ты слышал, Клеве, как Франц-Иосифу дали под задницу? — задал вопрос Блоссер.

— Слышал, — еще тише ответил Клеве.

— Это что, — будто со двора донесся голос, — а вот у нас кайзер и этого не стал дожидаться и задал стрекача из Германии. А об этом ты слышал, Клеве?

Это говорил дежурный по коновязи баварец Пфедер, бросивший лошадей без присмотра, чтобы послушать, что говорят под навесом.

— Пфедер, иди на свое место и гляди в оба, — строго сказал Кароле Басш дежурному по коновязи.

Иоганн Клеве был немолодым фронтовиком и знал, что такие разговоры перед боем ведутся не спроста. Но он еще не понимал, чего от него хотят.

— Да-а, жаль мне тебя, Клеве, — сказал Кароле Басш, — выслуживал, выслуживал кайзеровский крест, а теперь он ни к чему.

Иоганн Клеве видел, что Кароле Басш гнул в определенной стороне, — он, Иоганн Клеве, должен объяснить что-то, что было неясно для остальных, повидимому, принявших какое-то окончательное, но скрываемое от него решение. Чутье подсказало Иоганну Клеве, что все надо говорить начистоту. Такие разговоры на фронте перед боем кончались иногда пулей в спину при первой же

атаке тому, кто не внушал доверия и мог провалить задуманное большинством. В отряде мало знали Иоганна Клеве, который все время находился при Цоггере вроде денщика и не жил в вонючем лагере для военнопленных.

— Нам необходимо тебя послушать, Клеве, — сказал Кароле Басш. — За что ты все-таки получил крест?

Если бы осветить в этот момент Иоганна Клеве дневным светом, то все увидели бы, как от волнения он задохнулся, как он снял свою серую, истрепанную бескозырку, вытер ею пот, проступивший на лице и даже на шее.

— Моя совесть чиста, товарищи, — сказал Клеве. — Я расскажу вам про крест.

— Говори, — отозвалось несколько голосов.

— Крест я получил за дело под Гумбинином 20 августа 1914 года. Произошло это так. К вечеру русские неожиданно, без артиллерийской подготовки, пошли в наступление, а казаки обогнули нас с левого фланга. Удар был настолько отчаянным, что все смешалось, и мы, бросая окопы, побежали с криками: «Казаки! Казаки!». Казаки загнали нас в болотную топь, единственным проходом через которую была узкая гать из набросанного хвороста. Получилась пробка из бегущих, справа били пулеметы, слева — наседали казаки. Было совсем темно, когда я, опомнился. Я полз через раненых и убитых, за полы шинели меня хватали сорвавшиеся в болото и умоляли о помощи. Я продолжал ползти, крепко цепляясь за хворост, обдирающий руки. Наконец, я выполз на твердую землю и отдышался. По болоту били шрапнелью. Из тьмы неслись стоны, проклятья и мольбы о помощи. Совсем близко от меня раздался крик: «Товарищи, спасите во имя родины». Я бросился бежать, но крик становился все слышнее, будто он гнался за мной. И тут во мне заговорила совесть. Я вернулся к болоту и, выбрав момент, когда не было шрапнельных разрывов, крикнул: «Я здесь, товарищи». И, так переключаясь, я дополз до человека, уже наполовину засосанного трясиной. Настелив хвороста

вокруг, я вытащил его. Он не мог идти и терял сознание. Я взвалил его на плечи и понес. Выполнение долга дало мне силу. «Во имя родины», говорил я себе. И через час пути со многими остановками я наткнулся на нашу конную разведку. Нас обоих доставили на перевязочный пункт. Человек, которого я спас, был офицер генерального штаба — Цоггер. У него была пуштыковая рана в мягкую часть бедра. Я получил крест и с тех пор считаюсь прикомандированным к Цоггеру по его просьбе перед высшим командованием.

— Отчего же ты крест не носишь, а говоришь, в Скобелеве ходил с крестом? Иоганн Клеве долго молчал, будто обдумывая, как ответить, потом сказал:

— Крест я перестал носить. Такой случай вышел. Весной прошлого года Цоггер с одним австрийским полковником выпивали как-то вечером. Потом Цоггер дал мне денег, велел в аптеке купить принадлежность и привести для них с полковником дешевую потаскушку из городского сада. Я, может быть, и не ослушался, если бы тут не было австрийского полковника. Я сказал Цоггеру, что не могу выполнить такое поручение, и положил деньги на стол. Цоггер ударил меня в лицо. Я сказал, что он не имеет права, на мне орден Железного креста. Тогда он ударил меня другой раз. Я ушел из города в лагерь военнопленных. На другой день Цоггер разыскал меня там, много извинялся, и... я вернулся.

— Напрасно, — с нескрываемым сожалением сказал Блоссер, — хороший ты, как видно, парень, а тут оказался дерьмом.

— Не совсем так, — сказал Клеве, — тут была причина важнее моего оскорбления. Цоггер открыл мне свой план, что, как очистятся перевалы, он обязательно уйдет в Афганистан, в Кабул, и что я ему необходимый в этом человек. На этом условии я согласился, на условии: попасть на родину.

— Чорта с два! — торопясь и повышая голос, заговорил самый молчаливый в отряде австриец Дитмар с обвисшими светлыми усами, которых не видно было теперь в темноте.

Дитмар три года обдумывал план побега на родину и по праву считал себя специалистом в этом вопросе.

— Прекратить мальчишеские бредни, отставить! — горячился Дитмар. — Во-первых, таджики берут за доставку одного человека до границы Афганистана шестьсот фунтов стерлингов, да лошадь, да продовольствие, да теплая одежда для горных перевалов, да надо доехать до Кабула, да в Кабуле будешь пять лет зарабатывать деньги на дорогу, да...

— Стой! Повернись! Но! — слышался на дворе голос Пфефера, по-немецки кричавшего на лошадь.

— Затем, во-вторых...

— Дитмар, замолчи! — вполголоса крикнул на него Блоссер.

— Вам же, молокососам, объясняю... — прошептал Дитмар, не в состоянии остановиться на полуслове.

— Но! Повернись! — неистовствовал на весь двор дежурный по конюезе.

— Замри, ребята, Пфефер дает сигнал, — скороговоркой предупредил товарищей Кароле Басш.

У входа под навес слышался шум упавшего ящика, и раздался злой голос Цоггера:

— Почему на дороге ящики? Зажечь свет!

В разных местах в темноте вспыхнули спички. Люди поднимались на ноги, в черепке загорелся ватный фитиль, и мгновенно возникли всюду живые, вздрагивающие тени. Оттолкнув ногой ящик, Цоггер остановился и заложил руку за борт шинели.

— Приказываю седлать, — сказал Цоггер, делая большую паузу. — Через восемь минут быть готовыми к маршу.

В манере Цоггера говорить только в повелительном наклонении, в оттопыривании нижней губы, в лице, в позе, во всей его высокой, худощавой фигуре дышал непреклонный деспотизм, вызывающий инстинктивное сопротивление даже у самых смиренных.

Иоганн Клеве заученно отчеканил свое обычное:

— Слушаемся, герр обер-лейтенант.

Когда Цоггер ушел, австро-германцы бросились к своим лошадям, молча сед-

лали в темноте и молча бежали под навес за забытыми вещами.

Русские с шумом и ругательствами седлали своих коней. Кто-то угрожающе кричал:

— Отдай, говорю, тренчик, а то я у тебя все поотрезаю!

— Я тебе, занюханный, поотрезаю. Отойди!

— Господин голковник, у меня темляк переменяли, вместо офицерского ременный привязали.

— Разговоры кончить! Шевелись! — разносился на весь двор караван-сарая голос юнкера Поплавского.

И, когда русская сотня тронулась со двора, отряд Цоггера уже стоял на краю площади в полной готовности, выстроившись справа по три.

Через площадь непрерывным шумящим потоком двигались узбекские и киргизские конники. Это шли на Ош главные силы Хал-Ходжи из урочища Талдык, что было на полпути между Лангаром и Мады. Невидимая в темноте густая пыль туманила звезды над площадью и осыпала лица и руки, нежно трогая кожу, будто по ней полз ветерок.

Объезжая строй своего отряда и проверяя, как завьючены пулеметы и юрта, Цоггер обнаружил в задних рядах оседланную лошадь без всадника.

— В чем дело? — нетерпеливо спросил Цоггер.

Он еще не рассмотрел в темноте, что это была лошадь больного Штанге, которого в самодельных носилках из шинелей держали двое в предпоследнем ряду. Штанге ослаб, и товарищи решили посменно нести его на руках до Оша, где можно было достать хинин и помочь больному.

— Отставить эти выдумки, — приказал Цоггер. — Передать больного местному населению, оружие и лошадь взять с собой.

Пфефер и Дитмар спешили и отнесли больного в чайхану. Они положили Штанге на ближайший помост и прикрыли шинелью маленькое, худое тело левофлангового.

— Совсем оставляете? — спросил Штанге.

— Мы вернемся за тобой, — сказал Пфефер.

— Вернемся, — подтвердил молчаливый Дитмар.

И, поцеловав мокрое от слез лицо больного, они торопливо отошли в строй.

Послышалась разноязычная команда, покрываемая певучим голосом юнкера Поплавского:

— Шагом ма-арш!..

Аскеры личной охраны Хал-Ходжи первыми тронулись с площади, исчезая в узкой, под гору идущей улице. За ними двинулся отряд Цоггера, в тыл которому заходила русская сотня.

★

Ранним утром, когда край солнца едва высунулся из-за снежных хребтов, Хал-Ходжа отдал приказание о привале. И беспорядочно движущийся под гору извилистый поток конников остановился в глубокой лошине с каменным дном. Впереди был последний холм, закрывавший вид на город Ош.

Хал-Ходжа взехал на холм в сопровождении своих помощников и военачальников. Внизу вдоль реки Ак-буры длинной полосой вытянулись сплошные сады, застилая постройки и сливаясь на горизонте в плоский синеющий лес. И только высокие пирамидальные тополя возносились над массивами зелени и стояли выпукло, как живые, окружая подножие темной одинокой скалы Сулейман-Тахта.

На вершине холма Хал-Ходжа оставил своего черного запыленного жеребца. Цоггер услужливо протянул командующему мусульманской армии цейсовский бинокль. Хал-Ходжа отстранил бинокль, — в этом море зелени он простым глазом узнавал пушистые ветлы, серебристые тополя, темную окраску тутовника, шарообразные карагачи и белую листву джиды. Сзади из лошины доносился до Хал-Ходжи разноязычный говор, иногда покрываемый вскриком, командой или ржанием коня; впереди лежал беззащитный Ош — восточные ворота Ферганской долины и узел всех арбяных и вьючных

дорог для караванов, идущих в Китай и обратно.

Хал-Ходжа нетерпеливо переместился в седле, запахивая и прижимая коленом выбившуюся полу халата. Бледное черношерстное лицо его оживилось волнением близкой удачи. Под пушистой лисьей шапкой, низко надвинутой на лоб, возбужденно заблестели маленькие, черные хитрые глаза. Не дожидаясь конца привала, он велел юзбаше первой сотни личной охраны немедленно выехать вперед для передачи письма коменданту крепости.

Юзбаша, высокий худой узбек из Ханабада, взял из рук Хал-Ходжи письмо, осторожно завернул его в широкий поясной платок и произнес: какую-то сложную команду. Из головы колонны выдвинулась полусотня с кривыми шашками и ли-энфильдами, дула которых были заткнуты от пыли клочками ваты. Полусотня тронулась, шелкая подковами по крупному щебню, и сразу пошла на рысях.

Проводив отъезжающих длинным взглядом, Хал-Ходжа оглянулся на своих приближенных и улыбнулся той, едва заметной, своей улыбкой, которая больше была похожа на сдерживаемый оскал хищника, желающего казаться безобидным. В своем письме Хал-Ходжа извещал коменданта крепости, что он переходит на сторону советской власти, и просил сообщить об этом высшему командованию Ферганской области.

После короткого привала конное скопище снова пришло в движение, огибая подошву холма и устремляясь в узкое горло лошины, выходящей на покрытое высохшей травой плато. Уже головные отряды, застилая город пылью, достигли площади перед крепостью, а из лошины только начинали показываться киргизские конники, вооруженные серпами, самодельными пиками и дубинами с гвоздями. Это были наиболее фанатично настроенные, идущие под зеленым знаменем газавата — священной войны против русских до полного их истребления. Русских они себе представляли по 1916 году, когда царские залили кровью все земли восставших кочевников. Хал-Ходжа, разжигая фанатизм

голодных киргизов, пользовался ими как живым заслоном при наступлениях.

Киргизы заняли всю площадь перед крепостью и клином — между крепостью и тополевой рощей — выдались к реке. За рощей, среди мелкого кустарника, расположилась личная охрана Хал-Ходжи и сотня юнкера Поплавского. Шестьсот алайских киргизов, вооруженных ли-энфильдами и клинками, были размещены в садах, закрытых постройками со стороны крепости. Мелкие отряды расползлись по русской и азиатской части города до самого Сулейман-Тахта в поисках фуража, продовольствия и всего, что попадется под руку: золото, дорогой ковер, шелковый халат, молодая женщина...

Самая горячая работа досталась оберлейтенанту Цоггеру. Он должен был разместить пулеметы так, чтобы они могли обстреливать и крепость и западную дорогу к крепости. Один пулемет и шестерых военнопленных для прикрытия Цоггер замаскировал на краю рощи, недалеко от своей юрты. Другой пулемет с десятью военнопленными для прикрытия были спрятаны на плоской крыше под ветвями высокого тутовника, откуда хорошо обстреливались крепостные ворота и большая часть плато.

В тополевой роще рубили деревья. Привезенные из азиатской части города узбекские плотники делали длинные лестницы для штурма крепостных стен. На площади перед крепостью были схвачены два местных узбека — агитаторы, поздравлявшие киргизов с переходом на сторону советской власти. Хал-Ходжа приказал схваченных узбеков забить палками, как изменников исламу.

В большой белой юрте Хал-Ходжи были высоко подняты кошмы с теневой стороны. В юрте шел пир. С мраморных блюд работы риштанских мастеров брали коричневыми руками, засученными по локоть, ферганский плов, со свистом втягивали в рот прилипавший к пальцам жирный рис. Хал-Ходжа торжествовал. Его хитрость, рассчитанная на доверчивость и великодушные большевиков, удалась: он подошел под самые стены крепости, не потеряв ни одного аске-

ра. Хал-Ходже было известно, что у защитников крепости нехватит патронов даже на истребление безоружных киргизов, по его приказанию расположившихся под крепостными стенами.

Когда были готовы высокие тополевы лестницы и Хал-Ходжа еще диктовал письмо с предложением сдать ему крепость без боя, со стороны Сулейман-Тахта послышались торопливые беспорядочные выстрелы. По звукам легко можно было определить, что стреляли из английских винтовок.

— Нима бу? (Что это?) — строго спросил Хал-Ходжа, одевая на палец снятый было перед тем перстень-печатка с большим бирюзовым камнем. По узбекскому поверью, кольцо с бирюзой предохраняет всадника от несчастных падений с коня.

Хал-Ходжа прислушался: выстрелы затихли. К юрте подскочил юзбаши второй сотни с пулеметной лентой на голове вместо чалмы и крикнул, нагибаясь в седле:

— Хал-Ходжа-ата, Зазбон кеян! (Отец, Зазвонов появился!).

— Ялган! Кайдà Зазвонов? (Врешь! Где Зазвонов?) — сердито закричал Хал-Ходжа, выходя из юрты и всматриваясь по направлению вытянутой руки юзбаши.

По ровному месту, мимо мазаров, огибая подножие Сулейман-Тахта, рысью двигались кавалеристы, казавшиеся на расстоянии игрушечными. Их было около трех сотен. Видно было, как сначала отстала небольшая группа всадников с двумя коротконосыми, на низких колесах, орудиями, снимая их с передков. Затем еще отстали всадники, раз'езжаясь в разные стороны и снимая с лошадей станковые пулеметы. Остальные конники, не меняя направления, рысили к лошади, по которой пролегла дорога в горы. В последнем ряду тянули за поводья отстающих двух лошадей с завьюченными пулеметами.

Это спешил на помощь защитникам Оша легучий партизанский отряд слесаря Зазвонова, всего лишь три часа тому назад растрепавший в урочище Гуль-бас басмаческую шайку Араванского курбаши и теперь вступивший в

город с неожиданной стороны. Зазвонов вел отряд к ложине, чтобы закупорить басмачам выход в горы и зажать их между крепостью и своим отрядом.

Хал-Ходжа, как старый опытный зверь, которого не один раз пытались ловить, сразу понял, что хотел сделать Зазвонов. С удивительной быстротой, благодаря басмаческой привычке не расседлывать коней, личная охрана Хал-Ходжи собралась и была готова к бою. Русская сотня замешкалась, по пяткам и десяткам присоединяясь к бестолково кричащему с коня юнкеру Поплавскому. Из ближних садов выскакивали верховые алайские киргизы и, торопливо нахлестывая лошадей, собирались в одну тесную конную толпу. Некоторые всадники, возбуждая себя и товарищей, стреляли вверх из винтовок и револьверов.

Хал-Ходжа приказал обер-лейтенанту Цоггеру немедленно, пока было время, выкатить пулеметы вперед и обстрелять партизан до рукопашной схватки. Но ни пулемета, ни военнопленных на крыше под туювником не было. Исчезли также и люди, приставленные Цоггером к пулемету у его личной юрты. Обер-лейтенант при помощи Иоганна Клеве и двух аскеров выкатил из-за кустов пулемет, лег в пыль, прицелился и нажал спусковой рычаг. Замок был вынут, пулемет не работал. Цоггер бросил его и побежал в кусты к своей лошади, которую держал в поводу Иоганн Клеве. Хал-Ходжа нетерпеливо тронул своего черного жеребца, рассчитав, что успеет сблизиться с партизанами прежде, чем они пустят в ход завьюченные еще пулеметы. Выскочив из-за роши, басмачи бросились к ложине наперерез партизанам.

— Ур! Ур! (Бей! Бей!) — хрипло рычал Хал-Ходжа, пожелтев в лице и наотмашь заноса на скаку свою короткую кривую шашку с белой рукояткой.

Впереди Хал-Ходжи, огораживая его полукругом, неслись аскеры личной охраны, вывертывая белки и вскрикивая:

— Ур! Ур!

Позади, нагоняя аскеров, пылила по сухой траве русская сотня во главе с По-

плавским и Цоггером. Иоганн Клеве, продираясь сквозь конные ряды, старался не отставать от Цоггера. На значительном расстоянии от русских одной громадной толпой двигались шесть сотен хорошо вооруженных алайских киргизов в обход левого фланга партизан.

При сближении с Хал-Ходжей наиболее нетерпеливые партизаны высунулись намного вперед, растянувшись редкой, неровной цепочкой. Хал-Ходжа легко смял неосторожных смельчаков, и аскеры, опьяненные успехом, зарыкали с новой силой:

— Ур! Ур!

— Ура! — закричали русские кулаки из-под Джелал-Абада, ободряя басмачей.

Медленно набирая скорость, к месту схватки двигалась кричащая конная толпа алайских киргизов с обнаженными короткими клинками, легкими на взмах и быстрыми на удар.

Последние секунды отделяли партизан от озверевших от крови и превосходящих их числом басмачей. Обнаженный клинок и револьверный выстрел — вот все, чем могли партизаны встретить врага.

Хал-Ходжа видел затруднение партизан и стремился во что бы то ни стало решить дело быстрой рукопашной схваткой.

Но пулемет все-таки заработал. Застрочила отчетливая длинная очередь, внося неожиданную ясность, порядок и ритм в хаос криков, топота и одиночных выстрелов. С крайней плоской крыши бил невидимый среди зелени и никому неизвестный пулемет. И только воткнутая в глинобитный забор длинная палка с красной тряпкой указывала приблизительное место пулеметного гнезда.

Шестьсот алайских киргизов, которые должны были решить исход боя, сразу замедлили движение, потом передние всадники повернули назад, и вся конная толпа отхлынула, оставляя на сухой траве барахтающихся лошадей и людей. К ложине побежал кривоногий киргиз в меховой шапке, бросив раненую лошадь, клинок и английскую винтовку. Поднятой полкой халата киргиз закрывал голову от пулеметной очереди.

Хал-Ходжа, увидев бегство алайских киргизов, круто повернул всадников своей личной охраны и скрылся в лошине. Весь удар конников Зазвонова обрушился на сотню Поплавского. Русские кулаки из-под Джелал-Абада, не успев проскочить в лошину, повернули назад и бросились вплавь через Ак-буру. Но ни один из них не вышел на другой берег.

Как только безоружные киргизы, стоявшие у крепости, поняли, что Хал-Ходжа разбит, среди них поднялась невообразимая паника. Бросая выцветшие зеленые знамена, серпы и дубины, киргизы ринулись к лошине, где уже были установлены пулеметы. Ни приказ, ни уговоры, ни угрозы — ничто не могло остановить киргизов. Они лишь видели перед собой обратный путь на родину, который кто-то хотел им преградить.

Зазвонов мог бы расстрелять это скопление — только лишний раз закипела бы вода в пулеметных кожухах. Ни сейчас и ни после никто не осудил бы его за уничтожение живой силы врага. Какой строгий судья осудит бойца, который в огне боя забыл человечность?

Слесарь Зазвонов, бывший фронтовик, командир партизанского отряда, с волнением смотрел на приближающуюся конную лаву. У киргизов были худые коричневые лица, из продырявленных халатов, давно потерявших цвет, торчали клочки грязной ваты — это была живая, потрясающая нищета. Всадники стремительно неслись к горному проходу: у каждого была надежда, что если девять упадут под огнем, то он — десятый — прорвется на родину.

Когда головные конники были всего лишь в ста шагах от прохода, Зазвонов на глазах у киргизов приказал откатить пулеметы с дороги. И киргизы, увидев это, еще стремительнее и уже сплошным потоком хлынули в узкий каменный коридор, приплюсывая к стенам дико воющих всадников.

Зазвонов спокойными глазами провожал уходящих киргизов — они уже никогда больше не поднимут руку против туртынчи (большевиков). Они теперь видели живых туртынчи.

У крайней мазанки с плоской крышей, с которой бил во время боя пулемет, спешилось несколько партизан. Австро-германцы прыгивали с крыши на траву, здоровались с партизанами и угощали их крепкими английскими сигаретами.

Бывшие военнопленные горячо уговаривали партизан найти свежих лошадей и ударить в погоню за басмачами.

— Товарищ, — уговаривал венгерец Кароле Басш, порывисто прикладывая к груди испачканную в пулеметном масле руку. — Товарищ, надо дэржить эдин немьецки офицер!

☆

Отступающие басмачи, свирепо работая камчами, гнали в гору взмыленных храпящих лошадей.

Кроме двух сотен личной охраны Хал-Ходжи, среди отступающих были Цоггер с Иоганном Клеве и юнкер Поплавский с десятком русских кулаков из-под Джелал-Абада.

Во время отступления юнкер Поплавский выронил клинок. Цоггер потерял каску и теперь ехал, обвязав свою рыжую голову носовым платком. У лошади Цоггера слегка задело пулей заднюю ногу, но она шла хорошо и лишь на каменных россыпях слегка прихрамывала.

На первом повороте, где дорога стала подниматься еще круче, Хал-Ходжа приказал юзбаши первой сотни своей личной охраны сделать засаду на случай преследования. Юзбаши, высокий худой узбек из Ханабада, неохотно подчинился приказанию и велел спешиться полусотне аскеров, которые залегли на повороте, высматривая далеко видную щебенчатую дорогу, идущую под гору на Ош. Юзбаши знал не хуже Хал-Ходжи, что Зазвонов не бросит своих партизан под пули в узкие горные проходы.

Когда Хал-Ходжа достиг кишлака Мады, то он не нашел там ни кишлачных аксакалов, ни пятидесятников, ни англичанина, куда-то таинственно пропавшего вместе со своими сипаями. Беднота, попрятав скот и люцерна, отси-

живалась в запертых домах. Казалось, кишлак внезапно обезлюдел.

В воротах дома Миркамиль-бая Хал-Ходжу встретил не хозяин, а седобородый старик в чалме, наблюдающий за его женами. В маленьких глазах курбаши загорелся зловещий огонек. Старик взял повод левой рукой и, низко склонившись, правой придержал медное стремя сходящему с коня Хал-Ходже.

Отдав старику взмыленного жеребца, Хал-Ходжа прошел на большую открытую террасу с высоким потолком из цветных балок. На террасе торопливо разостлали перед ним мохнатый коврик и бросили на него охাপку длинных овальных подушек. Один телохранитель кинулся раскуривать чилим, другому Хал-Ходжа велел собрать людей на военный совет. Под видом военного совета Хал-Ходжа хотел проверить настроение своих подчиненных.

На дворе шумели прибывающие всадники, размещая коней и ругаясь друг с другом за место в тени.

Около садового дувала два басмача заспорили из-за добытого где-то снопа сухой люцерны. Конюх Хал-Ходжи подошел и отобрал у них рассыпающийся сноп для лошади командующего. Оба басмача, поддерживая друг друга, изругали конюха и неохотно расстались со снопом.

Аскеры вели себя совершенно свободно, nepочтительно забыв о своем курбаши, сидевшем на подушках тут же на террасе. Хал-Ходжа хмуро наблюдал за развязным поведением аскеров, почему-то въехавших во двор, и его бледное черношерстное лицо становилось все более зловещим.

На террасе собрались оставшиеся многочисленные помощники курбаши. Здесь же были, приглашенные для счета, и юнкер Поплавский с двумя своими подручными и Цоггер в сопровождении Иоганна Клеве. Несколько запоздавший юзбаши первой сотни, высокий худой узбек из Ханабата, сел по правую руку от Хал-Ходжи, подложив под себя шелковую подушку, валявшуюся зря. Юзбаши второй сотни с пулеметной лентой на голове вместо чалмы, сидевший слева от Хал-Ходжи, ревниво по-

морщился, — он, как и все, показывая почтение к курбаши, сидел на голых досках пола.

— Мы думали и решили: надо итти на Кара-Дарью, — сказал Хал-Ходжа. — Как пойдем? — спросил он собравшихся.

Все молчали, придумывая путь отступления, который сошелся бы с желаниями Хал-Ходжи. Советчики ждали, чтобы командующий подсказал им еще что-нибудь, после чего можно было бы сказать, попадая в цель наверняка.

Юзбаши первой сотни сделал нетерпеливое движение рукой, он желал говорить.

— Айтин (говори)! — сказал Хал-Ходжа.

Юзбаши предложил другой план. По его мнению, более полезным для дела ислама был противоположный путь: итти через кишлаки Кунгур-язы и Араван на соединение с мусульманской армией Мадамин-бека. Все внимательно слушали первого помощника Хал-Ходжи, известного своим бесстрашием в бою.

Хал-Ходжа не хуже юзбаши знал этот безопасный и короткий путь. Но, слившись с полчищами Мадамин-бека, он навсегда потерял бы свою неограниченную власть. Жить — это значило властвовать, все остальное для Хал-Ходжи было хуже смерти.

— Как пойдем на Кара-Дарью? — повторил он свой вопрос, прерывая юзбаши и этим давая ему понять, что план его неприемлем.

Но юзбаши продолжал доказывать собравшимся военную выгоду от соединения с армией Мадамин-бека.

Бледное лицо Хал-Ходжи стало желтым.

— Басс инды! (Довольно!) — крикнул он, вставая и нащупывая за поясным платком рукоять револьвера. Когда стало тихо, Хал-Ходжа сказал юзбаши: — Походка твоя пусть будет скромная. Говори голосом тихим, потому что самый неприятный из голосов есть голос осла. Схватите изменника исламу!

Телохранители взяли за руки бывшего первого помощника Хал-Ходжи.

С нескрываемым торжеством отдавал последние распоряжения юзбаши второй сотни с пулеметной лентой на голове вместо чалмы: самый сильный его соперник был в его руках.

Обезоруженного бывшего юзбаши повели через двор в сад. Телохранители на ходу закатывали ему длинные рукава стеганого халата, чтобы надежнее было держать за руки. По растерянному лицу бывшего помощника командующего видно было, что он еще не совсем понял, зачем и куда его увядят.

Как только Хал-Ходжа ушел с террасы во внутренние покои дома, юнкер Поплавский велел своим подручным немедленно выступить из кишлака. Цоггер приказал Иоганну Клеве перевести лошадей во двор караван-сарая.

Лошади в караван-сараяе были поставлены Цоггером в самый дальний угол за глинобитную перегородку. Он приказал Клеве закрыть ворота караван-сарая и наблюдать за происходящим на площади. Цоггер опасался, что Хал-Ходжа пошлет отыскать его и прикажет следовать за собой.

Вскоре через площадь пропылили всадники Поплавского, направляясь к дороге, ведущей на Джелал-Абад. Через несколько минут из ворот дома Миркамил-бая стали выезжать басмачи, вытягиваясь на площади рядами по четыре всадника. Едва басмачи успели выстроиться, как в воротах показался на черном вычищенном жеребце Хал-Ходжа, в сопровождении телохранителей. Хал-Ходжа выехал в голову отряда, и всадники, пересекая площадь наискось тронулись к дороге на Кара-Дарью. По правую руку от Хал-Ходжи ехал юзбаши с пулеметной лентой на голове вместо чалмы, а по левую—вновь назначенный вторым юзбаши, уч-курганский узбек с красивым и смиренным лицом.

Когда басмачи проезжали совсем близко от закрытых ворот караван-сарая, Цоггера схватила нервная лихорадка: руки у него задрожали мелкой дрожью. В щель было видно, как совсем рядом мелькали влажно блестящие на солнце, еще не высохшие от пота крупные гнедых, карих и рыжих лошадей.

Наконец, промелькнули последние ряды, и глухнущие в глубокой пыли звуки копыт стали затихать, удаляясь. Цоггер приказал Иоганну Клеве открыть ворота караван-сарая.

Цоггер торопился. С минуты на минуту в кишлак могли войти партизаны. Иоганна Клеве он оставил на часах у ворот караван-сарая, а сам пошел в чайхану. Очень быстро он вернулся с бородатым человеком в полосатом халате и в желтой чалме, которого Иоганн Клеве видел еще вчера утром у Цоггера в юрте. Это был проводник, таджик из Дарваза, возвращавшийся из Ферганы на родину и по сходной цене нанятый Цоггером до афганской границы.

Пропустив в ворота таджика, Цоггер остановился перед Иоганном Клеве и повелительно сказал:

— Иоганн, пойди...

Цоггер еще не придумал, куда должен пойти Клеве, но приказательный тон уже обогнал его мысли. Чтобы люди повиновались ему, он старался не показывать им сомнения в том, что они могут повиноваться. За это первобытное правило, известное каждому взводному, он держался, как за открытие, принадлежащее только ему.

Иоганн Клеве старательно вытянулся и замер с винтовкой к ноге, ожидая приказаний от офицера генерального штаба, с которым он сейчас отбудет на родину.

Цоггер послал его в чайхану за холодной кипяченой водой. Когда Клеве ушел, Цоггер бросился в конец двора, к лошадям. Он на ходу расстегнул и сбросил с себя шинель. Таджик подал ему теплый ватный халат и азиатскую шапку, опушенную мехом. Поверх халата, стянутого в поясе шинельным ремнем, Цоггер справа повесил маузер, слева — полевой бинокль. Осмотрев рану в ногу у своей лошади, он снял с нее седло и переложил его на лошадь Иоганна Клеве. Все было готово. Цоггер еще раз проверил переметную суму, набитую пачками английских бледнозеленых кредиток, цену которым не знал Хал-Ходжа, и сказал по-узбекски таджику-проводнику:

— Кет (Пошел)!

Таджик вывел свою лошадь из потайного закутка, заваленного жердями и сухими стеблями хлопчатника.

В воротах показался Клеве, неся в руках пиалу и бутылку с остуженным зеленым чаем. Он быстрым, расторопным шагом подошел к Цоггеру и протянул ему пиалу. Цоггер грубо отстранил руку Иоганна Клеве и тронул лошадь. Клеве выпустил пиалу и схватился за повод. Он узнал свою лошадь; он понял, что Цоггер уезжает и не берет его с собой.

— Вы не можете меня обмануть, герр обер-лейтенант. Вы обещали меня взять на родину, — сказал Клеве, не отпуская повода и просяще глядя на Цоггера.

— Я приказываю тебе остаться. Отпусти лошадь! — закричал Цоггер, вырывая повод.

Лошадь затопталась, вскидывая передними ногами. Но Иоганн Клеве не только не послушался, а бросил бутылку и ухватился за повод другой рукой. Клеве не знал, как ему надо поступить, и чувствовал, что сердце делает какие-то страшные движения, мешая дышать и говорить.

— Я спас вам жизнь... Вы должны...

Во имя родины... — задыхаясь, говорил Клеве.

Оглянувшись на таджика-проводника, Цоггер сказал ему по-узбекски, показывая на ворота:

— Кет (Пошел)!

Таджик тронул свою лошадь.

Цоггер вынул маузер и повторил свое приказание:

— Отпусти лошадей!

Увидев направленный на него сверху револьвер, Клеве как бы опомнился. Он бросил повод и, отступив несколько шагов назад, сорвал с плеча винтовку и дернул затвор к себе. В серых напряженных глазах его засветилась бесповоротная решимость.

Раздался сухой револьверный выстрел. Клеве согнулся и упал лицом вниз. Он не чувствовал боли, но его что-то не пускало и с нечеловеческой силой придавливало к земле, как это бывает в кошмарном сне, когда мысль отчетлива и прозрачна, а члены не повинуются ей. Лежа, слабеющими руками Иоганн Клеве дослал патрон в ствол и выстрелил.

Но на дворе караван-сарая уже никого не было, и лишь в открытых воротах клубилась легкая, пушистая пыль.

Утро в Баку

П. АНТОКОЛЬСКИЙ

★

Снова за окнами — розово-млечный,
Дымно-янтарный, предутренний час.
Снова ты в древней фате подвенечной
Входишь, любимая, не постучась.

Здравствуй, моя недотрога! Ты та же.
Сколько на свете неконченных дел,
Страстных, замаранных в дыме и саже,
Сколько я зрелищ не доглядел,

Не долюбил, не додумал и недо-
Высказал!.. Здравствуй, морская заря!
Встала ты Самофракийской Победой,
Светлые складки туники струя.

Башни хозар и мечети османов
Вышли навстречу и, озарены,
Вспомнили где-то за синью туманов
Ржанье коней и хрипенье зурны.

Новые люди, чья почва и климат
Дышат полуденным мощным трудом,
Снова тебя, как товарища, примут
И пригласят в человеческий дом.

Солончаки, промысла, буровые,
Вышки и крекинги, встав издали,
Руки протянут тебе, как впервые,
В первые утра дыханья земли.

Сядем же с нами за стол и окинем
Глазом хозяев залив голубой!
Сядем и чаши тяжелые сдвинем,
Выпьем за раннюю встречу с тобой!

★

Звезда

РАССКАЗ

ВИТ. ФЕДОРОВИЧ

★

Люли, сынку, люли!
Вырастай в забаву,
Казачеству на славу,
Вороженькам в расправу.

Стар. украинская песня

Волна качает «Алтай» неровно, нежно. Тихолоз сидит на палубе, у фок-мачты, и лениво растягивает на коленях светлозеленый скафандр. Рядом — пузырек с клеем и тонкая резина для заплат. Дверца фальшборта распахнута, железная лесенка свисает в море. С соседней баржи кивает под'емный кран — на конце его стрелы горит алмазом блок. По кораблю ходит сетка отраженного морем света: кажется, сквозь дерево и железо силится проглянуть чье-то доброе лицо... Руки Тихолоза падают на колени, он слушает с улыбкой, как хлюпает под бортом вода. Он запрокидывает голову к мачте, смотрит в синеву.

Под таким небом боронить бы парой лошадей тираспольский чернозем, к вечеру итти по селу, слушать песни скворцов. Да если бы еще — новый курень и в нем поджидала бы вечерять такая жинка, как Маруся Графова...

Мечтать мешают Сергеев с Ильиным. Седоусый инструктор Сергеев в белом кителе сердито пыхает дымом папироски в лицо комсorghу Ильину, который стоит перед ним в одних штанах и босой. Спорят или ссорятся — не разберешь. В этом месте, где стоит «Алтай», в военное время спущен немецкой миной теплоход «Меркурий»; теперь его готовят к под'ему, — и Сергеев ругает приказ Василия Ивановича: к чему это сдавать

мелкие вещи, которые могут попасться водолазу на затонувшем корабле?.. В тесных дверцах камбуза шевелится толстая спина кока Ивана Ивановича в полосатой майке — и он слушает спор.

— Лезь, главное, на тридцать метров... — Сергеев пускает клуб дыма в лицо Ильину. — Ройся в илу... Колечко, сережку — давай сюда!

— Колечко, сережка — задача попутная...

— Попутная... — скрипит Сергеев. — Как свиноте, хрюкать в илу...

— Не хрюкай. Работай без всякого звука.

— Молокосос!

Ильин напряжинивает мускул и слегка наклоняется, сгибаясь в пояснице:

— Двадцать три мне года, восемь месяцев.

Тихолоз понимает, в чем дело. Ильин не может сказать напрямки: отвянь, папаша! лайся, не лайся, раз тебе доктор Иван Максимыч запретил глубокий спуск — кончено! ходи в гавани на пяти-семи метрах, баламуть воду, обучай молодых... Но заповедь твою: «не запотей!» — весьма уважаем. И помним по-двиг твой. Помним, как завалило тебя в туннели под «Пеликаном» грунтом, и должен был ты погибнуть под двойным давлением воды и земли. А ты приказал себе в смертный час: не запотей! Нико-

го не взбаламутил, не закричал, не потерял голову, — ты выручил себя сам: лежал и пробивал струей из пипки лазейку! Ты бился со тьмой один-на-один, — кто это забудет?

Согнув руку, Ильин играет бицепсом, щупает его и, улыбаясь, переламывает спор.

— Илу там — до чорта, да костей... Сволочно воевали немцы!

Сергеев молчит с минуту — язвительно вьется плотный дымок в седых усах — и выпускает клуб в лицо комсору:

— Ну?.. Ты воевал?.. — Еще клуб дыма в лицо. — Двадцать три года восемь месяцев... — Но папироска уже кончена. Сергеев поперхнулся дымом вагы и швырнул окурок: — Проклятая... была жизнь... до Октября...

— Тухлая!

— Свиньячя! — подкидывает на ходу сок Иван Иванович, улыбаясь рябым, блестящим от жира лицом, и вываливает в море корзину картофельных очисток.

— Но ведро ты нашел дырявое... ведро... — Сергеев как бы настигает криком толстую спину кока, которая опять тесно влезает в дверь камбуза: — .. ведро или шкатулку с бриллиантами — твоя звезда!

«Звезда, — думает Тихолоз, влезая в скафандр ногами, — звезда... Вот Маруся Графова — то звезда!».

Как заберет он ее сердечко, должна она поехать в село! Почему бы ей не поехать? Старый курень? Что за беда, — будет новый!

Ильин хохочет, приседая с вытянутыми вперед руками:

— А тебе, товарищ Сергеев, жалко той «звезды»?

— Дура!

Жирная спина кока Ивана Ивановича трясется от смеха.

Неловко ковыляя в натянутом до бедер скафандре, Тихолоз подходит к спорщикам. Ильин и Сергеев хватают скафандр за горловину и натягивают резину до тихолозовой шеи. Тихолоз вправляет руки в рукава комбинации и шлепается на горячую палубу светлозеленой лягвой. Он бухает полупудовыми кало-

шами по палубе, шнурует их на ногах. Ильин молча приседает на левую ногу с вытянутой вперед правой, медленно встает и спрашивает Сергеева:

— Что ж при старой «звезде» не растузел?

Сергеев проверяет воздушный клапан в тихолозовом шлеме, а Ильин поднимает медную манишку и с усмешкой накладывает на плечи Тихолоза.

— Я и сейчас — туз, а не шестерка!.. — Сергеев нахлобучивает на голову Тихолоза шлем и круто завинчивает иллюминатор.

Старик легонько хлопает Тихолоза по шлему: все в порядке! Улыбка чуть разводит седые усы. Тихолоз грохает по лесенке свинцовыми подошвами: ломок — в одной руке, щуп — в другой. Море полыхает светом. Но Тихолоз улыбается сквозь иллюминатор далекому берегу... Там, на Новорыбной, есть больница, по белым палатам ходит в белой косынке синеглазая сестра Маруся Графова, ходит быстрая, как ялик под парусом.

«Эх, Марусенька!».

По линию Тихолоз попадает на борт «Меркурия». Нос должен быть справа, корма — слева. Тихолоз двигается к шкафуту. Ему надо спуститься в трюм — здесь, в шкафуте, отделение для морской провизии. Его урок: очистить стенку корабля от мусора, от ила до междудонного пространства, пробрать щупом броню лист за листом — нет ли трещин, разрывов, не нужно ли ставить где «пластырь».

Попадаются опрокинутые лебедки, бутылки, трос, обломанный рангоут. Ил, тьма — до чего тесный цех! А Маруся Графова спрашивала позавчера: какие рыбы плавают, какие подводные растения цветут? Это она на картинках видела: водолаз — среди пучеглазых рыб, осьминогов, крабов, разных диковинных звезд и цветов. А тут одно: тьма, дави башкой клапан, травы дохлый воздух, ре-гу-ли-руй, чтоб тебя не вынесло пробкой, помни про воздушный шланг, не пропори рубашку, не разбей иллюминатор. Не будь шляпой при работе! Тут — одно зимой и летом: ручьем по-

теешь, да, чем ни глубже, тем больше жмет ноги и руки. Он сказал про это Марусе, как есть по чистой правде, а она так сильно обиделась, вроде он в чем-то ее обманул!

Тихолоз долго искал люк, пядь за пядью щупая палубу шкафута под мягким, как мыло, илом. Есть люк! Ломком Тихолоз открыл его и осторожно поднял. Он спустился в трюм, в отделение для мокрой провизии. На дне нашел клепки и обручи... — оно самое, отделение с железными переборками! А стояли тут бочки с вином, ромом, коньяком и, конечно, с уксусом, солониной и капустой. Но с шестнадцатого года лезили сюда «старатели» — частник-водолаз Блохин с батраками, после них остались одни клепки с обручами. Тихолоз подал сигнал: «Прибавь воздуха» — и на вздутой рубашке, касаясь рукой борта, поднялся кверху. Он пробирал сквозь ил щупом листы брони, травил воздух и спускался, как нужно, по рядам склепок. Нет, броня добрая! И хорошо, что он не взял с собой лампочки, — зря в илу путаться в проходе...

Наверху били склянки, слышался говор, — может, свежела погода. Воздух в скафандре стал дохлеть. Он крикнул в телефон: «Воздуха!». Ответили: «Есть, прибавь воздуха!». Но притока не получилось. У Тихолоза неровно забилося сердце, захлопало в ушах, закололо в висках... Не иначе, придавило воздушный шланг... Тихолоз приказал себе персегеевски:

— Не запотей! — Он потянул воздухопровод и еще раз сказал: — Не запотей!

В этом слове — большая сила, потому закон понят при опасности. Руками он работал не быстро и не медленно, скользя под потолком трюма:

— Не запотей!

И вот — комингс люка. Крышка люка упала на воздухопровод — как не перерубила! Он просунул щуп в щель между люком и комингсом и приподнял крышку. Воздух!.. Головой он нажал воздушный клапан...

«Вот, Маруся, какие здесь бывают осьминоги!».

Тихолоз спустился вниз, докончил урок. Камера — надежная: задрать щели люка, и можно наполнить ее воздухом.

Сегодня душит машинным маслом — на воздуходувке стоит не Мушенко, у того всегда фильтры чистые и воздух чистый.

Тихолоз выбирается из трюма, закрывает люк. Во тьме рубки он натывается на огромное, живое и мягкое. Оно его обхватывает и жмет. Он слышит далекий урезанный голос:

— Ильин, Ильин...

Он травит воздух доотказа, чтобы лучше слышать, — слушает, открыв рот, и сам кричит:

— Я — Тихолоз.

— Как шкафут? Как шкафут?

— В по-ряд-ке!

— А нос прорвало миной. Во весь бак.

— Чего?

— Миной во весь бак...

— Ты свалил люк?.. Люк, говорю, — ты?..

Глохнет ухо от своего крика. Они с Ильиным осторожно расходятся. И чудно, как подумаешь: много ли сделано, да и ведь вокруг море, — а он мокрый от пота, как зюзя, и соленые капли ползут по лицу, лезут в глаза и рот. Сегодня на воздуходувке — не Мушенко!

Он вернулся еще раз распутать шланг-сигнал, наступил в проходе рубки на что-то упругое и сломал. Он нагнулся, ущупал... Это — человеческие ребра, кругляши-позвонки... Э... влез ногой в то место, где когда-то мучилось у человека сердце! Голая кость лежит навзничь. Ему попалась под руку крепкий пояс — кавказский. Одежда сопрела... кости ног... Он пробегает по ним пальцами и натывается на башмаки с завернувшимися до каблука подошвами, они полны ила и мелких костей... Возле стенки каюты, под мягким илом, весь забранный в броню мелких ракушек, чемодан. Бедняга, — при немецкой мине торопиться с чемоданом!

Тихолоз услышал свист к подьему. Он стоял на коленях и щупал. Он нашел мелкие кости рук — и на суставе пальца попало кольцо...

Он запикивает находку вместе с косточкой в калошу. Вот тебе и звезда!

Самый добрый час, когда, истомленный, дернешь за сигнальный линь, и к тебе слетит связанная комом «беседка»! Тихолоз влезает в «беседку» из просмоленной бечевы, — с находкой влезает, с чемоданом: ради смеха всплывает он, как пассажир дальнего плавания! «Беседка» останавливается на выдержку¹. Бутылочный рассвет. Тихолоз смывает с чемодана ил — лениво, ногой, вокруг которой обмотан ремешок с почернелыми пряжкой и наконечником. Кожа чемодана покрыта розанчиками белых ракушек, а медные когда-то углы сделались зелеными наростами. Он достает находку. Косточку выпустил из рук — она скользнула и пропала во тьме. Кольцо отмыл: металл — бел, и камешек — как кусок мелко ограненного зеркала. Что бы оно такое было? — серебро в море делается густочерным, а этот — белый, как бумага... Над головой Тихолоза две цепочки серебристых бус — пузырьки воздуха из клапанов в скафандре; вокруг них веретеном вьется ставридка, сверкая то синью спинки, то серебром брюшка.

Отбудет он срок в отряде подводников, придет домой. Придут к новому куреню старики послушать рассказы про подводную жизнь. Он и заведет, как сидел в вечной тьме на дне моря на человеческом костяке, и покажет перстень. Старики загомонят все разом: небось, страшно! тьма есть тьма, хоть и пришел человек из тьмы и уйдет во тьму. Он скажет старикам: ничего тут нет особенного, обыкновенно сказать: цех. Но, чтобы они чего не подумали, он объяснит и технику дела. Так и так... лежать бы перстню на дне моря веки вечные, если б не надумал он перешупать мелкие кости. Тут и думать нечего — звезда! Тут дело такого рода: месяца два будут копать дно грейфером, промуют под теплоходом туннели, — сколько людей! — костяк потолкут калошами в порошок; пристроят корабль к понтонам, внесут его на волю, закипят буруны, вал хлестнет...

¹ Остановка для облегчения водолазу перемены давления.

★

В салоне Тихолоза встречаются смехом. Василий Иванович поворачивается к нему на стуле — сверкают его белейшие зубы.

— Тихолоз! Прямо из Америки? — говорит Василий Иванович, по-волжски напирая на «о».

Посматривая на искореженный чемодан, как нянька на проказливого ребенка, Тихолоз скромно подходит к водолазам, которые стоят у стола с находками. Чемодан обсох, медные его застежки — как зеленые лишайники; между розанчиками раковин можно заметить кое-где стежок жильной струны. Василий Иванович одобрительно кивает головой:

— Из русской кожи английская вещь!

Стол Василия Ивановича прижат к большому окну и завален чудными вещами: почернелое серебряное ведерко, мокрые книжки — бумага и печать в сохранности; стенные часы, медальоны, кольца, фальшивая челюсть — среди фарфоровых зубов три золотых; старый орден, две сабли — два куса ржавчины, и на них украшение из тонких листов золоченного серебра. Под столом встает белая лохматая собачонка Нелька: она сердито хрипит на Тихолоза и его чемодан, горбится и, сделав вокруг себя полный оборот, опять укладывается баранкой. Эта Нелька держит вахту наравне с Василием Ивановичем и не боится никаких штормов!

Перед Тихолозом стоит водолаз Еремин и, накренившись, будто с двухпудовой тяжестью, держит в руке карманные серебряные часы. Из ереминских пальцев выбивается черная цепь с черными же брелоками. Подходит время — Еремин неловко сует находку на стол. Василий Иванович равнодушно вдвигает часы в общую кучу и говорит:

— Об-ма-ро-де-ри-ли... «Меркурий»-то обмародерили. Ничего путного не осталось... Блохин и компания...

На небо надвигаются облака. По морю ходят длинные конусы лучей, золотая зыбь и далекие берега Григорьевского мыса.

Серdito тыча пером, Василий Иванович пишет квиток для Еремина и отрывисто объясняет, как обмародерили корабль, как в месяц гибели «Меркурия» Блохин основал на мысу «торговый дом». Он нанял двух водолазов, привел к мысу баркас со старой помпой. Днем батраки-водолазы поднимали трупы детей. Весной в семнадцатом году «Меркурий» вез из Одессы в Крым школьников — пятьсот ребят-экскурсантов погибло на корабле. Блохин богател, брал за труп по полсотне. За товаром лазил сам...

Василий Иванович хмуро глянул в лицо Еремину:

— Все?

Рука Еремина метнулась за пазуху и вырвалась оттуда; блеснуло золото — он положил на стол хронометр с трехцветной цепью:

— Ходят!

— Не может быть?!

Как петух разглядывает выползня, удивляясь, не пробуя его ни клювом, ни лапой, так Василий Иванович выгнул шею перед замечательными часами. В тишине салона слышался прочный ход хронометра.

— Чорт, до чего притерто! — воскликнул Ильин.

— Завел их тут вот... — Еремин сдерживает порывистый голос, — завел в уборной, они сразу и затикали... Вот — часы!

Василий Иванович берет часы и ногтем сковыривает венчик ила вокруг крышки.

— Женевские? — Он открывает крышку с приветственной улыбкой. Четко бежит секундная стрелка, наполняя движением минутную и часовую. — Женевские! — В голосе Василия Ивановича уважение к знаменитым мастерам. — Почти четверть века сопротивлялись! Вот это — да! — И он экзаменует: — Еремин, какое давление на глубине «Меркурия»?

— До трех атмосфер!

Лицо Еремина покрыто крупным потом, но стоит он прямо. Он принимает квитанцию, отходя от стола ровным, твердым шагом.

Василий Иванович кивает на тихолозов чемодан:

— Давай, показывай багаж!

Тихолоз опустился на колени, легко, как сургуч, сломал у чемодана застешки и замки и отвалил крышку — руки у него дрожали. В верхнем отделении чемодана — шесть альбомов в коже с истлевшими образцами бумажных, шелковых и камвольных тканей; запечатанная сургучом, заплетенная прозеленевшей проволокой бутылка коньяка и книга с застешками, как у евангелия, с заглавием: «Сто способов любви». Точно при неожиданной встрече со знакомым чудачком, Василий Иванович восклицает:

— Коммивояжер! — И говорит Тихолозу: — Что стоишь на коленях, как наказанный?

Тихолоз поднимается. Василий Иванович вынимает кожаный портфель с двумя десятками монограмм из золота и серебра, с эмблемами из эмали. В портфеле — бланки фирм, конверты, счета, пачка кредитных билетов — все сохранилось. Василий Иванович срывает с прелой кожи инициалы и эмблемы, оставляет на столе бумагу, остальное летит на пол. Из кучи прелого, шелкового белья, пижам, костюмов на стол падают два флакона с одеколоном и коллекция мелких пузырьков с английскими духами. Тихолоз стоит с опущенной головой, неподвижно глядя в одну точку, — как говорят, на мертвом ягоре.

— Если... — отрывисто говорит Василий Иванович, заполняя квитанцию, — ...если спасен... — Мизинцем он считает сперва золотые инициалы, потом инициалы из серебра: — ...то путается где-нибудь в глаторгах. Обязательно заведует чем-нибудь по торговой линии! — Он открывает притертую пробку флакона, нюхает, ставит флакон и подает Тихолозу квитанцию: — Все, Тихолоз?

Взмахивая руками по-еремински, будто собираясь бежать, Тихолоз срывает с себя поясok с азиатским убором из серебра и протягивает его навстречу руке Василия Ивановича.

Сердце взбушевало и забилося!

Солнце выходит из моря янтарем. Листья герани на подоконнике спальни становятся хрустально-прозрачными, красный цветок светится пламенем. Ти-

холоз оглядывается на спящих товарищей и достает из-под подушки кошелек. Из среднего отделения кошелька он вынимает бумажный комок — и сразу устает: кошелек валится из рук, комок он вяло зажимает в руке.

Вчера в обед Тихолоз говорил околоно с Мушенко. Этот комсомолец — начитанный, ему без того и не естся, если не поставит перед тарелкой со щами книжку. Он спросил Мушенко: какие вещи в морской воде не линяют? Мушенко буркнул про золото, платину и самоцветы. Тут Тихолоз равнодушным голосом спросил: какая она — платина? Не отрываясь от книжки, Мушенко ответил, что платина — белая, как серебро.

Их четверо сидело за столом; Ильин — против Еремина. Ильин спросил громко: «Еремин, а что тебе вздумалось «швейцарию» положить за пазуху?». Еремин покраснел, побледнел, но только собрался ответить, Мушенко поднял глаза от книги, перебил: «И поначалу подал серебряные?». Ильин захохотал: «А заводил их в нужнике!». Кровь опять ударила в лицо Еремину — он потерянно водил ложкой в тарелке по островам супового жира. Грохнул хохот. Прибежал кок Иван Иванович узнать: «не сказались ли хлопцы?..». Он смотрел на Тихолоза — тот в эту минуту старательно трудился над большой костью... И, не зная, в чем дело, кок сам захохотал...

Шуршит бумажка в руке Тихолоза. На серое одеяло упал перстень. Тихолоз осторожно взял его двумя пальцами. Прозрачный камень источал лунные и солнечные лучи. Не взяло ни время, ни глубь морская, ни кислая грязь! Прикрыв перстень ладонью, Тихолоз долго смотрел на камень, губы его шептали:

— До чего ж... жаркая сила!..

И ему делается жарко. Он понимает, что это — не простое граненое зеркальце, — это камень-бриллиант, которого он никогда не держал в руках, только видел в магазинах, а теперь им владеет — и то его звезда!

Сзади крикает Мушенко. Тихолоз лежит неподвижно, только пальцы поспеш-

но заворачивают перстень в бумажку, суют комок в кошелек, во внутреннее отделение. У Тихолоза сильно горят ладони, будто их кто нахлопал. Он вздыхает...

— Или зубы режутся? — спрашивает Мушенко, потирая рукой курчавый затылок.

Тихолоз кладет горячую ладонь на холодную стену.

Мушенко подходит к кровати, садится у Тихолоза в ногах и говорит со вздохом:

— Да... пахота идет на селе...

Оба они — из-под Тирасполя, где земля полна буйных садов, виноградников, где бежит быстрая река Днестр. Тихолоз — из села Веселый Кут, что на речке Курчурган; в речке этой — до чорта раков, а берега забраны ежевикой. Мушенко — из местечка Плоское, километров пятнадцать до него от Веселого Кута. В Плоском вода в колодцах сладкая и холодная, а кавуны рождаются на баштанах — чистый мед. Ну, и девчата тоже такие миловидные, что все веселокутские парубки — это уже правило! — женятся на плосковских. В Веселом Куту у Тихолоза старые батько с матерью... Да и курень — такой старый, кривой, что прямо срам привести молодую! А если еще такую, как Маруся Графова, то тут одно и получится: плюнет она и подастся обратно в город...

Тихолоз жарко хлопнул ладонью по стене и сказал:

— Ж-жалееет!

— Кто кого жалееет?

— Жалееет Еремин часы! Что отдал, жалееет!

Мушенко глядит на Тихолоза тугим взглядом:

— На Испанию, к примеру, пойдет — тут не пожалеешь. На детей испанских.

Мушенко рад случаю доказать свою ученость. Он накидывает примеры из книжек. Читал он про древнее путешествие иностранного человека. Имя ему Адам, а по прозвищу сходно с украинским: Олеариус. При Иване Грозном еще приехал к нам этот человек, присмотрелся к русским, чего они стóят — и приговорил их оптом: вороватый народ! И пошла слава: при русском человеке

плохо не клади. А как дошло до дедушки Крылова, тот прямо размахнулся и поставил печать:

Вору дай хоть миллион,
Он воровать не перестанет.

Мушенко с досадой ухнул:
— Ух ты, чорт! Какое было правило про народ!

На кроватях завозились. Кто-то бурчит: «Черти вас мордуют!..». День выходной: каждому охота отоспаться.

Глядя в стену, Тихолоз говорит с одышкой, будто притомясь при полднемном пекле:

— Не-воз-мож-но-е дело!..

Весна не пройдет мимо человека, не задев его какой-нибудь малостью. То на карнизе старого дома сверкнет зеленью побег акации, подснежник глянет из-под невзрачной кочки на сбегах к гавани, рачки-бокoplавы всплывут у свай — самцы засветят теплой оранжевой звездочкой, будто они уже варятся в кипятке... И долго мерещится в памяти эта мелочь.

Тихолоз идет по длинной Ланжероновской, сворачивает на Канавную. Тут постоянно сидит бородатая торговка с корзиной жареных кабаковых семечек. Он покупает четыре стакана в оба кармана, отворачивается к стенке, достает из кошелька перстень и насаживает его на мизинец.

Старуха хитро подмигивает:

— Перстене-ок!

Зло сует руку в карман Тихолоз — и, так держа ее, шагает до самого парка.

Удивительное дело: человека будто и не видать, а какой-нибудь пустяковый предмет проявляется сразу! А возможно ли, чтобы самая знаменитая в мире вещь могла закрыть человека?.. И потом: он — водолаз или не водолаз? Подняли они со дна моря в одной только Одессе полсотни кораблей, или — как?..

Как бы обвиняя кого-то, Тихолоз сердито ворчит:

— Га!.. Сукины сыны!..

У решетки, лицом к морю, стоит гражданин в синем вытертом пальто с воротником когда-то из бархата, а теперь

на нем больше сала, чем бархатной ворсы. Тихолоз встает рядом и рукой с перстнем вольно опирается о решетку.

В Карантинной гавани дымит двухтрубный француз, у брекватера разворачивается линкор «Парижская Коммуна», возле холодильника гудит испанский теплоход... Гражданин сразу же замечает перстень на руке Тихолоза и возмущается взглядом в кристалл.

— Ж-жа! — восклицает он жадно. — Каратиков с семь!

Он смеется на ге: ге-ге-ге... Тихолоз глядит: рот — в небритой щетине, с гнилыми, полусъеденными зубами, меж черных пней суется язык...

В парк входят Маруся Графова и с ней блондинка — подруга. Походка у обеих легкая, танцующая. Маруся оглядывается, будто ее окликают из переулка, и говорит подружке, подходя с ней к решетке:

— А «Парижская Коммуна» в гавань не заходит, мелко.

Тихолоз стоит перед ними, повесив левую руку вольно:

— И шшо вы такое скажете, Маруся! Я в ей ходил! А хотите: сорок фут!

— Хочу! — Маруся задорно улыбается.

Блондинка смеется, запрокидывая голову и по-куриному закрывая веки.

— Не в Карантинной ли нашли перстенок?

Тихолоз встречает взгляд мужчины в синем пальто: глаза у него жухлые, невнятного цвета, с желтыми наростами на белках.

Маруся замечает перстень, берет руку Тихолоза, поднимает ее, как вещь, и, склонив голову к плечу, рассматривает.

— Рука до чего тяжелая. — О камне она говорит: — Прямо капелька росы.

— Солитер! — вскрикивает мужчина в синем.

Маруся опускает руку Тихолоза на решетку.

— Солитер — болезнь...

— Это — тоже болезнь! — Наянливая личность не спускает взгляда с перстня.

При встречах с Марусей Графовой у Тихолоза делается стесненное дыхание,

как на дне моря при большом давлении. Он говорит при этом неуклюжие слова, которые долго мучают потом. И тут, уставясь на перстень, неизвестно для чего, он говорит:

— А подарила на память одна дамочка.

Нахал обдаёт его невыносимым смехом. Блондинка смеется, закрывая веки. Марусина бровь поднимается высоко. И закипело у Тихолоза на сердце... Кажется ему в эту минуту, что борется он за Марусю с какой-то невнятной силой. И говорит он с виду рассудительно, а внутри, в сердце, словно скользят к пропасти, хватаясь за что попало:

— А шшо такое?.. Чего вы регочете?.. Шшо, не можно, раз дамочка...

Он сам почти верит в дамочку. А блондинка с этой личностью смеются еще дружнее. Маруся смотрит в переулок, обе бровки вскинута высоко, она повторяет:

— Не можно, раз дамочка...

Резко чирикают ласточки, проносясь над головами. Улыбка заполняет марусино лицо, ее голова победительно вскидывается, будто вместе с решеткой, за которую держится рукой, она несется в счастливый край... Из переулка выходит рослый, тонкий юноша в зеленой майке и приветственно поднимает руку.

— Вас-ся... — тихо роняет девушка, и прямо из сердца то слово.

Вася почти летит.

— Кто первый? — кричит Маруся, сдерживая дыхание.

— Я! Первый оборвал ленту! На тридцать секунд!

Вася всем улыбается и дергает энергично тихолозову руку. Тихолоз надувается важностью и тоном старого командира, понимающего толк в церемониях, начинает:

— Так что позвольте...

В гавани завывает отход сирена. Маруся подает Тихолозу руку и с удовольствием восклицает:

— Вася!.. а какой у него перстень! Покажите, Тихолоз!

Тихолоз послушно, вяло поднимает руку. Вася смотрит на перстень, изумляется:

— Здрово! Ваш?

— Нет, ваш! — сердито фыркает Тихолоз и отходит.

Он вырывается из парка ветровым шагом, хотя торопиться некуда: день выходной. Он идет и враждебно крутит перстень на мизинце, будто вещь в чем-то виновата... От горечи он не разбирает улиц... И кажется Тихолозу: несется за ним смех. Он оглядывается — его догоняет наян, устремляясь головой, как гадюка. Вскипая гневом, Тихолоз останавливается, ждет, грозно, в упор спрашивает:

— Ну?

— За перстень — пятьсот!

Душно, нет возможности... Тихолоз подымает кулак, взмахивает им коротко, с яростью — и уносится прочь.

— Тыщу — деньги на бочку!

Голос настаивает:

— Две — из рук в руки!

Сзади кричат с привизгом:

— Три-и... Старая площадь, семь, спросить Бывшего. Три-и!

Рвется Тихолоз, как из вязкого болота. На углу, на повороте, скрипит трамвай. Тихолоз оглядывается: Бывший несется следом, припадая на бегу. Он замечает оглядку Тихолоза, вскидывает руку с растопыренными пальцами: дает все пять! Тихолоз прыгает на подножку трамвая. Перегон длинный — не догнать! Бывший останавливается, вздевает руки, мотается за отчаяньем, будто его держит земля, — и, кажется, показывает все десять...

Тихолоз выставляет кулак.

Третий день лежит Тихолоз, ничего не ест, а пьет много, как с жаркого похмелья. Доктор в отряде, Иван Максимыч, дал ему освобождение и сказал при этом, взглянувши на градусник, вынутый из тихолозовой подмышки: «Весна чревата...». А что оно такое: «весна чревата»? какая, сказать, болезнь?.. У Тихолоза сосало сердце, отдавало в печени, в руки, в ноги, в голову, отчего являлось сонное мечтание. Сердечный ко всем в отряде, как Иван Иванович заходил часто справляться: не желает ли больной чего-нибудь поест. Иван Иванович жалобно морщил лицо, донимал глубинным воркованием:

— Мозги фри с яйцом исделаю... компот из сочинского чернослива... а на первое бульон исделаю с бруселем и с гренками.

Тихолоз лежал безмолвно, забившись под одеяло с поджатыми ногами. Иван Иваныч отступал и, притворяя дверь, наказывал передать через дежурного, «если вдруг да возмечтается поисть».

К концу дня комсорг Ильин приносит пачку писем. Он раскладывает их по столу, а Тихолозу подает большой голубой конверт.

Тихолоз садится на кровати, голову приглаживает ладонями, тыльной стороной кисти обтирает губы, будто сам батько стоит перед ним, протягивая руки: «А ну, сынку, почеломкаемся!». Он и видит перед собой стариков: батькò— в цигейке, мездра, окрашенная черной краской, и подает от него добрым духом нюхательного табаку, а старая матка в цигейке с белой мездрой и со многими фокусными заплатами на ней: кружком, сердечком, овалом, цветком.

Письмо начинается по чину усердными поклонами: от отца с матерью, от родных, с обозначением родства каждого, имени, отчества. Повторение — для того, чтобы закрепить добрый строй семьи, прочность чувства, благополучие и спокойствие. Бога не поминают — вместо этого слова: «и Государству Нашему Советскому на Пользу, врагам же нашим на страмоту». Большими буквами отмечаются главные вещи. А уж на четвертой странице, наконец, пробиваются сквозь поклоны веселокутские новости:

«Дорогой наш Сын Семен Пафнутыч, Отец Твой Пафнутий Апанасович по полному расчету получил с колхоза «Счастливая Жизнь» за 276 Трудодней. А Мать Твоя Горпина Осиповна получила с того колхоза за 237 Трудодней. А всего имеем в этом году на Трудодень Жита по 8 кил. То и считай сам, сколько нажили одним Житом!».

Далее идут расчеты: по вину с виноградников, по кукурузе и овощам. Старый хвастается: «гаман набили до скандальства туго». Да какое же в том скандальство?.. Горпине Осиповне «заявился переляк» — гаман с грошами прятала она в подполицу, а на ляду ста-

вила кровать. Но, чтобы не было такого напрасного мучения по ночам, «приложили они к гаману силу думки» и построили на те гроши новый, светлый курень на две половины, для себя и для сына с молодой. В таком добром курене жизнь должна итти «без бабского сатанения». И все уже готово, хоть сейчас жить в курене, даже ставни и печка расписаны букетами — только вьюшек и печных дверец в городе Тирасполе не оказалось. Старый же курень оставили, чтобы водить в нем добрую породу курят, которая несется круглую зиму.

Кончается письмо батьковским наказом:

«Советской Власти Нашей служи Честно, Благородно, не рушь Правилò и Закон военный, на радость нам, на долгу жизнь!».

Тихолоз держит письмо на коленях и глядит на трудную отцовскую подпись: «Пафнутий Тихолоз».

На военную службу батько провожал его веселый, благословляя по чину. Мать принесла на деревянном блюде, на расшитом рушнике хлеб-соль. Все трое стали они на мягкой осенней грядке, среди срезанных капустных кочерыг. Отец велел ему встать на колени и взять земли. Он взял щепотку влажного, мягкого чернозема и повторил за батькой: «Как земля стоит свято-нерушимо, обещаюсь держать руку за Советскую власть!». И приказал батько: «Ешь!». И тогда он положил землю на язык и проглотил ее. «Помни!» — сказал батько и поцеловался с ним троекратно.

Два слова «Пафнутий Тихолоз» занимают добрых четверть страницы — и каждая буква написана так трудно, как прошла жизнь старых...

Ильин стоит среди комнаты, как в шторм на палубе «Алтая», широко расставив ноги, и глядит на Тихолоза.

— С трудоднем плохо?

— Не. Батько новый курень поставил.

— Чего ж ты, як та хмара?..

Ильин смеется... вдруг срывает с гвоздя мандолину и подает Тихолозу. К гитаре он прилаживается сам, правит строй, сверяет с тоном мандолины.

— Вот чего! Нашу белебеевскую!

Он отступает от кровати и, размахнув грифом, забирает тенорком высоко и занозисто. Глухо, как затаенная дума, бурлит гитара. Мандолина пока молчит. Тихолоз круто согнулся над мандолиной — одна рука бессильно поцепилась за гриф, другая — при деке.

Ильин поет, как обманули девку, сговорили ее за старого: недолго жить за старым, «всего три недельки». И вышла она. Идет неделя, другая, третья кончается и четвертая наступает, а старый все живет... Голос у Ильина мореный, выводит он уныло:

«Пойдем, старый, погуляем,
Сине море повидаем...».

Пришли к синему морю. А посреди моря, на радость, расцветает цветик!

Улыбка раздвигает тихолозовы губы, он нежно трогает струны... Дверь распахивается, Иван Иванович вдвигает под притолоку белоснежный колпак.

Ильин поводит горячими глазами:

«Поди, старый, сорви цветик!». —
«Боюсь, жена, утону я!». —
«Не бойсь, старый, чорт не возьмет!».

Палец Ильина скользит по струне вниз, а звук бежит вывысь и дрожит, как сердце старого чудака. Ногу певец поднимает высоко — он шагает по морю к цветику... Ступил старый раз — по колено, ступил другой — по горло, ступил в третий — как ключ ко дну!

На отчаянной ноте клокочет в горле Ильина, бьет он кулаком по деке — то, может, кончилось с испугу стариково сердце... А Тихолоз делает трель — пузырйки бегут по воде и лопаются...

Иван Иванович опрокидывается к притолоке, масляное лицо багровеет, он визжит:

— Мам-мочки, не мо-о-гу! — И — к Тихолозу с торжеством: — От теперь ты будешь исть!

Из кухни доносится шум. Иван Иванович кидается туда усмирять. Пальцы Ильина вдумчиво перебирают струны. Песня печальна и в шутке своей — такое оно, старое русское веселье! Брови Тихолоза подняты высоко, карие глаза яростно смотрят на гераньку в окне.

Там жужжит отяжелевшая от первого взятка пчела. Она еще не набрала силы после зимы — надо же было ей сесть мимоходом еще и на гераньку!

«Каттюга!.. — думает Тихолоз, оскалив прочно сжатые зубы. — Утопите!.. Утопить старого ка-тю-гу!».

Кулаком он бьет себя по бедру — кулак отскакивает от упругого мускула.

Осторожно балансируя, Иван Иванович вносит полную и дымную тарелку супа — в тонком желтом наваре плавают зеленые курчавые шарики брюссельской.

Тихолоз натягивает башмаки, матроску, причесывается.

— Трошки обожди, Иван Иванович, — говорит он и поспешно выходит.

— От, чудак, догадался!.. — негодует Иван Иванович. — Суп надо исть горячий, с первого жару. — Он немного растерянно смотрит на Ильина. — Суп никогда не разогревай, души в таком супу не предвидится...

Дом чист, как корабль. На чугунной лестнице перед каждой дверью половик.

Тихолоз спускается с верхнего этажа, где спальня, но на каждой площадке старательно вытирает ноги; смотрит на дверь, замечает ошибку и спускается ниже.

Перед дверью, которая нужна, Тихолоз переводит дух, вытирает ноги о проволочный коврик так энергично, что звучит вся лестница, и шарканье, как эхо, возникает за дверью. Дверь открывает старушка. Тихолоз вступает в коридор. В темной его глуби, яростно сверкая розовым глазом, прыгает и лает Нелька.

Старушка стоит перед Тихолозом и подозрительно посматривает на его ноги:

— Или наступил во что? Тряпку — тебе?..

— В общем нет, мамо... ничего.

В коридор выходит Василий Иванович, унимает собачонку:

— Отвянь, Нелька! Заходи, Тихолоз!

Нелька с гневным лаем кидается под ноги Тихолозу.

Василий Иванович подхватывает шавку большой рукой и пихает ее за пазу-

ху, за борт старенькой флотской тужурки. Нелька хрипит и кашляет, шипит по-змеинному, чихает, розово пылают негодующие глаза, и одно вывороченное ухо возмущенно трясется — ее воображение сильно расстроилось от шарканья тихолозовых башмаков...

Успокоительно похлопывая по тужурке, Василий Иванович приводит Тихолоза в сумеречную комнату, зажигает лампу под синим абажуром. Свет наливает комнату теплотой — даже поношенные валенки у кафельной печки кажутся одушевленными. Василий Иванович приглашает Тихолоза сесть и сам приваливается в кресло осторожно, чтобы не обеспокоить Нельку. Собака высовывает из-за пазухи голову, искательно улыбается мокроусой розовой мордой и непрестанно облизывается.

— Ты что это?.. — спрашивает Василий Иванович Тихолоза. — Или по дому встосковал? Наперед говорю: в отпуск — не время.

Спокойно достает Тихолоз из кармана кошелек, разворачивает комок папирсной бумаги и кладет на стол перстень. Нелька высовывает голову, тя-

нется к перстню, нюхает и, удивленно взглянув на Василия Ивановича, забирается за пазуху поглубже. Василий Иванович подносит перстень к лампе. Камень льет чистый свет, а металл кажется жирным, как сливки.

— Подумалось, звезда... — глухо говорит Тихолоз.

Василий Иванович откладывает перстень, достает из портфеля книжку квитанций, не спеша, вписывает: «Перстень платиновый с бриллиантом». Он осушает чернила и передает квитанцию Тихолозу для премии.

— Наша звезда — не в том, товарищ Тихолоз, — говорит он серьезно.

— Понимаю, Василий Иванович.

Привязав к перстню ярлычок, Василий Иванович оставляет его на столе. Он осторожно почесывает собачонку за ухом. Нелька храпит, но, принимая ласку, розовым длинным языком вяло облизывает пасть и трудно вздыхает...

Тихолоз от души смеется — и вдруг он вспоминает Ивана Ивановича, балансирующего с тарелкой супа в руках.

«О! Теперь поесть!».

Баллада о ковале¹ Коваленко

ИГОРЬ МУРАТОВ

★

Белой вьюгою поле
Обмело, замело.
Партизанские кони
Отступали в село.

И, покинув свой дом,
На коне на гнедом
Отъезжает коваль Коваленко.

Уж за речку заходит
Багряный огонь.
Ухом сторожко водит
Крепко кованный конь.

Едет дед среди ночи:
О чем он хлопочет?
— «Ой не добрые вести о сыне...».

Едет он невеселый
От зари до зари,
Объезжает он села,
Хутора и дворы.

То проходим в очи
Заглянет он молча:
Крепко думает думу про сына.

Ни ответа, ни следу,
Ни весточки нет.
Тьмой закрыт в сердце деда,
Погас белый свет.

Пригорюнился дед:
Нигде сына нет.
— «Беляки, мне за сына дадите
ответ!..».

Но, как вечер свой синий
Ковер расстелил,
Деда ворон спросил:
— «Уж не твой ли то сын?..».

В клочья рваное тело
Лоскутами чернело,
И на плечах звезда вырезная...

Три вербы над озёрком, —
Три героя на них: —
Черный ворон-дозорщик
Добычу хранит...

— Честь — за родину лечь...
Гора пала с плеч:
— Ведь земля-то своя, не чужая!

Белой вьюгою поле
Обмело, замело.
— Партизаны! По коням!
На фронт, за село!..

То, захлопнувши наглухо дом,
На коне на гнедом
Верховодит коваль Коваленко.

¹ Коваль — по-украински кузнец.

Перевел с украинского
ДМИТРИЙ ПЕТРОВСКИЙ.

★

Боевые эпизоды

ДОКУМЕНТЫ ГЕРОИЧЕСКИХ БОЕВ В РАЙОНЕ ОЗЕРА ХАСАН



Дни ожесточенных боев в районе озера Хасан, когда славные бойцы, командиры и политработники Первой Отдельной Краснознаменной армии дали сокрушительный отпор, нанесли уничтожающий удар зарвавшейся японской военщине, нагло и провокационно вторгшейся на советскую землю, навсегда войдут в историю нашей родины, как дни героизма, мужества и бесстрашия патриотов социалистического государства.

Фашистская японская военная клика пыталась втянуть Японию в войну с СССР. Привыкнув к безнаказанности, применяя в своих действиях шантаж и провокацию — излюбленные средства фашистских агрессоров, — японская военщина попыталась применить и эти грязные средства в отношении великого и могучего Советского Союза.

29 июля 1938 года японцы внезапно, провокационно перешли советскую границу и атаковали нашу сопку Безымянную в районе озера Хасан. На сопке в это время находились одиннадцать советских пограничников, которые первыми отважно и храбро приняли на себя удар японцев и вступили в неравный бой с противником, превосходящим их во много раз.

Японцы подтянули к сопкам Заозерной и Безымянной большие силы, тяжелую зенитную артиллерию и бронепоезда. Японцы рассчитывали на легкий успех. Они жестоко просчитались. Сокрушительный удар, который был нанесен наглым самураям, выброшен-

ным прочь с советской земли, показал всему миру могучую силу и крепость Красной Армии, мощь ее боевой техники, великий патриотизм красных бойцов, всей душой преданных своей матери-родине, своей безгранично любимой партии Ленина — Сталина.

Советский Союз твердо и неуклонно проводит политику мира. Воля всего советского народа, морально и политически единого, выражена в словах товарища Сталина: «Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но мы не боимся угроз и готовы ответить ударом на удар поджигателей войны». Силу Сталинского предостережения японские самураи почувствовали на своей подлой шкуре!

В сознании каждого советского гражданина живет единая мысль о том, что ни одного вершка своей земли мы не отдадим никому.

Каждый советский патриот знает: у нас есть что защищать и есть чем защищать.

В дни боевых действий в районе озера Хасан вся страна — от мала до велика — с гордостью и восхищением следила за блестящими операциями героев Первой Отдельной армии, защищавших честь и славу своей цветущей родины, счастливый и мирный труд ее граждан.

Почему японцы избрали для своей авантюры район озера Хасан? Участник боев в районе озера Хасан капитан Стеженко рассказывает:

«Озеро Хасан и расположенная око-

ло него гряда высот, или сопки, как их называют у нас в Приморьи, находится всего в 10 километрах от берегов Тихого океана, а по прямой — в 130 километрах от Владивостока.

Если у Владивостока граница отстоит от побережья еще сравнительно далеко, километрах в 60—70, то, чем дальше на юг, тем все ближе и ближе подходит она к берегу Японского моря. Здесь местность представляет собой узкую прибрежную полосу, сплошь болотистую и низменную, где движение возможно лишь по немногим тропам и проселочным дорогам. Дальше на север, вплоть до Владивостока, все побережье составляет также низменность, которая широко открывается взору с немногочисленных сопки, возвышающихся над болотистой равниной.

Такими сопками, открывающими обзор на Посыетский залив, являются высоты Заозерная (Чанкуфын) и ее соседка с севера — Безымянная, по вершинам которых проходит граница, установленная Хунчунским договором.

Как Заозерная, так и Безымянная составляют вершины одного и того же скалистого кряжа, спускающегося по нашу сторону границы прямо в озеро Хасан.

Хотя обе сопки и невысоки (Заозерная имеет в высоту около полутора десятков метров), но в условиях окружающей ровной местности в ясную погоду с них видно все наше побережье. Наши пограничники в удачные дни, когда рассеиваются очень частые здесь туманы, в бинокль наблюдают и берег, и дальние острова, разбросанные вдоль побережья на пути к Владивостоку.

Если бы японцы удержали в своих руках эти высоты, то их укрепления, наблюдательные пункты и огневые средства, расположенные на сопках, дали бы им возможность держать под наблюдением и прямым огнем весь участок нашей территории к югу и западу от залива Посыет. А обоснуясь японцы на высотах, они непосредственно угрожали бы и нашей бухте Посыет, и побережью в направлении к Владивостоку.

Начиная свою авантюру, японская

военщина рассчитывала на обеспеченный успех. Ее успокаивал исключительно трудный для нашей обороны характер местности, прилегающей к озеру Хасан. Сразу же за сопками Заозерной и Безымянной, если идти от границы вглубь нашей территории, лежит озеро Хасан, вытянутое на 4—5 километров с севера на юг вдоль границы. Его северный и южный края находятся от границы на расстоянии каких-нибудь 150—200 метров. Таким образом, обе сопки отделены от остальной советской территории широкой водной преградой, обойти которую на пути к сопкам можно только в непосредственной близости от границы по двум очень узким проходам.

Каждому понятно, какие большие преимущества это давало японским войскам, нацелившимся на сопки, и какие трудности создавало для нас.

Японцы рассчитывали, несомненно, также и на то, что болотистая местность и ограниченное число дорог не дадут нам возможности использовать танки и подвезти тяжелую артиллерию»¹.

В сложной обстановке ведения боя, преодолевая труднейшие природные условия, под непрерывным огнем противника, красные части штурмовали Заозерную и Безымянную. С именем Сталина шли бойцы в атаку. Образ Сталина — великого, мудрого отца и друга трудящегося человечества — воодушевлял красноармейцев, командиров и политработников. Они шли в бой, полные чувства любви к родине, полные чувства ненависти к подлым японским бандитам, посягнувшим на священные рубежи СССР. Они шли в бой с лозунгами: «Вперед, за Сталина! Вперед, за великую родину!».

Партийные и непартийные большевики, они шли в бой, охваченные единой волей — победить!

И они победили.

Комиссары и политработники, коммунисты и комсомольцы показывали образцы героического поведения в бою. Они находились на передовых линиях

¹ «Правда», 28 августа 1938 г.

огня и своим примером увлекали беспартийных. В минуты передышек беспартийные бойцы и командиры подавали заявления о вступлении в партию Ленина — Сталина, в ленинско-сталинский комсомол. Как никогда, в эти дни проявилось единство рядов Красной Армии, партийных и непартийных бойцов, которыми Сталинский Центральный Комитет и советское правительство доверили защиту родины.

Перед нами овеянные пороховым дымом бжевы страницы красноармейских газет «На защиту родины» (газета Н-ской части, выходившей непосредственно в

районе озера Хасан) и «Тревоги» (газета Дальневосточного Краснознаменного фронта). Статьи, заметки, письма красноармейцев, командиров, политработников, военных корреспондентов писались на поле боя, в краткие минуты затишья. В них — непосредственные впечатления участников героических боев, славных защитников советских границ. Нельзя читать без волнения эти строки — живые документы боев и побед.

Ниже мы приводим в выдержках корреспонденции с поля сражений в районе озера Хасан, печатавшиеся в газетах «На защиту родины» и «Тревога».

★ ★ ★

УДАРОМ НА УДАР

... На дне глубокой пади, среди высоких гор и сопок, лежит озеро Хасан. Небо над озером только-что освободилось от предутреннего тумана. Открылось голубое окно, и первые лучи солнца блеснули на поверхности воды. Все вокруг залито ярким светом. Внизу, у самого берега озера, колышутся высокий камыш, тонкие деревья, густая, сочная трава.

Недалеко отсюда, на высоте Безымянной, пограничный наряд нес свою обычную службу по охране дальневосточных рубежей родины. Ночь прошла. Каждый на своем посту бдительно охранял границу...

... 29 июля пограничный наряд находился на высоте Безымянной. Красноармеец Михаил Кувшинов вместе со своими товарищами Кособоковым и Поздеевым увидели японцев, спускающихся с противоположной высоты по направлению нашей территории. Они немедленно сообщили об этом лейтенанту Махалину. Все приготовились дать решительный отпор налетчикам, если они вздумают переступить линию границы. Японцы открыли ружейно-пулеметный огонь по нашему наряду. Японцы нарушили нашу границу. Лейтенант Махалин командовал:

— Огонь!

Красноармеец Степан Афанасьевич Бигус увидел впереди японского пулеметчика, вылезшего на бугор. Взял на мушку японца. Выстрел снайпера Бигуса был верен. Японский пулеметчик свалился, из рук его вылетел пулемет. После этого японцы открыли огонь по снайперу. Бигус уничтожил одного за другим японцев, ведущих атаку на пограничников. Японцы подошли совсем вплотную. Бигус стал менять место. Здесь он увидел тяжело раненного товарища. Держа в одной руке винтовку, он другой схватил раненого и стал переносить его в тыл. Японцы стали преследовать Бигуса. Оттащив товарища в безопасное место, Бигус лег в высокую траву и на некоторое время прекратил огонь. Японскому пулеметчику, стоявшему неподалеку от него, показалось, что Бигус убит. Он внимательно взгляделся в советского пограничника, потом приготовился все-таки еще раз выстрелить в него. В это время Бигус дал выстрел и убил японского пулеметчика. Другой японец подбежал к нему с клинком. Тогда Бигус стал отбиваться прикладом. Будучи ранен, Бигус продолжал вести огонь по японским налетчикам.

Бигус — бывший тракторист, служит лишь первый год на границе. В этом бою он показал себя мастером огня, му-

жественным и храбрым сыном своей родины.

Весь наряд проявил исключительное мужество и героизм при защите советских границ. Пулеметчик Емцев хладнокровно, короткими очередями простреливал в упор японских агрессоров. Он отдал жизнь за социалистическую родину.

Красноармеец Роман Лесняк не прекращал огня по японцам. Смело бросал он гранаты и уничтожал врага. Вот он сбил одного японца, прямо на него бежит японский офицер с обнаженным клинком. Лесняк нацелился на японца, получилась осечка. Он не растерялся и штыком проколол японцу горло. Лесняк лишь недавно был поваром на заставе, затем он попросил, чтобы его послали в наряд. Он стал ходить на охрану границы. Как-раз перед боем его назначили учиться на курсы снайперов. Первый день учебы прошел в бою с японцами. Лесняк доказал, что он отличный стрелок.

Красноармеец Кособоков, будучи тяжело ранен в неравной рукопашной схватке с японо-манчжурами, получил сабельный удар в плечо и руку, но не оставил своего боевого поста. Он продолжал вместе с товарищами уничтожать противника.

Пулеметчик Кобяков, будучи ранен, не оставил пулемета и огневой точки. Он продолжал уничтожать японцев. Потом, доставленный в госпиталь, он прежде всего спросил: «Цел ли мой пулемет, не захвачен ли он японцами?».

Снайпер Кувшинов, первый обнаруживший японцев, направляющихся на нашу территорию, вместе с Кособоковым и Поздеевым так же, как и все остальные, ни на минуту не прекращал огня.

Бой был неравным. Против маленькой группы советских пограничников выступила целая рота японцев. Пограничники не растерялись, а лейтенант Махалин смело вел своих бойцов на врага. После смерти лейтенанта Махалина отделенный командир Шляхов, несмотря на то, что был ранен осколком гранаты, взял на себя руководство боем.

Одновременно Шляхов не прекращал поддерживать связь по телефону с заставой. Разговаривая по телефону, он отбивался от японцев, которые вплотную подходили к нему.

Смертью храбрых в этом неравном бою погибли: лейтенант Махалин, красноармейцы: Емцев, Шмелев, Поздеев и Савинных.

«Тревога», № 178.

★

Около 100 человек самураев поспешно перебежали по склону хребта к нашей границе. Пока не было нарушений, мы спокойно лежали и пристально наблюдали за движением, напряженно всматриваясь в каждую фигуру. Впереди шел японский пулеметчик. Когда была нарушена советская граница, я первый выстрелил и убил японского пулеметчика.

Японцы, неся большие потери, все ближе и ближе подходили к нам. Меня ранили. Когда осталось 20—30 метров, японцы бросились в атаку.

Я высочил из окопа, подобрал раненого бойца, чтобы он не остался в руках японцев, и бросился на прорыв, продолжая действовать прикладом винтовки. Я продолжал уносить раненого товарища вглубь своей территории. По мне открыли огонь из пулемета. Я залег в кусты вместе с раненым товарищем и немедленно взял на мушку японского пулеметчика. Он, повидимому, подумал, что я убит, и высунулся из-за пулемета посмотреть, в это время я выстрелил, и он упал.

Пуля из второго японского пулемета разбила у моей винтовки ствол и повредила затвор. Ползком я добрался до командира отделения т. Шляхова. В нас бросили гранату, осколком которой был ранен т. Шляхов.

В это время подошла группа лейтенанта Быховцева, и японские самураи были разбиты.

Я заверяю товарища Сталина, что еще бдительнее буду защищать нашу прекрасную родину и никогда не позволю японским самураям топтать нашу землю. Мы отомстим за смерть наших товарищей, честно отдавших свои жизни

за дело нашей родины, за партию Ленина—Сталина.

Красноармеец Бигус

«Тревога», № 192.

★

Напряженная ночь в ожидании противника. Со станковым пулеметом стал на охрану границы пограничник Александр Тараторин. Член ленинско-сталинского комсомола, прекрасный сын родины приготовился уничтожить врага.

И когда звериная ватага самураев хлынула через советскую границу, Александр Тараторин открыл мощный и меткий огонь. Ни одна из пуль не пропала даром, все они косили ненавистных самураев. Трусами фашистской гварии Тараторин завалил склон высоты, отбивая захватчиков с земли советской.

Но гадина подползла ближе, и храбрый пулеметчик был ранен вражьей пулей. Переполненный гневом и ненавистью к проклятым врагам, он не покинул поля сражения, а продолжал вести бесперывный всеистребляющий огонь. Спокойный и уверенный в своей силе, он сказал товарищам:

— Смотрите, я буду бить японцев по ногам, а попадать по головам.

И, действительно, было так. Подступы к высоте были завалены трупами, а враги все лезли и лезли. Тараторин навел прицел пулемета в колени наступающим. Банда захватчиков, спасаясь от огня, наклоняла туловища, и пули Тараторина разили гадов по головам. Он уничтожил массу самурайской сволочи.

Взбешенные японцы, заметив станковый пулемет, начали забрасывать его ручными гранатами. Но пулемет еще некоторое время не утихал, Тараторин отвечал ураганным огнем.

Осколок вражеской гранаты тяжело ранил пулеметчика второй раз, и некоторое время герой был в бесчувственном состоянии. Но храброе сердце наполнено порывом — бить врага до конца, и славный пограничник невероятными усилиями воли снова собирает силы и обрушивает жестокий огонь на самураев. Быстро заложил новую ленту в

пулемет и грозно крикнул приближающимся врагам:

— Эх, хоть перед концом жизни я вас, гадов, угошу!

И снова, обливающийся кровью, израненный, пулеметчик сокрушает врага ураганным огнем. Разъяренные бандиты бросили в хребца две гранаты.

Взрывом Тараторина и пулемет отбросило в сторону. Умирая, этот неустрашимый воин, прекрасный сын великого народа, произнес:

— Конеч. Убили меня сволочи-самураи...

Он еще что-то хотел сказать, но не успел. Мы знаем, он хотел сказать: бейте фашистских захватчиков до окончательной победы, преданно защищайте нашу родину.

Газета «На защиту родины», № 9.

★

Когда японо-манчжуры начали наступление, нас рядом лежало три снайпера. В упор меткими выстрелами мы поражали десятки фашистских захватчиков. Враги сунулись лавиной на нас. Много их падало от наших метких выстрелов, но они бежали вперед по трупам убитых и раненых своих солдат. Когда я израсходовал последние патроны, меня ранили, тогда я бросил в группу атакующих самураев 5 гранат и решил выбраться из вражеского кольца к озеру. В этот момент меня заметил под укрытием один самурай и, оскалив зубы, бросился с обнаженным палашом.

Я выждал, пока он приблизился на несколько шагов, рванулся вперед, ударил врага наотмашь кулаком. Самурай свалился под скалу. Я пополз сквозь заросли, пробрался к озеру, перевязал рану и пустился через озеро вплавь на противоположный берег, где наши громили врагов уничтожающим огнем.

Меня самураи заметили, и, когда до берега осталось плыть около 100 метров, я, услышав, что по мне открыли огонь из пулемета, нырнул.

На берег приплыл благополучно и вскоре был направлен на перевязочный пункт.

Рана моя скоро заживет, и я снова встану в строй и буду защищать нашу

счастливую жизнь, созданную великим Сталиным.

Красноармеец Медведев
«Тревога», № 192.

★

Вся масса самураев, лавиной сунувшаяся на советскую землю, была пьяная. Японцы кричали «банзай», а потом по-русски «ура». Сотни солдат падали убитыми и ранеными от нашего уничтожающего огня. С пьяным равнодушием они шли на верную смерть.

Отрезанный от своих, я лежал, пригваздившись в камнях. В это время вползли на высоту группы самураев. Уйти мне незамеченным было нельзя, но меня выручил мой верный друг — собака Джек. Джек набросился на одного самураю и начал его грызть, остальные самураи поспешили японцу на помощь. Я остался сзади, поспешно отполз в сторону за камни и оттуда бросил две гранаты в столпившихся японцев. Послышались стоны раненых. Воспользовавшись паникой среди японцев, я поспешно уполз к своим.

Особенное восхищение бойцов вызвал старший лейтенант нашего отряда тов. Сидоренко. Это подлинный герой, мужественный и решительный командир. Три раза тов. Сидоренко водил своих красноармейцев в атаку, уничтожая фашистские войска, отстаивая родную советскую землю. Тов. Сидоренко вел бойцов в бой под лозунгами:

«Вперед, товарищи, на штурм захватчиков, докажем преданность родному Сталину!».

И бойцы штурмовали врагов, громили их смело и беспощадно. Такими же геройскими командирами в бою показали себя лейтенанты Христолюбов и Терешкин. Будучи ранеными, они до последнего момента руководили боевыми операциями.

Красноармеец Багров.
«Тревога», № 192.

★

Ночью в высокой траве слышался шорох. Это японские налетчики, нарушив границу, ползают по нашей земле.

Твердый голос боевого лейтенанта тов. Терешкина поднял всех бойцов на штыковой удар по ползущим гадам.

Впервые в сопках, в горячей схватке с врагом прозвучал клич, зовущий на отвагу в честь советской родины.

Товарищ Терешкин скомандовал:

— За товарища Сталина — вперед!
Бойцы рванулись вперед, прокатилось красноармейское «ура».

Красноармеец-гранатометчик стрелкового полка Василий Шадрин.

Газета «На защиту родины», № 1.

★

Команда «в ружье» застала пограничников на своих местах. Быстро, как птицы, боевые кони донесли их к последней пяди советских рубежей, туда, где пограничная черта делит не только землю, но и жизнь.

... Заняв левый скат высоты для обороны, лейтенант тов. Христолюбов выслал разведку. Вместе с младшим командиром тов. Чернопятко четыре бойца и служебная собака Рекс отправились в тяжелый и опасный путь. От кочки к кочке, ползком, от камня к камню, пограничники миновали открытое место и спустились в камыши.

Рекс, стиснув зубы, поднял голову. Высоко посаженные уши дрогнули навстречу ветру. Вслушиваясь в обманчивую тишину ночи и выбирая в себя ее неуловимые запахи, овчарка с быстротой молнии сделала прыжок вперед. Раздался хрип, стон. Вечернюю тишину прорезали четыре выстрела.

Все это произошло в одно мгновение. Наши разведчики подобрались вплотную к японским разведчикам. Первый самурай был задушен овчаркой, четыре других, отстреливаясь, побежали к границе.

Не успел тов. Чернопятко доложить о случившемся, как японо-манчжурские налетчики открыли оружейно-пулеметный огонь по нашей высоте. Превосходя наши силы в несколько раз, самураи повели наступление на советских пограничников с трех сторон.

Советская сторона все еще молчала...

Пограничники ждали удобного момента, чтобы наверняка разить как

можно больше врага. Подпустив поближе японцев к высоте, лейтенант тов. Христолюбов бросил световую гранату. Яркий сноп огня осветил черные цепи врага.

Этот миг не пропал бесследно. Снайпер тов. Егоркин пустил меткую пулю в сердце бегущего впереди офицера.

— Не суй свое свиное рыло в советский огород!

Застава упорно обороняла границу. Ружейный огонь запрыгал с места на место и враз заградительной стеной определился вдоль границы. Пулеметчик Чернов, Чернопятко и Зуев раскаленной лавой свинца уничтожали врага. Лейтенант Христолюбов бил гранатами на выбор, не торопясь, только тогда, когда отчетливо были видны очертания вражеской тени.

Самураи не выдержали уничтожающего огня. Первая атака на советскую высоту окончилась неудачей.

Надвигалась ночь штурма.

Японо-манчжуры не хотели уходить с советской земли. Озлобленные первой неудачей и храбростью пограничников, они открыли артиллерийский огонь и стали забрасывать гранатами неустрашимых защитников социалистических границ.

Первый взрыв японского снаряда потряс землю. Больно отдался этот взрыв в сердцах пограничников. Велика была ненависть к врагу, крепче руки сжимали винтовки, зорче становился глаз.

Осколками беспрерывно рвущихся гранат ранен лейтенант Христолюбов, ранены Зуев, Чернопятко. Алая кровь обгарила родную землю. Храбрецы не оставляли поля боя, они готовили ответный удар.

Вслед за громом японских снарядов разбушевался воздух, в котором поникли отдельные звуки. Все затряслось и задымилось. Сухой и тяжелый ливень советского свинца обрушился на голову охотников чужой земли.

Враг был многочисленен. Буквально сплошной стеной самураи шли на каждого бойца. Схватка идет почти вручную.

Когда лейтенант Христолюбов нагнулся в окопе за очередными граната-

ми, как кошка, бросился японский офицер на его сильную спину. Расправив свои богатырские плечи, пограничник подбросил самурая вверх и, не дав ему упасть живому на советскую землю, пристрелил в воздухе на-смерть.

Клещи врагов сжимались все теснее. Сопrotивление пограничников, как ни хотели японцы, не уменьшилось.

— Высоту не сдавать! —

это было единственное желание наших бойцов.

И не сдали!

На помощь группе Христолюбова поспешил с пулеметом лейтенант Терешкин. Это внесло новую энергию и боевой дух в ряды обороняющихся.

... Сквозь град пуль и взрывы гранат, как призывной колокол, пролетел голос тов. Христолюбова:

— Да здравствует Сталин! Вперед!

Слова лейтенанта подхватили бойцы, и мощное «ура» раздалось гулким эхом.

Дрогнула самурайская стая. Решив, что советские пограничники пошли в контратаку, они поспешно откатились назад.

В это время вторично был ранен тов. Христолюбов. Осколки гранат попали в грудь и ногу. Но силы не изменяли храбрецу. Он попрежнему четко руководит полем боя.

Выносливость и отвага командира, как ток, проходили по рядам бойцов, вселяя в них бодрость и силу. Проникнутые великой сыновней любовью к своему лейтенанту, они то-и-дело уговаривали его отойти в тыл.

— Ничего. Полежу, отдохну, а вы бейте налетчиков в самое сердце, за око рвите два ока, а за зуб — целую челюсть.

Неравная борьба продолжалась всю ночь, до рассвета. У пограничников выходили боевые припасы. Об этом узнал Христолюбов. Он снова вернулся на огневой рубеж. Комсомолец пом. старшины тов. Слободюк, дважды раненный, не имея почти патронов, подбадривал соседей:

— Патронов нехватит, доберусь до японцев руками, штыком...

С рассветом налетчики усилили гранатометный и артиллерийский обстрел.

Во время перестрелки был ранен третий раз лейтенант Христолюбов.

Руки и ноги не повиновались его ясной воле, силы медленно изменяли ему. Еще четко он отдал приказ о назначении своим помощником тов. Чернопятко и, истекая кровью, без помощи упал в тыл.

Надо быть воистину богатырем, проявлять нечеловеческие усилия, чтобы не проронить ни единого стога, ни жалобы. Покидая поле боя, командир был уверен, что бойцы без него не сдадут высоту.

Когда Христолюбов дополз до палатки, где был перевязочный пункт, поток горячей волны подбросил его. Вражеский осколок гранаты ударил героя.

Истекая кровью, большевик душой и сердцем, Христолюбов не хотел сдаваться смерти. Почему-то сейчас вспо-

мнил он разговор перед боем с коммунистом Терешкиным.

— Я иду в бой непартийным большевиком, — говорил он. — Вернусь е границы — считайте меня в партии Ленина—Сталина.

Эти простые жгучие слова дали новые силы мужественному герою родины. Горячая, молодая кровь взбунтовалась в жилах, сердце стало биться быстрее и ровней. Неустрашимый боец не хотел умирать. Именно теперь, здесь, он желал вступить в партию Ленина — Сталина.

Христолюбов хотел подняться и вновь вернуться в бой. В это время ему донесли: на помощь пограничникам пришли регулярные войска.

Так начинался пограничный бой у озера Хасан.

«Трехога», № 188.

ВПЕРЕД, ЗА РОДИНУ!

С большой радостью мы встретили боевой приказ о наступлении. Этого приказа мы ждали с нетерпением. У нас было у всех одно желание — проучить как следует провокаторов войны и немедленно очистить от них нашу землю.

В бой нас вел командир роты старший лейтенант тов. Сухов. Он вместе с политруком т. Катковым были в первых рядах, служили личным примером и увлекали нас. Мы наступали под сильным пулеметным и орудийным огнем, но это несколько не служило нам помехой к выполнению боевого приказа. К утру мы достигли вершины сопки. Враг бежал в панике и страхе.

В бою бойцы проявляли мужество и отвагу. Атакывали врага с лозунгами: «За Сталинскую Конституцию!», «За великую мать-родину!».

Прекрасно действовал пулеметчик т. Логунов. Он своим метким огнем наносил сокрушительный удар по врагу и обеспечивал нам продвижение вперед. В тот момент, когда пулемет был подбит, т. Логунов под градом пуль пробрался к оставленному пулемету и открыл из него разительный огонь по врагу.

Младший командир Журавлев.

Газета «На защиту родины», № 3.

★

... Наша артиллерия получила приказ открыть огонь.

На 6-й минуте после открытия огня японскими самураями на их головы обрушился огонь советской артиллерии.

Орудийный расчет младшего командира-комсомольца тов. Бовкуна открыл по японским бандитам настолько быстрый огонь, что подносчики не успевали подносить снаряды. Быстро, отлично работал наводчик-красноармеец тов. Крысько. Орудие Бовкуна произвело большое количество выстрелов.

Меток огонь советских артиллеристов.

— Недаром сам товарищ Сталин занимается артиллерией, — с восторгом говорит старший на батарее лейтенант Антоненко.

С первых же наших выстрелов неприятельская минометная батарея была уничтожена. Такая же участь постигла и другие огневые точки противника. Пехота самураев сметена с советской территории.

Отличная стрельба батареи вызвала восторженные отзывы находившихся на высоте 588,3 пехотинцев и погранични-

ков — героических защитников советских границ.

Самураи получили сокрушительный отпор. Артиллеристы-герои говорят:

— Если на японских милитаристов не действуют разумные слова советской дипломатии, то подействуют советские снаряды.

«Тревога», № 194.

★

Японская артиллерия в боях у озера Хасан показала свою полнейшую беспомощность в борьбе с нашей советской артиллерией. Неоднократные попытки обстрелять наши батареи, стоявшие на закрытых позициях, были всегда безрезультатными и не приносили нам никакого вреда. Более активное действие проявляла японская артиллерия, обстреливая картечью нашу пехоту, но и в таких случаях наши артиллеристы быстро отыскивали японские батареи и в течение нескольких минут заставляли их замолчать.

По телефону капитану тов. Мерлин сообщают, что сильный артиллерийский огонь японских орудий мешает продвижению нашей пехоты. Капитан тов. Мерлин отдал приказание лейтенанту тов. Чех подавить огонь японской артиллерии.

Быстро отыскивается замаскированная батарея самураев. Немедленно подается команда на огневую позицию. После третьего выстрела взлетает на воздух японское орудие. Другое орудие исчезает, остальные, подбитые, остаются на месте.

«Тревога», № 192.

★

... Вторгнувшись на нашу территорию, японские бандиты спешно окапывались, рыли окопы, возводили провололочные заграждения.

Прибывши на помощь отважным советским пограничникам, регулярные части Красной Армии получили приказ на наступление. Нашей батарее приказано: уничтожить пулеметные гнезда самураев и артиллерийским огнем поддержать наступление своих войск на левом фланге.

Заняв огневую позицию, мы повели наблюдение за полем боя и вскоре обнаружили в секторе своего обстрела семь японских огневых точек.

Первым задачу на уничтожение самураев получает командир орудия Якимов. С первого же снаряда он дает прямое попадание в пулеметное гнездо противника, и самураи умолкают навсегда.

Вторую точку уничтожаю я, даю два выстрела, снаряды рвутся над пулеметным окопом, и ни одного самурая не остается в живых.

Так, в первый день боя мы уничтожили семь пулеметных расчетов непрощенных гостей, которые не только «Гочкис», но и ноги не успели убрать с нашей территории.

Следующая «встреча» с японцами состоялась на второй день после мирного предложения Сигемицу в Москве.

Заняв противотанковую оборону, мы нащупали устроенную японцами засаду, откуда они подвергали обстрелу пулеметным огнем наши части, оставаясь при этом на некоторое время неуязвимыми.

Вскоре им удастся вывести из строя нашего командира батареи. Командование я принимаю на себя и, оставив по три человека у каждого орудия для поддержания нас огнем, остальных пятнадцать человек повел в атаку.

Используя падь, мы подползли к траншеям противника незамеченными и, когда нас от врага отделяло расстояние 7 — 10 метров, мы с мощным «ура» бросились в атаку, забрасывая бандитов гранатами, используя штык и приклады винтовки.

«Храбрые» самураи в панике бросились бежать, но посланные нашей артиллерией снаряды, наши гранаты и пули преграждали им путь. Здесь я получил ранение. Командование батареей передал командиром орудия, кандидату в члены ВКП(б) тов. Якимову, и он закончил предпринятую мной атаку. Ни один бандит не ушел живым. 15 наших бойцов уничтожили 50 самураев, расчистив путь к наступлению пехоты.

Зам. политрука Калин.

★

... Перед боем политрук тов. Рябой сделал краткую информацию. Он рассказал бойцам о героических примерах советских людей, боровшихся за социализм — Семене Лагоде, Василии Баранове и других. Это подняло боевой дух бойцов.

После информации младший командир тов. Третьяков подал заявление о приеме его в партию. Он писал: «В бой хочу итти большевиком, буду биться с врагами, как большевики Балтики». Вместе с Третьяковым подали заявления в партию десять человек, в комсомол — четырнадцать.

Когда раздался первый выстрел японской артиллерии, вся рота была партийно-комсомольская.

«Тревога», № 185.

★

... Вот сопка. На ее верхушке — окопы самураев. Командир стрелковой роты старший лейтенант Максимов ведет отважных бойцов на верхушку правого фланга сопки. Станковые пулеметы самураев свинцовым дождем осыпают наших бойцов. С правой стороны японский офицер с группой человек в 60 готовится на нас в атаку.

Казаков с пулеметчиками Маркиным и Галкиным мгновенно вылезают на высоту и укрываются в окоп. Налетчики медленно поодиночке подвигаются вперед, сзади шагает офицер.

— Огонь! — командует Казаков.

Застрочил пулемет. Самураи падали. Офицер взглянул на трупы своих солдат, остолбенел, а потом произнес: «Банзай!», и бросился вперед.

— Огонь по авантюристам! — командует командир взвода. Пулеметчик Маркин выпустил несколько пуль. Сожившие самураи вместе с офицером были убиты.

Газета «На защиту родины», № 6.

★

Наши танки с исходной позиции начали вести огонь. Нашему взводу пришлось итти впереди. Машина командира взвода застряла в болоте, он пересел

на мою машину, и мы вырвались первыми на сопку.

Я вижу, как из окопа выбежал офицер, а за ним 6 человек солдат и направляются с чем-то к нашему танку. Я открыл смотровое окно и из пистолета убил офицера, а солдаты тут же побежали назад.

Командир взвода высунулся из машины, чтобы исправить гусеницу, но разорвавшийся снаряд ранил его в шею. Я стал стрелять по точкам японцев.

Командир роты тов. Сорокин уверенно вел роту танков в бой и метким огнем уничтожал захватчиков. Сам тов. Сорокин уничтожил 4 противотанковых пушки японцев.

Командир танка Козлов.

Газета «На защиту родины», № 2.

★

... Танк прошел проволочные заграждения. До первых рядов засевших самураев осталось несколько десятков метров. Уверенно ведет танк механик-водитель тов. Киселев. Командир экипажа тов. Кузнецов метким огнем из пушки уничтожает огневые точки. Танк подходит к длинному окопу. В нем — битком самураев. Кузнецов видит отчетливо их отвратительные рожи с прищуренными, ехидными глазами. Из окопа бросают гранаты. Но они не имеют никакого успеха, танк цел и невредим.

Один за другим посылаются в окоп три снаряда, завизжали гады, как бешеные собаки, залегли на дно окопа.

— Танк подошел совсем близко к окопу, — рассказывает тов. Кузнецов, — начинаю расстреливать в упор из пулемета. Смотрю, сволочи хитрят. Наблюдая за разворотом башни. Видят, что я направляю башню на правую сторону окопа, тогда в этой стороне ложатся, а слева поднимаются и бросают в танк гранаты. Ну, думаю, гады, я вас сейчас проучу. Медленно веду башню вправо, смотрю, слева высовываются японские рожи. Делаю резкий разворот башни влево и поливаю захваченную врасплох пехоту пулеметным огнем. Сдрейфили самураи и не стали высовывать своих рож. Тогда танк пошел на окоп с огнем. Радостно бились наши сердца, когда на

дне окопа мы увидели десятки убитых самураев, остальные в панике стали разбегаться. Но немногим удалось убежать от нашего пулемета.

Газета «На защиту родины», № 6.

★

6 августа танковая часть, где комиссар тов. Ефимов, получила задание выйти на высоту Безымянную и подавить огневые точки противника. Спокойно и уверенно прыгнули танкисты в башни и повели танки на зарвавшихся, обнаглевших самураев. Местность была исключительно трудная. Нужно было обойти болото, чтобы не утопить танки. Пришлось итти по открытой площадке. Этим воспользовались самураи и повели по танкам ураганный огонь. На глазах у всей колонны загорелся передовой танк командира роты.

— Берите командование на себя, — приказал комиссар лейтенанту Винокурову, сидящему с ним в одной машине.

— Есть, товарищ комиссар, — ответил лейтенант, и танк комиссара вырвался вперед.

6 танков прорвались к окопам противника, смяли проволочное ограждение и победно выбрались на высоту Безымянную. Танк комиссара шел по самой верхушке сопки и разрушал окопы противника.

Вдруг неожиданно сзади танка открыла огонь противотанковая пушка. Снаряд сшиб гусеницу и тяжело ранил механика и лейтенанта. Вторым снарядом убило механика. Третьим — разбило мотор. Танк остановился.

— Ну, что ж, будем обороняться, — сказал комиссар, взяв гранату, свой пистолет и пистолет раненого лейтенанта. Самураи не заставили себя долго ждать. Целая группа подползла к танку и начала его «обследовать». Они начали раскачивать пушку, дергать за люки, но люки были закрыты изнутри. Тогда самураи оставили охрану и начали ожидать. Больше суток сидел героический экипаж в танке, а когда раненый лейтенант выпил последнюю каплю воды из флаги, решили выходить. Попробовали боковой люк, но он заклинился и не открывался.

— Хватит силы вылезти через верхний?

— Хватит, — ответил лейтенант Винокуров.

Выждав, когда наша артиллерия открыла огонь и «храбрые» самураи разбежались по окопам, комиссар Ефимов вылез из танка и с бомбой и пистолетом стал охранять вылезавшего лейтенанта. Самураи, заметив, открыли пулеметный огонь.

— Ползи к озеру, — скомандовал комиссар, — а я буду отстреливаться.

Лейтенант пополз, но потерял ориентировку и попал на территорию японцев. Но и тут он не растерялся, вступил в бой с напавшими на него двумя японцами и обоим убил из пистолета.

Через несколько часов наши части пошли в наступление и подобрали ползущего с пистолетом в руке лейтенанта.

Лейтенант потерял сознание, но мужество комиссара осталось у него в памяти и, очевидно, останется навсегда.

Когда лейтенант Винокуров пришел в сознание, то первыми его словами была тревога за жизнь комиссара.

— А комиссар спасся? — спрашивал он. И успокоился тогда, когда увидел возле себя невредимого комиссара.

Радостной и незабываемой была встреча комиссара Ефимова и лейтенанта Винокурова с бойцами своей части. Крепко решили они отомстить фашиствующим самураям за героически погибшего механика — третьего члена экипажа.

Старший политрук Романов.

Газета «На защиту родины», № 8.

★

... Наша артиллерия вела уничтожающий огонь по сопке.

Тов. Лосев получил новый приказ: «Занять высоту 68,3 и в этом направлении вести наступление».

Вновь, атакуя противника под сплошными орудийными выстрелами, наступал взвод. Танк тов. Лосева впереди. Он видит, как из окопов бегут японцы, охватывая танки кольцом и забрасывая их гранатами.

Вот впереди три японских солдата тянут на веревке машину, и Лосев по ним

дал очередь. Два японца скатились вниз, а третий остался на месте.

— Испеку, голубчик, — говорит ба-шенный стрелок, ведя наблюдение.

— Товарищ командир, давайте его заберем, посмотрим, что это за фигура.

— Нет времени, товарищи, рассматривать паразитов. Больше газу, вперед!

Чтоб не быть в окружении вражеских войск, тов. Лосев обстреливает впереди себя местность, и тогда взвод свободно ведет действие.

Шесть раз получал взвод боевые задачи и с честью их выполнял, проявляя самоотверженность.

Газета «На защиту родины», № 3.

★

... Рабочий день. На аэродроме спокойно работали люди, капитан Куценко проверял готовность самолетов. И неожиданно сигнал...

— Боевая тревога.

Капитан Куценко дает распоряжение: — Повесить бомбы, зарядить пулеметы!

От мощного гула моторов дрожала земля. Командир эскадрильи созвал летчиков, — короткий приказ:

«Обнаглевшие японские бандиты вторглись на советскую землю и заняли высоту Заозерную. Наша задача: разбомбить огневые точки самураев, уничтожить их живую силу».

Могучая эскадра поднялась ввысь. Через полчаса на сопку Заозерную ворвалась буря. Бомбы, которые сбрасывала эскадрилья капитана Куценко, разрушали огневые точки японцев. Рвались провода, взлетали вверх укрепления, орудия наглых самураев, налетчики в панике бежали. Наши самолеты провозжали их метким пулеметным огнем. Самураи падали и больше не поднимались...

«Тревога», № 191.

★

... Я получил задание разбомбить огневые точки самураев, засевших на сопке Заозерной. Мой самолет поднялся в воздух, и я занял свое место в строю. Когда мы подлетели к месту бомбежки,

японцы открыли ураганный огонь из зенитной артиллерии, в воздухе то-и-дело разрывались снаряды. Я заметил, откуда летят снаряды, и, мгновенно отделившись от строя, повел свой самолет прямо на огневую точку противника. Спустившись на высоту восемьсот метров, обстреливаю врагов из пулеметов, затем сбрасываю бомбы... Я развернулся, чтобы посмотреть плоды своей работы. На земле творилось что-то невероятное. Оказывается, бомбы попали точно в зенитную точку и боеприпасы. Для того, чтобы закрепить успех, пикирую и лечу прямо на самураев, поливая их пулеметным огнем.

Однажды японцы открыли по нашим стрелковым частям усиленный артиллерийский огонь. Получив задание уничтожить огневые точки противника, я подлетел к цели. Японцы опять открыли зенитный огонь. Быстро делаю маневр и перевожу самолет в пикирование, с молниеносной быстротой на большой скорости приближаюсь к земле. Дал несколько очередей и сбросил бомбы. Затем делаю быстрый маневр, чтобы выйти из обстрела зенитной артиллерии. Через некоторое время я опять занял огневую позицию. Японцы открыли по моему самолету огонь. От сильного разрыва снаряда самолет колыхнуло. Большая обида взяла меня.

— Эх, — думаю, — гады, если на то пошло, то получайте еще гостиницу.

Занимаю новое исходное положение и опять открываю пулеметный огонь. Японская артиллерия замолчала.

Так мы разгромили самураев, посмевших посягнуть на неприкосновенную советскую землю.

Летчик В. Гаврилов.

«Тревога», № 191.

★

Воздух наполняется гулом моторов. Высоко в небе реют наши истребители, гордые соколы страны Советов. Они делают несколько кругов, не доходя до манчжурской границы. Через некоторое время появляются советские быстроходные бомбардировщики. Впереди — ведущий. За ним, в строю — клином звенья: одно, другое, третье...

Вот ведущий сделал разворот влево, лег на боевой курс по линии фронта. За ним двинулась грозная воздушная эскадра.

... В 3 — 4 километрах вздымаются черные столбы дыма, это взлетают обломки орудий, укреплений обнаглевших самураев. От взрыва бомб вздрагивают сопки. Блестяще выполняют боевую задачу наши воздушные корабли.

... Не успел еще рассеяться дым от первой бомбардировки, как вслед за первой эскадрой появляется вторая, за ней — третья, четвертая. Злобные зенитные батареи самураев осыпают бомбардировщиков снарядами, но они рвутся много выше и правее.

Сбросив груз бомб, тяжелые бомбардировщики спокойно возвращаются обратно. Над вражескими позициями вновь вырастают густые высокие столбы черного дыма.

— Живого места там не осталось, — говорят артиллеристы на наблюдательном пункте.

«Тревога», № 185.

★

Прибыв к месту нового назначения, батальонный комиссар Севастьянов не застал свою часть, куда был назначен комиссаром. Часть ушла на границу, где японские провокаторы вторглись на советскую землю.

... С другой частью Севастьянов пошел к высоте Заозерной. Ее занимали японцы.

... Пулеметный взвод залегал в обороне. Разрывались вражеские снаряды, не умолкали пулеметы, и казалось, маленькая горсточка людей не выдержит натиска численно превосходящего противника. В это время среди бойцов появился батальонный комиссар Севастьянов.

— Да здравствует Сталин! Ура!

— Ура! — прогремело по рядам, и бойцы, увлеченные бежавшим впереди комиссаром, кинулись вперед. Враг, несмотря на свое численное превосходство, был обращен в бегство.

... Так получил первое боевое крещение комиссар Севастьянов. Он штурмо-

вал сопку Заозерную, один из первых ворвался на нее.

«Тревога», № 196.

★

... В памятный день боя с япономанчжурскими налетчиками, нагло вторгнувшимися на советскую землю у высоты Заозерной, в части, где комиссаром тов. Бондаренко, происходило партийное собрание. Его открыл секретарь партийного бюро Иван Машляк, уже три раза побывавший в атаках. Во время одной из них, после выхода из строя командира подразделения, тов. Машляк взял командование на себя.

Над головами собравшихся летели пули. На собрании присутствовал лейтенант Лазарев. Раненый, он категорически отказался пойти в лазарет. «Я хочу снова бить врага, — заявил Лазарев. — Пока мы не выгоним самураев с нашей священной земли, я не уйду с поля боя».

Комиссар тов. Бондаренко сообщил коммунистам об итогах прошедших боев и задачах предстоящего боя. На собрании выступило 7 человек. Все говорили об одном — враг должен быть уничтожен. Собрание приняло резолюцию, которая обязывала коммунистов довести до каждого бойца задачи боя, решение партийной организации. Это решение выражало чувство всех красноармейцев и командиров. Каждый боец, командир, политработник всеми силами, всей душой стремился первым водрузить красный флаг на высоте, занятой самураями.

Собрание кончилось, и вскоре началась атака.

«Тревога», № 195.

★

В бой политработники шли первыми. Некоторые из них отдали самое дорогое — жизнь за любимую родину.

Комиссар тов. Пожарский три раза ходил в атаку. Раненый, он не покидал части. Перед самым броском в атаку тов. Пожарский встает, и голос его звучит могучим призывом:

— За великого Сталина, за мать-родину, вперед! Ура!

Не успели еще последние слова боевого комиссара утонуть в воздухе, как пуля врага поразила сердце пламенного большевика.

Бойцы отомстили врагу за смерть своего комиссара. Непреступная высота была взята. Враг был уничтожен.

«Тревога», № 186.

★

В бою за высоту Заозерную смертью храброго пал пулеметчик А. Е. Ширманов. Беззаветно преданный делу партии Ленина — Сталина, горячо любящий свою родину, он шел в бой с единой мыслью — разгромить врага, дерзнувшего нарушить неприкосновенность советских границ.

В ранце Ширманова товарищи нашли записку следующего содержания:

«Буду воевать до конца, насколько хватит моей силы, но врагу со своим геройским пулеметом не уступлю. Отступать не буду от советского рубежа, и японец не вырвется из-под моего пулемета.

Отличный стрелок Ширманов».

На обороте записки адрес его матери: Московско-Казанская железная дорога, станция Атяшево, село Алошеевка, Ширмановой Маланье Васильевне.

Газета «На защиту родины», № 9.

★

... На рассвете батальон японцев пошел в атаку. Пулемет Иосифа Минина «заговорил» быстро и безотказно. Слышался визг, стон. Через несколько минут раздалось громкое «банзай», самураи бросились вперед. Сильными руками Минин сдвинул рукоятку «Максима». Пулемет, дрогнув, выпустил очередь в самураев. Они хватались за животы и падали. Оставшиеся японские налетчики бросились в паническое бегство.

Когда с востока надвинулись августовские сумерки, наступила ночь, бандиты засуетились и начали обстрел наших частей артиллерийским и пулеметным огнем. Пулеметчик Краснояров всматривался в темноту. Видимость была очень плохая, небо заволочили темные тучи. С японской стороны быстро на-

двигались силуэты; сбегая вниз, они исчезали в темноте. По налетчикам открыли пулеметный огонь. Краснояров сражался с врагами хладнокровно. Он один уничтожил роту самураев. Когда Краснояров, чуть выткнув вперед голову, смотрел на расстрелянных бандитов, японский снайпер, окопавшийся под танком, открыл огонь. Героя-пулеметчика Красноярова ранило в руку.

Краснояров до конца боя не уходил с линии огня, метким пулеметным огнем уничтожая японские банды.

«Тревога», № 184.

★

В бою возле озера Хасан я получил первое боевое крещение.

... Наш батальон действовал против японцев с правого фланга. Наша пулеметная рота получила задачу — подавлять пулеметные точки врага на высоте Безымянной.

Враг занял не только высоту, но укрепился за рекой, где у него были сосредоточены пулеметы, артиллерия.

В полдень наступление было в разгаре. Заняли мы северо-восточный скат. Там была наша огневая позиция.

Прикрываемая огнем пулеметов, пехота обошла противника и пошла на высоту Заозерную.

Был у меня в бою такой случай. Патроны оказались на исходе, а враг, удобно замаскировавшись, обстреливал идущую впереди нас пехоту. Нам надо было с флангов вывести из строя вражеских пулеметчиков. Я сам стрелял из пулемета. Мне удалось уничтожить четыре японских пулемета.

Один японский снайпер долго тревожил наших бойцов. Я решил во что бы то ни стало его разыскать. Это оказалось не так легко. Снайпер здорово замаскировался. Наконец, мне удалось нащупать его. Дал в его сторону длинную очередь, снайпер замолчал.

Командир пулеметного взвода

Герентий Московец.

«Тревога», № 189.

★

Я — машинист электростанции. Такая работа выпала на мою долю в ар-

мии. Но я стреляю хорошо, на стрельбище всегда восьмерки выбиваю.

Узнал я, что часть наша к озеру Хасан выступает, и не хотелось мне от товарищей отставать.

Обратился к комиссару:

— Товарищ комиссар, разрешите мне тоже в бой итти.

— А сумеете воевать?

... Комиссар разрешил итти мне вместе с частью. В бою я участвовал в качестве пулеметчика.

Замаскировав свой пулемет, я вел огонь. Тщетно хотели обнаружить нас японцы. Их снаряды очень часто шипели, но не взрывались. Выходит, напрасные были самурайские хлопоты.

Крепко укрепился враг, но не выдержал и был обращен в бегство.

В бой шел я не комсомольцем, и политруку сказал: если убьют, считайте комсомольцем.

Жив остался, теперь подаю заявление и прошу принять меня в ряды ВЛКСМ.

Красноармеец Иван Игнатьев,
«Тревога», № 189.

★

Накануне боя по инициативе политрука Петрунина и старшего лейтенанта Дегтярева было организовано комсомольское подразделение. В этот день я вступил в ряды ленинского комсомола. Я знал, что звание члена ВЛКСМ обязывает побеждать врагов.

6 августа мы пошли громить самураев. Бесстрашные и мужественные бойцы и командиры с именем родного товарища Сталина шли вперед и вперед. Никакая самурайская сила не в состоянии была устоять против нашего напора.

Артиллерия Дальневосточного Краснознаменного фронта и его славная авиация смешали бандитов с землей. Под прикрытием артиллерийского огня мы продвигались к подножью сопки. Вскоре раздалась команда: «Приготовить гранаты» и вслед за ней вторая: «В атаку». Все, как один, мы ринулись со штыками наперевес на самураев. Дрогнули их ряды, и они в панике бежали.

Помощник командира отделения

Дульнев.

Газета «На защиту родины», № 6.

★

Много бойцов и командиров, выступая на защиту родины, извъяют страстное желание победить или умереть в бою, состоя в рядах коммунистической партии большевиков. Движимые этим желанием, они подают заявления о принятии их в партию.

Командир пулеметного подразделения лейтенант Шабашов пишет в своем заявлении:

«Я, беспартийный Шабашов И. П., во имя партии и родины положил все силы и умение на освоение доверенной мне военной техники. Эта техника, в совершенстве освоенная мною и бойцами подразделения, в боях у высоты Безымянной безотказно поливала захватчиков свинцовым дождем.

Как непосредственный участник боевых действий против японской военщины в районе озера Хасан, прошу принять меня в партию Ленина—Сталина, которой я и впредь буду предан до конца.

Шабашов И. П.».

Газета «На защиту родины», № 9.

★

... Рота лейтенанта Левченко пошла в атаку. Японцы открыли артиллерийский огонь. Кругом рвались снаряды, осколки разлетались во все стороны.

Лейтенант Левченко с гранатой в одной руке и пистолетом в другой, прорвавшись далеко вперед, один очутился среди семи японцев. Бросив гранату и в упор стреляя из пистолета, Левченко поразил одного самурая, затем уничтожил другого. Получив ранение в правую руку, лейтенант взял пистолет в левую и продолжал один отбиваться от пятерых пьяных японцев.

Силы были неравные, еще одно ранение подкосило Левченко; секунда, и японский клинок пронзил бы храброго лейтенанта, но неожиданно из-за прикрытия застрочил пулемет. Длинная очередь скосила самураев. Пулеметчик, вырвавшийся тов. Левченко, — боец Ульянов. Видя, что лейтенант в беде, он быстро прибежал к нему на выручку. Раненого, истекающего кровью ко-

мандира Ульянов вынес на руках с поля боя.

«Тревога», № 193.

★

... Красноармеец Петр Ащепков при атаке высоты Заозерной вел меткий огонь по японским захватчикам. Получив ранение, Ащепков быстро перевязал себе рану и продолжал действовать. Ни на минуту не умолкал его пулемет, и только после вторичного тяжелого ранения Петр Ащепков передал пулемет товарищу.

«Веди меткий огонь по японским самураям, чтобы ни одна пуля не пропала даром!». Этот наказ смелого патриота великой родины Петра Ащепкова товарищ выполнил. Атака была успешной. Под натиском красноармейцев японцы бежали, бросая оружие.

«Тревога», № 193.

★

... Комсомолец-танкист Алексей Селянин, подавший заявление в кандидаты партии, повел танк на высоту. Орудийный огонь из танка уничтожил огневые точки противника, но неожиданно брошенная граната остановила машину. Экипаж очутился в окружении японцев.

Селянин не растерялся, он быстро принял решение, открыл люк, и с гранатами наготове экипаж бросился на японцев. В рукопашной схватке Селянин и его товарищи дрались, сколько хватило сил. Получив тяжелое ранение, Алексей Селянин продолжал драться. Лишь только, когда противник был уничтожен, Селянина унесли товарищи.

«Тревога», № 193.

★

... 9 августа огнем нашей артиллерии уничтожена японская батарея у Мантокусан и две роты японских солдат. Ниже мы сообщаем подробности этой удачной операции. Выполнил ее командир батареи тов. Ольховик из части, где комиссаром тов. Лебедев.

Ведя наблюдение, он установил, что батарея противника находится в ущелье между двумя сопками.

Выкатывая орудия на возвышенность, они выпрягали упряжки, производили три залпа и быстро на руках спускали орудия обратно в ущелье.

Тов. Ольховик учел это обстоятельство и, как только японцы начали выкатывать батарею, он уже уверенно командовал: «Высота такая-то, прицел такой-то. Огонь!», и батарея японцев была уничтожена.

Вслед за этим он блестяще провел обстрел двух японских рот, переправляющихся через реку, и их уничтожил.

Артиллерийское подразделение, которым командует тов. Ольховик, является одним из передовых. Здесь в условиях боя ключом бьет партийно-комсомольская жизнь.

... Комсомольское собрание на огневых позициях в разгаре. Рассматривается очередное заявление о приеме в комсомол.

Вдруг раздается команда полубатареинного командира: «К бою», и собрание временно прерывается для того, чтобы открыть меткий, уничтожающий огонь по противнику.

После нескольких залпов собрание продолжается.

Газета «На защиту родины», № 5.

★

... Красноармеец Семен Петухов получил задание доставить гранаты на высоту Заозерную. Бой на высоте был в самом разгаре. Японцы вели артиллерийский и пулеметный огонь по нашей территории. Доставлять гранаты и патроны под ураганным огнем было тяжело. Лошадь с повозкой проваливалась в болото. Каждую секунду шальной снаряд мог угодить в повозку. Семен Петухов не растерялся и тут же быстро принял решение. Он оставил повозку с лошадью под прикрытием, а сам связками брал гранаты и ползком, перебежками доставлял их своим товарищам на передовые позиции. В этот день боеприпасами бойцы были обеспечены полностью.

Уезжая за новой повозкой боеприпасов, Петухов увидел раненых: лейтенанта и двух красноармейцев, ползущих в тыл, они выбились из сил, истекая

кровью. Петухов под'ехал к раненым и по-одному перевез их на перевязочный пункт.

«Тревога», № 193.

★

... Окоп отделенного командира Малько и его горсточки храбрецов японские самураи забрасывали гранатами, но герои не растерялись, с быстротой молнии на лету они подхватывали японские гранаты, бросали их обратно в противника, уничтожая врага его собственным оружием. Группа отделенного командира Малько обратно выбросила в врага 12 штук их же гранат. Будучи раненым в руку и обе ноги, тов. Малько не разрешал себя уносить с поля боя, просил перенести его в другой окоп, откуда он мог бы продолжать вести огонь по врагу.

«Тревога», № 194.

★

... Красноармеец Поздняков в бою выполнял ответственную роль — был пулеметчиком. Метким огнем из своего грозного оружия он расстреливал японских провокаторов. Когда выбыл пулемет из строя, товарищ Поздняков под ураганным огнем противника перешел в другой окоп, взял пулемет товарища и продолжал вести огонь. Три ранения получил тов. Поздняков, но до конца боя не ушел, продолжал сражаться за родину. В окоп Позднякова попали две японские гранаты, но он их быстро подхватил и бросил обратно в врага.

«Тревога», № 194.

★

Мне было приказано доставить срочно боеприпасы. Передвигаться приходилось все время под артиллерийским огнем, но это нас несколько не пугало. Когда мы совсем приблизились к полю боя, то противник заметил наш обоз и начал вести огонь. Несколько снарядов разорвалось совсем близко около нашей колонны, но мы не понесли никакого урона, даже не было ни одного раненого.

Боевой приказ нами был выполнен. Мы своевременно доставили боеприпасы

на огневые позиции, чем дали возможность открыть нашей артиллерии ураганный огонь по самураям.

За период военных действий мы все время выполняли боевые задания по доставке боеприпасов на поле боя, и часто приходилось работать круглые сутки.

Особенно следует отметить таких товарищей, как Деменков, Комаров, Анибраев, Харченко, проявивших в выполнении боевых приказов героизм.

Мл. командир И. Оганин.

«Тревога», № 189.

★

... В бою ответственная работа ложилась на связистов. Под непрерывным огнем связисты все время обеспечивали связь. Исключительную храбрость, мужество и отвагу проявил связист т. Дудыкин. В период атаки на сопку Заозерную четыре раза перебивались провода телефонной связи между пехотой и артиллерией, и каждый раз отважный связист т. Дудыкин быстро ее устанавливал.

«Тревога», № 189.

★

... Во время атаки красноармеец тов. Печников видел, как разорвался вражеский снаряд в том месте, где был политрук тов. Рябой. Печников бросился к месту взрыва. Видит, политрука нет. Он быстро сообразил, что политрука засыпало землей при взрыве снаряда. Тов. Печников стал быстро разрывать землю, отыскивать политрука. Несмотря на пулеметный огонь, он не прекращал работы, пока не нашел политрука. Как родного отца, он вынес его на пункт медицинской помощи.

«Тревога», № 186.

★

Стояла темная ночь, по дороге взад и вперед проходили машины. Люди и машины, которые остановились в ожидании, — отдыхают. Только зоркие часовые прислушиваются к малейшему шороху, не видно ли где какого диверсанта и не пробирается ли кто к охраняемому объекту.

Красноармеец Карп Шевченко, с винтовкой на руке, всматривался в темную даль. Вдруг он заметил силуэт, прямодвигающийся на него. Громким окриком остановил он идущего:

— Стой! Кто идет?

— Свои.

— Кто свои?

— Что, энского соединение здесь размещается?

Товарищ Шевченко видит: перед ним стоит политрук, вначале замялся, но потом спросил:

— А кто вы такой будете?

— Я прислан из Ленинграда в ваше соединение, — и после этого начал задавать ряд вопросов товарищу Шевченко о расположении, наступали ли такие-то батальоны в атаку, сколько новых танков и в каком они батальоне.

Тов. Шевченко видит, что так спраста политрук не будет задавать такие вопросы. Он сразу же скомандовал:

— Руки вверх!

— Ну, что вы, опустите винтовку, зачем шутить, — начал уговаривать политрук.

— Не разговаривать, руки вверх!

Тот поднял руки.

Часовой повернул его и под конвоем повел в штаб. На пути встретился конный раз'езд, и он передал им этого «политрука». Оказалось, что это был крупный шпион.

Через день тов. Шевченко вновь в наряде. Опять внимательно всматривается вдаль. Вот прошла группа связистов, проверяющая провод. Через некоторое время по этому же следу идут два человека. Тов. Шевченко подает команду:

— Стой!

Они продолжают двигаться.

Это заметил второй часовой, стоявший на посту, сразу же дал выстрел. Они залегли на землю и пытались скатиться вниз, но быстро к ним подбежали тов. Шевченко и второй часовой, отняли у них оружие и направили в погранзаставу.

Они также были переодеты в военную одежду и оказались тоже шпионами.

Так бдительный часовой тов. Шевченко задержал трех шпионов.

Газета «На защиту родины», № 6.

★

Наше подразделение находилось в обороне и получило приказ сменить огневую позицию. Я шел с командиром отделения Гореевым.

Он нес тело пулемета, а я станок.

Японцы все время не прекращали артиллерийского огня. Вдруг пропал командир отделения. Я начал искать его, оказывается, он был оглушен снарядом и отброшен.

Оказав помощь товарищу, я вернулся в строй.

Залег в ложине. Мы прикрывали пехоту огнем своих пулеметов.

Все время я и мои товарищи стреляли по точкам противника, выводили из строя вражеских снайперов.

В одну из атак на Заозерную командир Слесаренко заметил из-за кустов в небольшой ложбине двух японских офицеров: один из них из пулемета, а другой из автоматической винтовки вели огонь по нашим красноармейцам. Я дал длинную очередь, оба офицера были убиты.

Редко кто уходил от меткого огня наших пулеметчиков. Для каждого из нас бой был первым крещением, каждый горел желанием скорее прогнать с советской земли захватчиков.

События возле озера Хасан были проверкой нашей выносливости. Расскажу такой случай. Ночью, в дождь, шли в наступление. Противник вел сильный огонь. При переходе через реку я со станком пулемета вынужден был пробыть там почти до рассвета.

На рассвете пошли в атаку. «Храбрые» самураи не выдержали огня наших стрелков, пулеметчиков, артиллеристов и в панике бежали.

Нас, участников боя, тепло сейчас везде встречают. Мы чувствуем о нас заботу великого Сталина и внимание всей страны.

Мы всего-навсего только выполнили свой долг. Так поступит каждый советский патриот.

*Пулеметчик Андрей Дмитриенко,
член ВЛКСМ.*

«Тревога», № 189.

★

Истребительная авиация в заозерных боях не только обеспечила работу бомбардировщиков, но и принимала активное участие в ряде боевых операций.

Т. Протопопов, Омельченко и Злой получили боевое задание. Три-четыре минуты, и они в воздухе.

Готовясь к войне против Советского Союза, японская военщина подвела к самой границе железную дорогу. По ней эшелон за эшелон перебрасывались войска, предназначенные для нападения на мирные рубежи нашей родины.

Храбрая тройка советских летчиков появилась над железной дорогой. От-важные истребители замечают выгрузку войск из двух эшелонов.

— Дать жизни! — мысленно восклицает командир-летчик Протопопов и направляет свой самолет на эшелоны. За ним следуют Омельченко и Злой.

С первых же выстрелов летчиков заструились густые клубы пара из расстрелянных паровозов. Внезапный налет и губительный пулеметный огонь вносят невероятную панику. В беспорядке, скуечно бросается японская пехота в разные стороны. Ее настигает пулеметный огонь и приковывает пулями к земле.

...Наши бомбардировщики готовятся нанести удар по зарвавшемуся врагу. Истребителям ставится задача — подавить огонь зенитных батарей и пулеметов. Снова в воздухе отважная тройка. Вот она перешла линию фронта и реет над сопками противника. Вражеская зенитная батарея открывает огонь. Десятки снарядов в течение нескольких секунд разрываются в воздухе. Хитрым маневром уходят истребители из-под зенитного огня. Снаряды разрываются далеко позади и в стороне. Храбрая тройка бросается в атаку на вражескую батарею, расстреливая ее пулеметным огнем, заставляя раз и навсегда умолкнуть.

«Тревога», № 194.

★

щей большевистской силой. Участвуя в боях, они своим личным примером увлекали летчиков на героические подвиги.

— Комиссар-летчик тов. Злой, — рассказывает командир части тов. Протопопов, — всегда участвовал в самых сложных операциях и показывал подлинный героизм в выполнении боевых заданий. Тов. Злой пикировал до 50 метров и наносил врагу пулеметным огнем сокрушительный удар.

В первые дни боевых действий нашей авиации приходилось выполнять боевые задания под сильным огнем зенитных батарей. Комиссар тов. Злой в таких случаях всегда бывал на самых опасных участках, служил примером для всего летного состава, как надо бороться за родину, не страшась смерти. Каждый рвался в бой. Если летчика не посылали в бой, он приходил к командиру с жалобой. Так, летчик Повсташев был очень обижен, что он имел меньше вылетов, чем летчик Токарев.

Комиссары-летчики в боях на озере Хасан были не только храбрыми воздушными бойцами, но и умными военными тактиками. Наши истребители приводили японских самураев своей хитростью в бешенство. В части, где комиссар тов. Злой, не было ни одного самолета, который получил бы хоть одну незначительную пробоину от вражеских пуль. Это было достигнуто тактической хитростью комиссара тов. Злого, командира тов. Протопопова и его помощника тов. Омельченко.

Самолеты, подходя к передним линиям позиций противника, в момент открытия зенитного огня резко сокращали скорость. Вражеские зенитчики производили расчеты по обычной скорости самолетов и оказывались в дураках, их снаряды не достигали цели.

Комиссары-летчики быстро изучили тактику противника, приемы атаки, с тем, чтобы быть неуязвимыми и уйти из-под огня зенитных батарей и пулеметов. Ими был выработан прием нападения из сложных фигур. Этот прием комиссары быстро внедрились среди всего летного состава. В результате наша авиация, нанося огромные удары по

вражеским полчищам и огненным средствам противника, сама оказывалась совершенно неуязвимой.

«Тревога», № 191.

★

Наступало августовское утро. В предутреннем рассвете ярко вырисовывался силуэт сопки Заозерной с ее овальной вершиной, окутанной туманом.

Утреннюю тишину рвет грохот оружейных выстрелов. На сопке непрерывно рвутся снаряды. Это наши артиллеристы громят огневые точки противника. Сегодня сопка должна стать нашей.

Артиллеристы начали вести подготовку к атаке. Мы получили приказ готовиться к сопровождению наших быстроходных бомбардировщиков. Вот они показываются на горизонте в боевом порядке, идут на цель. С командного пункта взлетают три ракеты, и мы через несколько минут парим в воздухе, охраняя грозную воздушную эскадру. Она спокойно и уверенно, быстро приближается к цели.

Я тщательно ищу в воздухе истребителей противника, но, увы, их нет. Они боятся появиться в районе сопки Заозерной. Меня берет досада, что не придется схватиться с воздушным противником.

За мной в строю клином идут Воронин и Рулин. Они пристально смотрят на меня и ждут сигнала, чтобы броситься яростно на врага. Но в воздухе нет ни одного неприятельского самолета.

Бомбардировщики парят над сопкой. Внезапно над ней вспыхивают огненные массивы. Черный дым смешался с землей, взлетевшей в воздух, выросли столбы высотой до 300 метров. Сопка окуталась дымом... Как будто темные осенние сумерки упали на нее.

По бомбардировщикам открыли огонь японские зенитные батареи. Над воздушными кораблями вспыхивают белые облачки, — это рвутся снаряды. Внизу вижу вспыхивающие огненные языки зенитных орудий. Даю сигнал, и все звено, пикируя, идет на зенитные батареи. В прицел вижу, как в панике прячутся по кустам японские самураи. Затаив дыхание, ловлю цель...

Вот она поймана. Не уйдете, гады! Отдаю рычаг... Бомбы летят вниз и рвутся, уничтожая наглых провокаторов. Одновременно мы открываем огонь из пулеметов и свинцовым дождем поливаем японскую пехоту.

Взял ручку на себя, повел звено на боевой разворот. Воронин улыбается и показывает большой палец.

Наши бомбы попали в цель. Зенитные батареи замолчали и больше не открывали свои драконовы пасти.

На сопке Безымянной засели в блиндажах японские самураи. Веду на них звено. Пулеметная трель запела свою песню. Из блиндажа, как муравьи, поползли трусливые японские самураи, но меткий огонь наших пулеметов приковывает их к земле. Блиндажи устланы трупами зарвавшихся бандитов.

Вдруг я почувствовал удар в ручку. Обернувшись назад, заметил, что шальная пуля разорвала тягу управления. Перейдя на малую скорость, я тщательно осмотрел повреждение управления, тяга держалась на волоске и могла в любую минуту оборваться. Спасти самолет, довести его благополучно до аэродрома — вот вокруг чего сосредоточены мои мысли. Плавно веду самолет на аэродром. Вот он уже совсем близко. Иду на посадку, и в тот момент, когда шасси коснулось земли, тяга оборвалась, но сейчас мне это не страшно. Самолет цел и невредим.

— Мы еще повоюем, друг дорогой, — с любовью смотрю я на свою боевую птицу.

В свободную от боевых заданий минуту собирается в кружок летно-технический состав. Жадно слушаются рассказы отважных смельчаков, гордых соколов нашей родины, бесстрашных летчиков-истребителей Сударикова, Протопопова, Токарева, Злого. Немало острых словечек было сказано нашими летчиками по адресу японских зенитчиков, которые бессильны в стрельбе по нашим виртуозам-истребителям и быстроходным бомбардировщикам.

Через несколько часов мой самолет снова был в строю, и я иду на выполнение боевого задания.

Мы в разведке. Якубович то-и-дело прячется в кабину и наносит отметки на карте. Мы с комиссаром тов. Елисеевым идем по бокам, ведем разведку наблюдением. Вдруг, левее комиссара в метрах семидесяти, разорвались три снаряда. Якубович делает маневр, и следующие снаряды противника рвутся далеко позади. Не добившись успеха, зенитные батареи умолкают. Мы засекли место их расположения. После посадки подошел ко мне комиссар и сказал по секрету несколько слов, и когда следующий раз мы пошли в разведку, то по сигналу комиссара я отделился от ведущего и вместе с комиссаром бросился в

пике, и с высоты 400 метров мы сбросили груз бомб на зенитную батарею противника. Вражеская батарея раз и навсегда умолкла.

Летно-технический состав военно-воздушных сил ДКФ еще раз на деле доказал, что мы, летчики Страны Советов, летаем лучше всех и дальше всех. Мы — непобедимые властители воздушных просторов, всегда готовы к бою, всегда готовы разгромить любого врага, если он только посмеет напасть на нашу счастливую родину.

Лейтенант И. А. Кукин.

«Тревога», № 191.

НА СОПКЕ ЗАОЗЕРНОЙ ГОРДО РЕЕТ СОВЕТСКИЙ ФЛАГ

...Мне посчастливилось участвовать в бою и 6 августа. Долго будут помнить самураи этот день. Нельзя словами передать героизм наших бойцов, нет такой силы, которая бы устояла перед смелостью и отвагой советских людей, полных решимости прогнать врага с нашей родной земли.

Приведу только один пример. Мы шли через лощину, ведущую к высоте. Японцы вели ураганный огонь и не давали нам итти.

В цепи появился лейтенант-пограничник.

— Вперед, за нашего Сталина, за большевистскую партию!

Лавиной ринулись бойцы, враг был смят. Сопка Заозерная была взята, над ней взвился советский красный флаг.

Много было в те дни таких героических эпизодов. В одном бою был ранен командир. Мне было поручено отправить командира. Нам надо было миновать одну высоту, но ее обстреливали пулеметным огнем японцы. Под ураганным огнем противника я, красноармейцы Безулька, Зубарев, Фролков на винтовках унесли командира.

На одном из привалов состоялось комсомольское собрание.

На нем обсуждали мое заявление о даче мне рекомендации в партию. Комсомольская организация меня рекомен-

довала. Я решил всю свою жизнь связать с партией, с Красной Армией. Я решил стать политработником.

Я и мои товарищи в бою честно выполнили свой долг перед родиной. Мы рады, мы счастливы, что в отпорных боях показали врагам силу советского оружия, смелость советских людей.

Враг понес большие потери и был прогнан с нашей земли. И впредь уделом врага будет разгром и полное уничтожение.

С именем Сталина, с мыслью о нем, самом родном и самом близком, шли мы в бой. С его именем по первому зову партии и правительства мы снова готовы итти на врага, если он сунется на священную советскую землю.

Заместитель политрука

Самуил Глузер.

«Тревога», № 189.

★

Трудно передать, с каким энтузиазмом рвались наши бойцы в бой. За наглую провокацию японская фашистская сволочь должна ответить кровью, поплатиться головой. С этим твердым решением мы все, от рядового бойца до старшего командира, партийные и непартийные большевики, шли в атаку на высоту Заозерную, где в берлогах и норах сидели ненавидимые провокаторы — японцы.

В части т. Солянных развернулось соревнование между подразделениями на энергичное и решительное наступление на врага.

Подразделение т. Степкинского шло в наступление с красным флагом, чтобы первым поставить флаг на высоту Заозерную.

До момента атаки нес флаг я, но вражеский снаряд ранил меня. Флаг был подхвачен бойцами этого же подразделения.

В этот решительный час заработала наша боевая техника. Наша артиллерия одну за другой уничтожала вражеские огневые точки. Наша авиация своими действиями заставляла японцев покидать свои позиции и бросаться в бегство. Во время бомбардировки нашей авиации вся высота Заозерная была покрыта дымной и пыльной облачностью.

Отличные действия нашей авиации поднимали дух и смелость бойцов. Наши бесстрашные танкисты давили одну за другой точки противника. Наши лихие тачанки помчались с пулеметами, и пехота пошла на врага. Эта сила была несокрушима.

Храбро командиры, комиссары и политработники вели бойцов в наступление на врага. Своим личным примером и беззаветной преданностью к своей социалистической Родине они вели в наступление свои подразделения. А когда ранят или убьют командира, раздается голос политрука: «Слушай мою команду, рота, вперед!».

В результате ожесточенного боя в ночь с 6 на 7 августа высота Заозерная была занята нашими войсками.

Подразделение тов. Спинкина поставило красный флаг.

Пусть враги знают, что Красная Армия, весь советский народ никому не позволят перешагнуть на нашу социалистическую землю.

Мы шли в бой под знаменем великого и мудрого вождя всего человечества товарища Сталина, под его знаменем мы победили врага.

Политрук Н. Аникин.

Газета «На защиту родины», № 2.

★

6 августа (из дневника).

В ночь на 6 августа занимаем исходное положение. На коротком митинге сообщаем бойцам задачу — уничтожить врага и взять высоту. Для этого требуется больше организованности, дисциплины, смелости и отваги. Настроение у всех приподнятое. Роем окопы, подтягиваем снаряжение, проверяем оружие. Командир орудия тов. Шикин, комсомолец; готовит свое орудие, лейтенанты тт. Лизун, Зинин, Денисов осматривают, все ли подготовлено к предстоящему бою, все ли для этого есть.

Работа кипит, хотя ночь, но привычные к темноте глаза и руки делают свое дело. Готовимся тихо, порой даже незаметно. Из-за скалы показался диск солнца, он вселил в нас бодрость и энергию. Кто-то затянул вполголоса песню, ее продолжали наши комсомольцы Григоришин, Михайлов и другие: «На земле, в небесах и на море наш напев и могуч и суров»...

Перед атакой сидим в окопах, ждем приказа. По возможности еще раз проверяем себя, свою готовность к атаке. Желание одно — скорее пойти в бой и победить. В том, что победа будет за нами, ни у кого нет никакого сомнения. Никто и никогда не победит советский народ, ибо мы знаем, что воюем за свое счастье, за свою отчизну.

— Как, товарищ Погорельцев, готовы? Флягу-то возьмите с собой, — шуточно говорит командир отделения.

— Я готов, вот только каска, слишком жарко в ней, — бурчит про себя Погорельцев.

Тут же начались взаимные переговоры. Ввертывались острые слова, шутки, не забыли мы и о том, что, если кто из нас погибнет за родину, нужно по такому-то адресу сообщить, и тут же мы написали свои адреса, вложили их в специальные коробочки. На обратной стороне адресов каждый написал письмо по своему выражению и чувству перед боем. У меня написано следующее:

«Если я погибну, так не зря. За нашу родину отдаю жизнь. Знаю, что победа всегда будет за нами, за ВКП(б), за

великим Сталиным. Да здравствует победа!».

С такой уверенностью, с такими мыслями мы двинулись атаковать укрепленную японцами высоту. Наша земля до пяди должна быть полностью очищена.

6 августа началась атака. Вдали от нас послышался гул моторов наших советских самолетов. Гул все приближался.

Появление самолетов все больше воодушевляло нас. Самолеты разных конструкций! Глазами мы впились в небо, и так хорошо стало на сердце, видя армию стальных птиц, грозно стоящих на защите родины.

— Достанется сейчас самураям, — пронесится по окопам.

А самолеты идут. Слышны уже первые выстрелы по врагу. Появились бомбовозы, большие, мощные, они плывут по небу. У самураев душа в пятки ушла. Видно — носом в землю воткнулись. Земля содрогнулась от громовых разрывов. Японская нечисть получила должный урок за наглую провокацию.

Сзади нас двинулась грозная сила — танки, они быстро идут к Заозерной. Башни медленно, но уверенно поворачивают свои пушки туда, где еще остался недобитый враг. Вот танки поровнялись с нами, ушли несколько вперед. Раздается громкая команда, все стремительно двинулись на японцев. Открыли ружейный и пулеметный огонь. Рядом со мной Григорьев, немного впереди Лизун.

— За родину! За счастье! Комсомольцы, вперед!

Все бегут за нами. Разве могут комсомольцы отставать!

В одной из ложин мы залегли. Рота вся в сборе. Красное знамя с нами. Перебегаем вперед — снова раздается команда, и мы то идем, то ползем, то бежим. Используется малейшее прикрытие. Я ежеминутно держу связь с боевым командиром Григорьевым. В атаку мы идем с ним, впервые находимся впереди роты с гранатами в руках. Неожиданно из рук комсомольца Смирнова выпало красное знамя, знамя подхватывает другой. Смирнова среди нас нет —

ранило или убило? Бежим под сильным огнем, залегли. Я стал разыскивать Смирнова, нашел его в сторонке. Его легко ранило.

— Ну, как, в бой еще можешь?

— Ну, конечно, могу и пойду. Только вот в коленке болит немного.

Это была последняя наша остановка.

21 час. Надвигается ночь. Все время атакуем врага под огнем.

— Товарищи, последний натиск, руби проволочные заграждения! — кричит во всю силу Григорьев. Мощное «ура» потрясает сопку. Двинулись на самый гребень Заозерной. Смело идем, и вот на самом гребне взвилось красное знамя.

На сопке несколько частей. Общее командование принимает командир-коммунист т. Привалов. Целую ночь идет стрельба, бьет артиллерия, пулеметы и винтовки, взрываются гранаты. Эта ночь была необычайной. Эту ночь все, кто был на высоте, никогда не забудут. Трудно передать словами чувство, когда советская земля была очищена от вражеского нашествия.

Заместитель политрука

Георгий Сазыкин.

«Тревога», № 198.

★

... Между частями, подразделениями: было широко развито соревнование — за право первым установить на Заозерной снова советский флаг.

Честь выбить японских самураев с нашей земли выпала на долю бойцов части, которой командует капитан Привалов. Эту задачу бойцы приняли, как оказанную большую честь. И с небывалой радостью, величайшим боевым подъемом, после замечательных действий бомбардировочной авиации, от которой самураи и сейчас не пришли в себя, наша пехота и танки перешли в решительное наступление. Наступление велось фланговое. Слева наступали подразделения командиров Бравоева, Кулькова. Поддерживал пулеметным огнем Сапельцев.

Перед наступлением во всех подразделениях политруки провели беседы.

Роты пошли в наступление. Засевшие самураи открывают огонь из пулеметов. Наши пулеметчики быстро отыскивают пулеметные гнезда противника и заставляют их пулеметы замолчать...

Красноармейцев героической пехоты ничто не может удержать; ни ураганный огонь, ни крутой подъем на сопку.

Впереди — проволочное заграждение. Простая цинковая проволока.

— Эх, гады! Даже колючей проволоки не имеют, а суют поганый нос на нашу территорию! — восклицает старший лейтенант т. Надзуга.

Он подползает к проволоке, под огнем прорезает проход для пехоты. Бросается вперед. Ранен ручной пулеметчик. Пулемет умолк. Не долго думая, бросается к пулемету стрелок Плотников. Открывает губительный огонь. На Плотникова с фланга нападает отделение самураев. К нему на помощь спешит командир отделения Захаров. Бросив гранаты, он уложил на месте четырех, остальные в панике обращаются в бегство.

Завязывается рукопашный бой. На красноармейца т. Драгина набрасываются до десятка самураев. Лежа, т. Драгин расстреливает в упор четверых, к остальным выбегает навстречу с винтовкой наперевес. Разгорается неравный бой. Вот штык его винтовки сильным ударом опрокидывает впереди бегущего самурая.

Четко работает мысль: «Не дать себя окружить».

Работая штыком и прикладом, сильная коренастая фигура Драгина устилает вокруг себя землю трупами. Он уже получил две раны штыком, но по-прежнему крепка рука, сильны удары.

На помощь к т. Драгину подспевают товарищи. Оставшиеся в живых японцы бегут. Их нагоняет и уничтожает истекаемый кровью от четырех штыковых ран герой родины т. Драгин.

Среди выстрелов то-и-дело в предутреннем рассвете слышатся лозунги: «За родину, за великого Сталина, вперед! Ура!».

Всю ночь длился бой. С боем отвоевывалась каждая пядь советской земли.

К утру атакующие достигли вершины сопки. Когда загоралась заря, на сопке взметнулся алый советский флаг, который установил замполитрука т. Семёнов.

Какой небывалый героизм! Идет бой, а на вершине сопки т. Привалов собирает командиров и бойцов. Его звучный голос гремит:

— Товарищи! Сопка Заозерная взята. Умрем, но не уйдем! Ура любимому Сталину, Ворошилову!

Завидев гордо реюший красный флаг, японские самураи озверели, как бешеные собаки. Они стали карабкаться на сопку. Офицеры с клинками наголо, с воем «банзай» гонят свою пехоту.

Вот карабкаются, как кошки, до двух взводов пехоты. Наши бойцы подпускают их близко, потом забрасывают ручными гранатами. С воем и визгом катятся вниз уцелевшие японцы. Большинство остается на месте убитыми.

Укрывшись за скалами, бандитские налетчики продолжают обстрел гранатами. Из-за выступа скалы группа офицеров посылает отборную брань на русском языке по адресу красноармейцев. Не выдерживают сердца сынов нашей родины оскорблений. Старшина т. Миленчук, замполитрука т. Сазыкин бросаются к скале, гранатами убивают трех офицеров и разгоняют засевшую пехоту.

... Ряд предпринятых японцами контратак разбивается о неприступную скалу славных бойцов Дальневосточного Краснознаменного фронта. Самураи бегут, в страхе оставляя на поле боя сотни трупов, оружие и снаряжение.

Сопка взята. На вершине ее гордо реет советский флаг. Никакая сила не сумеет сорвать реющий красный советский флаг.

У флага по очереди несут почетную боевую вахту. Первым несли ее бойцы Карпов и Вахрушев.

Советская земля очищена от бандитских самураев. Мы никогда не позволим бандитским самураям топтать нашу землю.

«Тревога», № 185.



Степан Никитич Барышев

Три четверти века

(ВОСПОМИНАНИЯ)

Депутат Верховного Совета РСФСР С. Н. БАРЫШЕВ

Жизнь у меня большая. Я даже хорошо помню русско-турецкую войну 1877—78 года. Брали тогда у нас в деревне мужиков в солдаты, и столько реву было и пьяных песен, что даже детишкам невтерпеж становилось: они тоже кричали и плакали. Года через два солдаты вернулись с войны, и мы все, босые и ободранные мальчишки, бежали за ними следом, узнать, кого убили в

Турции, посмотреть на форму. На солдатах были удивительные шинели и шапки, вроде кепок, на нос нахлопанные; теперь такие я в Москве в музее только видел.

Родился я в царствование Александра II. Пережил его и его сына — пьяницу Александра III и внука — кровавого Николая II. Больше полувека жил я тяжело и беспочетно. Только при совет-

ской власти увидал я свет и почет. Дожил, вот, до такого счастья, о котором и мечтать нельзя было! Доверил мне народ большое государственное дело — открыть Первую Сессию Верховного Совета РСФСР.

Пришли товарищи ко мне в номер (остановился я в гостинице «Москва», в Охотном ряду) и стали настаивать: «Степан Никитич! Ты должен рассказать молодым о своей жизни». — «Да что ж я расскажу? Все позабыл». — А они: нет, да нет! «Расскажи. Надо вспомнить. Молодежи очень интересно знать, как жили старики раньше и как при советской власти. Степан Никитич, ты старейший депутат. К твоему слову прислушиваются».

И так стали они убеждать, что я согласился. Боюсь только, как бы память не подвела. Многое из давнего я помню очень хорошо — будто только вчера было. А многое и позабыл уже...

★

Родился я в деревне Саблуково Васильсурского уезда, Нижегородской губернии (теперь — Спасского района, Горьковской области). Старшие братья мои еще помнили крепостное рабство. Отец и мать были крепостными крестьянами помещика Демидова.

Я родился в 1864 году, т.-е. только через три года после «освобождения крестьян». Запомнил я, как крестьяне горевали после этого «освобождения». Они говорили: «Освободили нас от помещиков и... от земли».

В крестьянстве навеки осталось в памяти крепостное рабство. Помню, дедушка рассказывал про старого барина — «сипуном» его крестьяне почему-то прозвали. Этот «сипун» был лютым злодеем, крепостных морил до смерти. Однажды он расскандалился с кучером — чем-то не потрафил тот. Так ведь «сипун» что сделал! Заковал кучера, к кандалам велел прицепить двухпудовую гирию и в таком виде заставил канаву рыть. А в другой раз «сипун» на девчонку-горничную рассердился. Велел барин горничную связать и выставил ее в коридор. А это зимой было, она и замерзла на-смерть.

«Освободили» крестьян от крепостного рабства так, что настали новые издевательства. Земли дали в обрз. Опять надо у барина работать. Он, может, и не убивает открыто людей, но, бывает, продолжает пороть, как раньше, — и никому не пожалуешься: дворянину начальник верил, а мужика и сам рад сдануть раз-другой. Работает у барина не крепостным, а батраком, и платит он крестьянину такие гроши, что обидно вспоминать.

Как «освободили» нашу деревню?

Вся богатая земля осталась у помещиков Демидовых, а крестьянам дали самую малость земли, да похуже. Только-только бы сразу не помереть с голоду. А там «освобождение» закончилось — можешь помирать, можешь побираться, арендовать землю втроедорога у помещика и работать на него или вовсе уходить из деревни.

Семейству нашему при «освобождении крестьян» выдали три «душевых» надела — на три души: отца и двух сыновей. Женщины в расчет не принимались вовсе, как будто им не надо есть, не надо жить... После у отца с матерью родились еще два сына и три дочери. Вот и считай: три надела на девять душ. Земли, конечно, не прибавилось, а убавилось: брат женился и отошел со своим наделом. Земли осталось совсем мало. Прокорми себя да детей.

Когда Иван — второй сын — женился, то мы все боялись, что он отделится и останется на всю семью только один надел. Но Иван вскоре заболел тифом (в деревне говорили: горячкой) и помер. Я тогда был еще совсем малым, но не помню, чтобы родители и братья очень горевали. Да! При старом режиме так крестьянам жилось, что иной раз радовались смерти: ртом меньше... Колхозной молодежи даже трудно в это поверить. А ведь это было!.. Попы все время утешали мужиков, что на том свете — распрекрасное житье для бедняков, а на этом свете можно и потерпеть, одни богачи пусть тешатся...

Своего хлеба отцу всегда нехватало. Приходилось где-нибудь работать — или в город уходить, или батрачить у того же помещика Демидова.

Себя я помню лет с восьми-десяти. Держали мы двух гусынь да гуся. Народится от них штук десять гусят — я их и караулю, пасу на берегу Урги. Отец, бывало, строго наказывает:

— Если гусенок пропадет, я тебя убью до смерти.

Уж и сторожишь гусей, — боишься! В старое время в деревне детей сильно били. Жизнь тогда была тяжелая и невежественная. Кому крестьянин жаловаться будет на жизнь? Вот и срывали зло на слабых — на детях, на женщинах. Помещика ведь не побьешь!..

Школ в мое время не было. Редко кто из мальчиков учился грамоте, а девочек совсем не учили.

Ученые тогда было такое. Ходит по деревням грамотный старик — из солдат или из дьяконов, ходит такой человек, без роду, без племени, и зимой пристанет к какой-нибудь деревне. Поживет неделю у одного, неделю у другого, потом у третьего — и так всю зиму. Звали этих стариков «шатушимися». Мужики, бывало, кормят шатущихся стариков, а они за это детей учили. Так и учились мы в разных избах.

Меня учил старик из Елховки. Он и сам-то не очень был грамотным, писать совсем не умел, а читал по-церковно-славянски: аз, буки, веди, глагол... Прочился я у него одну зиму и научился читать по складам. Вот на этом и кончилось мое ученье. Отец считал, что я уже грамотный, мальчишки-сверстники, которые не попали к старику-шату, завидовали мне. А я только-только почувствовал вкус к грамоте. Очень хотелось научиться писать и читать по настоящему алфавиту. Но в другую зиму шатущиеся старики прошли мимо Саблуковки, и мои надежды провалились.

А там уж и работать надо было начинать: дрова рубить, навоз возить, постоянно что-то чинить, чистить, прибирать — работы много есть в крестьянском хозяйстве. Лет к пятнадцати я уже и в поле пахал, и плотничать умел, — началась тяжелая крестьянская жизнь бедняка.

Об учении уже не мечтал. Но часто нет-нет да подумаешь: эх, книжку бы

прочитать! А где ее возьмешь, книжку хорошую? Ее и в помине тогда в деревне не было. Разве только в барском доме. А если достанешь книжку, как ее прочтешь, — ведь она не по-церковно-славянски составлена.

Я был очень упорный и настойчивый. Раз задумал, что надо научиться читать и писать, — значит, сделаю.

Самоучкой я и выучился, но позже, когда был женатым.

Тесть мой, Федор Алексеевич Барышев, тоже был любопытный к наукам. Тянуло его к книгам и письму. Он специально ходил почаще к обедне, чтобы дьякону понравиться. Там, в церкви, он и выучился грамоте; дьякон ему между обедней и заутреней показывал буквы и письмо.

Когда я женился и вошел в дом тестя, он учил малых детишек; двух мальчиков, помню, привезли из Возьянок, соседней деревни. Тесть учил мальчиков, а я наглядно учился — смотрел со стороны.

Тесть очень бедствовал. Хозяйство у него было очень малое, нищее, можно сказать. Он на обучении ребят немного зарабатывал. Платили ему по три рубля за каждого ученика (с осени до зимы). За эти три рубля мальчики из Возьянок учились у старика, жили у него. Харчи мальчишкам привозили родители из дому, но обед готовила им старуха, — конечно, бесплатно, так как три рубля покрывали все. Труд крестьянский очень дешевым был, человек при царизме не ценился.

У нас издавна такой обычай: еслиходишь в дом, где нет сыновей, то принимаешь фамилию тестя. Ты, выходит, становишься его сыном.

Фамилия моего отца была Бунегин. Я женился на Барышевой и стал Барышевым. В новой семье, куда я вошел, был один надел. Изба у Барышевых стояла плохонькая и старая. Простора никакого — ни сесть, ни лечь: всего шесть аршин; четвертую часть избы занимала печь, часть занимал чулан. Лошади своей не было, только корова. Овец тоже не было. Кур было с пятак — вот и все хозяйство.

Прожил я у тестя года два, потом хлеба стало нехватать и картошки нехватать. Мясо мы ели только на свадьбу, больше его не видали (иногда только на большой праздник курчонка зарежем). Изредка ели просяную кашу — это было вроде роскоши. А так только картошка: утром картошку в мундирах, в обед похлебку из картошки, на второе — тоже картошка, иногда каша, на ужин картошка и черный хлеб.

Я увидел, что один надел не прокормит. Пришлось итти в город Нижний-Новгород. Сначала я нанялся у кулаков сено косить. Но платили очень бедно — три рубля за весь сенокос. А работать приходилось с рассвета до вечера.

Никто еще из нашей деревни в город не уходил. Как дойдешь до Нижнего? Большой город, чужой город, пропадешь, да и только. Жена моя, Анна Федоровна, была молоденькая, лет семнадцати. Она плакала, когда я уходил, будто хоронила. У меня на сердце тоже было беспокойно, тревожно. Вообще, вся наша жизнь при царизме была беспокойная и тревожная.

В город уезжал — жена плачет. В солдаты призывали — плачет. Да как плачет! Так голоса только на похоронах.

Теперь крестьянин уважает рабочий класс, а раньше вовсе не знал его. Теперь крестьянин любит город, а раньше боялся.

Красную Армию, посмотрите, как народ любит и уважает, гордится Красной Армией, а царской армии боялись, как смерти.

Ненавидел народ царскую армию. Для солдата она, как тюрьма, была, как каторга. Офицеры били солдат, под ружье ставили, на гауптвахту ни за что сажали — солдат был настоящим рабом.

Когда пришло время мне итти призываться, жена хватала меня за руки, кричала: «Не иди! пропадешь там», голосила на все село. Сердце у меня сжималось, самому тяжело. А на нее никто внимания не обращал: все матери и жены голосили — парни к воинскому начальнику на призыв собирались, всех их оплакивали.

Призыв в Красную Армию — целый праздник. Народ песни поет, веселится.

В царскую армию провожали не праздником, а вроде поминками. Напившись пьяные, все пели песни, тягостные, грустные — за душу так и хватает. Пели такое:

Куют-куют белы рученьки,
Куют-куют скоры ноженьки,
Везут молодца во солдатушки,
Во ту ли службу проклятую...

В мои годы призыв был по жеребьевке. Собираются у воинского начальника парни и тащат из решета бумажки. Вытащишь бумажку и отдашь секретарю. Тот развернет, поглядит в нее и кричит:

— Номер такой-то!

Большой номер попадется — не берут. Определенное число солдат на уезд полагалось. Богатеям всегда большой номер выходил. Дадут взятку начальнику, секретарь и знает, какой номер кричать.

Мне посчастливилось: достался большой номер, и я в солдаты не попал.

Вернулся в Саблуково. Тесть, Федор Алексеевич, говорит:

— Собирайся, Степа, в Нижний.

В Нижний-Новгород поехал на пароходе. Первый раз увидел машину. Всю дорогу удивлялся и рассматривал: вот человек до чего доходит умом!

В Нижнем долго не мог привыкнуть к шуму и толкотне.

Поступил сначала на столярную фабрику Хворинаова, на Варварке.

Какие условия? Сколько платить будут? Даже боязно спросить, вдруг хозяин прогонит.

Потом хозяин сам об'явил:

— Буду тебе платить одиннадцать рублей в месяц. Харчи твои. Понял?

— Как не понять...

— Билет¹ сдай в контору.

Работать приходилось очень много. Вставали — еще было темно, ложились — уже было темно, только поздно ночью уснешь.

Прошел месяц — хозяин не платит жалованья, другой месяц — не платит.

¹ Паспорт.

Что из деревни взял — все прожил. Дома, в Саблукове, давно от меня денег ждут, а у самого ничего нет, даже хлеба, бывало, купить не на что.

Как хозяину сказать? Страшно! Тогда все время непонятный страх был на душе. Всех мужик боялся и страшился: помещика, попа, станowego, хозяина, бога. Один страх и был...

Оставил я у Хворинова свой паспорт — и бежал от него. Бог с ними, с паспортом и деньгами!

Вскоре мне знакомый парень встретился. Рассказал, что Хворинов всем рабочим задолжал, не платит денег. Рабочие хотят идти к губернатору жаловаться на хозяина. И я пошел с ними.

Не дошли мы до губернаторского дома, а власти уже знали, что рабочие идут жаловаться на фабриканта. Нам навстречу выслали отряд полицейских при нагайках, саблях, револьверах. Там нас нагайками и разогнали. Не смей, дескать, рабочий приближаться к губернаторскому дому! Не суйся в богатые хоромы!

А теперь эти хоромы — все наши. В губернаторском бывшем доме сейчас обком партии помещается. Дом стал лучше и краше. Я здесь бываю, как член обкома партии, и вспоминаю, как нас нагайками прогоняли. Хожу по дому и вижу рабочих, колхозников, ученых — все по народным делам хлопочут. И радость меня берет: как партия Ленина—Сталина народ возвысила!

После Хворинова я поступил на механическую фабрику Доброва Алексея Алексеевича, на набережной Волги. Здесь я плотничал, упаковывал вещи. Получал 75 копеек в день, на своих харчах.

Жил в какой-то маленькой, грязной лачуге. Называли ее важным словом: «квартира». А на самом деле — покосившаяся, гнилая избенка. В маленькой комнатухе нас жило трое, иногда четверо рабочих добровской фабрики. Каждый снимал койку. Грязь была страшная. Отоვсюду дуло из щелей. Зимой мы прямо-таки замерзали. Спасало одно — усталость. Фабрикант так гонял нас на работе, что к койке своей, быва-

ло, доберешься усталый и сонный: сразу свалишься и уснешь.

Через год я перешел в садоводство-купца Кондратьева на Острожной улице. У меня с детских лет была любовь к растительному царству, я любил природу, поля, цветы. Всегда хотелось сделать что-нибудь такое, чтобы природа стала еще более красивой. В садоводство я поступил с большим волнением. Там росли разные цветы, розы, пальмы. Вот, думал я, многое я здесь узнаю о растениях.

Но бедняку разве повезет! Поработал в садоводстве месяц и заболел. Сvezли меня в больницу. Лежал я там, как неприкаянный, — кругом ни одной знакомой души, всем я чужой.

Когда я вышел из больницы, в садоводство уже взяли другого рабочего. Так и сломалась моя надежда.

Разве можно старое время сравнить с нашим, советским временем? Теперь правительство говорит молодым: «учитесь! чему хотите, учитесь! а мы, советская власть, поможем вам людьми настоящими стать». В нашем Саблуковей сейчас ребята разных специальностей есть: все пошли по своему призванию. У нас три своих шофера, четыре тракториста, да опытники, да садоводы. Александр Колешин, саблуковский парень, учится в Москве на инженера, а его двоюродная сестра Зоя Егоровна Колешина — учительница в нашей школе. Щеникова — тоже учительница. Щигонин Николай Иванович и Сидоров учатся на летчиков, Иван Тигин — ветеринарного врача, Василий Тигин — танкист в Красной Армии. Да всех разве перечислишь!

В старое, царское время невозможно было рабочему человеку и крестьянину работать по любимому делу, получить специальность, к какой влечет тебя нутро.

Тебя тянет в одну сторону, а нужда гонит в другую...

Вместо садоводства попал я к подрядчику плотницких работ Семену Семеновичу Каменеву, на Похвалинской улице. Тот уж все жилы из нас вытягивал. Он, правда, давал свои харчи, но зато деньгами только рубль два-

дцать копеек в неделю — меньше пяти рублей в месяц!

В Нижнем-Новгороде прожил я так лет пять. Никакого добра не нажил и вернулся в Саблуково ни с чем.

То же самое хозяйство, только более обедневшее, та же изба, но более тесная, — семья прибавилась, дети пошли.

Город мне мало помог, жизнь оставалась такой же тяжкой, и я подумал-подумал и сказал себе: «Лучше уж останусь в Саблукове, с землей мне интересней. А пропадать — не все ли равно где?».

Кругом нас помещики Демидовы жили. Земли у них было много. Каждую весну или осень приходили крестьяне к помещику унижаться, просить землю в аренду. А Демидову это выгодно — он с крестьянина и деньги за аренду выжмет, и побатрачить заставит.

Деньги тогда были очень дорогие, или, как мужики говорили, угорны были деньги. А труд крестьянский ни во что не ставился. Нам, саблуковским крестьянам, надо было платить Демидову за аренду две тысячи рублей. А попробуй, собери эти деньги, если за хлеб дают гроши! Я хорошо помню, в 1888 году продавали муку по сорок копеек за пуд. Вот и подсчитайте, сколько же хлеба надо было продать, чтобы отнести помещику две тысячи рублей? Пять тысяч пудов муки! А урожаи были плохие, не хватало хлеба для детей, а тут еще на базар надо везти, чтобы оброк помещику уплатить.

Я за аренду должен был платить семь рублей весной и семь рублей осенью. Сейчас кажется, что это смешные деньги, — только четырнадцать рублей в год. Но, поверите, никогда я не мог собрать этих денег. И вместо денег приходилось отработывать у помещика — возить два дня навоз, пахать, выжать несколько десятин. В самое горячее время, когда у тебя в поле поспело, надо было все бросать и работать у помещика. Да разве один помещик Демидов! И царю налоги надо было платить и попам приходилось носить.

Помню, в 1905 году и в нашем уезде крестьяне стали просыпаться от спячки. Пошли сходы, выступления.

В Сущевке сожгли помещичье имение. У нас на сходе крестьяне стали говорить:

— Вон начали землю у помещиков отбирать. А мы как же?

— Налогов не надо платить! — кричит один.

— Аренду бесплатно! — кричит другой.

Решили на сходе: денег помещику не платить, от налогов отказаться.

Послали к Демидову старосту. А помещик как гаркнет на него:

— Поговорите еще у меня, смутьяны! Пришлю солдат и полицейских — живо опомнитесь!

★

В детстве я был очень верующим. И в Нижнем-Новгороде, когда работал там, оставался религиозным. Ведь тогда не было антирелигиозной пропаганды — за то, что правду открывали людям про поповский обман, в тюрьму сажали да в Сибири гноили.

А стал я безбожником так. Однажды в Нижнем на улице я нашел книжку — учебник географии; должно быть, школьник зазевался и потерял. Я эту книжку все время в кармане носил, чуть только есть свободное время — я читаю. Можно сказать, зачитал книжку до дыр. Особенно интересно мне показалось в конце книжки, где печаталась часть про землеведение, про астрономию.

Астрономическая наука меня отшатнула от религии. Стало сомнительно: священное писание говорит, что земля неподвижная, а астрономия — что она наподобие шара и вертится вокруг солнца, от этого день и ночь, лето и зима, разные времена суток и года.

Я стал уже сомневаться в поповских рассказах. И чем дальше — тем больше.

Много вопросов стало в голове возникать. А у кого спросишь? Не у попа же! Он раньше один и был «ученый», «интеллигент» на всю деревню.

Сначала я перестал в церкви к кресту подходить, а потом уж и в церковь не ходил, скромное ел во время поста. Одна в'едливая монахиня (Акулиной ее звали) долго мне надоедала вопросами:

— Ты, что же, Степан Никитич, в церковь ходишь, а к кресту не подходишь?

— Неохота тесниться. Народу слишком много, — отвечал я.

У моего старшего сына Александра был товарищ Яков Гришин, наш саблукковский парень. Он работал году в 1903 в Нижнем и связался там с революционными людьми. Навострился, разные запрещенные книжки читал и в деревню их привозил.

Когда он приезжал в деревню, я его просил:

— Яков, ты привези мне про бога, про попов.

Гришин привозил мне запрещенные антирелигиозные книжки. Тут уж совсем я стал безбожником, многое понял и узнал.

Книжки тогда надо было читать где-нибудь тайно, чтобы никто не заприметил.

Я большей частью уходил в огород, там читал, а после прятал книжки в солому или еще куда.

Вот только жалко было — мыши проклятые много поели, не убережешь от них бумагу.

Особенно я разошелся на религию в 1905 году. Газет у нас в деревне не было. Редко-редко кто завезет. Вот однажды в 1905 году я прочитал про еврейские погромы в городе Киеве и Белгороде. Черносотенцы и хулиганы убивали мирных людей, насильствовали женщин, били мебель, посуду, грабили дома.

А шли черносотенцы на погромы с хоругвями, крестами. В священном писании сказано: «Не убий», а попы — заодно с погромщиками. Я совсем отшатнулся от религии, порвал окончательно.

Почему я так религией интересовался? А вот почему. При мне недалеко от Саблукова стал строиться монастырь Старые Мары. Крестьяне всё беднели,

опускались ниже, а монашки в монастыре жирели. Монастырь богател и богател, конечно, за счет народа.

Народ кругом темный, суеверный, никак от бога не хотел отстать. Как им объяснить обман?

Для этого надо самому хорошо изучить поповские басни.

Я и сейчас комсомольцам говорю (правда, теперь верующих у нас совсем мало осталось, только некоторые старики):

— Ребята! Если хотите хорошо бороться с религией, раз'яснить ее вред, то подходите к этому, умеючи. Тут криком не возьмешь. Наоборот, так только можно рассердить верующего. А ведь он часто неплохой человек, верующий, он хорошо в колхозе работает, он за советскую власть, а в религии, вот, не понимает. Надо, значит, помочь человеку, раз'яснить ему. Разве криком помогают? Надо словом действовать, убеждением. В библии много есть противоречий, она сама себя опровергает. Надо только хорошо изучить ее, изучить поповский лагерь, а потом бить его со всем основанием.

Интересно, как у нас возник монастырь и сколько дурмана он напустил на округу. Хитро помещики и попы надували дурачков!

На пересечении дорог трех сел — нашего Саблукова, Прудищ и Возьянок — давно находились какие-то развалины. Старики рассказывали, что в древние времена здесь был монастырь, а Пугачев его разрушил, когда он шел и рушил помещичьи имения.

Пришел как-то на развалины старик один. Он все ходил по разным монастырям, а тут увидел, что можно свое заведение устроить. Богатые мужики построили ему кельенку, стал старик в ней жить и говорить всем прохожим, что развалины эти и кельенка его — «святые». Потом к старику пристал из Вятской губернии парень Степан Коробейников. Этот был парень дошлый, он сразу сообразил, что тут дело выгодное. Коробейников пошел по разным местам собирать приношения, чтобы монастырь восстановить. В Вятке он натолкнулся на отставного попа Василия,

который на своем веку денег достаточно нагрбил и содержал штук семь девок; они ему песни церковные пели и всячески ублажали его.

Поп не хуже Коробейникова смекнул, какое дело тут можно завертеть. Приехал поп посмотреть, что это за место Старые Мары, и перевез сюда вскоре всю ораву девок.

Это было в девьяностных годах.

Богатеи понимали, что монастырь будет к их выгоде. Помещик Александр Александрович Демидов приютил попа с девками, отвел им в своем поместьи, в Быковке, целый дом. Девки стали везде шнырять, рассказывать, что в Старых Марах ключ «святой» течет, и камень «святой» лежит, и еще много чудес там открыто.

У помещика Константина Демидова девки выпросили большой дом. Они его перевезли в Старые Мары.

Богатые мужики стали жертвовать на монастырь, за богатыми тянулись бедняки.

Слух о монастыре пошел все дальше. В последние годы перед революцией в Старые Мары ходили верующие с сорока приходов, собирались за десятки верст. Ключ здесь давно протекал, никто на него внимания не обращал — вода, как вода. А тут эту водицу «святой» объявили, огородили со всех сторон. Ясно, раз хочешь окропиться «святой» водой, — тащи божьему монастырю приношения.

На могиле какого-то купца давно большой камень лежал. Поп Василий и его объявил «святым».

С детства я помнил, у развалин монастырских четыре сосны росли. К тому времени, как поп Василий у нас объявился, три сосны уже были срублены, осталась одна. Так ее тоже объявили чудотворной!

Камень и сосну отгородили досками, так как старухи скоблили с камня песок, сдирали с сосны кору. Монахини даже испугались: как бы не растащили верующие святые эти глупости!

Верующие приносили монахиням продукты, жертвовали в монастырь — кто гривенник, кто больше, покупали и ставили свечи. Доходы монастыря росли.

Уже он и землю прикупил, коров, лошадей завел. Большое хозяйство!

Икону свою чудотворную завели. От этого опять денежки потекли.

Деревянную церковь привезли из Чернухи, поставили. Потом стали кирпич жечь, чтоб каменный собор строить.

Работали на монастырь те же крестьяне. Они и пахали, сеяли, жали — всю работу делали.

У нас в Саблукове был староста Харитонов, Ефим Захарович. Так он силой посылал крестьян бесплатно работать в монастыре, а кто отказывался — того под арест, в казематку. Богатеи, конечно, не заставляли работать в монастыре.

В засушливые годы целые толпы верующих шли с иконами в Старые Мары. Женщины вопили, мужчины неистово крестились и клали поклоны. Впереди выстраивался с десятков попов — и ну размахивать кадилами, причитать к небу да кропить иссохшую землю «святой» водичкой. Особенно попы старались, когда знали, что барометр показывает приближение дождя, — ведь это «чудо». А нет дождя — опять хорошо: значит «нагресли» люди, не простил их бог, не жалился...

Теперь даже стыдно вспомнить об этих диких привычках и суевериях. Ну, прямо, как дикари, были...

Сами попы горазды других учить глупостям, а сами не очень-то глупые обряды выполняют. Помню, как-то в воскресенье — это как-раз было в великое говение после масленицы — пошел я в соседнее село к попу Николаю поговорить о его пчельнике. Я тогда пчелами интересовался. Пришел и говорю:

— Так и так, батюшка, мне насчет пчел хотелось бы потолковать.

А поп был большим любителем-пчеловодом. Он был очень доволен, что о его пчелах знают даже в Саблукове.

— Садись, — захопотал поп, — гостем будешь. Ну-ка, мать, — крикнул поп попадье, — достань нам чего поесть... Самовар поставь. Да ведь Степан Никитич безбоянно, он скоромное ест. У тебя, наверно, в печи молоко есть...

Попадья вытащила большую чашку молока. Я про себя рассмеялся: не для меня же поп в великое говенье держит молоко в печи! Там, небось, есть кое-что и почище молока!..

До революции трудно было вести антирелигиозную пропаганду. Надо было говорить тихонько, да и знать, с кем говоришь, чтобы тот не донес. Бывало, сядешь с мужиками на завалинке и заведешь разговор — о том, о другом, а потом на бога перейдешь.

— Ну, ты, известно, безбожник, — ругались соседи. Слово «безбожник» было бранное, ругательное.

— А ты не ругайся. Разберись сначала.

— Чего там разберись! Богохульник ты, вот что! — Это кричал мой сосед Павел, очень религиозный человек.

Дам я ему накричатся, а потом он отходит и сам просит:

— А ты, Степан Никитич, докажи. Докажи свою правоту.

Я начинал издаലെка:

— Вот у нас, нижегородских, слово такое введено: «чай»: «Чай, поешь, милой»... «Чай, пора»... «Чай, пойдем»... Чай да чай, оттого нас люди водохлебами прозвали. А какой смысл в этом «чай»? Никакого смысла. Так, звук пустой. И с богом то же самое. «Иди с богом»... «Ешь с богом»... «Ну, с богом»... Втемяшилось вам это слово в головы, вот и вспоминаете про бога! «Чай, без бога не до порога».

Наиболее смешливые тут начинают смеяться, а Павел сердится. Я ему говорю:

— Ты, Павел, не сердись. Это все добавочная речь. А сейчас тебе про главное скажу. Дай только закурю... Я библию хорошо читал, а ты ее не читал, попам веришь. А что в библии сказано? Вот Каин убил Авеля, ушел в другую сторону и там женился. Где он бабу взял-то? Ведь у Адама и Евы только два сына родились. Так сама библия говорит...

Павел молчит. Смотрит куда-то в сторону и молчит.

— Пойдем дальше, — говорю. — Читал я в библии: нисходили сыны божи

к дочерям человеческим и брали себе жен, и от них родились исполины. Выходит, не один сын божий, а несколько? Вот ты, Павел, мне объясни, в чем тут дело.

Потом я говорил о других противоречиях, как «отцы святые» не свели концы с концами, и разные места в библии и евангелии противоречат одно другому.

— У Матвея про рождество Христова говорится по-одному, у Луки — по-другому. Значит, два рождества было? Может, и два Христа родилось?.. У Матвея говорится, что волхвы нашли Иисуса в храме, а Лука говорит про пещеру. Что-то путают апостолы! Вот такой чуши много в писании. Все это легенды, басни. Они со времен дикарей дошли до нас. Но дикари в древние годы ничего не умели, ничего не знали. Им был страшен гром и молния, и ветры, потому что они не понимали ничего в природе. Вот они и выдумали бога, небесное невидимое существо, которое, дескать, может помочь человеку, — и дождем для урожая, и здоровьем, и всем, чем хотите. А теперь только темные люди говорят: раз гром, значит, Илья-пророк ездит на колеснице. Чушь одна! Молния — это разряды электричества, а гром — это эхо. Я читал в книге про астрономию. Сейчас ученые сами научились дождь образовывать.

Многого я крестьянам не мог рассказать, так как сам знал мало. Но все же люди начинали соображать кое-что.

До самого главного я сам тогда еще не додумался: надо было нам выступить против «бога земного» — царя, это ведь он поддерживал религию и все тяготы против трудового человека, но об этом я сообразил уже после Октябрьской революции 1917 года.

После революции я стал читать книжки Степанова-Скворцова и другие антирелигиозные книжки и про все односельчанам в клубе говорить. Тут безбожников стало побольше. Я даже один стишок сочинил:

Рабочий и колхозник —
Народ трудовой.
Работать будем вместе
И строить себе рай земной.

Рай небесный — где-то там.
Уступим мы его попам.
Пусть с богатыми мужиками
Живут они за облаками.

Стишки, конечно, не очень художественные, но ведь я не поэт. Колхозникам стишки понравились, они смеялись.

Я много тут рассказал про поповщину, про религию. Могут подумать, что я только то и делал, что читал антирелигиозные книжки. Нет, я очень мало книг читал в старое время.

Больше всего я старался заниматься садоводством. Я часто думаю, что, если бы я с детства учился да много читал по агрономическим наукам, был бы я ученым садоводом. Очень уж я всегда растительное царство любил.

Но доля крестьянина до революции известно какая была. Я все же старался и кое-чего достиг. Больше всего мне удалось при советской власти. Я уж стар, потому и спешу сделать побольше да поскорее. И учеников научить опытничеству.

Молодые колхозники и студенты, которых присылают ко мне на практику, часто спрашивают: как я стал опытным, с чего начинал, как добивался успехов,

Самое главное, конечно, надо любить дело. Если работаешь с душой, любишь дело, оно у тебя цветет.

Колхозный строй тем и хорош для крестьянина, что каждый может заняться тем, к чему его способности влекут, а общество — коллективный хозяин — помогает человеку.

Я старик. Много я перевидал на своем веку, многих людей знавал и помню. Талантливых людей в деревне всегда было много — у одного память замечательная, у другого глаз верный, у третьего руки золотые, один садом интересуется, другой полем, третий машиной, четвертый книгой, — а вот таланты при царизме не развивались, гибли они массами. Так и кажется, будто шагало какое-то страшилище и топтало таланты, затаптывало их в грязь, в прах.

При советской власти каждому таланту большой простор. Бывает, что у человека — маленький талант, еще в зачат-

ке он, еле-еле виден. Так ведь советская власть добьется, чтобы вырос талант, — согреют человека, позаботятся о нем. поучат, покритикуют, похвалят, — глядишь, он уже большое что-то сделал, вырос человек, его весь колхоз или завод знает, весь народ. А в старое время даже крупные таланты погибали. Вот я читал — и самолет изобрел русский человек, и радио, и парашюты, а при проклятой царской власти погибали гениальные изобретатели и никто не знал об их изобретениях.

Я сам еще в старое время очень интересовался цветами, садоводством. У меня был крохотный участок земли, и никому дела не было, что там Барышев делает. А если кто и заинтересуется, то лишь для того, чтобы сказать:

— Пустяками занимается, глупец.

Это я не для красного словца. Люди действительно смеялись. Подходили ко двору моему и сокрушительно кивали головой: «Вот глупец... блажью какой занимается...».

В самом деле, кому тогда цветы нужны были? Я выращивал георгины, астры, розы. Такая красота, такое благоухание! И никому это не нужно. Не скрасят цветы бедняцкую жизнь, не насытят они голодного. А бывало, крестьянин и вспомнит про цветы, придет за ними к Степану Барышеву, — это когда умрет кто-нибудь. Тогда только и шли ко мне за цветами. Я нарву целую горсть и подумую: «Разве цветы для покойников? Они — для живых, ведь Красота-то какая, подумать только!». А живым тогда не до цветов, не до красоты было. «Не до жиру, быть бы живу» — вот как говорила народная мудрость. Все это я понимал отлично, а все-таки мысль в голове была: не может быть, не может быть, чтобы цветы не надобны были человеку! Понадобятся, придет уже время!

Время пришло — в 1917 году.

Садоводство мое началось с малого: с трех кустов крыжовника. Еще в крепостные времена мужики украдкой взяли из барского сада несколько кустов крыжовника и посадили в деревне. У тестя во дворе росло четыре куста. Ко-

гда я вернулся из Нижнего, то стал ухаживать за крыжовником, следить за ним внимательно. Сначала смотрел на это, как на баловство. А тут однажды приехал садовник, купить ягоды для помещика, увидел у нас крыжовник и говорит мне:

— Что ж ты не занимаешься этим крыжовником?

— Я занимаюсь.

— А ты рассаживай побольше. Дело выгодное.

Потом меня увидел другой помещичий садовник — Федор Михайлович Никитин.

— У тебя, говорят, хороший крыжовник есть? — спросил садовник.

— Ну, какой там хороший! Четыре куста.

— А ты разведи его побольше, послушай меня.

Я стал разводить крыжовник и яблоки. В это время у меня открылась любовь и к другим растениям.

Однажды прослышал, что у апахихского попа есть чудное дерево, инжир называется. А что такое инжир, не знаю. Надо сходить в Апахиху. Пошел в воскресенье на рассвете, чтобы поспеть вечером обратно (до Апахихи пятнадцать верст).

Пришел к попу и говорю:

— Я слышал, у вас, батюшка, есть дерево такое...

— Есть дерево, — говорит поп.

— Не срежете ли мне черенка?

Поп помолчал. Я даже испугался: вдруг не даст черенка?

— Пожалуй, срежу тебе. Ты, что, любитель?

— Да, начинаю...

Посадил я инжир в банку, и стал он расти. Потом посадил я виноград и французскую сливу. С осени все это стояло в избе, на окошках, только сливу выносил в погреб — там она не замерзнет.

Было в избе нашей три окошка, все я их позаставлял банками. Стояли банки инжира, винограда, финика, фикуса, герани.

Бабушка (теща моя) ворчала:

— Что ты все окна позаставил? И так темь! Выдумщик нашелся.

А я молчу, будто не слышу.

Летом выставял банки на волю.

Очень обрадовался, когда финик дал первые плоды. Я даже разволновался — событие для садовника! В первый год было одиннадцать ягод. Большие ягоды, бурого цвета. Снял ягоду, разрезал на четыре части и сперва дал Александру, сыну.

Сливы стали расти в больших кадках. Их было шесть деревьев — шесть кадок. Я их вынес в огород, но очень боялся, как бы не пропали. Прибежишь, бывало, летом после жнитва, кинешь серп (тогда жали серпами) и начинаешь поливать сливу. Дело ночное. Соседи уже спят. Вставать-то надо на рассвете. А я все поливаю да поливаю: сливы, виноград, финики, инжир, цветы, — всему вода нужна.

Французская слива давала плоды сочные, вкусные, да мальчишки обворовали.

Виноград высоко вьется, его надо палочками поднимать. Летом, на воле, это просто, а зимой в избе — сложнее. Но ничего, зато большое удовольствие заниматься растением. Вот только жалко, не созревает виноград, а у Демидова — помещика — созревает. Надо бы оранжерею, как у быковского барина, — не такую большую, а маленькую, — а на какие деньги ее построить?

Бывало, ночью проснешься и никак не уснешь, все мечтаешь об оранжерее. А потом начнешь мечтать о земле. За Волгой ее много, пустует она. Я и крестьянам нашим говорил, все соблазнял:

— Давайте, переселимся за Волгу. Сады разведем, огороды, арбузы будем разводить. Там хорошее место пустует, а главное дело — европейская дорога — Волга! Сбывать товары хорошо на Волге, а то ягоды, пока везешь, изомнешь.

Мужики смеются:

— А землю кто даст?

— Там земля пустая, казенная.

— А казна расщедрится! Как же, хорошие мужики, дескать, в Саблукове. Надо им землицы дать... арбузы пусть разводят...

Большая любовь у меня была к южным деревьям. Мечтал о том, как бы

попасть на Кавказ, посмотреть диковинные растения — чудо природы. Но какое там Кавказ, когда я до 1932 года даже по железной дороге ни разу не ехал. В Нижний поехал на пароходе — об этом я уже рассказал, а все остальные путешествия — пешком.

Исходил я много мест. Чуть услышу, что в каком-то месте новое растение растет, я в свободный день, в воскресенье или праздник, отправляюсь туда. Соседи все в церкви или в Марах, в монастыре, а я тороплюсь новое растение посмотреть.

У меня во многих местах были товарищи — любители природы. Были в Сосновке, Дружкове, в Сушевке, Быковке, Табанайке, Спасске.

В праздник обходишь товарищей, получишь что-нибудь от них, или они скажут, где что есть, туда пойдешь.

Так и продолжалась жизнь. И все на трех окошках.

В первое время я часто ходил к демидовскому садовнику. Принесешь полбутылки, и он уже все готов для тебя сделать.

— Приходи только пораньше, — просил садовник.

Придешь пораньше, когда помещик еще спит, садовник тебе нарежет любимых черенков.

Через несколько лет я перестал ходить в оранжерею помещика. У меня, верно, оранжерея не было, зато растений разных стало больше.

Когда помещик Демидов разорился, князь Оболенский купил у него имение в Красногорке, построил там большой четырехэтажный каменный дом и кирпичную оранжерею. Про Оболенского говорили, что князь богатейший и все у него есть.

Как-то у меня в саду хорошо уродилась шпанская вишня. Давай, думаю, понесу князю продать.

Пришел в Красногорку, показываю вишни. Слуга говорит:

— Хорошо. Сейчас дам барину.

Князь увидел вишни и велел позвать меня.

— Где ты взял такие ягоды? — спрашивает князь.

— У меня, ваше сиятельство, в своем

собственном саду растут, в Саблукове.

— Не верю! — раскричался князь. — Не может у тебя, мужика, расти такая вишня!

Заплатили мне за фунт вишен двадцать пять копеек, а простая вишня продавалась по пятачку за фунт.

Арбузы в нашем крае не росли. Привозили их снизу — из Царицына, Астрахани. Крестьяне ели привозные арбузы, а я захотел свои иметь.

— Не выйдет, Степан Никитич, — говорили соседи. — Не было того в наших местах, чтобы арбузы поспевали. Чай, помещики давно развели бы.

— Помещик не может, а я смогу, — отвечал я.

У Астрахани или в Царицыне весна ранняя и лето жарче. У нас же зима холоднее, лето короче. На юге арбузы сажают в апреле. А у нас когда? Да как посадить? Так просто семя не посадишь в холодную землю. Но я много наблюдал природу и уже понимал, как к ней подойти.

С осени оставил семечки от хорошего арбуза. Весною вырыл несколько глубоких квадратных ям — три четверти аршина глубины и почти полно набил навозом. Сверху насыпал землю и посадил семя. До этого я семечки намочил, положил в сырую тряпицу и держал в тепле. Когда семечки начали прорастать, тогда я их посадил. Ямы накрыл ящиками — сам их сделал. Сверху в ящики вставил стекла, чтобы свет на растение и землю падал.

Арбузы уродились — красные, сладкие, с черными семечками. Все удивлялись, не верили. Подходили к плетню и говорили: «Не может быть». А увидят арбузы, только покачают головой и скажут: «Да-а...».

Так я стал арбузы сажать. Когда выпадала теплая весна, можно было и без ящиков. Накопал я для арбузов тридцать ям — больше земли нехватило. Огород ведь маленький был, негде развернуться. Где ее, землю, взять? Советская власть дала мне землю, у колхоза много земли — весь колхоз можно превратить в сад и цветник. Исполнилась моя мечта!

А раньше, — я вот все сравниваю колхозное советское время со старым, — раньше ни земли не было, ни помощи, ни совета.

Лет за пять до революции появился в уезде один агроном, но он за все годы только раза два-три приезжал в Саблуково. Он был полеводом, в садоводстве не разбирался. С ним, конечно, я советоваться не мог.

Теперь мичуринцу в деревне колхоз помогает, дает ему средства, землю да людей в помощь. Можно агронома или ученого садовода пригласить, написать в газету или в научный институт — тебе ответят и книжки пришлют, разные инструкции. Можно даже самому в научное садоводство съездить. Я, например, был послан колхозом в мичуринское садоводство, в город Мичуринск (раньше Козловом назывался) и на Кавказ — Сочи, Сухуми, Батуми (вот когда мечта исполнилась, Кавказ и южные субтропические растения повидал!).

А раньше — бейся один, как знаешь.

Разводил я крыжовник. Ценные ягоды могли большой доход принести. Но ягоды надо продать. Что же, я в город их повезу? Боязно одному в город, да не знаешь, кому продать, да дорога дальняя, да ягоду изомнешь — такие думы приходили в голову (я ведь рассказывал, что бедняк в старое время всего боялся и тревожился). Нет, я лучше отдам ягоду Чинарину! Оно как-то проще.

Чинарин, Яков Степанович, жил у нас в селе. У него сначала тоже сад был. Потом он стал торговать, землю покупать, давать беднякам деньги взаимы под процент. Чинарин скупал ягоды, лен, от торговли кулаком стал.

Своего хлеба у меня хватало до зимы. Детей много народилось, а земли тот же один надел, что застал у тестя, когда женился. Чинарин знал, кому туго. Весною он и приходил, предлагал часть денег под будущий урожай. Платит плохо, но я нуждаюсь и должен ему продать. А он так не берет, требует весь сад чохом. Берешь поневоле у торговца немного денег, остальные обещает осенью, когда вывезет в город мои

фрукты. И я уже не хозяин урожаю. Труд мой, а хозяин — кулак Чинарин. И так каждый год.

Хотелось мне после Нижнего навсегда остаться в деревне, сад разводить, но не удавалось. Надо было искать работу. И я часто уходил из дому — плотничал в Ватрасах, в Кривушах, в Левашихе, в Белавке. Садов там много — все яблоневые сады, я делал ящики под яблоки.

Платили плотникам мало, а тут еще печаль-тоска грызла — дома дети одни, без матери. У меня жена Анна Федоровна рано умерла, совсем молодой.

Была она хорошая работница — прямо золотые руки. Веселая женщина, красивая, но жизнь иссушила. Родила она одиннадцать детей. Но тогда, в старое время, дети не держались у крестьян, умирало больше, чем выживало. У нас с Анной Федоровной из одиннадцати трое выжили. Остальных на погост унесли. Докторов тогда в деревне почти не было — редко-редко где увидишь. Лечились у фельдшеров, а чаще у невежественных бабок. Смерть и косила людей.

Перед началом империалистской войны, в 1914 году, умер мой старший сын Александр. У него на голове образовалась шишка, а он (темнота!) срезал шишку косным ножом. Тут кровь пошла, гной, шишка еще больше стала расти. Так и умер ни за что. Осталось от Александра двое детей.

Еще Александр жил, когда мы с женой похоронили восьмерых детей. Стала жена болеть. Все жалуется на голову, очень страдала. Года полтора мучилась. Иссохла вся — смотреть тяжело на нее. Истопили мы как-то в субботу баню, она пошла попариться. «Может, полегчает, Степа» — говорит мне. Вышла из бани, и всю ее скрутило. Кричала-кричала, а к понедельнику и померла.

Остался я с тремя детьми. Это случилось в 1902 году, мне тогда было 38 лет. Спрашивала меня бабушка (мать жены):

— Ты женишься ли, Степан?

Мне жалко было детей, не хотел приводить в дом мачеху. Я решил не жениться.

В 1912 году я самый первый завел плуг. До того у нас все сохой землю обрабатывали. Заплатил я за плуг сорок рублей с чем-то. Чтобы купить его, надо было продать шестьдесят пудов ржи, она тогда стоила семьдесят копеек пуд. Шестьдесят пудов ржи я продал — очень хотелось мне новшество в хозяйство ввести, плугом пахать. Но шестьдесят пудов — это был весь урожай, что я собрал. Было еще немного льна и картошки. Рожь вся ушла на плуг, а крыжовник и яблоки еще с весны проданы кулаку.

Вот как крестьянин добывал технику! А теперь, поглядите, советское государство сколько машин дает колхозам, крестьянину! У нас есть такие парни и девки, что и в глаза сохи не видали. А государство уж не плуги шлет нам, а тракторы, сеялки, жатки, молотилки, комбайны. Электричество у нас есть — лампочка Ильича!

И подумать только, совсем недавно, в 1912 году, в Саблукове только первый плуг появился!

А как крестьяне встретили плуг, знаете?

— Ишь, машину завел, корягу привез! — смеялись одни.

— Соха, она увертливей! — говорили другие.

Соседи все боялись, как бы я плугом не наехал на чужую полосу.

— Ты, Барышев, гляди, как плугavorачивается! — кричали они. — На своей, своей земле паши!

А иные приходили и такую пропаганду вели:

— И деды сохой пахали, а ты что завел? Плугом будешь пахать — земля не будет урожай. Сохой лучше.

— Плуг себя сам покажет, — говорил я им.

Через год крестьяне увидали, что плужная вспашка выгоднее, урожай больше, но все же, теперь видно, не очень большой, потому что земли было мало, полоски узкие. При единоличном хозяйстве, когда кругом межи, действительно плугом не раз'едешься, а уж трактором — и подавно.

Теперь, когда межей нет, когда земля колхозная простирается, как море, да-

леко-далеко, насколько глаз хватит, — теперь и урожаи великие пошли. Сталинские урожаи! В этом 1938 году лето у нас засушливое, а урожаи в районе такие, каких в старое время и в лучшие годы не снимали. Вот что значит колхозный строй, коллективный, общественный труд, наука!

Когда произошла революция — в 1917 году — мне было уже 53 года. Называли меня все стариком, говорили: «дедушка». А я, когда большевики пришли, только почувствовал молодость, будто заново жизнь пришла: родился человек, и все для него ново.

У меня Яков, младший сын, единственный, который остался в живых, на Западном фронте был. Когда парней на войну угоняли, поп молебен служил, просил солдат: постарайтесь там воевать за царя, за православную веру и отечество.

Яков был здоровый, мужественный, красивый, высокий. Его в царскую гвардию взяли, в Петербург, а оттуда — на фронт.

— Что ж это такое? — говорили промеж себя старики-крестьяне (молодых всех на войну взяли). — Был царь — шла война, не стало царя, а война осталась.

Яков Гришин приехал из Нижнего и говорит крестьянам:

— Ясно, кому война нужна, — богачам. Для их барышей все делается. Кровь-то они проливают разве? Вот Щиголиных двоих убили, Попковых двоих — что они, помещики или фабриканты? Бедняки они! Сколько в Саблукове вдов и сирот осталось, посчитайте! А что до Временного правительства — разница небольшая. Царя столкнули, богачи остались. Раньше была жизнь канительная, и теперь такая. Верно я говорю?

— Верно, — ответили старики.

— Земли у вас попрежнему нет, осталась она у Демидовых и Оболенского. Надо брать землю и фабрики. Вся власть советам!

Гришин был большевиком. От него саблукские крестьяне узнали про большевиков, про Ленина. К Октябрьской

революции много уже было распропагандированных, и я тоже.

Я обрадовался советской власти, сразу увидел, что старому конец, теперь нас никто мучить не может, рабочие и крестьяне всем завладели для лучшей жизни.

Началась гражданская война, Яков Гришин скоро ушел в Красную Армию. Перед тем, как уехать, он собрал беднейших крестьян и сказал:

— Надо организоваться беднякам. Кулаки будут противодействовать советской власти. Тут и попы, монахини, небось, работенку контрреволюционную ведут. Надо вам сплотиться и помогать совету во всем.

Скоро у нас опять собрание было, составилась комитет бедноты — комбед, так его звали.

Поместились мы в доме зажиточного Кузнецова; дом большой, два помещения было, одно под комбед отобрали. Начал наш комитет кулаков-богатеев раскулачивать. Вызываем кулаков в комитет и говорим:

— Хлеба у вас много, оставим вам, сколько надо на жизнь, а остальное отдавайте.

Кулаки поднимали вой. Шум, крик стоит — ничего не услышишь, не поймешь.

— Грабеж! — кричат кулаки. — Среди бела дня обирают!

— Потихе, потихе вы! — отвечает Яков Гришин (он сначала был председателем). — Это вы пограбили на своем веку. Теперь отдавайте, что высосали из народа.

— Про народ не говори! — вопят кулаки. — Народ видит, куда вы все берете.

— Народ действительно видит. Он видит, что мы хлеб дадим вдовам и сиротам, беднякам дадим, в Красную Армию пошлем, в город рабочим пошлем.

Сначала было шатание. Одни входят в комбед, другие выходят. На некоторых влияли кулаки, некоторые не чувствовали твердости, не имели нужного сознания. Всю жизнь перед кулаком тянул. — иной не сразу и разогнется.

— Ничего, — говорил нам Яков Гришин. — Поймут бедняки и советскую власть. Разберутся.

Был такой Григорий Зезенин, бедный крестьянин. Сразу он записался в комбед, а потом жена стала его ругать и поносить (кулаки через жен действовали).

— Куда ты лезешь? — кричала она на все село. — Чего ты записался?!

Повлияла на человека, выписался он. А ведь ничего, разобрался потом, где правда: сейчас и он, и она — муж и жена Зезенины — колхозники, хорошие, исправные колхозники. Не отшатнешь их от колхоза! А в то время еще не понимали.

Раскулачивание убедило многих бедняков. Они нас поддержали.

— Это как же, — говорили мы беднякам. — Трудящиеся люди нуждаются, в городах рабочие голодают, в Красной Армии недостаток хлеба на фронте, а мы оставим у мироедов излишний хлеб?!

— Забрать, забрать весь хлеб! Хватит, попили народной крови! — отвечали бедняки на собраниях.

— Позор нам будет, если оставим!

— Верно! Верно!

Бедняки получали поддержку и у середняков. Я сам считался в Саблукове середняком, но ходил в комбед, помогал ему во всем. Я ходил и на обыски у кулаков. Они не хотели отдавать хлеб, прятали — кто в огороде схоронит, кто в снег зароет. У Василия Гришина — был у нас такой кулак, торговец — нашли хлеб, зарытый в сарае. Когда мы ему говорили: «Отдай лишний хлеб беднякам, голодающим», — он отвечал: «Нет!» — «Чего нет?» — «Нету хлеба». А мы пришли и нашли хлеб. Забрали.

Мой сын Яков ушел в Красную Армию. Он был видный собой, активный человек, скоро его командировали в школу командного состава, учиться на командира.

Он был на фронте, дрался с белыми, защищал Рабоче-Крестьянскую республику. А когда кончилась гражданская война, Якова послали в Среднюю Азию. Там он командовал частью, воевал с

басмачами — контрреволюционными кулацкими бандами.

Однажды я получил письмо от Якова. Он писал, как его часть разгромила басмаческую банду, отобрала у нее один город (забыл, как называется город). Там была тюрьма, в этом городе, красноармейцы разбили двери и освободили на волю скованных узбеков-революционеров. Яков писал: одного я сам расковал. Когда я расковал, он мне целовал руки от благодарности.

Я очень гордился Яковом, показывал письмо его и соседям, они говорили:

— Хороший у тебя сын, Степан Никитич. Герой Красной Армии!

Я тогда был селькором. Послал письмо Якова в редакцию газеты «Беднота», но там оно потерялось, или, может, на почте пропало.

С басмачами Яков воевал до 1923 года. В бою на Памире его убили.

В то время, когда колхозы начали везде организовываться, у нас в Саблукове произошел такой случай. Кулаки увидели, что скоро им конец. Пойдут крестьяне в колхоз и тогда раскулачат богатеев. Кулаки и пошли на хитрость: стали... сами колхоз организовывать.

Главным выдумщиком у них был Михаил Гришин. Отец этого Михаила — Василий Гришин — очень жадный был до денег. Всегда бедняков обирал и все копил, копил деньги. У него было припрятано две тысячи золотых рублей. Приехал как-то в Саблуково какой-то татарин, пронюхал, что у Гришина золото есть, — и прямо к нему. «Давай, — говорит татарин, — золото, а я тебе николаевские деньги дам. Золотые монеты царские, николаевские деньги тоже царские». Долго они торговались и сторговались на том, что за сто золотых татарин дает полтора ста николаевских. Забрал татарин золото — и поминай, как звали. Василий Гришин все дождался, когда царь вернется, и увидел, что скорее земля перевернется, чем царь в России появится. Кулак закрутил, не выдержал, что его другой мошеник надул, и удавился на веревке.

Сын этого кулака — удавленника — Михаил Гришин вместе с другим кулаком, Яковом Чинариным, и надумали организовать колхоз, чтобы самим туда вехать. Они и ко мне пришли. Я сказал им:

— Вижу вашу хитрость! И когда это волк в овечьей шкуре ходил?

Они рассердились.

Недолго кулацкий колхоз существовал, развалился. Хотели кулаки подорвать и запоганить колхозную идею, да не удалось.

У нас колхоз по-настоящему организовался в 1931 году. Читали мы из газет и знали, что колхозный строй вводится в сельском хозяйстве.

Сначала многие колебались и не знали, как быть. Мой дом около сельсовета. Часто у меня на завалинке собирались многие, беседовали о колхозах, смотрели газеты (я со времени революции выписывать стал).

— Вся Россия, — говорю, — в колхозы вступает.

А самые колеблющиеся качают головой:

— Вся-то вся... только надо посмотреть, что выйдет еще.

— Хорошо выйдет, а плохо никак не может получиться, — убеждаю я соседей. — Два человека всегда сильнее одного. И больше сделают.

Тут начинается разговор.

— Ты не говори так, Степан Никитич. Сын с отцом не уживется, отделяются, а ты думаешь всех людей соединить в одно.

— Сын с отцом почему не живет? Сын вырастет, они спорят из-за власти. Отец себя держит деспотически. А здесь у нас спора быть не может: в колхозе власть общественная. Никто не может давить другого. Каждый будет стараться работать хорошо, талантливо. Так разбогатеет, что и не снилось!

Коммунистов тогда в Саблукове не было. Организовали мы инициативную группу. Прислали нам в деревню председателем совета коммуниста Ключева — очень деятельный человек, он и помог организовать колхоз.

Ключев тоже вошел в инициативную группу. Кроме него, вошли Василий Нью-

хов, Захар Гришин, я вошел и другие — сначала восемь человек.

Долго надо было убеждать крестьян. И то сказать: впервые за все существование человечества вводятся во всех деревнях для счастья крестьян коллективные хозяйства, колхозы.

Оно и хотелось людям пойти в колхоз, а с другой стороны, с непривычки должно, боязно. В единоличном хозяйстве тесно, простору нет, никак не выбраться на хорошую дорогу. Крестьянин догадывается: надобно в колхоз. Но вот лошадь свою отдать и другое, что с трудом нажито, — нелегко на это решиться!

Мы все, из инициативной группы, ходили по домам, убеждали крестьян.

Помню, прошел я в дом Алексея Харитоновна. Увидала меня его жена и закричала:

— Знаю, знаю! За колхоз пришел агитировать. Не пойду, дядя Степан! На вот, меня прямо стреляй — не пойду!

— Чего ты кричишь, баба? — говорю я ей. — Тут разговор серьезный, а ты: «стреляй... стреляй...». Жизнь крестьянская сейчас решается — вот какой вопрос! Подумать надо, а ты кричишь. О твоей же пользе речь!

— Почему о моей?

— Зайдем в избу, там расскажу.

Сели мы с мужем и женой, я стал им толковать:

— Вот народ говорит: «Один в поле не воин». Мудрое слово! Возьмем хорошее хозяйство, крепкое. Все идет хорошо до первого случая. Заболеет хозяин, — что тогда? Ничего не выходит. Жена не заменит — у нее ребятишки малые, она пахать не может. Значит, что остается делать? Отдавать землю кулаку? А в колхозе, в обществе — все за одного. Заболел хозяин, ему прежний труд зачтется, колхоз поможет больному. Или лошадь заболела, или сдохла, — в колхозе это незаметно, а единоличнику разор. Разве у нас мало таких хозяйств погибло? Скажи, Алексей!

— Верно.

— В колхозе хоть пять лошадей помри, — не чувствуется, потому колхоз — сила! Но я тебе скажу, Алексей, что в

колхозе меньше будет лошадей помирать. Почему? Да потому, что мы можем и ветеринара пригласить, и будут у нас колхозники специально по лошадям. Уж эти будут хорошо знать характер лошадей, специалисты будут. А теперь как? Тебе одному заботиться и о коне, и о телеге, сбруе, колесе, потом о семенах, пахоте, жнитве, — да мало ли работы в хозяйстве. И все один! Выходит, дело ты и все знаешь, и ничего не знаешь, не успеваешь толком. Так оно или не так?

— Так.

— Теперь я тебе, хозяйка, скажу. Сколько у нас женщин вдовых с малыми ребятишками? Или женщину возьми, у которой большой муж. Что им остается делать? Страданье одно. А в колхозе вдова и дети не пропадут. За детьми всегда присмотр, женщина работает наравне с мужчиной. Конец пришел тому времени, когда говорили: «Курица не птица, баба не человек». Все равны в колхозе будут. Почитай газетку, как в колхозах живут.

Так мы ходили из дома в дом звать крестьян в колхоз. Когда пропаганду за колхоз вел, развивалась мысль, и очень убедительно доказывал крестьянам, что дорога одна, если к счастью стремиться, — в колхоз.

Начали присоединяться к нам постепенно. Сознание стало работать у людей, понял, где лучше. Мы лошадей всех отдали, у кого имелись, фураж, плуги, бороны и другие земледельческие всякие орудия. Выселили раскулаченного заводчика Борзова. Двор у Борзова был большой — наградил на своем веку много, мы в доме этом правление колхоза устроили и общественные амбары, где складывали все, что в колхоз передавали. Так с малого стало создаваться большое общественное хозяйство.

— Дело пойдет! — говорил Клюев. — Сдвинули.

Колхоз мы по общему согласию называли «Заря коммунизма». Коммунизм, — рассуждали мы, — это счастливая жизнь для всех людей. В колхозе, когда создавали его, мы видели зарю счастливой жизни. Так и называли «Заря коммунизма».

Сначала в колхоз вошло меньше по-

ловины деревни. А на второй год, когда колхоз силу показал, — все остальные.

Я был очень рад, что народ сознательней стал. Я говорил колхозникам:

— Работать нам надо всем хорошо. Когда мы хорошенько наладим колхоз, вот разведем сады, огороды, чтобы у нас были с излишком фрукты и овощи, удобрять будем поля, и тогда у нас будет избыток всех продуктов.

Машин у нас в первый год не было, кроме одной жатки-самосброски. Она для всех не поспевала, мы косами косили. Я жал пять с половиной дней.

Урожай выдался в тот год хороший, колхоз сразу окреп. Лошадей стало до ста голов. Надумало правление большой конный двор строить. Осенью меня назначили заведующим по строительству.

— Дядя Степан, — сказали мне в правлении. — Возьмись за это дело. Ты ведь плотник.

— Не совсем плотник, — сказал я. — Садовод я, о садах мечтаю. Но я все буду делать для колхоза. Сады потом пойдут, спервоначала базу надо колхозу, я понимаю.

Я посмотрел место, где строить, сообразил, что, как поставить, и начертил план. Показал план правлению, там согласились, и я начал строить, сначала конный двор, а потом и другие.

Леса у нас мало. Чтобы экономить лес и строить подешевле, я задумал делать камышвые стены. Камышу — сколько хочешь на Урге и Имзе. Построил я пресс из четырех стенок (сам придумал), в пресс вкладывал камыш, связанный проволокой, и прессовал его. Получались красивые прочные и негораемые щиты толщиной в десять сантиметров. Из них делали стены.

После отвели мне у лугов гектара два с половиной под колхозный огород. Дали мне людей в помощь, и мы посадили капусту, арбузы. Ночи не спал — все ходил на огород. Ведь я всю жизнь мечтал об этом! И достиг любимого дела. Мне колхоз еще садоводство и пчеловодство дал — как-раз по моей специальности. Я даже помолодел, свежие силы почувствовал.

В это время я переводился в члены партии из кандидатов. В кандидаты я

записался после того, как колхоз организовался. Я давно уже задумал пойти в партию, да все как-то не решался. А когда стали колхоз строить, я подумал: теперь пора! Надо в партию записаться.

Пошел к нашему счетоводу колхозному — он красиво пишет, и попросил его:

— Пиши. Пиши: «В ячейку ВКП(б) Красные Мары¹...».

Написал я в заявлении: желаю вступить в партию. Я хорошо понимаю, что партия ведет нас к прямой цели, к зажиточной жизни.

Секретарем ячейки на Красных Марях был учитель.

— Вот, — обрадовался он, — старики в ячейку партии потянулись.

Я ему сказал:

— Старику оно еще лучше в партии быть. С партийными людьми мне веселее и смелее.

— Ты и так смелый, товарищ Барышев.

— Еще смелее надо.

В 1931 году приняли меня кандидатом, а через год (2 августа 1932 года) — членом партии. Я попросил дать мне партийную обязанность вести пропаганду среди женщин. Женщина в колхозе великая сила, — так говорил наш вождь товарищ Сталин. Надо женщинам больше внимания уделять. Но вот что плохо: еще много среди них (это тогда было) религиозных. Вот я попросил прикрепить меня, чтобы я вел среди них антирелигиозную пропаганду. Безбожник-то я известный, давнишний!

В 1930 году весна была холодная. Даже в июне крепкие утренники бывали. Мороз я угадываю с вечера. Если небо ясное, а воздухом потянет с вечера, то, наверное, утром будет мороз.

В эту весну я посадил помидоры и арбузы и очень берег их. Зная, что завтра будет мороз, я прикрыл помидоры разным тряпьем, а арбузы ящиками со стеклянным верхом.

¹ После революции монастырь Старые Мары раскулачили, попов и девок-монахинь разогнали. Переехали туда крестьяне и образовали коммуны «Красные Мары». Там и школа хорошая есть.

Действительно, утром был крепкий мороз. В кадке лед образовался на два сантиметра (это в июне!). Помидоры замерзли все, кроме одного куста, который был прикрыт ватной тряпкой.

Пошел я по огороду и увидел, что мороз побил все сорные травы, только одна стоит цела-целехонька. Подошел поближе — это льнинка. Я удивился и вслух сказал:

— Ты-то мне, милая, и нужна. Не боишься, значит, мороза! Мы тебя сохраним.

И стал я эту льнинку беречь.

Ко мне приезжают сейчас студенты на практику.

Как придет студент, так обязательно первым делом спросит:

— Степан Никитич! Расскажите, как же так произошло, что научный институт не мог, а вы, колхозник, вывели морозоустойчивый лен?

Я ему говорю:

— Ты, друг, не думай, что раз научный институт, то это уже все. В научном институте тоже надо науку любить. А там, знать, не все ее любили. Вот читал я, великий ученый, Иван Петрович Павлов, когда ему советская власть институт построила, велел на здании написать три слова: «Внимание, внимание, внимание». Я считаю себя стахановцем-опытником. Стахановцы тоже науку двигают. Читал, что товарищ Сталин говорил?

— Читал, — говорит студент.

— Вот я тоже по-малости науку двигаю. Книжки по садоводству читаю. Я уже стар для теории. Мне надо от практики итти. Глаз у меня верный, все вижу, ко всякому делу подхожу со вниманием. Павлов правильно говорил: «Внимание!».

Потом я студентам рассказываю следующее:

— Не будь внимания, я не заметил бы льнинки, которая выдержала мороз. Но одного внимания мало. Нужно еще упорство, настойчивость, характер надо иметь. Ведь мороз у меня убил помидоры. Другой бы расстроился. А я нет. Я увидел льнинку и за нее принялся. Тут уже потребовалось терпение большое, упорство.

Боялся я, как бы льнинку не затоптали ребятишки или ветер не сломал. Я взял прутик и воткнул его возле льнинки. Она росла и выросла почти с метр. Каждый день ходил ее смотреть. На ней образовалось девять головок с семенами, я собрал их, решил на следующий год посеять.

В 1931 году, как только сошел снег, я посеял семечки с той льнинки, и у меня получилась небольшая грядка, так, около метра. Лен уж достиг четверти метра, как стукнул большой мороз. Но он себя оправдал, этот лен, — мороз ему ничем не повредил.

Лен поспел хороший, я собрал побольше семян и в 1932 году сеял опытный лен на колхозном огороде. Тут уж у нас был колхоз, и все колхозники стремились, чтобы у меня была удача (а у единоличника нет ведь дела до другого единоличника).

В 1932 году семян уже хватило на грядку длиной в двадцать пять метров и шириной в два метра. Лен был высокий и дал хороший сбор семян.

Так с каждым годом расширял посе-вы опытного льна. И все с одной льнинки!

Во время чистки партии один из членов комиссии, узнав о моих опытах, сказал:

— Товарищ Барышев! Пошли свой лен в Горький, в крайком, там поглядят на него.

Я выдернул несколько льнинок, запаковал в коробку и отправил. В Горьком письмо прочитали и напечатали в газетах про опыты мои с морозоустойчивым льном.

Узнали о льне в городе Торжке. Там есть всесоюзный институт льна. Приехал оттуда к нам, в «Зарю коммунизма», научный работник, смотрел, что я делаю. Попросил дать ему для исследования три кило семян (а мы с нашей грядки собрали тридцать семь фунтов).

Дал я командированному работнику три кило семян, и он уехал. Осенью они в Торжке начали проводить опыты с моим льном. В двух больших ящиках посадили лен разных сортов и между разными сортами — полосу моего льна.

Было это в ноябре. Выставили ящики на мороз под лестницу и, можно сказать, забыли про них. А когда вспомнили и внесли в теплое место, оказалось, что все полоски погibli, кроме моей, которая стояла зеленая.

Прислали мне денег, чтоб я приехал в Торжок. Приехал. Там устроили собрание, говорили, что мой лен победил. Поздравили меня и премию выдали.

В 1935 году я намолотил уже семь пудов семян.

В марте 1936 года мне принесли телеграмму из Горького.

— Поезжай в Горький, — сказал мне председатель райисполкома. — А оттуда в Москву. Тебя правительство вызывает.

Но, в чем дело, председатель не знал. Когда приехал в Горький, мне сказали, что в Москве при правительстве состоится совещание лучших стахановцев по льну.

В Москве мы остановились на Каретно-Садовой улице в третьем доме Советов.

Перед тем, как пойти на совещание, я очень волновался.

Прстой крестьянин, а меня вызывают в правительство, товарища Сталина увижу.

Вошли мы в красивую залу, а скоро появились товарищ Сталин, товарищи Молотов, Каганович, Ворошилов, Калинин, Орджоникидзе, Андреев, Микоян, Ежов, Хрущев, — все руководители нашего дорогого рабоче-крестьянского правительства, коммунистической партии. От радости я кричал: «Ура! Да здравствует товарищ Сталин!». На глазах слезы проступили. Хлопал в ладоши и кричал приветствия. Никогда не плакал, а тут заплакал. Вот он, наш дорогой отец — Иосиф, Виссарионович Сталин! Вот его лучшие товарищи и ученики!

Какие простые и приветливые люди! Такие же трудящиеся, как и мы. Расспрашивают нас, крестьян, как мы работаем, как добиваемся рекордов, чего мы посоветуем правительству, чтобы больше льна урожай давал, чтобы рабочие и крестьяне могли лучше одеваться

Одна только забота у партии и правительства — о народе.

Тут я понял, какое дело я сделал своим льном.

На совещании и мне довелось выступить. Это было 14 марта 1936 года, как сейчас, помню.

Я, конечно, подготовился, что сказать. Говорил безо всякой бумаги, так как в голове все помнил.

Речь была напечатана в газете.

Начал я так:

— От колхозников Спасского района, Горьковского края, передаю пламенный привет рабоче-крестьянскому правительству—товарищу Молотову, великому коммунистической партии, ее руководителю, учителю и отцу колхозного строительства — великому товарищу Сталину.

— Товарищи, я работаю в колхозе садоводом, но занимаюсь и опытами. Опытami я занимаюсь и зерновыми, но большей частью садоводческими. Но так как здесь не садоводческое собрание, я буду говорить об опытах со льном.

Потом я рассказал про крепкие утренники весной 1930 года, про то, как я льнинку увидел и сохранил, как семена берег и из года в год увеличивал посевы морозостойчивого льна. Сказал, что не боится мой лен мороза.

Перед концом выступления я немного замялся. Тут мне начали хлопать — колхозники хлопали, члены правительства, сам товарищ Сталин приветствовал меня.

Я обернулся к правительству и махнул рукой:

— Товарищи, подождите, я еще почувствую правительство.—С большой радостью я ото всего сердца крикнул:

— Да здравствует вождь народов, любимый и дорогой учитель наш товарищ Сталин!

— Да здравствует глава советского правительства товарищ Молотов!

— Да здравствует наша Красная Армия и ее вождь первый маршал товарищ Ворошилов!

После аплодисментов я подошел к товарищу Сталину, к товарищу Молотову, к товарищу Михаилу Ивановичу Калинин и другим нашим руководителям

и пожал им руки. Потом товарищ Сталин встал из-за стола и стал закуривать.

Я закричал ему:

— Иосиф Виссарионович!

Он повернулся ко мне. Я подошел и сказал:

— Иосиф Виссарионович, я был несколько раз в Москве. Когда я приезжаю домой, то колхозники меня спрашивают, видел ли я Сталина. И теперь будут спрашивать, еще не поверят, что видел.

Товарищ Сталин улыбнулся. А я говорю ему (про это и в газете напечатано):

— Тут вот что мне нужно: моя горьковская делегация желает, чтобы вы, товарищ Сталин, снялись с нами на карточке, с делегацией.

Товарищ Сталин ответил:

— Обязательно снимемся мы все и с делегатами, и с вами, горьковцами.

Когда стали сниматься, на стулья посадили женщин, а товарищи Сталин, Молотов, Калинин встали за стульями.

Меня, старика, из почета тоже посадили, чтобы не стоял.

Фотограф кончил снимать, тут товарищ Сталин ко мне обращается и говорит:

— Ну, вот ты хотел сниматься.

Я его поблагодарил.

На совещании объявили, что будут нам награждения. А потом в газете было напечатано постановление правительства; меня наградили орденом Ленина.

Когда я возвращался из Москвы в свою деревню, по пути мне устраивали встречи. Меня встречали в Сергаче, в Спасске, там был митинг в клубе, оркестр духовой музыки играл. Я произнес речь. Говорил о том, как мы, простые крестьяне, были на приеме у правительства и товарища Сталина, какие простые, мудрые вожди у нашего народа. Моя речь была напечатана в спасской газете, называвшейся «Коллективная мысль» (теперь — «Знамя коммунизма», как наш колхоз).

Мне особенно хорошо запомнилось одно татарское село, которое называется

Парша. Колхозники-татары меня встречали, как родного. За полтора километра от деревни выехали на лошадях, у околицы стоял народ с флагами. Пригласили меня в один двор, там было приготовлено всяких гостинцев, даже угощали вином.

Татары меня приветствовали, как земляка. Некоторые из них говорили на русском языке, а те, кто не знает русского языка, — на татарском.

Я говорил в ответ, что теперь у нас нет разных наций, что у нас все одинаковые: что татарин, что русский, что еврей. Раньше между нами устраивали грызну богачи, косматые попы да жирные муллы. Царизм и духовенство нас здорово натравляло друг против друга. Теперь этого нет. Мы все равны и все одинаковы.

В моей родной деревне мне тоже устроили радостную встречу. Все дома были украшены флагами. Колхозники вышли ко мне навстречу на конце деревни. Здесь, в деревне, состоялся митинг, я выступил, рассказал про товарища Сталина, обещал до конца дней своих работать на пользу колхоза.

Когда подходил к своему двору, увидел своих младших внуков — Костю и Шуру, сыновей дочери моей Екатерины. Костя и Шура близнецы, им обоим было тогда по пять лет.

— Дедя, дедя пришел! — закричали ребятишки и побежали ко мне. Я их крепко расцеловал — всего более по ним соскучился. Когда я роздал моим близнецам гостинцы, увидел, что в руках у них были флаги. Они тоже встречали орденосца с флагами!

У нас одно время председателем колхоза был некто А. И. Горячев — неважный работник, мешал и портил, а не помогал колхозу. Мне пришлось с ним много воевать.

Добился я, что отвели под колхозный сад пять гектаров земли. Посадили мы там апорт, анисовку, антоновку и другие сорта яблок. Кроме того, у меня в этом саду сто мичуринских яблонь, тысячи две кустов крыжовника, столько же смородины, затем вишни еще есть.

У нас в Горьковской области имеются

такие колхозники, которые очень много внимания уделяют своему приусадебному хозяйству, садики на нем разводят. Но это неправильно, если много заниматься своим личным хозяйством, а в колхозе работать равнодушно. Кроме того, должен сказать, что колхозный сад больше выгоды — деньгами и фруктами — принесет колхозникам, нежели садик в своем дворе. Да и легче работать в колхозном саду: там научные методы легче и проще и возможнее применять, урожаи гораздо большие.

Председатель Горячев не понимал этого. Я его просил лошадей дать для поливки, он не дает. Просил людей прислать, чтоб помогли в самую горячую пору, — он не присылает. Из-за этого Горячева у нас озеленение погибло.

У меня была цель озеленить свою деревню. Я насадил по всей деревне липу.

— Прямо парк у нас скоро будет, — говорил я колхозникам. — Для глаза приятно, для здоровья хорошо. А зимой — защита от снежных вьюг.

Но Горячев меня не поддерживал. Без общественности такое большое дело не сделаешь. Надо ведь уберечь насаждения, ухаживать за ними. Так много лип и погибло.

Был еще такой случай. Подготовил я участок для посадки арбузов, чтоб не мне одному на всю деревню, а всем колхозникам были арбузы. А этот Горячев взял и поставил дом на участке.

Я рассердился, пришел в правление и говорю:

— Ты, что же, думаешь, заставить меня отказаться от опытничества? Не заставишь! Я всю жизнь к этому стремился и все равно буду сады сажать. А плохих председателей смени!

Теперь Горячева у нас нет. Новый председатель хорошо работает (хотя можно еще лучше).

Весной 1936 года — после того, как партия и правительство наградили меня орденом, — в колхозе организовали опорный опытный пункт имени Барышева и поставили меня руководителем. Прислали мне в помощь из Горьковского сельскохозяйственного института двух молодых агрономов, и вот я, ста-

рый, и они, молодые, стали шире и научнее развертывать опыты, особенно по бахчевым культурам.

В 1936 году посадили мы много арбузов для колхоза. Урожай выдался отличный. Созрело очень много арбузов. Арбузов было так много, что мы возили их в Спасск продавать и даже в Горький, на автозавод имени Молотова.

В том году я уже начал сажать арбузные семечки прямо в грунт. Нужно было найти лучший сорт, который привьется в наших климатических условиях. То же и с дынями. Сорта имеются у нас следующие: «астраханская», «мелитопольская», «красавчик» и др.

Мы проводим опыты прививки арбуза к тыквенной ботве. Для этого надеваем торфяные горшечки, насыпаем туда хорошей земли. Одна партия получается тыкв, а другая арбузов. Когда появляется три листика, мы разрезаем бок тыквенного стебля, вставляем туда корешок арбуза и завязываем мочалкой. Это называется прививка арбуза к тыкве. Тыквенные стебли гораздо сильнее арбузных. Привитый арбуз начинает расти на тыквенных стеблях.

У нас в колхозе имеется сейчас свой питомник так называемых диких яблонь. Когда деревцо достигает толщины с карандаш, мы берем хорошее садовое дерево, вырезаем молодой побег с маленькими листочками и почкой, а в дичке вырезаем букву «т» и этот глазок туда вставляем. Когда он приживается, у дичка верхушка снимается.

Так у нас сад и огород увеличивается с каждым годом.

Когда я впервые стал сажать колхозный сад, некоторые посмеивались:

— Не доживешь, Степан Никитич, до яблоч-то.

— Доживу.

И дожил! Яблони плоды дают.

Везде у нас хорошие результаты. Урожай с каждым днем все лучше и лучше, — уже и автомобиль — грузовую машину — купили для перевозки хлеба. Между бригадами и звеньями идет соревнование. За последнее время особенно выделяется звено Александры Солдковой.

В колхозе идет большое строительство. У нас построена электрическая станция на нефтяном двигателе, четыре скотных двора, склады, пункт искусственного осеменения. Сейчас строятся большой свинарник и пожарное депо. Для правления построили новую канцелярию. В этом году построим оранжерею, — я когда еще о ней мечтал!

Зажиточными становятся колхозники, культурнее. Сейчас каждый выписывает газеты, журналы. Тянется народ к знаниям, к науке. Я про себя скажу: выписываю «Правду» на год, «Крестьянскую газету», «Горьковскую коммуну», «Советскую деревню», свою районную «Знамя коммунизма», кроме того, два журнала — по садоводству и по овощному хозяйству. Журналы мне нужны — в них много сведений сообщается для опытников, а газеты читаю, чтобы знать все события, что в Москве происходит, что в стране нашей и во всем мире! Раньше деревенский человек интересовался только своим двором, а что дальше плетня, — его не касалось. А теперь в газетке прежде всего телеграммы читают из Испании и Китая, про Тельмана ищут сведения, международным положением интересуются колхозники. Всем миром интересуются!

Я за одни газеты и журналы заплатил сто сорок рублей, а до революции у меня не было и семи рублей оброк помещику заплатить. Вот и считайте, насколько зажиточность и культура колхозников выросла. Ведь я кто? — рядовой колхозник!

И вот меня, рядового колхозника, выдвинули в депутаты Верховного Совета РСФСР.

Приехал ко мне товарищ один из Спасска и сказал, что меня, как орденосца и знатного колхозника всего района, наметили депутатом в Верховный Совет.

— Мы просим вашего согласия, Степан Никитич. — сказал товарищ.

Узнав об этом, я, конечно, очень взволновался. Я даже почуствовал какую-то беспомощность, думал: справлюсь ли с такой ответственной работой?

Было предвыборное собрание колхозников нашей деревни. Первым выступил старик Тигин, Макар Иванович, беспартийный колхозник. Тигин сказал, что предлагает кандидатуру Степана Никитича Барышева, как добросовестного человека, который заботится о народном добре. Тигин говорил, что я занимаюсь садоводством, приношу доход колхозу, берегу колхозное добро, думаю о пользе для всех колхозников.

Еще многие говорили обо мне похвально.

Я взял слово, поблагодарил общество и сказал, что раз народ требует, то я даю свое согласие и отдам все свои силы, жизнь свою отдам за народ, за советскую власть, за дело партии Ленина — Сталина, всеми силами буду бороться против подлых, продажных негодяев, троцкистско-бухаринских бандитов, врагов народа.

Я сказал:

— Мы должны работать честно, правильно, беречь колхозное добро. Мы должны бороться с врагами народа, которые хотят вернуть старое, темное время. Им это не удастся! У нас есть Николай Иванович Ежов, который раскрывает всех гнусных врагов, шпионов. У нас есть могучая Красная Армия и флот, которые победят всех, кто осмелится напасть на нашу родную советскую землю.

По всему Спасскому избирательному округу происходили предвыборные собрания рабочих, колхозников, служащих. Отовсюду присылали мне письма и телеграммы, звонили по телефону (в моем доме телефон есть), приглашали приехать. Я ездил в районные центры и в села. Бывал и в русских, и в татарских колхозах. Везде рабочие, колхозники, служащие встречали меня радушно и сердечно.

В селе Деяново, Курмицкогс района, когда я кончил выступление на митинге, мне говорят:

— Степан Никитич, разреши, наш хор тебе споет.

Я говорю:

— Пожалуйста, я люблю песни.

Хор стоял вокруг трибуны. Он стал петь, я большое удовольствие получил,

Спросил, кто у них руководитель. Оказалось, здешний комсомолец.

В селе Басурманы того же Курмицкого района свой хор есть, тоже песни исполнял на митинге. Но тут хор похуже. Зато девочка, лет шестнадцати или пятнадцати, комсомолка, взшла ко мне на трибуну и так спела песню про Ленина, что все плакали. Песня хорошая, слова задушевные про нашего дорогого Владимира Ильича, и голос у девочки такой замечательный, что поразительно. Слышал я певцов в Горьком, в Москве слышал, но такого голоса, как у этой колхозной девочки, не помню. Голос тонкий, как скрипка! Со мной приехал в село представитель обкома. Я ему сказал:

— Запиши ее фамилию, надо девочку учиться послать в музыкальную школу.

Я и сам записал и обязательно прослежу, чтобы талант этот расцвел.

Не только молодежь пела и веселилась. В селе Балобаново четыре старухи взшли на трибуну и сказали:

— Старикам нынче тоже хочется. Послушай наши песни, товарищ Барышев.

И завели:

Снежки белые, пушистые...

Хорошие голоса! И люди хорошие, веселые, счастливые. Куда ни приедешь, видно, что народ счастливый и благодарный советской власти.

В татарском селе Маклаково меня встречали дети. Когда я здоровался с ними, то брал сразу по несколько ручонков. У меня рука большая, у них — крохотные, нежные.

В татарских деревнях почти нет садов. Мне это не понравилось. Я и говорил на собраниях:

— Не годится это, товарищи. Почему садов нет? Почему фруктов не едите? Мы ведь при социализме живем, все хорошей должна жизнь становиться!

Я обещал им помочь советом и саженками из разных питомников. Обязательно буду следить, как у них это дело идет. Моя мечта: во всем Спасском избирательном округе сады разбить, подыять на это дело всех избирателей.

День выборов — 26 июня 1938 года — у нас был, как праздник. Избирательные участки разукрашены, кабинки убраны шелковыми платками, цветами. У нас в Саблукове, в Возьянках и в других деревнях женщины распределили между собой кабинки: ты эту убери, я — ту уберу. Устроили соревнование — чья кабинка будет краше.

Избиратели приоделись в костюмы, в платья нарядные. Чувствовался большой праздник: народ выбирал высшую власть. Обязательно каждый хотел в голосовании участвовать. За стариками машину посылали. Некоторые старики отказывались:

— Ради такого дня и пешком пройдем.

Ничего такого праздничного и торжественного я не припомню за всю свою жизнь, как эти дни — 12 декабря 1937 года, день выборов в Верховный Совет СССР, и 26 июня 1938 года, день выборов в Верховный Совет РСФСР.

Через два дня мне позвонил из Спасска председатель окружной избирательной комиссии и поздравил с избранием. Пригласили меня в город и выдали там удостоверение (я берегу его и буду всю жизнь беречь):

УДОСТОВЕРЕНИЕ

На основании статьи 40 Положения о выборах в Верховный Совет РСФСР и протокола голосования Окружной избирательной комиссии Спасского избирательного округа № 248 Окружная по выборам в Верховный Совет РСФСР избирательная комиссия удостоверяет, что тов. Барышев Степан Никитич избран депутатом в Верховный Совет РСФСР от Спасского избирательного округа № 248.

Председатель окружной избирательной комиссии *Улюшкин*

Секретарь окружной избирательной комиссии *Шулаев*

28 июня 1938 г.

В начале июля я был в городе Горьком на областной партийной конференции. Я там выступал, говорил о задачах колхозов. На конференции меня избрали членом областного комитета партии.

Из Горького я выехал в Москву, на сессию Верховного Совета.

До сессии осталось четыре дня, и я

успел посмотреть много красивых мест. На канал Москва—Волга ездил. Какая красота! Какую махину большевики соорудили! Большой, красивый канал, целое море около Москвы! В Москву большие волжские пароходы идут, а скоро будут ходить пароходы с пяти морей. Всю страну советская власть перестраивает!

Посмотрел я новые станции метрополитена. Сказано, что создадим мы у себя в СССР самые красивые вещи для украшения жизни человека, — и делаем. Нигде в мире нет такого красивого и удобного метрополитена, как в Москве. Вагоны удобные, просторные; подземные станции красивые, как дворцы. И все это — для удобства населения, чтобы красота его радовала.

У буржуев есть красивые дворцы — но ведь то для буржуев, народ не видит и не пользуется красотой, хотя сам народ ее создает.

Вот мы, группа депутатов, поехали в Останкино (теперь Пушкинское называется), под Москвой, в бывший дворец графа Шереметьева. Таких красивых изделий, как в этом дворце, мало где найдешь. Стены изразцовые, потолки тонкой работы, полы красиво уложены, — а ведь все это дело рук крепостных крестьян. Я уж воображал, какие мастера были в то время погублены помещиками!

А теперь мастера, таланты из народа, создают ценности для себя, для своего народа. Как подумаю, что троцкистско-бухаринские шпионы замыслили отнять у нас все, чего мы достигли, и опять вернуть капиталистов и помещиков, а нас рабами сделать, так у меня кровь начинает ходить и руки сжимаются в кулаки. Расстрелять надо гадов, уничтожить их всех до одного, чтоб не вреди народному делу!

Не видать фашистам советской земли! Не дышать троцкистам и бухаринцам советским воздухом!

Когда понадобится, мы все поднимем на защиту советской власти. Ведь наши сыны кровь проливали, жизнь свою отдавали за советскую власть. Я последнего сына потерял, когда шла война с контрреволюционными бандами.

Так неужто мы позволим капиталистам посягнуть на наши границы?!

Мой старший внук — красноармеец, служит в городе Кирово, Одесской области. Когда провожали его в Красную Армию, я ему наказал:

— Присягу дай советской власти верную. Жизни не пожалей, а защищай революцию.

Они у нас сознательные и смелые, наши парни. Понадобится, и старики станут в ряды. Нынче зимою и я сдал норму на значок «Ворошиловского стрелка». В колхозном тире стрелял в чучело. Научился попадать верно. А навяжут нам фашисты войну, будем бить не в чучела, а в фашистские морды.

Пришел день 15 июля 1938 года. Это самый счастливый день в моей жизни. Достиг я того, о чем никогда и не думал мечтать. Доверили мне большое государственное дело: открыл сессию Верховного Совета РСФСР.

Когда собрались все депутаты, на трибуну вышел депутат от Октябрьского избирательного округа гор. Москвы тов. Сидоров И. И. Он сказал:

— Вношу предложение, чтобы первую сессию Верховного Совета РСФСР депутаты поручили открыть старейшему депутату.

Депутаты согласились. Тогда тов. Сидоров сказал:

— Старейшим депутатом соедни нас является Степан Никитич Барышев, колхозник сельскохозяйственной артели «Заря коммунизма», избранный в Верховный Совет РСФСР от Спасского избирательного округа Горьковской области.

Я подошел к столу президиума. Поднялся наверх и гляжу — сидят депутаты ото всего народа, внизу около меня наше дорогое правительство, товарищ Сталин, товарищи Молотов, Каганович, Ворошилов, Калинин, Андреев, Микоян, Жданов, Ежов.

Пока поднимался к столу президиума, всю жизнь свою, кажется, передумал. Сначала очень волновался а потом, как надо было начать, успокоился. Захлопали мне делегаты — честь оказали старику, избранному народом. Когда тиха

стало, я им сказал (моя речь во всех газетах напечатана была, вот она):

— Товарищи депутаты! Поздравляю вас с днем открытия 1-й Сессии Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики!

Дорогие товарищи! Народы Российской Советской Федеративной Социалистической Республики поручили нам управление страной. Нам оказали большое доверие и высокую честь. И я хочу сказать: мы будем работать, не покладая рук, чтобы оправдать доверие нашего народа. Мы будем работать так, как учит нас родной Иосиф Виссарионович Сталин! (Бурные аплодисменты. Все встают. Многократные приветственные возгласы в честь товарища Сталина).

Мы приехали из городов и сел, где недавно происходили выборы депутатов Верховного Совета нашей республики. В этих выборах народы нашей республики выразили свое полное доверие политике нашей родной и дорогой коммунистической партии и советской власти (бурные аплодисменты), свою преданность и любовь вождю и учителю всех трудящихся нашего великого Советского Союза товарищу Сталину. (Шумные, продолжительные аплодисменты. Все встают. Возгласы: «Ура!», «Да здравствует товарищ Сталин!»).

В этих выборах принял участие весь народ, и весь народ единодушно отдал свои голоса за кандидатов блока коммунистов и беспартийных. Эти выборы были настоящим народным праздником. (Продолжительные аплодисменты). В нашем избирательном округе женщины-крестьянки украшали урны для тайного голосования своими шелковыми платками. Повсюду трудящиеся радовались великим победам, которые записал в Конституцию своей рукой наш родной и великий вождь и учитель товарищ Сталин. (Все встают. Горячая овация в честь товарища Сталина).

Конституция стала золотой книгой нашей счастливой жизни. В книге этой

навек записаны права, которые дала народу партия Ленина—Сталина и советская власть.

Счастливая жизнь была раньше только в сказках и в наших мечтах. Теперь все, о чем мы мечтали, все, за что мы боролись, нами достигнуто.

У нас нет больше помещиков, кулаков. Заводы, фабрики, земля — все стало народным добром. Мы работаем на себя и на своих детей. Мы имеем право на труд, на отдых, на образование. Мы — крестьяне — получили в вечное и бесплатное пользование землю.

Партия Ленина—Сталина и советская власть вывели нас на светлую дорогу социалистической жизни. Советская власть навеки избавила нас от угнетения. Теперь мы сами строим себе зажиточную и веселую жизнь.

Я — крестьянин, колхозник деревни Саблуково, Спасского района Горьковской области. Я прожил на белом свете 73 года. Больше чем полвека прожил я при капиталистах и помещиках. Я хорошо помню старое, проклятое время, когда мы были бесправными и нищими людьми. Все наши мужики почти с самого крепостного права арендовали землю у помещика Демидова и платили ему оброк. Я помню, как крестьян пороли розгами.

Теперь все это забыто и никогда не вернется. Была наша страна отсталой, нищей, невежественной, страной бесправия и гнета трудящихся. А теперь она стала, под руководством партии Ленина—Сталина, передовой, могучей (аплодисменты), культурной социалистической страной, сплотившей все народы в единую братскую семью, строящую новую жизнь.

Враги помышляют отнять у нас наши победы и вернуть нам старую, проклятую жизнь. Я говорю: не бывать этому никогда! (Продолжительные аплодисменты).

Всех врагов, всех шпионов мы уничтожим, как бешеных собак! (Аплодисменты).

Рабочие и крестьяне ценят и берегут свое счастье. Мы, крестьяне, нашли это счастье в колхозах. При старом режиме уделом крестьянина были голод и ни-

щета. Теперь колхоз — сила настолько великая, что может горы передвигать! Крестьяне объединились в колхозы и овладели силой богатырской, отчего и земля наша послушнее стала. Колхозный труд и сталинские машины, которыми снабдила нас социалистическая промышленность, наши рабочие, — приносят нам богатый урожай. Мы живем обеспеченно и знаем, что будем жить еще лучше. Мы знаем, что нас ведет к новым победам наша большевистская партия, наш любимый вождь товарищ Сталин. (Бурные аплодисменты, возгласы: «Ура!» «Да здравствует товарищ Сталин!»).

Я — колхозный садовник, выращиваю разные растения.

Товарищ Сталин тоже садовник — замечает каждого из нас и любовно выращивает великих людей, отважных летчиков и героев. И я, старый русский крестьянин, который полвека прожил беспочетно, теперь дожил до того, что открываю первую Сессию Верховного органа власти великой Российской республики. Спасибо за это партии и советской власти, спасибо товарищу Сталину! (Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Возгласы с мест: «Ура товарищу Сталину!», «Да здравствует великий вождь народов товарищ Сталин!»).

Когда нас выбирал народ, он давал нам наказ оберегать, как зеницу ока, нашу родину. Мы знаем, что фашисты готовят против нас войну, но мы не боимся их угроз! У нас государство крепко вооруженное. У нас есть могучая, храбрая Красная Армия. (Аплодисменты). А если гром грянет, то все мы пойдем на защиту родины. (Бурные аплодисменты).

Товарищи депутаты! Все, что есть у нас, — все завоевано благодаря нашей

партии Ленина — Сталина. (Бурные, продолжительные аплодисменты).

Да здравствует наша партия большевиков! (Бурные аплодисменты).

Да здравствует советская власть! (Бурные аплодисменты).

Да здравствует наш родной вождь и учитель товарищ Сталин! (Все присутствующие в зале встают. На разных языках народов РСФСР несутся приветственные возгласы в честь товарища Сталина. Продолжительная овация).

Товарищи! Объявляю 1-ю Сессию Верховного Совета РСФСР открытой.

(Бурные, продолжительные аплодисменты. Депутаты стоя устраивают горячую овацию товарищу Сталину. Приветственные возгласы в честь товарищей Сталина, Молотова, Кагановича, Ворошилова, Калинина, Андреева, Микояна, Жданова и Ежова).

Долго депутаты приветствовали нашего дорогого и любимого Иосифа Виссарионовича Сталина и его верных учеников.

Когда я слушал речи других депутатов, то думал: до какой вершины товарищ Сталин народ поднимает! Весь мир на нас смотрит и дивится нашим успехам. Глядят заграничные рабочие и крестьяне на нашу социалистическую стройку и понимают, чего можно достичь, если свергнуть иго капиталистов и помещиков. Хочется мне дожить до такого счастливого дня, когда сюда же, в Москву, в Кремль, съедутся депутаты советских республик всего мира и откроется первая Сессия Верховного Совета Мирового Союза Советских Социалистических Республик!

Артиллерия в современном бою

Полковник С. ГУРОВ

★

РОСТ АРТИЛЛЕРИИ В МИРОВУЮ ВОЙНУ

Зачатки своеобразной артиллерии мы встречаем в истории более двух тысяч лет тому назад. Греческий полководец Александр Македонский для осады городов применял так называемые «баллисты» и «катапульты», которые бросали камни, бревна, бочки с горящей смолой и трупы разлагавшихся животных через стены осажденного города.

С тех пор артиллерия развивалась, совершенствовалась, и во всех войнах, какие только велись на земном шаре в разное время до наших дней, артиллерия зарекомендовала себя, как мощное средство борьбы с противником.

В 1858 году Энгельс писал про артиллерию: «Построенная полумесяцем на протяжении мили или более, она сосредоточивает свой разрушительный огонь на сравнительно небольшом пространстве. При отсутствии ответной стрельбы более или менее равносильной ей артиллерии получасовой беглый огонь решает дело. Неприятель начинает таять под градом свистящих ядер; затем выдвигаются свежие резервы пехоты, следует последняя ожесточенная борьба, и победа одержана»¹.

Так писал Энгельс про артиллерию, которая в то время стреляла не далее 1.500 метров, вела огонь с открытых позиций, выдвигаясь в переднюю линию своих войск.

Современная артиллерия совсем не

похожа на артиллерию тех времен. Она бросает свои снаряды на десятки километров, громит врага на земле, в воздухе и на воде, своими мощными снарядами разрушает броню и бетон. До империалистической войны 1914—18 гг. артиллерия не была еще так разнообразна и не имела той мощности, какую она приобрела за годы мировой войны и за 20 лет после ее окончания.

Все воюющие государства вступили в мировую войну, имея на вооружении приблизительно одинаковую артиллерию. Причем во всех армиях преобладала легкая артиллерия, на тяжелую артиллерию, кроме Германии, мало обращалось внимания, так как считали, что в маневренной войне, к которой готовились все армии, тяжелая артиллерия мало найдет себе применения.

Русская артиллерия имела легкую полевую артиллерию, состоявшую из 76-мм. пушек образца 1902 г. с дальностью огня до 6,4 км. и 122-мм. гаубиц с предельной дальностью огня до 7,7 км. Полевая тяжелая артиллерия русской армии состояла из 107-мм. скорострельных пушек Шнейдера образца 1910 г. с предельной дальностью огня до 11,7 км. и из 152-мм. гаубиц образца 1910 г. с дальностью стрельбы до 7,7 км. Наконец, в русской армии имелась еще тяжелая (осадная) артиллерия, она состояла из различных образцов и разных калибров — пушек и мортир. Самые дальнобойные из них были: 254-мм. пушка с дальнобойностью до 20,4 км. и 280-мм. береговая мортира с дальностью огня до 8,7 км.

¹ Ф. Энгельс. Избр. воен. произв., т. I, стр. 275.

Франция и Англия в полевой легкой артиллерии гаубиц совсем не имели; Германия имела 105-мм. гаубицу с дальностью до 7 километров. Полевая тяжелая артиллерия во Франции состояла из 120—155-мм. пушек, огонь которых в среднем не превышал 6 км., и 155-мм. гаубиц с дальностью до 6,5 км. Наиболее крупные калибры тяжелой (осадной) артиллерии были: 155-мм. длинная пушка с дальностью огня до 10 км. и 270-мм. мортира, стрелявшая на 7,4 км.

Германская полевая тяжелая артиллерия имела на вооружении 105-мм. пушки, стрелявшие на 10 км., и 150-мм. гаубицы с дальностью до 7,4 км.

Тяжелая (осадная) артиллерия Германии состояла из пушек калибром до 149-мм. и дальностью огня до 15,6 км. и мортир до 420-мм. с дальностью огня до 12,2 км.

Зенитная артиллерия во всех армиях перед империалистической войной находилась в зачаточном состоянии (имелись лишь опытные образцы). В Германии имелась 65-мм. зенитная пушка Круппа с вертикальной дальностью стрельбы до 5,8 км. и зенитная пушка на автомобиле с дальностью стрельбы по высоте до 6,3 км. Во Франции была 75-мм. зенитная пушка Депора. Полковой и батальонной артиллерии не было ни в одной армии.

В общем вьющие государства выступили на войну, имея на вооружении следующее количество орудий всех видов артиллерии: Россия — 7.088, Германия — 8.404, Франция — 4.668, Англия — 2.000, Италия — 1.700¹. Снарядов было заготовлено: в России — 6 млн., в Германии — 10 млн., во Франции — 6 млн., в Англии — 700 тыс., в Италии — 3,3 млн.²

Интересен был взгляд на боевое значение артиллерии. Например, французский полевой устав говорил: «Артиллерийский огонь обладает лишь ничтожной действенностью; артиллерия — вспомогательный, второстепенный род войск». В германских уставах хотя и го-

ворилось о том, что пехотная атака должна быть подготовлена артиллерийским огнем, но это указание было скорее в виде пожелания, нежели определенного требования.

Опыт прошлых войн не давал убедительных выводов относительно боевого значения артиллерии. Так, например, в войну 1904 — 1905 гг. из всех потерь, понесенных русской армией, на огонь пехоты приходилось 85 процентов, а на огонь артиллерии всего лишь 14 процентов. За всю войну 1870—1871 гг. Германия израсходовала всего 650.000 снарядов, а русская армия в войну 1904 — 1905 гг. — 900.000 снарядов.

При таком взгляде на значение артиллерии и ее боевые возможности считали, что легкая батарея 76—77-мм. калибра на фронте в 200 метров может решить любую боевую задачу и, следовательно, на 1 километр фронта вполне достаточно иметь 5 батарей, или 20 орудий. Качество артиллерии и количество заготовленных орудий и снарядов ни у кого не вызывали сомнений.

Началась война. Она с первых же дней наголову опрокинула все расчеты и предположения. Оказалось, что батарея на фронте в 200 м. может решить любую боевую задачу только в том случае, если цели, по которым она ведет огонь, располагаются на открытой местности, а если эти цели находятся за укрытиями или зарываются в землю, то для подавления их требуется большее количество орудий и снарядов. Оказалось, что артиллерии нужно было уничтожить на пути пехоты разного рода препятствия и фортификационные сооружения, подавлять артиллерию противника, подавлять и уничтожать огневые средства пехоты не только на открытой местности, но и закопавшиеся в землю, укрытые в гнездах и блиндажах.

Для выполнения этих задач требовалось не только большое количество орудий и снарядов, но и другой тип орудий — гаубичная и тяжелая артиллерия, а ее-то как-раз было очень мало.

Началась, как говорят, переоценка ценностей. Артиллерия стала расти количественно, изменяться качественно. Увеличились нормы расхода снарядов, а

¹ Военная энциклопедия, т. I, стр. 737.

² «Мировая война в цифрах», стр. 31.

в них особенно ощущался недостаток. Так, французский главнокомандующий генерал Жоффри в секретном письме командующим армиями от 27 сентября 1914 г. пишет: «Вопрос питания артиллерии, на который я несколько раз обращал внимание, принимает в настоящее время характер исключительной важности и требует решительных мер. Вследствие этого я постановил ограничить комплект боеприпасов для 75-мм. орудий 300 выстрелами на орудие, считая в том числе и артиллерийские парки корпуса. Армии не получают новых отпусков ранее 20 октября».

В таком же положении оказались и немцы. Людендорф в своих записках отмечает: «С сентября 1914 г. мы стали перед лицом тяжелой катастрофы в деле боеснабжения...»¹. Во всех государствах вся гражданская промышленность была мобилизована на нужды войны и, в первую очередь, на производство артиллерийских орудий и снарядов.

Так, например, Германия за время войны 1914 — 1918 гг. изготовила 64.000 легких и тяжелых орудий и 306 млн. снарядов к ним; Франция — 23.600 орудий и 290 млн. снарядов; Англия — 26.000 орудий и 218 млн. снарядов; Италия — 6.480 орудий и 70 млн. снарядов; Россия — 15.300 орудий и 58 млн. снарядов (включая и заграничные закупки)².

Число тяжелых орудий во французской и германской армиях было доведено до 50 проц. от общего числа орудий, а процент гаубичной артиллерии поднялся до 40 — 50. Появились специальные снаряды: зенитные, зажигательные, химические, дымовые, пристрелочные и др., в общем от 50 до 80 разных образцов.

Количественное увеличение артиллерии и снарядов дало возможность на решающих участках фронта сосредотачивать на 1 километр до 100 и более орудий, расходовать огромное количество снарядов, доходившее до 1½ и больше млн. в сутки на фронте в 25 ки-

лометров, как это было 26 сентября 1918 года в Шампани. Германия за всю войну израсходовала свыше 300 млн. снарядов, стоимость которых равнялась 24 млрд. марок, что составляло 16 проц. от общего военного расхода на ведение войны.

Артиллерия росла не только количеством, она совершенствовалась и в дальности и в методах стрельбы. Дальность русской 76-мм. пушки к концу войны была доведена с 6,4 до 8,5 клм., французской 75-мм. пушки — с 8,6 до 11,2 клм., германской 77-мм. пушки — с 7,8 до 10,7 клм. Дальность тяжелой артиллерии (пушек) во всех армиях была доведена почти до 13 клм., а осадной артиллерии — в среднем до 17 — 22 клм.

В германской армии появились сверхдальностьные орудия, с дальностью стрельбы свыше 100 клм.

До империалистической войны артиллерия всех воюющих армий вела огонь по целям с предварительной пристрелкой по ним. Пристрелка большого количества орудий обычно выдавала замысел наступающего, а меняющаяся обстановка иногда сводила на-нет всю предварительную пристрелку.

Во время войны были применены новые методы стрельбы — без предварительной пристрелки. Появились специальные службы в артиллерии: топографическая, метеорологическая, звукометрическая и светометрическая.

Рост авиации в империалистическую войну вызвал к жизни специальную зенитную артиллерию.

Первое время для стрельбы по самолетам приспособляли обычную полевую легкую артиллерию, но успех стрельбы из таких орудий был незначителен, поэтому одновременно с приспособлением для зенитной стрельбы полевых орудий проектировались и создавались специальные зенитные орудия. К концу войны специальных зенитных орудий было: в Германии — 2.600, во Франции — 900, в Италии — 600, в России — 120. За все время войны зенитной артиллерией было сбито 2.711 самолетов, причем если в 1915 и 1916 гг. на один сбитый самолет приходилось свыше 11.000

¹ Каратыгин. «Мобилизация промышленности для нужд войны», стр. 18.

² «Мировая война в цифрах», стр. 33.

снарядов (приспособленная артиллерия), то уже в 1917 — 1918 гг. специальной зенитной артиллерии приходилось на один сбитый самолет от 1.500 до 3.000 снарядов, а в американской зенитной артиллерии на один сбитый самолет приходилось 605 выстрелов.

За время империалистической войны сильно возросла насыщенность пехоты автоматическим оружием — легкими и станковыми пулеметами. В германской, французской и английской армиях в каждой пехотной дивизии в 1914 году было по 24 пулемета, а в 1918 году в дивизиях этих же армий было: в германской — 324, французской — 684 и английской — 400. Хотя и наступающий, и обороняющийся имели равносильное пехотное вооружение, но обороняющийся свои огневые средства укрывал на местности, в окопах, блиндажах, и наступающая пехота своим огнем не могла их подавить. Артиллерия уничтожала довольно большое количество огневых средств обороны, но все же их оставалось еще достаточно, чтобы отразить атаку пехоты. Подавить их могла бы опять-таки артиллерия, но последняя не всегда могла их быстро обнаружить, а целеуказания со стороны пехотных начальников были довольно сложны и не точны, к тому же при продвижении наступающей пехоты в глубину расположения противника артиллерия оставалась далеко сзади, и дальность ее огня не позволяла выполнять заявки пехоты.

Возникла необходимость в так называемой артиллерии сопровождения, которая могла бы передвигаться вместе с пехотой и уничтожать сохранившиеся пулеметы обороны. Появилась «пехотная артиллерия» в виде малокалиберных пушек и минометов. Одних только минометов в германской армии в 1918 г. было 30 000, во французской — 3.000, а английской — 4.000, в русской — 1722.

Артиллерия в сражениях мировой войны

К лету 1915 года промышленность воюющих государств смогла уже дать на фронт достаточное количество ору-

дий и снарядов. С этого времени начинаются сражения, в которых артиллерия полностью выявила свою сокрушающую мощь.

С 22-го по 27 сентября 1915 года французы в Шампани атаковали позиции немцев. На фронте в 35 километров они сосредоточили 1.100 легких и 872 тяжелых орудий, что в общем составляло 56 орудий на 1 км фронта. Артиллерийская подготовка началась 22 сентября и продолжалась три дня. Немецкая артиллерия была совершенно подавлена. 25 сентября французы перешли в атаку и без труда захватили первую позицию. Было захвачено 30.000 пленных. Вторая позиция немцев не была захвачена лишь только потому, что французская пехота, воодушевленная первым успехом, атаковала вторую позицию, не дожидаясь новой артиллерийской подготовки. За время с 22-го по 27 сентября французская артиллерия израсходовала 1.683.170 снарядов, т.-е. 336.634 снаряда в сутки.

В 1916 году в июне месяце в сражении на р. Сомма французы на 15 километрах фронта поставили 1.449 легких, тяжелых и траншейных орудий. Артиллерийская подготовка велась с 24 июня по 1 июля. 1 июля началась атака. Пехота почти без потерь захватила все намеченные цели и готовилась продолжать наступление, как только артиллерия снова проложит ей дорогу. Но к этому времени соседняя английская армия не достигла тех же успехов, и французы вынуждены были приостановить наступление, пока англичане не продвигнутся на одну с ними линию. За время с 24 июня по 10 июля французы выпустили 2.532.649 снарядов. В один только день 1 июля было израсходовано 380.000 снарядов весом около 8.000 тонн, на перевозку которых потребовалось 27 поездов по 30 вагонов каждый. В этом сражении англо-французы захватили 105.000 пленных немцев, 350 орудий и 1.500 пулеметов.

1917 год является годом наибольшего напряжения артиллерийских сил и средств. В этом году, например, французы в половине августа под Верденом на фронте в 17 километров развернули

2.579 орудий, из них 1.318 тяжелых. На 1 километр фронта приходилось свыше 150 орудий. С 13-го по 27 августа было выпущено 4.000.000 снарядов весом в 120.000 тонн, стоимостью в 700 млн. франков. На каждый метр фронта выбрасывалось по 6 тонн металла. Для подвоза такого количества снарядов требовалось 360 поездов по 30 вагонов.

Под Ла Мальмезон 23 октября французами было сосредоточено на 10 км. фронта 1.878 легких, тяжелых и траншейных орудий, или 187 орудий на 1 километр фронта. Артиллерийская подготовка длилась 6 суток. За это время и в день самой атаки было выброшено 80.000 тонн металла, или 266 поездов по 30 вагонов. Стоимость выпущенных снарядов определялась в 500 млн. франков. За время этого сражения французами было взято 12.000 пленных, 50.000 немцев было выведено из строя, из них 8.000 было найдено убитыми на поле боя. Потери французов с 23-го по 26 октября составляли 8½ процентов. За четыре дня боя французы продвинулись в глубину расположения немцев на шесть километров.

В конце 1917 года на поле сражения стали появляться в массовом количестве танки, относительно широкое развитие получила авиация. Танки приняли на себя часть задач артиллерии, но на долю последней все же оставалось много работы. Поэтому в 1918 году и при наличии танков артиллерийская насыщенность полей сражения оставалась довольно плотной.

X французская армия в составе 18 дивизий, 375 танков и 40 авиационных эскадрилий с 18 июля по 15 августа 1918 года наступала в районе Шато — Тьерри — Суассон, на фронте в 18 км. В ее распоряжении имелось 1.720 легких, тяжелых и траншейных орудий, что давало плотность 95 орудий на 1 км. Наступление 18 июля началось без артиллерийской подготовки. Противник, захваченный врасплох, не оказал серьезного сопротивления, и на другой день французы заняли первую позицию глубиной на 10 километ-

ров. Было взято 17.000 пленных и 400 орудий.

Таковы сражения мировой войны, в которых в основном артиллерия обеспечивала успех. Опыт мировой войны показал, что если артиллерия дальнобойна, скорострельна и подвижна, если ее на решающих участках сосредотачивают в достаточном количестве и доотказа снабжают боеприпасами, если, наконец, она способна действовать внезапно (вести огонь без предварительной пристрелки), то успех в бою обеспечен.

В гражданскую войну мы не могли иметь такую плотность артиллерийского огня, каковая была в империалистическую войну на Западном фронте. Все же, на ответственных участках, когда нужно было добиться решительного поражения противника, красная артиллерия с честью выполняла возложенные на нее задачи.

В октябре 1918 года белые банды генерала Краснова вплотную подошли к Царицыну. Нависала непосредственная угроза опорному пункту революции на юго-востоке. Нужно было принять меры, чтобы отбросить врага от Царицына. Командующий X армией товарищ Ворошилов приказал сосредоточить в районе ст. Воропоново возможно больше артиллерии центрального участка и массой артиллерийского огня обрушиться на противника. К 17 октября на участке фронта в 5 километров было сосредоточено 21 батарея. На рассвете 17 октября белобандиты пошли в атаку. Они рассчитывали одним ударом захватить Царицын. Но умело подготовленный огонь артиллерии преградил путь белым. Бешеные атаки белогвардейской пехоты и конницы были отбиты. Войска центрального участка Царицынского фронта перешли в контрнаступление и прогнали белых к р. Дон.

Так и во всех других операциях гражданской войны артиллерия Красной Армии обеспечивала успех сражений.

СОВРЕМЕННАЯ АРТИЛЛЕРИЯ

После мировой войны прошло 20 лет. За это время артиллерия далеко ушла вперед.

Современная артиллерия делится на пехотную, дивизионную, корпусную и на артиллерию резерва главного командования. Кроме того, существует специальная артиллерия: зенитная, артиллерия на танках, броневиках и на самолетах.

Пехотная артиллерия состоит на вооружении в батальонах и полках, она непосредственно сопровождает пехоту в бою, ведет борьбу с танками и бронемашинами и уничтожает огневые точки противника, выдвигаясь в первые эшелоны боевого порядка. Пехотная артиллерия состоит из малокалиберных пушек от 25- до 47-мм. (батальонная артиллерия), из пушек 50—57-мм. (полковая артиллерия) и пехотных мортир и минометов — 60—81-мм.

Дивизионная артиллерия во всех армиях составляет основную массу всей артиллерии. Ее задачами являются: борьба с живой силой противника, подавление и уничтожение его огневых средств, борьба с артиллерией и мотомеханизированными боевыми средствами. На вооружении дивизионной артиллерии состоят пушки 75-мм. калибра и 105-мм. гаубицы.

Корпусная артиллерия должна вести борьбу с артиллерией противника, разрушать тяжелые фортификационные сооружения, непосильные дивизионной артиллерии, и нарушать работу тыла противника. На вооружении корпусной артиллерии—тяжелые пушки и гаубицы.

Наконец, артиллерия резерва главного командования служит количественным и качественным усилением войсковой (дивизионной и корпусной) артиллерии, поэтому на ее вооружении состоят однотипные орудия с войсковой артиллерией и особо мощные и дальнобойные.

Современная зенитная артиллерия состоит из малокалиберных, средних и тяжелых зенитных орудий. Малокалиберная зенитная артиллерия вооружена 20 — 40-мм. пушками с горизонтальной дальностью огня до 10 км. и вертикальной — до 4,5 км. Орудия среднего калибра (75 — 80-мм.) имеют горизонтальную дальность до 15 км. и вертикальную — до 10 км. Наконец, тя-

желая зенитная артиллерия состоит из пушек 100 — 150-мм., имеет горизонтальную дальность до 25 км. и вертикальную до 16 км.

Скорострельность малокалиберной артиллерии доходит до 250 выстрелов в минуту, среднекалиберной — до 25 и крупнокалиберной — до 16.

Управление огнем зенитной артиллерии в настоящее время автоматизировано. Существуют специальные приборы управления артиллерийским зенитным огнем (ПУАЗО). Система управления состоит из целой сети наблюдательных постов, звукоулавливателей с прожекторами и дальномерных постов, связанных с центральным прибором. Все исходные данные для стрельбы, как-то: направление, угол возвышения и установка трубки вырабатываются прибором, с учетом баллистических и метеорологических поправок, и по проводам передаются на приемные приборы орудий. Имеются сведения, что система управления огнем зенитной артиллерии полностью автоматизирована и не требует наличия орудийного расчета. На батарее нужны лишь электротехники для наблюдения за работой механизмов. Все повороты, заряджение и производство выстрела выполняются электромоторами и механизмами автоматически.

Современная артиллерия в большинстве армий переходит на механическую тягу — на колесные и колесно-гусеничные тракторы. Существует самоходная артиллерия, где ствол орудия с люлькой положен на самодвижущийся лафет, на нем орудие и передвигается, и ведет огонь; тракторная артиллерия, где вся орудийная система прицепляется к трактору, к автомобилю; возимая артиллерия, когда материальная часть грузится на автомобили и перебрасывается в нужный район, где строится и выполняет боевые задачи. Кроме того, орудия большой мощности перевозятся и ведут огонь на железнодорожных установках. Моторизация артиллерии позволяет ей увеличить свою подвижность до 30 — 35 км. в час.

Нижеследующая таблица дает представление об опытных образцах всех видов современной артиллерии.

Название орудий	Калибр. в мм.	Дальность в клм	Какого государства
1. Пехотная артиллерия			
А. Батальонная			
Противотанковая пушка	25	4,7	Швеция
Противотанковая пушка	37	7,1	То же
Противотанковая пушка	47	8	Польша
Рогный миномет Стокс-Брандт	60	1,7	Франция
Пехотная мортира	70	2,8	Япония
Пехотный миномет	76	1,37	Англия
Пехотный миномет	81	4,4	Германия
Б. Полковая			
Полковая пушка	50	6,2	Германия
Полковая пушка	75	9,0	Германия
2. Дивизионная артиллерия			
Легкая пушка	75	11—13,5—14,5	Англия Германия
Горная пушка	75	9—10	Франция Англия,
Легкая гаубица	105	13,2	Франция
Горная гаубица	105	6	Англия Германия
3. Корпусная артиллерия			
Тяжелая пушка	105	17—18—20	Швеция, Япония, Франция.
Тяжелая гаубица	149	14	Италия
Тяжелая гаубица	150	19,5	Германия
4. Артиллерия резерва глав. командования			
Пушка	150	22	Швеция
Тяжелая пушка	155	26	Франция
Тяжелая гаубица	210	16—17	США, Италия
Тяжелая гаубица	220	17	Франция
Тяжелая пушка	220	33	Швеция
Тяжелая пушка	240	52	Франция
Тяжелая пушка	300	41	США
Тяжелая гаубица	400	27	США
Разрабатываются образцы:			
тяжелых пушек	210—220	50—56	
тяжелых гаубиц	305—402	25—30	

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ АРТИЛЛЕРИИ

Наш полевой устав так определяет роль и значение артиллерии в бою: «Артиллерия обладает наибольшей силой и мощью огня из всех наземных родов войск. Ее огонь губительно действует против живой силы и огневых средств противника, расположенных открыто и находящихся в закрытиях, против артиллерии и танков противника; она поражает также и авиацию противника. Артиллерийский огонь расчищает путь всем наземным войскам в наступлении и

преграждает путь врагу в обороне. Артиллерия является мощным средством для разрушения долговременных укреплений».

Боевые задачи артиллерии весьма разнообразны. В наступательном бою, при подходе к оборонительной полосе противника, артиллерия поддерживает передовые части — разведывательные батальоны и авангарды, — содействуя им в уничтожении боевого охранения противника. В дальнейшем прикрывает и обеспечивает пехоте и танкам занять исходное положение для атаки. Ведя огонь по огневым точкам и артиллерии

противника, артиллерия наступающего заставляет их обнаруживать свое расположение и тем самым способствует выявлению огневой силы противника.

Перед началом атаки артиллерия ведет артиллерийскую подготовку. Длительность артиллерийской подготовки зависит от силы укреплений обороняющегося и от количества танков и артиллерии у наступающего. Полевой устав определяет срок артиллерийской подготовки, при наличии 30 — 35 орудий на 1 километр фронта (без артиллерии дальнего действия) и 2 батальонов танков на дивизию, — до 1½ часов. При недостаточном количестве танков и артиллерии подготовка продолжается до 3 часов, а при сильных укреплениях оборонительной полосы противника и значительно больше. В тех же случаях, когда противник не успел создать укреплений, а у наступающего сосредоточено большое количество танков и артиллерии, подготовка может длиться всего лишь 10 — 15 минут в виде огневого налета по переднему краю обороны и по вероятным противотанковым районам.

В период подготовки артиллерия подавляет артиллерию противника, уничтожает противотанковые средства, разрушает наблюдательные пункты, подавляет систему огня и, если нет танков, проделывает проходы в проволочных препятствиях для своей пехоты.

При этом артиллерия может с успехом выполнить свои задачи при следующих условиях:

Для подавления хорошо наблюдаемой огневой точки (пулемета, орудия), расположенной на открытой местности, или неокрепавшей пехотной группы, с дистанции стрельбы 2½ — 3 км. требуется около 15 мин. времени. Для этого потребуется снарядов: 76-мм. — 30, 122-мм. — около 20, 152-мм. — около 15 (тех или других).

Если живая сила с огневыми средствами укрыта в окопах, то для частичного разрушения окопов на каждые 10 м. требуется гранат: 76-мм. — 60, 122-мм. — 40, 152-мм. — 30 (тех или других). При дальности стрельбы на 4 — 5 км. нормы повышаются на 50 проц., при фланговом огне уменьша-

ются на ½. Для подавления батареи или группы пулеметов нужно равномерно обстреливать определенную площадь. На 1 га площади требуется в 1 мин. расходовать гранат: 76-мм. — 15, 107-мм. — 10, 122-мм. — 8, 152-мм. — 6. Для разрушения отдельных окопов с козырьками и легких сооружений с дистанции 2,5 — 3 км. требуется 30 — 40 мин. с расходом на каждое сооружение гранат: 76-мм. — около 60, 122-мм. — около 40, 152-мм. — около 30. На разрушение блиндажей и укрепленных наблюдательных пунктов требуется несколько попаданий и времени около 1 часа с расходом гранат: 122-мм. — 100 — 120, 152-мм. — 60 — 80. При дальности стрельбы с 4 — 5 км. расход снарядов увеличивается вдвое.

На одну бетонную точку размером в 25 кв. метров, при дальности навесной стрельбы с 5 — 6 км., требуется 120 — 140 снарядов 203 — 305-мм. калибра.

При отсутствии танков проходы в проволочных заграждениях делает артиллерия. На один проход шириною в 6—8 м. и глубиною до 20 м. требуется снарядов: 76-мм. — 200, 122-мм. — 85, при условии стрельбы с 3 км.; времени на это нужно до 1½ часов.

Как видно из приведенных расчетов, на выполнение возлагаемых на артиллерию задач требуется довольно много и времени, и снарядов, особенно для проделывания проходов в проволочных препятствиях. Поэтому эта задача обычно возлагается на танки.

После артиллерийской подготовки идут в атаку танки дальнего действия. Артиллерия сопровождает их огневым валом до указанного им района, а затем часть артиллерии — группа дальнего действия — продолжает выполнять задачи вместе с танками дальнего действия по уничтожению резервов, артиллерии, штабов и узлов связи противника, а другая часть — группа поддержки пехоты — обеспечивает продвижение пехоты с поддерживающими ее танками.

За весь период боя в глубине расположения противника артиллерия своим огнем подавляет оставшиеся противотанковые орудия и пулеметы противни-

ка, обеспечивает свою пехоту от контратак танков и пехоты, ведет борьбу с артиллерией и авиацией противника. Как только пехота продвинется вперед настолько, что со старых позиций ее уже поддерживать будет нельзя, артиллерия переходит на новые позиции и продолжает оказывать помощь пехоте и танкам. Отступающего противника артиллерия преследует своим огнем, выдвигаясь в первые эшелоны своей пехоты.

Таким образом, от начала и до конца наступательного боя артиллерия сопровождает пехоту и танки, расчищает им путь и обеспечивает успех сражения.

Не менее важную роль играет артиллерия и в обороне. Современная оборона должна быть прежде всего противотанковой. Наш боевой устав артиллерии, часть II, говорит: «Артиллерия является основным огневым средством борьбы с танками».

В сочетании с инженерным оборудованием местности и естественными препятствиями артиллерийский огонь составляет систему противотанковой обороны».

Артиллерия в обороне выполняет следующие задачи. На период подхода противника к оборонительной полосе она подготавливает дальние огневые нападения (ДОН). Эти нападения артиллерия подготавливает по узким местам, где противник будет проходить сгущенными строями — по мостам, гатам, по выходам из лесов и населенных пунктов, по местам сосредоточения танков на их выжидательных позициях и во время движения. Когда передовые части противника войдут в соприкосновение с нашим охранением, артиллерия частью батарей должна поддержать боевое охранение, не допустить противника отрезать его и уничтожить, обеспечить его отход.

Артиллерия готовит так называемый огонь артиллерийской контрподготовки. Она заблаговременно готовит данные для стрельбы по вероятным артиллерийским позициям противника, по вероятным местам скопления войск и танков, по складам боеприпасов, по штабам и узлам связи. Контрартиллерийская

подготовка имеет задачей сорвать подготавливающую атаку противника.

Перед передним краем обороны артиллерия подготавливает противотанковое огневое заграждение (ПЗО). В направлениях вероятного движения танков намечается ряд рубежей, по которым дивизионы и батареи подготавливают огонь и открывают его самостоятельно, как только их достигнут танки противника.

По выходам из районов сосредоточения пехоты и танков противника артиллерия подготавливает неподвижный заградительный огонь (НЗО). Такой же огонь артиллерия подготавливает перед передним краем, на переднем крае и в глубине оборонительной полосы.

По всей оборонительной полосе располагаются отдельные противотанковые орудия в шахматном порядке на глубину 2 — 3 км. из расчета 6—9 орудий на 1 км. фронта. Эти орудия в сочетании с инженерными заграждениями составляют основу противотанковой обороны. Огонь отдельных орудий ведется на дистанцию 800 — 1.000 м. Но, кроме отдельных противотанковых орудий, борьбу с танками ведут и батареи дивизионной артиллерии, для этого они готовят противотанковые позиции, на которые выдвигают отдельные орудия.

В распоряжение командира дивизии (полка) выделяется подвижной противотанковый резерв противотанковых орудий. Резерв располагается укрыто. Огневых позиций не занимает, но подготавливает их на вероятных направлениях движения танков противника. Противотанковый резерв выдвигается навстречу наступающим танкам и уничтожает их.

Зенитная артиллерия занимает позиции с таким расчетом, чтобы своим огнем прикрыть ударные группы (2-е эшелсы), артиллерийские позиции и танки обороны.

В момент атаки противника вся артиллерия обороны обрушивает свой огонь на атакующие танки, а когда они войдут в зону огня противотанковых орудий, артиллерия поддержки пехоты переносит огонь по лулметам и пехоте противника, а группа дальнего действия ведет борьбу с его артиллерией.

Если противник ворвется в оборонительную полосу, то часть батарей артиллерии окаймляет его и не дает распространяться в глубину и в стороны, другая часть поражает прорвавшиеся части противника.

На ворвавшегося противника бросаются в контратаку 2-е эшелоны (ударные группы) при поддержке танков и артиллерии и уничтожают его.

Таковы задачи артиллерии в обороне.

Не только в наступлении и в обороне, но и на марше и на отдыхе, на фронте и в тылу артиллерия обеспечивает успех боя, предохраняет войска, фабрики и заводы от авиации противника.

В результате развития авиации и танков в мировую войну возникли сомнения относительно роли артиллерии в современном бою. Некоторые военные специалисты полагали, что решающую роль будут играть танки и авиация.

Но опыт войн в Испании и Китае разбил эти сомнения. Артиллерия по-прежнему остается ведущим родом войск в бою.

«Артиллерия, — говорит товарищ Ворошилов, — несмотря на наличие новых серьезных боевых средств подавления, как танки и авиация, остается одним из важнейших родов войск в современной войне. Это положение полностью подтверждается испанской и японо-китайской войной, где артиллерия, судя по данным прессы, занимает одно из главных мест в боевых операциях. Поэтому нами, наряду с развитием новых родов войск, артиллерии всегда уделялось и уделяется особое большое внимание. Достаточно сказать, что этим делом непосредственно и вплотную занимается сам товарищ Сталин»¹.

В результате выполнения двух пятилетних планов наша артиллерия оснащена самыми новейшими образцами орудий различных калибров. Могучая индустриальная держава — СССР обеспечила Красную Армию достаточным количеством артиллерии. Наша артиллерия имеет новейшие приборы для наблюдения и управления огнем, сложную звукометрическую аппаратуру, современные светометрические и метеорологические приборы.

Но еще лучше, еще совершеннее своей материальной части — наши артиллеристы. В Артиллерийской академии, на артиллерийских курсах усовершенствования, в артиллерийских училищах, полковых школах, в частях и подразделениях артиллерии обучаются и воспитываются прекрасные кадры артиллеристов — патриотов своего дела и своей родины.

Это люди с высокой общеобразовательной подготовкой, знатоки математики, это культурные люди во всех отношениях.

«Личный состав нашей артиллерии, — сказал товарищ Ворошилов, — вполне подготовлен и хорошо знает свое дело. Быть хорошим артиллеристом, особенно артиллерийским командиром, означает быть всесторонне образованным человеком¹.

Наша артиллерия в надежных руках бойцов и командиров на будущих полях сражений покажет образцы меткости и могущества огня, как показала она не так давно на Дальнем Востоке. Она сбережет миллионы жизней бойцов на фронте и мирного населения в тылу. Она нанесет сокрушительный удар врагу, если он посмеет напасть на страну социализма, на отечество трудящихся всего мира.

¹ К. Е. Ворошилов. XX лет РККА и ВМФ, стр. 14.

¹ К. Е. Ворошилов. XX лет РККА и ВМФ, стр. 14.

Чехословакия и ее вооруженные силы

Полковник И. ПОПОВ

★

К границам демократической Чехословакии вплотную привалился фашистский хищник. Гитлеровская Германия явно покушается на мирное и независимое существование чехословацкого народа. Она на глазах всего мира готовит вооруженное нападение на Чехословацкую республику, связанную пактами о взаимной помощи с крупнейшими государствами мира.

Германский генеральный штаб еще до империалистической войны 1914—1918 гг. постоянно проповедывал «Drang nach Osten» (устремление на восток). Для осуществления этого плана Германия всегда стремилась овладеть долиной реки Дуная. Именно поэтому немецкий фашизм захватил Австрию, ее семимиллионный народ превратил в своих рабов, а ее территорию в новый очаг войны, откуда он уже начал сеять по всему миру военную смуту и тревогу.

Настойчивые попытки немецкого фашизма проникнуть в долину Дуная будут тем более понятны, если вспомнить, что Германия не имеет очень многого для ведения «большой» войны. В частности Германии недостает нефти, железной руды, цветных металлов, бокситов, продовольствия и кое-чего другого, что в больших размерах расходуется при ведении современной войны.

В долине Дуная лежит Венгрия, производящая очень много хлеба, мяса, молочных продуктов и прочего продовольствия, в котором так сильно нуждается Германия, доведенная фашизмом до по-

ложения страны «организованного голода».

В бассейне Дуная находится Югославия, которая для фашистской Германии является также «лакомым куском». Германия, накапливая силы для войны за новый передел мира, ощущает острую нужду в алюминии, столь необходимом для постройки самолетов, танков, броневых автомобилей и прочих технических средств борьбы. Германия почти вовсе не имеет бокситов — основного сырья для выплавки алюминия. Бокситов же очень много в Югославии. Кроме того, она имеет и другие полезные ископаемые, нужные Германии для подготовки и ведения «большой» войны.

Далее вниз по Дунаю расположена Румыния с нефтью, каменным углем, медью, продовольствием и прочим сырьем. Словом, устремление немецкого фашизма на юго-восток Европы объясняется весьма просто. Эту часть Европы Германия пытается превратить в свою сырьевую базу с тем, чтобы в дальнейшем пойти большой войной против демократии мира. Мировая печать как-раз в таком смысле и оценивает проникновение немецкого фашизма в долину Дуная. Генерал Коньян в своей статье «Дунай — дорога на юго-восток» («La France Militaire» 11/IV—1938 г.), пишет: «Германия нуждается в пищевых продуктах и в сырье. Долина Дуная имеет все это. Германия стремится получить хлеб, нефть, горные богатства и потребителей. Началось наступление Германии на Восток. Германия будет

драться за Дунай». Но фашистская Германия отделяется от юго-восточной Европы Чехословакией. Она как бы тысячекилометровым барьером (протяжение Чехословакии с запада на восток) прикрывает юго-восточную Европу от происхождения немецкого фашизма. «La France Militaire» от 25/V—1938 г. замечает, что «Чехословакия представляет препятствие для германской экспансии на юго-восток». В этом смысле демократическая Чехословакия представляет собой передовую линию обороны всех сторонников мира. Вот почему агрессор намерен обрушиться своими вооруженными силами прежде всего на Чехословакию. Бисмарк в свое время утверждал, что «кто владеет Чехией, тот владеет Европой».

Но между Австрией и Чехословакией нельзя ставить знак равенства. Чехословакия обладает достаточной мощью, чтобы дать решительный отпор любителям чужих земель. К тому же Чехословакия имеет таких союзников, могущество которых общепризнано. Наконец, что особенно важно, чехословацкий народ не хочет подвергаться вновь немецкому насилию, которое он испытывал в течение 300 лет.

В силе Чехословакии не трудно убедиться, если хотя бы в общих чертах познакомиться с ее природными и экономическими богатствами, с населением, государственным устройством и ее вооруженными силами.

Чехословакия занимает небольшую площадь — всего 140.000 км². Она на 1 000 км. вытянута с запада на восток. Такое географическое положение представляет Чехословакии несомненное преимущество, ибо ее территория отстоит от СССР только на 100 км. и от Франции на 250—260 км. Протяженность сухопутных границ Чехословакии равняется 4114 км.; из них с Германией, включая и Австрию, — 2097 км., Польшей — 984 км., Венгрией — 832 км. и Румынией — 201 км.

Чехословакия почти везде окружена горами и, следовательно, имеет естественные преграды. Только на западе ее прежняя австрийская граница на расстоянии около 50 миль проходит по Ду-

найской долине. Западная часть, Чешско-Моравское плато, отделяется от Германии на севере Судетскими горами, на северо-западе Рудными горами, на западе горами Чешский Лес и на юго-западе горами Богемский Лес. Восточная часть Чехословакии еще более гористая, нежели западная. Обычная высота здешних гор колеблется от 1 до 2 км. По границе с Польшей и Румынией тянутся высокие и труднопроходимые Карпатские горы. Не трудно понять, что подобные географические особенности государственных границ Чехословакии намного облегчают оборону ее, в особенности от атак механизированных войск противника.

Чехословакия обладает плодороднейшими почвами. Все Чешско-Моравское плато покрыто лесом, а восточная часть страны — не менее плодородным черноземом и почвами, образовавшимися в итоге разрушения горных пород. Понятно, что это обстоятельство благоприятствует развитию рентабельного сельского хозяйства.

Нельзя не заметить еще одно природно-географическое достоинство Чехословакии, заключающееся в том, что она в значительной степени покрыта прекрасными лесами, состоящими из весьма ценных древесных пород. 33 проц. всей площади Чехословакии занято буковыми, дубовыми и хвойными лесами. Последние растут преимущественно в горах. Наличие лесных массивов дало возможность Чехословакии создать крупную деревообрабатывающую промышленность. В среднем ежегодно в Чехословакии заготавливается 17 710 тыс. куб. метров древесины. Чехословацкий лес имеет не только экономическую ценность. Лес Чехословакии приобретает и большое оборонное значение. Площади, покрытые лесом, затрудняют маневр наступающего и тем самым могут в значительной мере облегчить оборону чехословацкой армии. Кроме того, Чехословакия очень умело использует лес для создания искусственных приграничных заграждений. Задервейн, корреспондент «Paris Soir», обехал почти всю пограничную зону Чехословакии. О своих впечатлениях им была написана большая статья,

помещенная в указанной газете. В этой статье он утверждает, что всюду на границе «устроены заграждения из деревьев и железа». В экономическом отношении Чехословакия представляет довольно стройную и целостную формацию, выгодно отличающуюся от большинства стран капиталистического мира. Чехословакия располагает крупными топливными и сырьевыми ресурсами, очень развитой промышленностью, прочной продовольственной базой, постоянно активным балансом внешней торговли и весьма устойчивым финансовым положением. В Чехословакии явное большинство принадлежит чехословацкому народу. Чехи и словаки вместе составляют 65,5 проц. всего населения страны. Если к этому добавить русинов, — народ, родственник чехам и словакам, — то они вместе составят около 70 проц. всего населения.

Из прочих национальностей, населяющих Чехословакию, следует отметить немцев, венгерцев и евреев. Немцев 23,4 проц., венгров 5,6 проц. и евреев 1,4 проц. Немцы живут преимущественно в крупных городах Чехословакии и особенно в приграничной зоне с Германией и Австрией. Немного поляков, всего 76 тыс., живет в районе г. Моравска-Острава, расположенного вблизи границы с Польшей. Венгры главным образом населяют южный приграничный район восточной части Чехословакии.

На июнь 1935 года в Чехословакии насчитывалось 15,2 млн. человек. Население Чехословакии по территории распределено крайне неравномерно. Степень экономического развития отдельных районов Чехословакии чрезвычайно разнообразна. Чехия, западная, большая часть страны, Моравия, центральная часть страны, и Силезия, небольшой район, вытянутый вдоль стыка границ Чехословакии, Германии и Польши, наиболее развиты в экономическом отношении. Именно поэтому они населены особенно плотно. Средняя плотность населения этих районов достигает 138 человек на 1 км². В Словакии, расположенной восточнее Моравии, — плотность населения менее

100 чел. на 1 км², а в Подкарпатской Руси, или, как она иначе называется, Прикарпатской Украине, расположенной на самом востоке Чехословакии, плотность населения не превосходит 57 человек на 1 км².

В отличие от многих стран мира Чехословакия располагает крупными запасами полезных ископаемых. В этом отношении Чехословакия обеспечена намного лучше, нежели фашистская Германия. Это признают и наиболее дальновидные военные специалисты германской армии. «Manchester Guardian» от 17/VI—1938 г. пишет о том, что в польских газетах был напечатан очерк, посвященный плану нападения немецкого фашизма на Чехословакию. «Manchester Guardian» утверждает, что этот очерк получил одобрение германской военной академии и будто бы он написан начальником штаба одного из немецких корпусов. Это обстоятельство дает основание полагать, что мысли, высказанные в очерке, отражают взгляды руководящих военных кругов Германии. Между тем в очерке без всяких обиняков сказано, что «Чехословакия должна быть покорена в 14 дней, так как Германия из-за недостатка сырья не может вести длительную войну».

Общие запасы каменного угля в Чехословакии определяются в 6 млрд. тонн. При этом уголь высококачественный — коксующийся, что имеет огромное значение для железнорудной промышленности. Кроме того, в Чехословакии имеется бурый уголь, общие запасы которого оцениваются в 14,5 млрд. тонн. Бурый уголь широко используется в углехимической промышленности, дающей Чехословакии ряд весьма ценных продуктов. Добыча каменного угля в Чехословакии характеризуется следующими цифрами: в 1914 г. было добыто 37 млн. тонн, в 1924 г. — 34,1 млн. тонн и в 1937 г. — 34,9 млн. тонн.

Самые мощные каменноугольные бассейны Чехословакии залегают в районах городов Моравска-Острава, Кладно, Пльзень, Брно и Корвин.

Хуже обеспечена Чехословакия нефтью. Ее в стране очень мало, и к

тому же она невысокого качества. В среднем ежегодно в Чехословакии добывается нефти 100—110 тыс. тонн. Основное месторождение нефти находится у г. Гбелы.

Зато Чехословакия удовлетворяется целиком своей железной рудой, общие запасы которой достигают 530 млн. тонн. Наиболее ценная железная руда добывается в районе городов Добшина,

Кошице, Шумперк, Крнев, Прага и Кладно. Наличие собственной железнорудной базы позволило Чехословакии создать довольно сильную чернометаллургическую промышленность. По сравнению с некоторыми государствами Чехословакия выплавляет несравненно больше черных металлов. В этом нетрудно убедиться, если проанализировать нижеприводимую таблицу:

Выплавлено черных металлов (в тыс. тонн)

Государство	Чугуна			Стали		
	1929 г.	1935 г.	1937 г.	1929 г.	1935 г.	1937 г.
Чехословакия	1.644	816	1.680	2.196	1.200	2.316
Италия	684	624	792	2.148	2.208	2 088
Польша	708	396	720	1.380	948	1.452
Швеция	492	594	660	732	924	1.128

Металлургические заводы с наиболее высокой производственной мощностью расположены в районе г. Кладно.

Кроме перечисленных полезных ископаемых, недра Чехословакии содержат олово, марганец, вольфрам, каолин и графит. Олово в крупных размерах расходуется для производства разной военной продукции. Марганец придает стали ковкость и еще большую прочность, что столь необходимо при строительстве технических средств борьбы. Значение вольфрама тем более велико, что в нем нуждается электротехническая промышленность и он идет на выработку особо прочных сортов стали, в том числе и брони.

Наконец в Чехословакии добывается много золота и серебра, что безусловно способствует устойчивости чешской валюты — кроны. В Чехословакии в среднем ежегодно добывается на 1 млн. крон золота и на 4 млн. крон серебра.

Чехословакия — типичная промышленная страна. Из всей валовой продукции Чехословакии на долю промышленности приходится 80%. В чехословацкой промышленности занято свыше 42% самодеятельного населения страны, а в сельском хозяйстве только 39%. Все это, в общей сложности, придает Чехословакии высокоиндустриальный характер. Но дело не только в этом, а и в том, что в промышленности Чехословакии командующее поло-

жение принадлежит металлургии, машиностроению и химии, в общем тяжелой индустрии, которая, как известно, является основой военного производства.

Машиностроительная промышленность Чехословакии не только сильно развита, но и прекрасно оборудована, в результате чего она выпускает высококачественную продукцию, закупаемую чрезвычайно охотно на внешних рынках. Машиностроение Чехословакии производит самые сложные машины и станки. 60% машиностроительной продукции страны, в особенности локомотивы, вагоны, турбины, автомобили, авиамоторы и т. п., вывозятся на внешний рынок. Такие машиностроительные предприятия Чехословакии, как заводы Шкода в Пльзене, пользуются мировой славой. Между тем машиностроение по праву считается «сердцевиной» военной промышленности, ибо только она в состоянии производить современную военную технику.

Мировая печать отдает должное машиностроительной промышленности Чехословакии. Во французской газете «Revue de deux Mondes» от 15.III.—38 г. была помещена большая статья о Чехословакии, принадлежащая перу видного генерала Арманго. Утверждая, что «Чехословакия экономически мощная страна и что она имеет все необходимое для оснащения сильной армии и ее резервов», генерал Арманго имел в виду пре-

жде всего машиностроительную промышленность Чехословакии.

Почти до самого последнего времени в Чехословакии отсутствовала химическая промышленность. Когда же над Европой, с приходом к власти фашистов в Германии, нависла военная угроза, то правительство Чехословакии приняло ряд мер по развитию химической промышленности, в чем оно добилось несомненных успехов. В настоящее время Чехословакия имеет 900 химических заводов, на которых занято более 45 тыс. рабочих. В общем, уже теперь химическая промышленность Чехословакии в состоянии удовлетворить все запросы страны и армии. Наиболее крупные химические предприятия сосредоточены в Усти, Будеёвице и Братиславе.

Наряду с этим Чехословакия обладает весьма развитой легкой и пищевой промышленностью. Текстильная промышленность Чехословакии известна далеко за пределами своей страны. Она вырабатывает замечательные суконные, шерстяные и хлопчатобумажные ткани, покупаемые с большой охотой на внешних рынках. О мощности текстильной промышленности Чехословакии можно судить по тому, что она оборудована 5 млн. веретен, 190 тыс. ткацких станков и только одного хлопка потребляет ежегодно свыше 150 тыс. тонн. На текстильных предприятиях, которые главным образом сосредоточены в Брно, Иглаве и Либерце, работает более 300 тыс. человек.

Кожевенная промышленность Чехословакии славится также на весь мир. Она состоит из 300 заводов, стоящих по степени оборудования на высоком уровне. В этом отношении особенно известны крупнейшие кожеобувные предприятия Бати, расположенные в Злыне.

В Чехословакии также развита стекольная промышленность, состоящая более чем из 770 заводов с 70 тыс. рабочих. Они производят самую разнообразную продукцию и притом высокого качества, в том числе замечательное бемское (богемское) стекло. $\frac{4}{5}$ стекольных изделий Чехословакия вывозит за границу.

Располагая большими площадями, покрытыми лесами, и ведя весьма культурно лесное хозяйство, Чехословакия создала крупнейшую деревообрабатывающую промышленность. В стране имеется 3 тыс. лесопильных и мебельных заводов. Более 250 заводов выпускают прекрасную бумагу, картон и целлюлозу, почти целиком отправляемую на внешние рынки.

Из отраслей пищевой промышленности первое место занимает сахароварение. В Чехословакии имеется свыше 170 сахарных заводов, целиком работающих на отечественном сырье. По производству сахара Чехословакия выдвинулась на 2-е место и по экспорту его на 1-е место среди стран Западной Европы. Вместе с этим в Чехословакии довольно полно представлены и прочие отрасли пищевкусовой промышленности, полностью удовлетворяющие все запросы страны и армии. Таким образом, Чехословакия обладает мощной тяжелой, средней и мелкой промышленностью, которая в состоянии справиться с требованиями военного времени. Это обстоятельство свидетельствует о прочности военно-экономической базы Чехословакии.

В Чехословакии организована довольно мощная и военная промышленность. О мощности этой промышленности можно судить хотя бы по тому, что в мировом экспорте вооружения на долю ее приходится 21 процент. Это послужило основанием называть Чехословакию «арсеналом Европы».

По данным английского журнала «Quegu» (№ 1, 1938 г.), «Чехословакия имеет свыше 60 только главных военных заводов, на которых занято 100 тыс. постоянных рабочих. По данным мировой печати, Чехословакия располагает следующими заводами: 12 производят боеприпасы, 5 — порох и взрывчатые вещества, 6 — отравляющие вещества, 6 — артиллерийские орудия, 8 — винтовки и пулеметы, 8 — автомобили, 8 — танки, 7 — трактора, 7 — противогазы, 8 — самолеты, 5 — авиамоторы и т. д. Эти заводы вырабатывают столь высококачественную продукцию, что ее используют многие армии

мира. Чехословацкий пулемет «Брен» принят на вооружение английской армии. В польскую артиллерию внедрены 100-мм гаубицы чехословацкого производства Шкода. Техническое оснащение румынской армии почти целиком изготовлено на военных заводах Чехословакии.

Особо хорошую продукцию вырабатывают самолето- и танкостроительные предприятия Чехословакии. Именно это обстоятельство дало основание корреспонденту «Paris Soir» Рене Мен утверждать на страницах этой газеты (2/IV—1938 г.), что «военные заводы Чехословакии хорошо оборудованы. Они легко могут обеспечить оснащение армии в 1,5 млн. человек. Материальная часть чехословацкой армии превосходна».

Летчикам Чехословакии принадлежит несколько мировых авиационных рекордов. Это свидетельствует не только о высокой подготовке авиационных кадров Чехословакии, но и о том, что она производит первокачественные самолеты. Генерал Арманго в своей статье о Чехословакии, опубликованной 15/III—1938 г. в «Revue de deux Mondes», заявляет, что «на последних европейских состязаниях материальная часть чехословацких военно-воздушных сил имела большой успех. Авиапромышленность Чехословакии очень развита и дает замечательную продукцию».

Главнейшие военные заводы Чехословакии сосредоточены в Праге, Пльзене, Брно, Млада-Болеславе, Градец-Кралёве, Усти, Страконице, Братиславе и Фалькнове, то-есть в районе, пограничном с Германией. Ввиду непрекращающейся угрозы нападения немецкого фашизма такое расположение военных заводов Чехословакии чрезвычайно невыгодно. Вот почему чехословацкое правительство решило как можно быстрее перенести ряд крупных военных предприятий в центральный район страны и в частности в Словакию. «La France Militaire» от 25/V—1938 г. сообщала о том, что этот план перемещения военной промышленности уже начал реализовываться.

Военная промышленность Чехослова-

кии характеризуется значительной централизацией производства. Несколько военных заводов принадлежит государству. Концерн Шкода является хозяином более 20 военных заводов. Это обстоятельство представляет для Чехословакии большое преимущество, заключающееся в том, что централизованную военную промышленность можно довольно легко мобилизовать во время войны.

Несмотря на то, что Чехословакия преимущественно гористая страна, все же она под сельское хозяйство освоила большинство своей территории, примерно 62% всей площади страны, причем посевами занято 42,1%, лугами и пастбищами — 18,5% и садово-виноградными насаждениями — 1,8%.

В Чехословакии сельское хозяйство отличается высокой машиновооруженностью, ведется оно культурными методами, земля регулярно получает минеральное удобрение, обработка ее производится весьма тщательно, и потому урожайность полей довольно большая. В среднем, ежегодно в Чехословакии собирается 1,6 млн тонн пшеницы, 1,7 млн. тонн ржи, 1,2 млн. тонн ячменя, 1,3 млн. тонн овса, 240 тыс. тонн кукурузы и 9,1 млн. тонн картофеля. Несомненно, что такой сбор посевных культур полностью удовлетворяет требования населения и армии Чехословакии. Такое количество продовольствия полностью обеспечивает нужды населения Чехословакии. В этом отношении она выгодно выделяется среди государств Западной Европы, особенно фашистских стран. Человеконенавистническая политика фашизма довела сельское хозяйство Германии, Италии и Польши до полного разорения. В этих странах подавляющее большинство населения ввергнуто в ужасную нищету. В Польше изо дня в день голодает 85% населения. В Италии из-за недостатка продовольствия растут голодные бунты. Германия же в мировой печати иначе и не называется, как «страной организованного голода». На этом кошмарном фоне обеспеченность Чехословакии продовольствием придает ей особую силу и тем более, что она располагает боль-

шим и высокопродуктивным животноводством. На каждые 100 жителей Чехословакии приходится 5 лошадей, 28 коров, 20 свиней и 12—13 голов мелкого рогатого скота. Таким образом, и продовольственное положение Чехословакии вполне удовлетворительно, что дает ей возможность бодро смотреть на грядущие испытания.

Чехословакия обладает густой сетью железных дорог. Их общая длина превосходит 13,6 тыс. км. На 100 кв. км. территории страны приходится 10,7 км. железных дорог. Такая развитая сеть железных дорог позволяет во время войны отобилизованную чехословацкую армию довольно быстро перебросить к угрожаемому государственным границам. Для Чехословакии в настоящее время наибольшая опасность угрожает со стороны Германии и отчасти Польши. Вот почему имеет огромное значение, что железнодорожная сеть Чехословакии особенно развита в приграничных районах с Германией и Польшей. Чехословацко-германская граница (вместе с Австрией) пересекается 41 железной дорогой, и чехословацко-польская граница 9 железными дорогами.

До самого последнего времени железнодорожная сеть Чехословакии страдала крупнейшим недостатком, заключавшимся в том, что она с запада на восток пересекалась всего лишь двумя железными дорогами. Теперь же построена третья западно-восточная магистраль, вследствие чего улучшилась железнодорожная связь Чехии с Прикарпатской Русью.

Наконец следует отметить, что железные дороги Чехословакии по своему техническому состоянию занимают одно из первых мест среди стран капиталистической Европы. Их провозная и пропускная способность весьма велика. В общем железные дороги Чехословакии в состоянии справиться с массовыми перевозками во время войны.

Оборонные мероприятия Чехословакии базируются на совершенно отчетливой законодательной базе, которая обнимает огромный круг вопросов, начиная от военной подготовки населения

и кончая мобилизацией промышленности, мероприятиями по созданию запасов стратегического сырья и т. д.

Армия Чехословакии комплектуется на основе закона о всеобщей обязательной воинской повинности. Военнообязанными считаются мужчины в возрасте от 19 до 50 лет. Но вместе с этим, учитывая угрозу войны со стороны Германии, Чехословакия «опубликовала постановление о военном обучении, согласно которому все граждане до шестидесятилетнего возраста должны получить военное обучение» («Deutsche Allgemeine Zeitung», 1/VI—1938 г.).

Военная подготовка населения проводится не только через армейские организации, но и многочисленными обществами. Наиболее крупные из них: «Сокол», который находится под влиянием партии чешских социалистов, «Орел», организация партии чешских католиков, «Рабочая спортивная федерация», руководимая чешскими социал-демократами, «Стрелковое общество» и ряд других.

Первоначально в Чехословакии была установлена воинская служба в течение 14 месяцев, затем под влиянием нараставшей военной угрозы она была удлинена до 2 лет. Наконец, по данным «Temps» от 10/VI—1938 г., «чехословацкое правительство решило ввести 3-летний срок военной службы».

В мирное время численность армии Чехословакии достигает 190 тыс. человек. Кроме того, ее жандармерия, полиция и пограничная охрана составляют вместе не менее 35 тыс. человек. Генерал Арманго полагает, что в мирное время «сухопутная армия Чехословакии имеет 12 пехотных дивизий по 4 пехотных полка и 2 смешанных горных бригады. В общем в Чехословакии семь армейских корпусов. Помимо этого имеется 12 пограничных батальонов, 3 танковых полка, артиллерия резерва главного командования и 4 бригады конницы. Но имеются сведения, что командование чехословацкой армией признало несовершенство 4-полковой пехотной дивизии и в соответствии с этим решила преобразовать свою армию в 21 пехотную дивизию по 3 полка в ка-

ждой» («La France Militaire», 26/V—1938 г.).

Известный польский генерал Сикорский утверждает («Курьер Варшавски», 23 мая 1938 г.), что Чехословакия может немедленно мобилизовать 700.000 солдат и, имея обученный резерв в 2,5 млн. чел., в состоянии удвоить эту численность при дальнейшем развертывании.

Чехословацкая армия прекрасно обучена и оснащена многочисленной военной техникой. Большое внимание уделяется увеличению огневой мощи армии, которая в мирное время имеет 11 тыс. легких и около 4 тыс. тяжелых пулеметов. «La France Militaire» (19/VI 1938 г.) поместила восторженную статью об артиллерии чехословацкой армии. Она уверяет, что в настоящее время армия Чехословакии имеет «12 легких, 12 средних, 4 тяжелых, 5 зенитных и 2 горных артиллерийских полка, кроме того имеется 6 дивизионов горной и 4 конной артиллерии. Весь артиллерийский парк Чехословакии, не считая резерва, состоит из 1 668 орудий. Материальная часть находится на высоком уровне».

Обладая отечественным автомобилестроением и довольно крупным автомобильным парком, Чехословакия в значительной степени моторизовала свою армию. Полностью моторизованы тяжелая и зенитная артиллерия и на 50% легкие и средние артиллерийские полки. Кроме того, усиленно моторизуются инженерно-технические части, войсковые и армейские тылы, а также по несколько батальонов в каждой пехотной дивизии. В результате этого увеличивается подвижность армии, что имеет огромное значение для своевременного отпора агрессору.

По сведениям мировой печати, в 3 танковых полках чехословацкой армии имеется всего 350 танков. Чехословакия имеет все возможности к тому, чтобы значительно увеличить танковое оснащение своей армии.

Правительство Чехословакии за последнее время особо заботилось о своей авиации. В итоге этого Чехословакия добилась несомненных успехов. В

1936 г. она имела 1.450 военных самолетов. Чехословакия безусловно имеет значительное количество резервных самолетов, которые с началом войны могут быть немедленно переведены в ряд самолетов 1-й линии.

Чехословацкая авиация имеет хорошее земное оборудование. По данным газеты «L'Aig», «Чехословакия располагает 18 постоянными военными авиабазами, 10 аэродромами воздушной полиции, 17 гражданскими аэродромами, 22 аэродромами спортивной авиации и 80 посадочными площадками».

В приграничных районах Чехословакия построила долговременные фортификационные сооружения. С севера и с северо-запада, то-есть со стороны Германии, Чехословакия прикрывается двумя линиями укреплений. На границе с Польшей создана одна линия укреплений. До самого последнего времени вовсе отсутствовали такие укрепления на границе с Австрией. Это обстоятельство, ввиду захвата ее немецким фашизмом, таит для Чехословакии большую угрозу. Но нужно полагать, что теперь укрепляется и этот участок границы Чехословакии. Мировая печать не раз сообщала об этом. Так, «Berliner Tageblatt» от 28/V—1938 г. писала о том, что «создаются мощные укрепления у г. Братислава. У границы устроены убежища».

«Весь город и предместные укрепления полны военными».

По английским данным, «Чехословакия, учитывая возможные направления движения противника, построила тройную линию укреплений. Первая линия опирается на горы Богемии и связывает города Пльзень и Кладно; вторая линия на расщелинии около 100 миль за первой идет по Моравским горам и третья — граничит с притоком Дуная р. Ваг и упирается в Карпаты».

Есть все основания предполагать, что чехословацкие укрепления построены добротнo, с расчетом на длительное сопротивление. Об этом единодушно свидетельствует мировая печать. «Paris Soir» от 31/V—1938 г. поместила статью Задервейна, который пишет, что всюду по границе «видны многочисленные укреп-

пленя, убежища, пулеметные гнезда и платформы для орудий». «Berliner Tageblatt» от 21/V—1938 г., повидимому, с большим огорчением отмечает, что «в Моравии можно видеть бетонированные позиции и пулеметные гнезда почти у самой границы. Здесь недавно были обработанные поля, но теперь построены укрепления из бетона и стали».

Вследствие того, что Чехословакия территориально весьма ограничена, правительство ее ведет большие работы по созданию укреплений и в тыловой зоне страны.

Здесь строятся убежища, площадки для зенитной артиллерии, укрепления вокруг важнейших военных объектов,

как, например, мостов, аэродромов, заводов и т. п.

В общем, нельзя не согласиться с бывшим английским военным министром Черчиллем, который утверждает: «немцы предполагают, что мото-механизированные дивизии нахлынут со всех сторон на Чехословакию и сокрушат всякое сопротивление. Но люди, знающие условия современной войны, не поверят этой картине. Система фортов и железобетонных препятствий, минирование дорог и мостов остановит молниеносный удар противника. И легкая прогулка превратится в дорогостоящую военную операцию» («Daily Telegraph and Morning Post», 23/VI—38 г.).



Константин Сергеевич Станиславский

К. С. Станиславский

Вас. САХНОВСКИЙ

Что в Станиславском — основное? То, что он был гениальным режиссером и мастером сценической композиции? То ли, что он был замечательным актером совершенно особых биографий и характеристик знакомых образов? Или то, что он был основатель такого театра, который повернул театральное искусство на новый путь? Либо то, наконец, что он был своего ро-

да Руссо в искусстве воспитания театральной молодежи? Все это было в Станиславском органически слито.

Несовместима с образом Станиславского смерть!

Среди фламандцев, даже рядом с Рубенсом, Иорданс поражает сочностью и смелостью видеть людей, жанр, животных, вещи, ткани. С его полотен льется неиссякаемая сила жизни. Это —

обыкновенная жизнь, но она сильней и парадней, краше в ту пору, какую изображает Иорданс.

Есть художники увядающей природы, художники намеков страсти, художники, которые любят природу, затянутую дымкой или пеленой дождя, туманами, едва освещенную отблеском зари, художники сумерек, задушенных рыданий, молчаливой грации или художники трагической тени, в которой так властно выхватывает свет то, что западает в душу навсегда.

Это не те художники, которых паитру, гармонию, образы, коллизии можно было бы сблизить с творчеством Станиславского.

Конечно, Станиславский — глубоко русский художник. И разные грани его творчества выросли на русской, я бы сказал, даже на московской почве. Но его творения вошли в мировую театральную культуру и стали необходимым ее звеном.

Всем, знавшим Станиславского и особенно близко соприкасавшимся в работе с ним, понятен приложимый к его образу эпитет — великолепный. Человек замечательного сложения, прекрасного роста, обаятельных, изумительно выработанных манер, обладатель низкого, полного голоса, выразительной, сильной мимики, всегда красивый, живописный, с исключительным вкусом, — Станиславский был именно великолепен. И таким он оставался всегда, даже в самые неприятные для него минуты, которых он, наверное, потом не хотел ни вспоминать, ни сознать, что о них знают другие.

Так, лет семь тому назад Станиславский, почувствовав себя очень скверно, слег. Но в театре были большие неурядицы, требовавшие немедленного разрешения конфликта. К Константину Сергеевичу пошли Москвин, Леонидов, Качалов, кажется, Подгорный и я; с ним можно было говорить только после десяти часов вечера.

Мы вошли в его спальню. Кровать была отодвинута от стены; верхняя люстра была погашена; на ночном столике горела небольшая лампочка и стоял стакан с водой, покрытый квад-

ратиком белой бумаги. На комодѣ находилось много лекарств; у окна, на кресле, был аккуратно сложен его костюм.

Константин Сергеевич со всеми приветливо поздоровался. Начался разговор. Все, что происходило в театре, вероятно взволновало его. Голос стал старческим, и на лице выразилось страдание. И, вот, Константин Сергеевич, отвернувшись от света, заплакал. Огромной кистью своей разыскивал он под подушкой платок; густые брови его дергались, и в этом плаче он нашел некоторое облегчение.

Он стал извиняться, что не сдержался, и заметно ослабел. Это была грандиозной силы сцена. Перед нами лежал больной, страдающий и почти жалкий старик, но все это было в нем мощно и монументально.

Помнится еще, как, тоже по делу театра, в конце сезона, в теплые, уже летние дни, я приехал к Станиславскому в санаторий КСУ — «Узкое». Он жил там в небольшой, очень скромной комнате, самой крайней, и к нему можно было пройти почти по отдельному ходу, не заходя в вестибюль и приемную. Я зашел туда, но Н. А. Подгорный, который жил с ним, сказал, что Константин Сергеевич сидит в парке, в стороне от всех и пишет.

Я пошел к нему. Он был одет во все теплое, с пледом на ногах, хотя была по-настоящему летняя погода, и писал у вынесенного небольшого столика. Я видел, как он хочет держаться скромно, незаметно, чтобы не обращать на себя ничего внимания. Он работал над своей книгой по системе. И вместе с тем проходившие мимо отдыхающие, обитатели «Узкого», — и молодые аспиранты, и солидные доценты, и старики-профессора — поглядывали на Константина Сергеевича так, как смотрят в галереях на известные портреты знаменитых мастеров.

После возвращения из американской поездки Константин Сергеевич почти все время проводил в театре. После репетиций он обедал и отдыхал у себя в кабинете, не уезжая домой.

Владимир Иванович Немирович-Данченко говорит в своей книге «Из прош-

лого» о Константине Сергеевиче: «При огромной настойчивости,—может быть, самой крупной черте его характера, —настойчивости, как проявления то сильной воли, то упрямого художественного каприза, — при такой настойчивости — полное отсутствие представления о времени и пространстве в жизни. На сцене он ясно чувствовал каждый вершок, а в жизни искренно признавался, что не представляет себе, что такое пятнадцать сажен, а что триста. Или четверть часа или полтора»¹. Мы все, работавшие с ним, прекрасно знали, как Константин Сергеевич не замечал в работе времени. Когда он репетировал у себя на квартире, он часто продолжал репетицию до самого спектакля; видно было, что ему не хотелось кончать ее, хотя в последнее время к концу трудных репетиций он бледнел.

На репетициях Станиславский не пользовался «приемами», которые нередко позволяет себе «режиссер». В его указаниях не было ни тени заносчивости, неряшливости в словах или манерах, никаких профессиональных кличек, полуимен, двусмысленностей, фамильярности. Всегда строг, но заразительно взволнован, если его увлекало что-либо в работе. Гневен, если разрушалось или опошлялось то, чему он служил в искусстве. Зорек, внимателен, как хищник. Обаятелен, темпераментен, безгранично многообразен, находчив, одновременно фантазер и жесткий реалист.

На репетицию к Константину Сергеевичу актеры и даже актрисы являлись приодетыми строже, чем в обычное время. Старались выглядеть бодро и свежо, держаться свободно, но оставаться собранными для рабочей атмосферы на весь период репетиции.

Лица у всех репетировавших — и у старых актеров, и у театральной молодежи — в первые минуты бывали, что называется, настороже и выражали огромное волнение.

На репетицию Станиславский входил ровно в тот час, когда она назначена была по расписанию. В репетиционном

помещении всегда был чистый воздух, ничего не было нагроможденного, хотя бы и для будущих планировочных мест.

Репетиция начиналась (это было и раньше, но в последнее время он называл это — «духовный перед спектаклем туалет»¹ с того, что Константин Сергеевич расспрашивал актеров о самочувствии, о том, как протекал сегодняшний день до момента репетиции, как актеры чувствуют себя сейчас, что думали о роли, что нашлось нового и, незаметно пробуя то одно, то другое, начинал репетицию с места, которое намечено было на данный день.

Пока он был здоров, он не знал усталости и не жалел ни себя, ни актеров. Он так увлекался, так бывал интересен в поисках и закреплении того, что нашел, был так требователен и так упорен в раскапывании у актера того, что хотел в нем увидеть, что и участники репетиции не обращали внимания на утомление.

Константин Сергеевич не только вел актера к разысканию природы физического действия, ведя по сквозному действию куска и роли, но, пока был в силах (еще всего несколько лет тому назад) и «показывал». Показывая, он сам увлекался, но потом спохватывался и старался итти от актера — «найти себя в роли» — и потом уже лепить образ.

Делового и правящего Константина Сергеевича почти постоянно окружали люди, не только ничем не замечательные, но просто неумные. Эти фигуры плотно обступали его, и они не столько служили ему хором, сколько гулом, который подчас не давал возможности расслышать его голос и заглушал слова, обращенные к нему со стороны других лиц.

Но творчески Константин Сергеевич был одинок, всегда одинок, — потому, думается, что в этой области его жизни никто не был соизмерим с ним. Замечательна страница в воспоминаниях Вл. Ив. Немировича-Данченко, где он говорит о первой своей встрече с Константином Сергеевичем. «Уже к концу

¹ «Из прошлого», стр. 125.

¹ «Моя жизнь в искусстве», стр. 511.

нашей беседы, — пишет Владимир Иванович, — утром, за кофе, я сказал: «Нам с вами надо еще установить — говорить друг другу всю правду прямо в лицо». После всего, о чем мы уже договорились, я ожидал в ответ несколько слов, вроде: «это само собою разумеется» или «мы к этому уже благополучно приступили». Каково же было мое удивление, когда Константин Сергеевич молча откинулся к спинке кресла, остановил на мне взгляд словно побелевших зрачков и сказал:

«Я этого не могу».

Я сначала не понял и подхватил: «Ах, нет. Я даю вам это право во всех наших взаимоотношениях».

«Вы не поняли... Я не могу выслушивать всю правду в глаза, я...».

По искренности, по прямоте это было замечательно...»¹.

Вместе с тем я помню много таких дней, часов, минут, когда Константин Сергеевич, относясь в некоторых творческих вопросах совершенно по-иному к тому, что развивал я, давал мне, однако, возможность излагать свои мысли совершенно свободно и только в конце беседы звонким и вместе с тем низким голосом заключал:

— Не-ет-с, вы ошибаетесь. Мы этого еще не можем.

Константин Сергеевич всегда любил знать, что происходит в театре, что делается вокруг него, о чем говорят в кругах, влияющих на жизнь театра, что думают и пишут писатели, журналисты о театре — все преимущественно о театре. Почти никогда я ничего не слышал от него о том, что относилось к его близким, домашним. Он весь был поглощен (это и по словам тех, кто знал его сорок и больше лет), жил только театром, вернее, именно искусством театра.

Помню, как-то несколько лет назад я ехал вместе со Станиславским в машине по направлению к Архангельскому. Был чудесный весенний вечер, закатывалось солнце, луга зеленели, роща и кусты стояли, по выражению Герцена, в зеленом дыму. Но Константин Сер-

геевич не смотрел в окна машины. Он вел интересную и серьезную беседу об отдельных актерах, обсуждал их возможности, перебирал пьесы и роли, необходимые для роста этих актеров, и т. п. Потом он попросил вернуться в город, потому что времени хватало на обратном пути закончить нашу беседу. О природе же, о весне он не говорил...

Он знал, конечно, живую жизнь, накопил опыт в молодости, от первых десятилетий своей работы; но, узнав то, что было необходимо для творчества, он дорисовывал все это и исследовал так, как это было нужно ему для театра; все, что отвлекало, расхолаживало, выбивало из колеи, повидимому, не интересовало его.

Вл. Ив. Немирович-Данченко пишет о Станиславском:

«Он, вообще, не интересовался природой. Он создавал ее себе такую, какая была ему нужна, в его сценическом воображении. Всякое увлечение природой он склонен был называть сентиментальностью. Не удивительно ли, что это не помешало ему сделать волнительное утро в «Вишневом саде», вечер с дождем в «Дяде Ване», летние сумерки в «Вишневом саде» и т. п.¹».

Отсюда проистекало, вероятно, и то, что книги, которые я как-то рассматривал у него, были разрезаны или, повидимому, читаны только там, где что-нибудь было нужно для постановки; я помню, например, что в труде Момзена хорошо перелистано только там, где говорилось об актере Росции, страниц сорок около событий, характеризовавших движение клиентелла вокруг Брута и политические настроения в Риме в последние дни Юлия Цезаря. У него стояли огромные шкапы, где собраны были прекрасные книги по иконографии, то, что давало режиссеру материал по мизансцене, внешнему оформлению, костюму, позе; но, должно быть, это все было нужно Константину Сергеевичу гораздо ранее.

Наверное, нет взыскательнее, строже и вместе с тем авторитетнее и тоньше истолкователя и критика режиссерского

¹ «Из прошлого», стр. 108.

¹ «Из прошлого», стр. 88.

мастерства Константина Сергеевича, чем Вл. Ив. Немирович-Данченко. Однако именно он пишет в своей книге, что в первые встречи со Станиславским в сценическом искусстве режиссуры он должен был признать его преимущества над собой в новых приемах, в мизансцене, в разработке характерности, построении народных сцен. «Богатство фантазии, новизна и изобретательность в организации планировочных мест так, что каждый дюйм сценического пространства бывал использован с изумительной ловкостью, все это наполняло сцену занимательностью. Световые, звуковые эффекты, в особенности паузы, создавали — в первый период режиссерской деятельности Станиславского — целую гамму новых сценических достижений¹.

Его режиссерская палитра обладала огромным запасом красок. Владимир Иванович отмечает в Станиславском, как режиссеру, совершенно исключительную сценическую фантазию, которая ему часто подсказывала самые подходящие куски из реальной жизни: «Он отлично схватывал скуку усадебного дня, полуистерическую раздражительность действующих лиц, картины отъезда, приезда, осеннего вечера, умел наполнить течение акта подходящими вещами и характерными подробностями для действующих лиц»². Притом, в другом месте Вл. Ив. Немирович-Данченко делает оговорку, что Константин Сергеевич не знал русской провинциальной жизни, не знал уездной интеллигенции, никогда не окунался в атмосферу усадебной жизни или захолустных городишек, поселков и деревень. «Одним из крупных элементов сценической новизны режиссера Станиславского, — пишет Вл. Ив. Немирович-Данченко, — было... пользование вещами: они не только занимали внимание зрителя, помогая сцене дать настоящее настроение, они еще в большей степени были полезны актеру, едва ли не главным несчастьем которого в старом театре является то, что он всем своим существом предоставлен самому себе,

точно находится вне времени и пространства»¹.

Константин Сергеевич и в начале, и в конце своего режиссерского творчества был всегда насыщен до краев своей природы пережитым им, додуманным, выщепленным сквозным действием. Часто, еще не умея коротко сформулировать его, но интуитивно живя им и наводя на него исполнителей, он для связи кусков, для нахождения зерна сцены так вел репетицию, что, с полной собранностью веря во все, что происходит, лепя общую сцену, делал часто много лишнего; но потом это само собой отмирало. Тогда находилась живая правда, правдивая линия, то главное, чем живут все, чем наполнено действие и подтекст. Как это осуществлялось конкретно на репетициях? Чтобы вызвать инициативу, действительное физическое самочувствие и действие, он предлагал определенные обстоятельства, чаще всего физические: столб, стол, какой-то предмет, через который нужно пройти, установить связь с партнером; потом часто эти предметы убирались, но, опираясь, касаясь, отстраняя их или обходя, или натываясь, или не замечая, т.-е. преодолевая их, исполнитель находил нужную природу действия.

В построениях мизансцен, очень жизненных, очень простых, Константин Сергеевич любил рискованную, казалось бы, в первый момент, композицию: почти все его обеды, ужины, пиры, заседания построены на первом куске общей сцены непременно спиной к зрителю; но построение сделано так, что ведущие персонажи все оказываются повернутыми лицом к зрителю в момент произнесения своих реплик, а находящиеся на втором плане сидят на стульях, скамьях или креслах с высокими ножками. Мизансцена Константина Сергеевича не только не банальная, а всегда изысканно-простая и вместе с тем парадная.

И в жизни, и в режиссерском стиле Константин Сергеевич был парадный, с сильным мазком и красочностью, фла-

¹ «Из прошлого», стр. 123.

² Там же, стр. 168.

¹ «Из прошлого», стр. 169.

мандец, и именно типа Иорданса. За всем, что изображено, — никаких вторых планов, вторых значений, на вас смотрит то, что вы видите. Но, подобно тому, как, глядя на картину «Семейная пирушка» Иорданса, вы видите обычную домашнюю обстановку средней зажиточной семьи, однако, превращенную художником в картину праздника, праздного события жизни этой семьи, потому что иначе смотрят глаза и старых, и малых, иначе улыбаются мужественные, обветренные лица, иначе обнимают здоровенные руки, чем в трудовой день, чем в часы физического, делового напряжения, — так и в спектаклях Константина Сергеевича со сцены всегда дышит праздник искусства. Это не значит, что под серыми буднями теплится еще некий план, который подан искусной рукой художника тысячью намеков, а значит только то, что режиссер Станиславский все, что видит в окружающей жизни такого, что необходимо познать, во что славно всмотреться и вчувствоваться через искусство, не нарушая его реального бытия, воплощает в такие образы, которые порождают в вас бодрость и радость, дают красочность, парадность самому мизерному, будничному, второстепенному и незначительному. Как и сам он в самой скучной обыденности предстал (я нарочно подобрал это слово) парадным, так и созданные им страницы жизни на сцене, как бы они ни были мизерны, несли на себе не только штрихи поэзии (что обязательно в каждом произведении искусства), но были облечены в шикарное тряпье, в житейский костюм, в сношенную шляпу, брючки, пальтишечко, но вносивших элегантность, даже изысканный вкус.

На что ни взглянуть из сделанных им постановок, это всегда так. Поразительной правдой веет от прозоровской квартиры и семьи в «Трех сестрах», и замечательны по убедительности раскрытия внутреннего хода действия мизансцены второго акта. Но эти военные артиллерийского дивизиона, стоящего в глухом провинциальном городе в десятках верст от железной дороги, — не столичные ли это военные? Верши-

нин — не гвардейский ли офицер? И все манеры поведения трех сестер, их тепле — с каким элегантным шиком, в тончайшей скромности и провинциальном молчании и скуке подано режиссером. А давным-давно — «Снегурочка» (это было в 1900 году). А гораздо позже уже, в 1908 году, «Синяя птица»! Не напрасно по поводу этих двух спектаклей по линии фантастики, где все «весело, красиво, забавно», Константин Сергеевич писал: «Это — мой отдых, моя шутка, которая изредка необходима артисту»¹. Он вспоминает французскую шансонетку:

De temps en temps il faut
Prendre un verre de Cliclo!

Как ни требователен был Станиславский к выполнению бесчисленных деталей бытового, обиходного характера в народных сценах у Берендеев, как ни натуралистичен был лес пролога и Ярилиной долины с лешими, валежник и сухостой, с поднимающимся паром с низины долин, с медведем, трюком тающей Снегурочки, ультраприродными позами и мизансценами просыпающихся пар после ночи в честь праздника Ярилы, — сказка Островского, ее народно-поэтическое ядро, рожденное из поэтических воззрений славян на природу, где сочетаются и наивные верования, и суеверные предания, ее театрально-примитивное зерно оказалось окутанным фееричностью здорового художника, не суевера, не фанатика, не националиста, а трезвого художника-наблюдателя, умевшего все это передать в том виде, как это доносится к нам — через ярмарку, через церковные и похоронные обряды. Сам Константин Сергеевич в своей книге пишет, как он музыкально обрабатывал крик бирючей: «И эти крики были обработаны музыкально, с типичными народными речитативами, узорчатыми фиоритурами, оригинальными каденциями, которыми украшают свои крики и возгласы разносчики, протодиаконы, плакальщицы, церковные чтецы евангелия или апостола»².

¹ «Моя жизнь в искусстве», стр. 364.

² Там же, стр. 371.

«Снегурочка» была парадно-нарядным спектаклем, сделанным с огромным вкусом, с поразительной изобретательностью режиссера, в одних тонах, «Синяя птица» — в других. Глядит ли со сцены «Синей птицы» мистика Метерлинка? Как показана эта импрессионистская сложность в спектакле? Режиссерский экземпляр «Синей птицы» — документ, по которому еще десятилетия могут учиться молодые и немолодые специалисты режиссерскому искусству. Поражаешься, как все технически рассчитано, как обдуманно, с какой задачей подойти к каждому участнику спектакля, действует ли он по актерской линии, технической или музыкальной.

Если вспомнить при этом, как в то же приблизительно время ставил Метерлинка Мейерхольд, как он об этом писал, как он сценически его интерпретировал, то совершенно ясно, что Станиславский, как режиссер, отнюдь не был рупором тех идей, которыми проинкинуто творчество Метерлинка. Это — полнокровный спектакль, в нем ничего нет из «по ту сторону добра и зла». В нем — и фантастика, и выдумка, и мастерство; но по преимуществу в нем — парад режиссерского искусства трех измерений.

Вспомним ли постановки — «Царь Федор», «Власть тьмы», «Три сестры», «Вишневый сад», «Мнимый больной», «Ревизор», «Женитьба Фигаро», «Горячее сердце», «Царская невеста», «Онегин», «Богема», — все это самые разные по режиссерскому подходу спектакли. Но все они являются спектаклями нового театра последних сорока лет, т.-е. МХАТ'а, противостоящего незыблемой и по сей день традиции режиссерского ремесла в Западной Европе, и остаткам традиционных штампов у нас. Сила этих спектаклей — в той ясности, яркости, простоте, трезвости режиссерского замысла, четкости главной темы и определенности рисунка и распределения красок, которые можно сравнить в русском мастерстве только с полотнами Сурикова. Театр — такая трудная и сложная область, а Константин Сергеевич столь универсальная фи-

гура в театре, что невозможно для пояснения своих мыслей о нем обойтись без сравнений.

Весь Станиславский — в процессе становления того искусства, которое будет дальше развиваться и жить, становясь уже другим, но он, Станиславский, его породил и его предвидел. Константин Сергеевич часто говорил, что выучиться режиссуре нельзя, можно только родиться режиссером. Однако тех, кого он считал режиссерами, он учил, как овладевать этим искусством, и не таил никаких своих, ему только известных, приемов. Копировать его режиссерские приемы бессмысленно, но понять их сущность, добиться их применения на практике можно и должно.

Я не пытаюсь описать актерские образы, созданные Константином Сергеевичем. Но я попытаюсь написать о том, что в нем, в этом единстве театрального искусства, какое представлял собой Константин Сергеевич, было, как я это понимаю, актерского.

Константин Сергеевич, конечно, был артист-актер. То, что он был режиссер, что в нем вспыхивал огонь зодчего спектакля, рождалось и выпестывалось его актерской страстью. Последняя требовала удовлетворения в постановках — сначала с ним самим в центре, потом и с другими актерами, но так же, как он сам, страстно переживавшими происходящее на сцене. Для этого нужен был театр гибкий, организованный, от вешалки до первых актеров, в принципах художественной дисциплины, с постановками и техникой, которые помогали бы раскрыться актерам, ученикам, для которых придумывалась, а потом проверялась на практике и, наконец, была записана система.

Станиславский — артист-актер, создавший театр. Но, создавая актеров, он воспитывал и себя. Все его образы отличаются особой биографией и характерностью, которая иногда приходила внезапно, сразу на репетициях, иногда долго не давалась, но инстинктивно нащупывалась, наверное, с того мгновения, когда Станиславский задумывал играть эту роль.

В живой природе один человек не похож на другого чертами своего характера, которые в сумме выражают его самого, его личность, значит, и мирозерцание. Следовательно, характерность, умение уйти в то, чтобы глубоко зажить этими органическими свойствами человека, и дадут этого самого человека.

Можно по-разному судить, и, наверное, это зависит от того века, когда говорят, пишут или изображают тех, о ком я скажу ниже.

Конечно, Прометей, Эдип, Гамлет, король Лир, Отелло, Фауст, Дон-Кихот, Дон-Жуан, Скупой рыцарь, Катерина, Юлия, лэди Макбет — это типы, герои и героини мировой литературы. Все данные образы в театре созданы огромными артистами гастролерами. Но ведь тип мировой литературы, например, Скупой, это — единство общего и единичного. Он должен стать максимально живым, убедительным, чтобы мы могли в него поверить и ошутить его, как определенный факт. Мало того, этот образ не может быть нейтральным для художника, его создавшего, он к нему относится или положительно, или отрицательно. Это мы тоже чувствуем и знаем.

Были театральные эпохи, когда мастера сценического искусства, подымаясь до величайших вершин в своих созданиях, делали упор на те куски и вышки роли, которые давали потрясающие образцы гениально отточенного темперамента, потрясающего умения найденной интонацией и пластикой жеста закипеть в душе зрителя главной мыслью, главной страстью, каковыми охвачен образ.

Константин Сергеевич, как актер, и в эпоху символизма, и импрессионизма оставался типичным художником реалистической школы. Ему было необходимо видеть своего героя во всех мелочах бытовой обстановки. Без подробной биографии, без мелких штрихов житейских отношений, без человеческого жанра, окутывающего все самое великое в жизни, он не видел поэтического бытия своих образов. Страстью к вскрытию и нахождению всего рисуемого

характер из биографии отличался всегда Станиславский-актер. Какой бы из самых значительных из созданных им образов мы ни взяли, это всегда так. Доктор Штокман, Астров, кавалер ди Риофрато, Вершинин, Сатин, Шабельский, Фамусов, князь Абрезков, граф Любин, Аргон, Крутицкий.

Что запомнилось в конструкции каждой роли? Необыкновенное знание ее творца о каждом человеке всей его внутренней, может быть, даже и внешней биографии. Как каждый из этих людей живет в жизни, Станиславский знал, и я, зритель, знал. Он мог ничего не говорить, — просто сидеть, ходить, молчать, отдыхать, смотреть в окно, кушать, — и я, чем больше на него смотрел, тем больше его узнавал, и узнавал именно всю полноту человеческой личности. Однако, следя за ним, Станиславским-Штокманом, Станиславским-Астровым, Станиславским-Фамусовым, Станиславским-Аргоном, я узнавал и познавал то в жизни, что с большой мудростью (и в этом была моя — зрителя — радость присутствия на спектакле) из многообразия нашел, вылепил и показал мне Станиславский. Это были и мука, и мелкие заботы, а чаще — страсть к чему-либо незначительному, которую страшно видеть. Все это удавалось Станиславскому потому, что он целиком входил в детальные черты биографии тех, кого сценически воплощал. И это был подлинный, чаще всего жестокий реализм. Благодаря этому Станиславскому не надо было делать особых усилий, чтобы перейти к созданиям образов по линии социалистического реализма, который берет действительность и отражает ее с думой не только о том, как она есть, но и какой она должна быть.

Но лучше слушаем, как сам Константин Сергеевич говорит о процессе создания образов; есть замечательная глава в книге «Моя жизнь в искусстве», которая названа «Открытие давно известных истин». На одной из страниц этой главы читаем:

«Как уберечь роль от перерождения, от духовного омертвения, от самодер-

живая актерской набитой привычки и внешней приученности? Нужна какая-то духовная подготовка перед началом творчества, каждый раз, при каждом повторении его. Необходим не только телесный, но, главным образом, и духовный туалет перед спектаклем. Нужно прежде, чем творить, уметь войти в духовную атмосферу, в которой только и возможно творческое таинство...

Попав из-под власти мудрого творческого чувства во власть бессмысленной актерской привычки, мы уподобляемся кораблю без руля и ветрил. Нас несет туда, куда толкает случай, плохой вкус толпы, сценические штучки, внешний дешевой успех, актерское тщеславие или другая случайно попавшаяся на пути линия, не имеющая отношения к искусству. Вот что становится возбудителем актерской души на сцене вместо прежнего живого чувства, создавшего духовную жизнь роли.

Для чего же мы поступаем на сцену? С чем и для чего выходим на ее подмостки?..

Актер прежде всего должен верить всему, что происходит вокруг, и, главным образом, тому, что он сам делает. Верить же можно только правде. Надо поэтому постоянно чувствовать эту правду, находить ее, а для этого необходимо развивать в себе артистическую чуткость к правде. Но скажут:

«Полноте! Какая же правда, раз что на сцене все ложь, подделка: декорации, картон, краски, грим, костюмы, бутафория, деревянные кубки, мечи и проч. Разве все это правда?».

Но ведь я говорю не об этой правде, а о другой, о правде моих чувств и ощущений, о правде внутреннего творческого побуждения, стремящегося выжаться. Мне не важна правда вне меня, мне важна правда во мне самом, правда моего отношения к тому или иному явлению на сцене, к вещи, к декорации, к партнерам, изображающим другие роли пьесы, к их мыслям, чувствам... Актер говорит себе:

«Все эти декорации, вещи, гримы, костюмы, публичность творчества и пр. — сплошная ложь. Я знаю это, и мне до них нет дела. Мне не важны

вещи... Но... если бы все, что меня окружает на сцене, была правда, вот что бы я сделал, вот как бы я отнесся к такому-то или иному явлению».

Я понял, что творчество начинается с того момента, когда в душе и воображении артиста появляется магическое творческое «если бы»... Сцена — правда, то, во что искренно верит артист; и даже явная ложь должна стать в театре правдой для того, чтобы быть искусством. Для этого артисту необходимо сильно развитое воображение, детская наивность и доверчивость, артистическая чуткость к правде и к правдоподобному в своей душе и своем теле. Все эти свойства помогают ему превращать грубую сценическую ложь в тончайшую правду своего отношения к воображаемой жизни. Условимся называть эти свойства и способности артиста чувством правды. В нем игра воображения и создание творческой веры, в нем и ограждение от сценической лжи, в нем и чувство меры, в нем залог детской наивности и искренности артистического чувства. Оказывается, что чувство правды, точно так же, как и сосредоточенность и мышечная свобода, поддается развитию и упражнению. На пути новых исследований и случайных интуитивных открытий — я понял, т.-е. всем артистическим существом почувствовал, еще много других, давно знакомых в жизни (но не на сцене) истин. Все вместе взятые, они помогали создавать то превосходное артистическое состояние, которое я назвал творческим самочувствием в отличие от иного, плохого — актерского самочувствия, с которым я неустанно учился бороться»¹.

Вот эти давно знакомые в жизни истины, которые через свой путь, полный сомнений и беспокойных исканий, ему удавалось открыть, работая, как актер, привели его в область мастерства, к творческому самочувствию, позволявшему из мелко- и порой незначительного, но верно-

¹ Стр. 511, 522—525.

го и подлинно-живого в жизни (а через ряд экспериментов оказавшегося таким и на сцене) складывать в живые образы свои работы над ролями.

Он работал над собой, над ролями, не повторяя мертвых штампов, не ломаясь, не представляя, не изображая переживания, отбрасывая целый ассортимент знаков, выражений человеческих страстей, актерских действий, поз, голосовых интонаций, фиоритур, каденций, сценических трюков и приемов игры, якобы выражающих чувства и мысль и заботливо придуманных актерским ремеслом.

И пути, которыми он приходил к рождению образа, были самые разнообразные, — от внезапно полученного, как бы сразу увиденного рисунка роли, как было с доктором Штокманом («Очевидно, сама жизнь позаботилась, — пишет Константин Сергеевич, — заблаговременно о том, чтобы выполнить всю подготовительную творческую работу и запастись необходимым душевный материал и воспоминания об аналогичных с ролью жизненных чувствованиях»¹), до роли Фамусова, которая имела несколько вариантов не только по линии внутреннего рисунка, но и внешнего; причем Константин Сергеевич до самого последнего сезона, пока играл «Горе от ума», разрабатывал, расширял эту роль и в дальнейшем.

Вот это актерское в Станиславском продиктовало и пути создания основ науки об актерском мастерстве, а вместе с тем и сделало его страстным учителем актерской смены, основателем школы творческого самочувствия на сцене.

Вернее всего, полнее и глубже определил эту сторону деятельности Константина Сергеевича Горький в своем замечательном письме к нему в день семидесятилетия Станиславского. Константин Сергеевич очень гордился этим письмом, оно его взволновало, наложило на его психику глубокий след, и если просматривать выступления Константина Сергеевича после этого письма в печа-

ти, а также и устные высказывания последних пяти лет, то можно заметить, что он как бы крепче подтверждал вы сказанное Алексеем Максимовичем, а также шире и глубже развивал содержание письма, написанного в 1933 году.

И Станиславский со всей серьезностью относился к тому, что было возложено на него партией и правительством. Он себя чувствовал ответственным перед страной, перед родиной, стараясь сформулировать, сжать в ряд положений то, что накопило до него сценическое искусство в лице крупнейших деятелей, и, главным образом, свой богатейший опыт и выводы, сделанные из наблюдений над собой и теми, кого он наблюдал, учил и с кем участвовал в спектаклях.

Но в чем же основы той науки, которую заложил К. С. Станиславский в области актерского мастерства, а следовательно, театра?

Во-первых, он указал, что, как и в других науках, в этой науке все основано на опыте, наблюдениях, возможно-сти построить эксперимент для подтверждения гипотезы, которая, сначала являясь лишь рабочей гипотезой, потом становится проектом нормы.

Он пишет в своей книге, что над ним смеялись, когда он работал над собой и над своими товарищами на сцене, занимался наблюдением и самонаблюдением, смеялась, указывая, будто он забывал, что то, чем он и его товарищи занимаются, есть искусство, и экспериментировал подобно естествоиспытателю, работающему над кроликами или лягушками. Но ведь никакого иного метода в науке и нет, чем тот, которым работают в равной мере и социологи, и физики, и биологи, и филологи, и искусствоведы. Все дело только в том, в какой мере разработан этот метод в той или иной науке, в какой мере обрабатывается материал, и взят ли, отобран ли этот материал из данного круга явлений.

Во-вторых, К. С. Станиславский разработал терминологию, указав, что она стала складываться не искусственно, а из живых процессов, наблюдаемых и имеющих место в сценическом искус-

¹ Стр. 425.

стве, в сценической практике, из опытов, из живого действия сцены. Он указал, как сложившаяся в трудовом процессе номенклатура, будучи раскрыта через анализ понятий, в ней заключенных, поддается обработке для того, чтобы добиться точной и обоснованной терминологии.

В-третьих, он указал предмет этой науки, объем и содержание, подчеркнув, что предмет ее исследований есть действующий на сцене актер, действия которого тогда становятся искусством, когда они проверены правдивым к ним отношением актера на сцене, подобно тому, как если бы он в жизни действовал в тех же обстоятельствах.

Сам Константин Сергеевич называет составляемую им книгу о мастерстве разработанными им методами актерского творчества и подходов к нему. Это было им сказано еще в 1925 году, в предисловии к книге «Моя жизнь в искусстве».

Это говорит о том, что первая, уже приготовленная к печати книга «Работа над собой» и вторая, находящаяся в вариантах рукописей, «Работа над ролью» — такого рода сочинения, которые, с одной стороны, представляют огромный материал для обработки актерского субъекта, как носителя сценического действия, а с другой — указывают, как возможно этот материал исследовать, не забывая, что этот материал только тогда и существует, когда он находится в процессе действия и когда творчески проявляем артистом.

Этими тонкими наблюдениями и приемами раскрытия Станиславский ставил себе иную, практическую цель — помочь актеру верно жить на сцене, но они же являются подлинными основами науки о сценическом искусстве.

★

Константина Сергеевича, живого, оригинального, самобытного, театрално-гениального не стало. Я думаю, нигде, ни в одном конце культурного мира, где интересуются театром, а сле-

довательно, знают Станиславского, не прозвучало бы парадоксом, что К. С. Станиславский — это самое гармоничное и цельное воплощение лучшего театра нашего времени, что он — живая сущность театра, потому что он — артист, вместе с тем и актер, и режиссер, и создатель-руководитель целой художественной формации театра и основатель ее школы.

К. С. Станиславский — это целая эпоха театра. По нем можно будет узнавать то, что сложилось в цельную школу.

Долгая жизнь, полная сомнений, борьбы с самим собою, борьбы против всех и всего, что мешало укрепить и развить систему такого театра, оказалась плодотворной для благодарной ему огромной массы рассеянных по всей земле работников искусств. Но Станиславский почувствовал, узнал и увидел себя любимым, дорогим, оберегаемым сыном своего отечества, когда правительство Союза ССР, признав его исключительные заслуги в деле театрального искусства и просвещения, постановило издать все его сочинения на счет государства, окружив заботами и особым вниманием его труды по воспитанию кадров молодых артистов драмы и оперы, его экспериментальную работу в театре и т. п.

Художественный театр, труды, сохраняющие творческую мысль и кипучую страсть исканий Константина Сергеевича, — это великое достояние советской культуры.

И Художественный театр, и Студия имени Константина Сергеевича заключают в себе столько жизненных соков, что сделают образ Константина Сергеевича живым в творчестве людей искусства, в сознании масс, для которых сценическое искусство есть познание жизни, — потому что Станиславский есть воплощенное действие.

Станиславский любил жизнь, от его созданий веяло всегда бодростью. Он был крепкий в своем искусстве оптимист. Во всех его созданиях было жизнеутверждающее начало, была любовь к жизни.

Рассказы А. Ульяновского

С. РОММ

★

«Советская власть сделала меня человеком и писателем, и за это я ей буду служить до последнего вдоха».

А. Ульяновский

I

Недолог был литературный путь Антона Григорьевича Ульяновского. Но это был правдивый, мужественный, требовательный к себе писатель, поразивший читателя с первых же литературных шагов своих искренностью тона, силой своеобразного, тонкого мастерства. В его скорбных и гневных заметках о войне и плене, в его горьких рассказах о послевоенных скитаниях чувствуется нерастрченный, как бы раскалившийся в годы тяжелых испытаний творческий дар человека, взыскующего социальной правды.

С героическим воодушевлением, со светлым, страстным оптимизмом, ревностно взялся А. П. Ульяновский, в зрелых годах нашедший родину, близких, настоящее, любимое дело, за нелегкий, но радостный писательский труд, связанный для него с необходимостью коренной ревизии и переоценок. Его книги входят органически в молодую советскую литературу; в них отражена обаятельная личность писателя, который хотел полным голосом воспеть замечательную нашу эпоху, способную выправить самые изломанные человеческие биографии.

О ранней поре жизни Ульяновского известно немного. Восемью лет он потерял родителей и воспитывался у чужих на скромные средства; до войны работал в Петербурге газетным корректором. В период империалистической войны А. Г. попал на фронт, на передовые позиции

и затем четыре года он томился в германском плену. Будучи прапорщиком, выдал себя за рядового, чтобы легче было бежать. В Австрии он был пойман заново.

На Украину Ульяновский попал в 1920 году, в разгар гражданской войны. Пять раз был под угрозой расстрела, по подозрению в том, что он «большевистский шпион».

В 1920 и 1921 гг. Ульяновский работал конюхом, полотором, служил санитаром и писарем в военном госпитале, добывал нефть на промыслах в Баку и в Закавказье, но связи с журналистикой не порывал.

К. Паустовский в книге «Черное море» вспоминает свою встречу с А. Г. в Батуме, где оба они были сотрудниками маленькой портовой газеты «Маяк». «В то время Ульяновский ночевал в товарных вагонах, разгружал пароходы в порту. Он только-что вернулся из плена. На его рваном пиджаке еще была нашита желтая перевязь».

В газете сказалось особое умение Ульяновского входить в тему, ориентироваться в незнакомом материале. Он основательно изучил организационную технику массовой работы с рабкорами. Впоследствии газетный опыт значительно помог Ульяновскому при сборе материалов по истории Кировского завода.

В бытовом отношении Ульяновский отличался нетребовательностью и неприхотливостью. За годы бродяжничества в нем укрепилось отвращение ко всякой собственности, имуществу, к тому, что

делает человека рабом определенного уклада, обстановки, укоренившихся привычек; он пристрастился к своему бездомному положению. Но позже у него появилась потребность отдохнуть от скитаний, забраться куда-нибудь в угол, осесть на месте, взяться за перо.

Когда Антон Григорьевич решил уехать в родной город, он не стал добиваться удобств передвижения: в 1923 году Ульяновский направился из Москвы в Ленинград пешком, по шпалам. Тогда, собственно, он и начал настоящую литературную работу.

II

Жил Ульяновский в доме писателей по набережной реки Карповки, в бывшей дровяной каморке, которая выходила на холодную черную лестницу. Узкая кровать, столик, круглая печь, единственный табурет занимали всю площадь. Низкая железная «буржуйка» с огромной трубой не держала тепла. По утрам Ульяновский, не вставая с постели, разжигал заготовленные с вечера дрова, ждал, когда они разгорятся, когда закипит его ржавеватый чайник.

С особым чувством неловкости приходишь, бывало, в этот чулан, где всегда неуютно, сыро, холодно (пока топится печь, невыносимо жарко). Владельца комнаты бытовая неустроенность, впрочем, явно не трогала.

В Доме писателей А. Ульяновский слыл за человека со странностями. Литературная молодежь поглядывала свысока на жильца мансарды, в старомодных бушлате и кепке, сутулящегося по-стариковски, вежливо раскланивавшегося с начинающими, мало знакомыми писателями. Другие, знавшие Антона Григорьевича ближе, отдавали должное его уму, такту, чуткости, но и для них Ульяновский оставался каким-то чужим, как бы пришедшим из иного мира; он редко делился с ними своими переживаниями и планами на будущее.

А. Ульяновский вовсе не был благосклонен и благожелателен ко всем. Его меткие, колкие, обобщающие суждения отличались зоркостью и пронизательностью. О некоторых удачливых колле-

гах он говорил без тени личного недоброжелательства, но с трезвостью человека, который видит дальше и лучше.

О себе самом он отзывался больше в ироническом тоне: он обычно приводил лишь те случаи жизни, когда он оказывался в смешном, неловком положении. Другого не помнил, не хотел помнить.

— Пустяки, — бросил он как-то с кривой усмешкой на горы бумаг и документов у себя в комнате. Но это была лишь отговорка: в самом сокровенном он предпочитал отзываться именно так, с притворным холодком.



Незадолго перед смертью Антон Григорьевич уехал с Карповки. Друзья, писательская организация, после долгих уговоров заставили его перебраться в более удобную комнату на Васильевском острове. Но позже, в связи с очередным литературным замыслом, он вновь переселился в клетушку, в рабочем Кировском районе. Ульяновский стал приходить в писательский клуб или столовую реже. И вдруг узнаем трагическую весть: на прогулке он натер ногу, не принял своевременных мер, не обратился к врачу. Человек сгорел в несколько дней...

III

Во всех почти произведениях Ульяновского наиболее прочувствованные, захватывающие лиризмом страницы посвящены герою, наделенному автобиографическими чертами. Основной образ этот не остается одинаковым; меняется также отношение автора к нему. Соответственными выдержками из произведений А. Г. Ульяновского можно показать, как развивался, рос этот собирательный герой.

«— Меня, если хотите, можно считать добровольцем, — сказал прапорщик Криппе. — В первые дни войны я, действительно, подал заявление, но оно пролежало пять месяцев без движения, я забыл о нем, передумал ехать на войну, — и только тогда пришла повестка. Я не стал откручиваться. Я даже обрадовался. Мне надоело читать газеты, осточертели федоровские корреспонден-

ции. Уж лучше испытать самому. Пошел прощаться с товарищами и почти со всеми переругался...

Пошел к товарищу, а он тем временем стал полезным человеком. Он призывной, но пошел по госпитальной части — заведует поставкой градусников. Он мне сам предложил: «Я тебя устрою в госпиталь, будешь, как в бесте». Я говорю: «Не хочу быть, как в бесте». — «Значит, тебе нравится лезть в пекло?» — «Мне это не нравится, но я лезу в пекло, чтобы чем-нибудь отличиться от такой публики, которая сидит в тылу и спекулирует градусниками...».

Одобрил меня только Козловский, горе-философ, но сказал подходяще: «Война, конечно, бессмысленна, но поскольку вся наша жизнь одна сплошная бессмыслица, то уж лучше выбирать бессмыслицу более яркую». Я с ним вполне согласился. Действительно, что у нас была за жизнь? Смысл-то в ней был? И какая разница: зубрить римское право или учиться выкидывать штук?».

Война сразу же оказала на Криппе свое отрезвляющее действие. Он многое понял в первые же дни на позициях, в окопах:

«Ему уж казалось: чем глупее, тем лучше. Получалась какая-то система: рука у козырька, изо рта вранье. И так снизу доверху. Всюду рука, козырек, вранье...».

Всем одинаково чужой и далекий, Криппе, типичный интеллигент, раздает направо и налево случайные прозвища, о самом себе Криппе отзывается в тоне цинического пренебрежения:

«Надо бы посмотреть на фотографию и отойти. Но Криппе шевелит губами, ищет слов, а человек ждет, и получается мучительно для обоих, так что человек уже машет рукой, — отойди. А Криппе в ответ улыбнется и сам чувствует, что улыбка эта неподходяща, что за такую улыбку надо гнать. Раз'ехалось лицо, хоть руками его поправляй. Что за улыбка? Он сам хочет определить ее смысл. Есть в ней, должно быть, какое-то народолюбие, кое-какая спесь, чуть-чуть фатализма, чуть-чуть пафоса соборной смерти — остатки разных чувств,

пришедших из литературы и вдруг испарившихся, и вот в трудную минуту человек остается с одной лишь раз'ехавшейся улыбкой».

В германском плену герой рассказов Ульяновского «В плену» стал лучше разбираться в азбуке социальных взаимоотношений:

«Живут здесь бедняки, люди с грубыми руками и с простыми сердцами. И хотя москаль в сравнении с ними — отщепенец и нищий, эти люди часто смотрят на него не без зависти. Потому, что он ни перед кем не ломает особенно шапку, а случается, подымает голову и совсем высоко, а они никогда не могут позволить себе того и добывают пропитание двужильным трудом и сугубой покорностью» («В плену».)

Герой слаб и беспомощен, мало приспособлен к физическому труду. В плену оказалось бесполезным его знакомство с литературой, в частности, немецкой. Он считался никчемным работником, от которого хозяева старались освободиться: «Такой, каким он был, слабосильный, хмурый, неизвестно о чем думающий, он был явно не на месте. Был несчастен и впоследствии должен был неизбежно поддаться искушению бежать...».

Он презирал этого горящегося, с'езженного, рассеянного человека. Семейство Фурманов, начиная от старика и кончая младшей дочерью, прилагало все силы к тому, чтобы как-нибудь избавиться от Снеля, и пленный Снель платил им таким же искренним недружелюбием» («Пленный Снель»).

«— Я кормлю пятерых, а работает у меня трое, — воскликнул однажды хозяин Альфонс, беседуя с фельдфебелем... — Четвертый бывает полезен. Но пятый... Ради бога, за какие преступления вы посадили мне на шею этого пятого?»

Итак, как ни старался Костя, то, что он делал на дворе Вейнерта, ни на чьем языке не называлось работой. Поняв это, Костя осел. Но потел попрежнему, но только чаще стал посматривать на горы вдаль, за которыми была Австрия, первый этап всех побегов из этой части Германии» («Кривым путем»).

Трагедия не способного к труду человека, который только «крутится» около настоящего работника, — тема эта будет долго повторяться в творчестве А. Ульянского.

IV

Рассказ «Возвращение» дает наилучшее представление о мыслях и чувствах возвращающегося из плена героя Прошки:

«От Керешмезово на мадьярской границе до Враненки в Карпатах идет сквозной туннель, и, если путь разобран, надо идти пешком. Держись за стенку, старайся попасть ногами со шпалы на шпалу, научись чутьем угадывать, где ногу надо подымать выше, чтобы не разбиться о скрепление, и таким порядком уйдешь на версту, на полторы в час. И хоть таких верст тут не мало, не падай духом. Иди и не останавливайся:

Потому, что если умел ты сутками выстаивать на ногах, не падая на пол, если умел выдерживать карпатские ночи на станциях с выбитыми стеклами, если умел на этапах в бою добывать себе пропитание, если уже позади остался пограничный осмотр и тебя не вывели из рядов особой проверки, — то что значат для тебя несколько часов туннельной темноты, которая должна когда-нибудь кончиться?..

И опять степь, и свист телеграфных столбов, и крест над прошлым, и ничего впереди. И шалает Прошка от того, что в ушах ветер и кругом — Россия, и ноги, если их вытянуть по терпкой, впервые прогретой земле, нюют знакомой, бездумной усталостью. У Прошки после тифа голова, как в колодке, но смотрит он за пятерых».

В рассказе «На водах» спасается на судне рыжий, картавый, с бельмами на глазах Николай Комяков: отряд маховцев спустил его за борт, и только чудом Николай уцелел.

Под разными фамилиями, но в сходных по сути обстоятельствах борется за жизнь герой рассказов Ульянского — «анахронизм, человек, оставшийся, по выражению Прошки, от войны, о которой успели забыть».

Работает он, как сказано, плохо. Над ним смеются окружающие. Сам автор более снисходителен к своему герою: «Казалось ему, что к происходящему вокруг он отношения не имеет, что только по недоразумению от него что-то можно требовать, а что он ничей, никакой, из плена. Люди упорно находили Прошке место в общей игре, а он отнекивался...» («Возвращение»).

Центральный персонаж рассказов книги «Пришедшие издалека», после унижительного батрацкого труда, боится вновь попасть под ярмо, потерять независимость. У этого человека с натянутыми, напряженными нервами обострилось чувство ненависти к тем, кто «болел» пленом, приплясыванием, угождением, кто потерял человеческое достоинство. Но он не победил еще робкие чувства в самом себе.

«Следовало бы войти в дверь, как делали все остальные, но я все еще чувствовал себя пленным, привыкшим к обходам и ужимкам, и, вместо двери, полез в окно, высаженное до того каким-то пионером разгрома». И дальше: «Требовался легкий поощрительный толчок в спину, чтобы я принялся за дело» («Венгрия. Октябрь. 1918»).

Он болезненно реагирует, когда ему напоминают о необходимости приспособиться:

«У нас служить нечего, — говорил рыжий с важностью. — Но не зезай. И который человек лавировать умеет...»

— Я, — сказал Прошка, отрываясь от дела, — лавировать не умею» («Возвращение»).

Прошка «лавировать» не умеет и не хочет.

Бежавший из плена герой Ульянского (в этом отражается в большой мере индивидуальность автора) полон тихого умиления перед жизнью. У него целомудренное, поэтическое отношение к женщине.

После долгих лет заточения среди чужих человек попал, наконец, домой, где все казалось бы так близко и знакомо. Но родные места встретили его недружелюбно.

Неприглядному с виду «проходимцу», которого по платью, лицу, фигуре при-

нимают за «жида» или «большевистского разведчика», трудно уцелеть в белобандитском аду. И хотя подчас «возвратившийся» человек борется за существование с полным самообладанием, у Ульяновского нередко чувствуется склонность наделять главные персонажи чертами пассивности, смирения. Так, например, у обитателя ночлежки, от имени которого ведется один из рассказов, обманном путем забрали его единственное имущество — пиджак. Лишенный необходимой осенью «шкуры», он не питает, однако, злобы к похитителям, таким же, как и он, обездоленным бродягам, находя утешение в том, что кончилась его зависимость от других хищников-процалыг, покушавшихся все время на его одежду («Мохнатый пиджак»). В рассказах А. Ульяновского герой показан часто нейтральной фигурой. Человеком, который желает оставаться «в стороне от схватки».

Впрочем, сам автор был далеко не таким. Однажды, перед уходом, белые отправляли арестованных из госпиталя парами на расстрел.

— Ты кто, жид? — спросили у Ульяновского.

— Хуже, красный, — ответил он.

Ему повезло: белые оставили его для более подробной «беседы», но как-раз подоспели красные, и Антон Григорьевич был освобожден. В другой раз Ульяновский уцелел «чудом», свалившись на полсекунды раньше залпа; он показывал впоследствии свою «могилу» которая находится вблизи Днепропетровска.

v

Ульянский начал писать поздно. Все, что он видел и слышал за последние годы, теперь обрело свой час. Антон Григорьевич как бы заново переживал войну, плен, свои странствия по югу.

Он вспомнил, каковы были люди, которые попадались ему тогда на жизненном пути, каким был он сам в ту пору. Подвергая многое суровой переоценке, он находил пути к освобождению от старых, гнилых чувств. Возможно, этот процесс самоочищения тоже послужил одним из поводов к занятиям литератур-

ным трудом, которому он отдался с головой. Но неумение разобраться до конца в окружающей действительности приводило его к большим творческим трудностям, особенно когда он позже брался за «советскую тему». Даже книги о войне и плене, построенные на глубоко прочувствованном им «своем» материале, не лишены серьезных недочетов.

Так, в рассказе «Четыре немца» Ульяновский хорошо показывает обреченность системы, которая привела царскую армию к развалу, ярко изображая реакционность, чванство, корыстолюбие офицеров царской армии. Но он не вскрывает социально-экономических корней империалистической войны; не чувствуется боевого протеста против мирового капитализма — организатора бойни.

Точно так же книга «Пришедшие издалека» не дает яркого представления о расстановке классовых сил на Украине в период гражданской войны. Автор повинен и здесь в некотором либеральном пафизме. Рассказы Ульяновского этого цикла, по существу, — тот же лирический гимн страннику, преодолевающему лишения и опасности. После всего пережитого на войне и в плену герой стремится отлежаться, отдохнуть, ни во что не вмешиваясь. «Ничей, никакой». Прошка, только по насышке знающий о Советской России, тянется к ней, как к своей новой родине. Люди «низов» изображены здесь более красочно, полнокровно, нежели в предыдущих произведениях. Но «Пришедшие издалека» все же — одна из лучших книг А. Ульяновского. В ней сказалось новое мироощущение писателя, явно осязаемые реалистические тенденции, она наполнена живыми жанровыми сценками, ясными, рельефными характеристиками, весьма колоритен ее язык.

Ульянский немногословен в описаниях природы, интерьеров или предметов. В центре его внимания — человек; он замечает характерное не только в лице, костюме, но запоминает и позу, движение, «раз'ехавшуюся улыбку». Он любит острые сюжетные построения. Ядовитые насмешки окружающих, как и

беззлобный юмор автора, только усиливают симпатии читателя к попавшему в сложную жизненную обстановку герою. Пользуясь удачной фабульной ситуацией, характерной деталью в описании внешности героя, его повадок, А. Ульяновский дает часто даже эпизодическую фигуру как обобщенный, убедительный социальный типаж; так, зло-остроумно осмеивает автор белобандитских чиновников и офицеров, либералов и плутократов всех мастей. Было у него и писательское пристрастие к «слову», — неистощимый на выдумки, он знал много поговорок, пословиц, прибауток.

VI

По признанию А. Ульянского, он «родился в тот день, когда из австрийского плена попал на советскую территорию». Литературный труд стал теперь для него основным. Он решил, казалось, наверстать ушедшие годы. Но оставшаяся с давних лет пришибленность, неведение в свои силы сказались на самом отношении к новой, всецело захватившей его работе. Он временами как бы терял ориентировку. В течение долгих лет он не мог излечиться от «болезни плена», от чувства некоторой отрешенности, оторванности от жизни.

Однако, наряду с этим, война, плен впервые столкнули его ближе с народом. Он стал усиленно добиваться новых встреч. У Антона Григорьевича появилась неистощимая жадность к этим людям; и он умел находить нужных людей для очередных замыслов и так повернуть ось беседы, что каждый единомышленник или оппонент помогал ему в разрешении проблем, которыми он сам интересовался, болел. Собирая, например, материалы по истории Кировского завода, он не остановился как-то перед тем, чтобы пойти с собеседником в баню и там продолжить счастливо начатый разговор. Он не только узнавал ценные фактические сведения, но как бы учился новому отношению к жизни, к людям, к своему труду.

В связи с этим среди своих былых университетских товарищей — либералов, краснабеев, так и застывших на

некоторой безвредной лояльности, — Антон Григорьевич слыл теперь за «красного». Он вступал в яростные споры и дивил собеседников непривычным для того Ульянского, которого они знали долгие годы, «якобинским» задором.

Ульянский чутко прислушивался к критическим замечаниям; ему казалось, впрочем, что его попросту щадят, что он заслуживает большего «разноса». Ведь в решении вопроса о том, будет ли он писать, решалась его судьба. Стоило пережить такую тусклую, безрадостную юность, с ранних лет преодолевать в себе рабскую забитость «смирного человека», выдержать испытания войны и плена, бредовые ужасы во время побега, когда, изголодавшийся, продрогший, он скитался по лесам и оврагам, стоило уцелеть в грозивших ему смертельных опасностях, чтобы сейчас, когда он возвратился к жизни и впервые почувствовал радость настоящей, творческой работы, внезапно замолкнуть, бесславно потерять голос.

VII

Ульянский в последнее время принимал деятельное участие в коллективном составлении книги «Четыре поколения». Свидетельства очевидцев раскрывали перед ним унылые пейзажи дореволюционной Нарвской заставы, нищенский быт рабочих, полуголодное их прозябание в мрачных, тесных клетушках, в холодных углах и чердаках без электричества, канализации, элементарных жизненных удобств. При Ульянском Кировский (бывший Нарвский) район со своими исключительно величественными и живописными архитектурными ансамблями, великолепными новыми монументальными зданиями из стекла и бетона, становился одним из благоустроенных в Ленинграде; Антон Григорьевич говорил на эту тему с особой гордостью. Антон Григорьевич не думал больше о том, чтобы переключиться на другую литературную работу. История Кировского завода, Нарвская застава, история рабочей семьи, — лучших тем он не желал. Ульянский много читал, изучал литературу по рабочему движению, по

истории города. На Кировском заводе он стал своим человеком; многие называли его там — «наш писатель».

Первые работы по истории заводов страдали часто сухостью изложения, внешним историзмом и документальностью полунаучного трактата; протокольный пересказ фабулы чередовался с общественно-экономическими изысканиями, которые автор нередко переправлял в свой текст в чистом виде.

Глава Ульяновского «В годы реакции» (напечатанная в седьмой книге журнала «Звезда» за 1935 год) отличалась подлинной художественностью.

Дореволюционные рабочие-путиловцы — те же «бедняки, люди с грубыми руками, но с простыми сердцами».

Правда, писатель выступает здесь не совсем уверенно: он пишет о вещах, сведения о которых почерпал из книг либо из своих исключительно частых и обстоятельных бесед со стариками-путиловцами. Но воспоминания о батрацком труде в империалистической Германии и Австрии помогли ему, советскому журналисту и писателю, понять, почувствовать многое из дореволюционного прошлого. Точно так же отдельные черты в психологии подпольщика-революционера, живущего под вечной угрозой быть разоблаченным, он мог угадывать, вспоминая свои мытарства после побега из плена.

Писатель — это чувствуется по задушевности авторской интонации — живет заботами своих героев, он как бы растет вместе с ними. Описывая, например, пропагандистскую школу на старом Путиловском заводе, Ульяновский подробно останавливается на программах и порядке учебы, он приводит содержание уроков, дает списки научных книг и учебников, знакомит читателя с методами преподавания. Для него все это — не случайное, бесцветное «сырье», но полные глубокого смысла документы, он как бы сам проходит пропагандистскую школу и поэтому говорит о ней с таким проникновением.

Ульяновскому было около 45 лет, когда

после некоторого периода творческих блужданий он вновь «дорвался» (любимое его слово) до настоящей работы, требующей огромного напряжения сил, но зато высоко поднимающей тему.

«— Учись писать медленно, — говорит старик Савелов в рассказе Ульяновского «Ночной рейд». — Когда пишешь, надо думать».

Так именно и сам Ульяновский «медленно» работал. Он охотно возвращался к прежним записям, тщательно отделял их. Характерно, что лучшую главу, о городском Парфуте, он набросал в восьми вариантах.

Это был незаурядный писатель. «В советской литературе нет лучших рассказов о пленных солдатах империалистической войны, чем рассказы Ульяновского, вышедшие десять лет назад и не потерявшие значения» — писал еще недавно, например, Конст. Федин о сборнике «В плену»¹. Между тем теперь мало кто знает у нас об А. Ульяновском. В этом повинны перед советским читателем и издательства, не включившие в свои планы его сочинений, и критика, обходящая молчанием «забытого» писателя. Не содействовала этому и необычайная авторская скромность Ульяновского. Так, один из его рассказов — «Возвращение» — в 1924 году получил первую премию на всесоюзном конкурсе. У представителя журнала, где был напечатан этот рассказ, осталась в памяти оригинальная встреча с победителем конкурса: приходит в редакцию более чем скромно одетый гражданин; он читал в газете... очевидно, здесь ошибка, недоразумение, — не может быть, чтобы его произведение вышло на первое место, рассказ самый посредственный.

Мы считаем необходимым поставить перед нашими литературными издательствами вопрос о целесообразности переиздания избранных произведений «о войне и плене» из довольно обширного литературного наследия А. Ульяновского.

¹ «Литературный Ленинград», 1935, № 31.

Литературная борьба вокруг Успенского

Б. КОЗЬМИН



Цикл беллетристическо-публицистических очерков, который Глеб Успенский, работая над собранием своих сочинений, объединил под названием «Из деревенского дневника», первоначально печатался в «Отечественных записках» в 1877—1880 годах под псевдонимом Г. Иванова. Появление этих очерков явилось событием не только литературного, но и общественного значения. О них много писали в газетах и журналах различных направлений. О них велись оживленные дебаты в кружках тогдашней интеллигенции.

Два обстоятельства вызвали и поддерживали усиленный интерес к этим очеркам Успенского: во-первых, в них Успенский впервые взялся за изображение деревенской жизни во всей ее широте и сложности и пытался если не разрешить, то по крайней мере поставить основные вопросы, связанные с бытием русского крестьянина того времени; во-вторых, излагая в этих очерках наблюдения, сделанные им в деревне, Успенский рисовал такие явления и отмечал такие бытовые черты, которые шли в разрез с обычным представлением о деревне, сложившимся и безраздельно царившим в среде интеллигенции того времени.

Интерес к проблеме деревни и город, или, другими словами, к вопросу о роли капитализма в русской жизни, особенно возрос в Успенском после двух его заграничных поездок (1871 и 1875—1876 гг.), когда он получил возможность воочию познакомиться с капи-

талистической культурой и ее темными сторонами. Прусская военщина, торжествующая после разгрома Франции Наполеона III, тяжелое положение рабочих в Бельгии, жестокая расправа версальских палачей со своими жертвами — побежденными и захваченными в плен участниками Парижской Коммуны, ярко развернувшаяся картина классовых противоречий с безумной роскошью и богатством, с одной стороны, и полуголодным существованием, с другой, которую Успенский наблюдал в Лондоне, — все это глубоко запечатлелось в его болезненно-восприимчивой душе и отразилось в его произведениях («Большая совесть» и др.). Где лучше: у нас, в России, или на Западе? — спрашивал себя Успенский и мучительно колебался, не находя окончательного ответа на этот вопрос.

«Рыбе тесно только в садке (Белибей), а не в реке (Лондон), — писал он в 1875 г. — Я знаю, что в реке ходит щука и ест карася... Знаю я это и содрогаюсь перед простотой рокового закона, но предпочитать этому ужасному естественному закону белибеевское благополучие рыбного садка не могу».

Слишком свежи были еще у Успенского впечатления от убожества, некультурности, азиатчины и бесправия русской жизни, чтобы он решился отдать ей предпочтение перед западной. Однако, «голая правда борьбы за существование», страшная «своей наготой», безумно пугала Успенского, и под влиянием этого ему начинало казаться, что «у нас на русской земле она не так беспощад-

на, что у нас есть народ, который любит действовать не в одиночку, а «всем миром». В результате Успенский приходил к выводу, что «еще достаточно не известно, где скрывается настоящая-то сила, — в той курной русской избе, где хохочут и острят за обедом, состоящим из одних огурцов, или в хоромах, откуда бегут, куда глаза глядят, да еще иной раз прямо завидуют мужику... Я рад был вернуться домой» — заключает Успенский свои размышления о России и Западе¹.

Мысль о том, что спасение надо искать у мужика, в деревне, «в курной русской избе», достаточно отчетливо выражена в этих словах. Ту же мысль можно найти и в других произведениях Успенского, относящихся к тому же приблизительно времени. Так, например, в рассказе «На старом пепелище», обрисовав духовный кризис провинциальной интеллигенции, Успенский умозаключает: «Червоточина состояла именно в оторванности от правды народной, оторванности от совокупности условий, в которых можно и должно жить русскому народу». Иногда эта мысль о спасительности «народной правды» выливается у Успенского в такой приторно-слащавой, аляповатой форме, которую странно встретить на страницах его произведений. В очерке «Неплательщики», ярко изобразив убожество, беспочвенность и бессодержательность умственной жизни среднего интеллигента, Успенский раздражается следующей патетической тирадой:

«Распоясовец! Мужик! Дай ты этим ребятишкам, этим подрастающим неплательщикам, дай ты им своих сказочек, своих деревенских песенок! Повесели ты их цветочками и зверочками, и зайками. Пошутки, побалуйся с ними! Ведь они чахнут в этом воздухе неискренности, утайки, неправды, а главное — в этой дорогой пустоте! Спаси их твоею простою правдою, дай дохнуть свежего, здорового воздуха, услышать прямое слово — ведь они будут глубоко несчастны и глу-

боко гадки без тебя, без твоего правдивого и горького опыта, без твоей искренней, забывающей худое шутки».

При чтении этой тирады можно подумать, что она вышла из-под пера какого-нибудь ортодоксального народника, твердо верящего в святость деревенской жизни.

Вопрос о том, был ли Успенский народником в полном смысле этого слова, и если был, то всегда ли или в какие-либо отдельные периоды своей литературной деятельности, как известно, вызывал большие споры.

Когда-то Н. К. Михайловский во вступительной статье к собранию сочинений Успенского безоговорочно зачислял этого писателя в лагерь народников.

Действительно, нельзя отрицать того, что Успенский испытал сильное влияние со стороны народничества и особенно самого Михайловского, но это влияние сказалось на нем ярче всего в определенный период его жизни и творчества — в первой половине 80-х годов. В произведениях, относящихся к этому времени, мы находим совершенно ясные и очевидные отражения идей Михайловского. Можно ли сказать то же самое о предшествующем периоде, о времени, когда Успенский создавал свои очерки «Из деревенского дневника»?

В двух его рассказах, «Злые новости» и «Книжка чеков», затронута проблема о роли капитализма и о вторжении его в жизнь деревни.

Рассказ «Злые новости», опубликованный в «Отечественных записках» в 1875 г. и, кстати сказать, не включенный Успенским в собрание его сочинений, свидетельствует с полной ясностью, что отношение Успенского к капитализму во время написания этого рассказа не вполне еще определилось.

В «Злых новостях» Успенский повествует о судьбе нетронутого еще «цивилизацией» села. По реке, на берегу которой расположено это село, началось судоходство, и один из пароходов пристал к берегу. Была устроена пристань. Появился отсутствовавший ранее спос-

¹ Из памятной книжки. 1. Там знают. — «Русские ведомости» 1875 г. №№ 276 и 277.

на труд. В село пришли деньги. Весь характер жизни его обитателей коренным образом изменился. Прежние патриархальные отношения сменились новыми, основанными на купле и продаже. Натуральное хозяйство стало уступать место денежному.

Успенскому, несомненно, очень жаль прошлого, исчезающего под давлением проникающего в деревню капитализма. Уже самое название рассказа показывает, что новшества, принесенные в глухое село парходом, и изменения в житейских отношениях, произошедшие после его прихода, были в глазах Успенского «злыми новостями». Однако, наряду с этим, Успенский отмечает, что появление спроса на крестьянский труд и открывшаяся, вследствие этого, возможность зашибить деньгу привели к росту материального благосостояния населения села. Но этого мало, Успенский констатирует и другое, гораздо более важное, последствие появления в деревне денег. Вслед за ними «пришла мысль, пришла потребность думать». Если раньше голова мужика была занята одной, — только одной, — мыслью: «как быть сытым», если под влиянием этого в его голове царил «нравственный хаос», то теперь этот «умственный мрак» осветила едва заметная звездочка — мысль, явившаяся в массе, в толпе, благодаря тому, что новые роды труда дали ей возможность иметь три часа досуга в сутки, а главное, благодаря тому, что эти новые роды труда познакомили ее с состоянием человека, который так ли, сляк ли, а — «сыт».

Как видим, в 1875 г., когда Успенский писал «Злые новости», он был еще очень далек от того безоговорочного осуждения капитализма, к которому он пришел впоследствии.

Гораздо более резкое отношение к «власти денег» находим мы в опубликованном в 1876 г. рассказе «Книжка чеков». Однако, как уже отметил В. В. Буш, в журнальном тексте этого рассказа имелась одна весьма характерная фраза, впоследствии удаленная Гл. Успенским. Говоря о предпринимателе, порабощающем при помощи своих

капиталов деревню, Успенский отмечал, что Иван Кузьмич «делал народу добро» «Позднейшее определенно отрицательное отношение к капитализму, — писал Буш, — заставило Успенского уничтожить вначале вполне серьезно написанную мысль о добре, впитанном книжкой чеков»¹. Однако, и позднейший текст этого рассказа сохранил в себе некоторые места, свидетельствующие, что мысль о благотельном влиянии проникающего в деревню капитала не была еще вполне отвергнута Успенским. Рассказав о том, как Иван Кузьмич «проглатывает» многолетний труд природы и человека, Успенский добавляет: «но условия жизни глухих мест бывают иной раз таковы, что и такая система действия, такая голая купля готового добра, такое бесследное уничтожение естественных и трудовых богатств могут поистине считаться благодеяниями, и Иван Кузьмич — благодетелем».

Полагаем, что в связи с изложенным выше эта фраза свидетельствует, что в эпоху, предшествовавшую написанию очерков «Из деревенского дневника», у Успенского не было окончательно определившегося мнения относительно роли капитала. При таких условиях нельзя, конечно, говорить и о наличии у него сформировавшегося народнического миросозерцания.

Это заключение вполне подтверждается и его автобиографией. Объясняя свое переселение в деревню, Успенский между прочим пишет: «Мне нужно было знать источник всей этой хитроумной механики народной жизни, о которой я не мог доискаться никакого простого слова и нигде». Из этих слов совершенно ясно, что до этого времени «механика народной жизни» была Успенскому незнакома, и он не имел относительно деревни вполне определившегося мнения.

Однако, если Успенский в 70-х годах безусловно не был вполне оформленным народником, влияние, оказываемое на него уже в эту пору со сто-

¹ В. В. Буш. «Глеб Успенский. В мастерской художника слова». Саратов, 1925, стр. 118—120; ср. его же «Литературная деятельность Гл. Успенского», 1927 г., стр. 57.

роны народничества, стоит вне сомнений. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить ряд приведенных выше его высказываний. Аналогичные высказывания можно найти и в очерках «Из деревенского дневника». Чисто по-народнически звучит, например, выраженное Успенским убеждение, что «истинный крестьянин» не умеет «ни хитрить, ни лукавить, ни обманывать», ибо земледельческий труд «ничему такому не учит». Влияние народнических идей сказывается и в уверенности Успенского, что крестьянский мир и общинный порядок землепользования проникнуты «правдивостью имущественных отношений», нарушаемой проникновением в деревню денег и печальной необходимостью, заставляющей крестьян из-за недостаточности доходов от земли искать дополнительного заработка, не связанного с земледельческим трудом. Характерным для народнической интеллигенции 70-х годов является также и то чувство личного стыда, которое испытывает Успенский, когда ему приходится наблюдать и изображать темные стороны деревенской жизни, — чувство стыда, порождающее в нем «тоску, доходившую до физической боли».

Тем не менее, несмотря на влияние народнических идей, Успенский сумел дать в очерках «Из деревенского дневника» глубоко реалистическое изображение крестьянской жизни. Чрезвычайная правдивость, которой проникнуты эти очерки, привела к тому, что Успенский оказался способным разглядеть в деревне не то, что ему хотелось найти в ней, и не то, что он ожидал встретить там, основываясь на господствующей в интеллигентской среде того времени представлении о деревне, а то, что в ней происходило в действительности и что, по признанию самого Успенского, разрушало все его «фантазии» относительно деревенской жизни и ломало все «вычитанные» соображения и взгляды на эту жизнь.

Плеханов был прав, когда писал об Успенском:

«Пытливая мысль этого замечательного человека разлагала одно за дру-

гим все главные положения народничества и подготавливала почву для совершенно иных взглядов на нашу народную жизнь¹.

Чтобы понять «механику народной жизни», Успенскому было необходимо воочию познакомиться с деревней. Он надеялся, что это знакомство положит конец всем сомнениям и колебаниям, мучившим его. А эти сомнения были тем сильнее, что в городе он не видел никакой общественной силы, которая была бы способна взять на себя тяжелую задачу переустройства русской жизни и уничтожения «дрижимки», лежавшей в основе всех общественно-политических отношений того времени. Воспитавшийся на сочинениях Чернышевского, Добролюбова и Писарева, Успенский был глубоко уверен, что от высших классов общества ждать обновления русской жизни не приходится, что они заинтересованы в поддержании, а не в изменении существующих порядков. Наблюдая и изображая в своих произведениях жизнь различных слоев городской бедноты, Успенский убедился также и в том, что эта беднота знает только одну заботу — заботу о куске насущного хлеба, что условия ее существования настолько тяжелы, а сама она настолько подавлена и забита, что неспособна даже и мечтать о какой-либо борьбе за свои интересы. Не больше надежд можно было возлагать и на тогдашнюю интеллигенцию. Убогая в умственном отношении жизнь интеллигентской обывательской массы стала внушать отвращение Успенскому. «В России можно жить только в деревне. Это цивилизованное общество — скука ужасная» — писал он в одном из своих писем к жене. Существовал еще один класс городского населения — фабрично-заводский пролетариат, но он в то время был еще настолько слаб и неразвит, что Успенский не мог предвидеть его будущей революционной роли.

Оставалось крестьянство. Но для того, чтобы выяснить его историческую роль, необходимо было, прежде всего,

¹ Соч., т. X, стр. 116.

ознакомиться с ним. Успенский отчетливо сознавал свою «личную отчужденность от деревни», и это сознание породило в нем стремление «узнать, что в ней есть, чего она хочет, о чем думает и вообще что она такое». Несмотря на то, что народническая интеллигенция все свои планы и надежды связывала с деревней, она в массе своей имела весьма смутные представления о крестьянстве. Ее взгляды на крестьянство были гораздо более делом веры, нежели строго проверенного и обдуманного убеждения. Наиболее искренние из представителей тогдашней интеллигенции не могли не сознаться в этом. Мужик во многом еще оставался загадкой для верующего в него интеллигента-народника.

Сознание недостаточного знакомства с деревней было одной из причин, породивших в 70-е годы так называемое «хождение в народ». И не случайно, как ясно из изложенного выше, Глеб Успенский оказался, по его собственному ироническому выражению, в рядах «господ», двинувшихся «в об'ятия мужиков».

Отправляясь в деревню, Успенский ожидал найти ее именно такой, какой она представлялась народникам. Однако ознакомление с деревенской жизнью не замедлило убедить Успенского в том, насколько расходятся народнические представления о деревне и крестьянстве с действительностью, и это не могло не отразиться на его очерках.

Народники рассматривали крестьянство, как нечто однородное в социальном отношении, проникнутое началами братства и солидарности, они закрывали глаза на классовую дифференциацию, происходившую в деревне, и, хорошо зная о существовании деревенского кулачества, смотрели на него не как на социально закономерное явление, порожденное условиями, в которых находилась современная им деревня, а как на аномалию, вызванную случайными причинами, как на болезнь, легко излечимую при принятии соответствующих предохранительных мер.

Успенский же был выужден конста-

тировать, что в деревне существуют две «довольно ясно обозначенные» группы: «состоятельные и слабые», или, другими словами, что среди крестьян образовалась «деревенская аристократия», держащая в своих руках волостную администрацию и волостной суд, при помощи которых она укрепляла свое влияние на всю жизнь деревни и закабаляла менее обеспеченных односельчан. «Народная масса, — писал Успенский, — поминутно выделяет из себя массу хищников, кулаков, мироедов, возводящих разграбление своего брата-крестьянина до степени промышленности, торгового предприятия — вроде, например, торговли шерстью». При таких условиях, отмечал Успенский, «над каждым крестьянским домом, над каждым человеком, живущим в деревне, тяготеет нравственное одиночество». Пресловутая «мирская солидарность», якобы свойственная, по мнению народников, русскому крестьянству, оказывалась мифом. «Фиктивно соединенные в общество круговой порукой при исполнении многочисленных общественных обязанностей, они, — не как общинники и государственные работники, а просто как люди, — предоставлены каждый сам себе, каждый отвечает сам за себя, каждый сам за себя страдает, справляйся — если можешь, если не можешь — пропадай». «Взаимная рознь членов деревенского общества, — констатировал в другом месте своих очерков Успенский, — достигла почти опасных размеров».

Народники рассматривали крестьянскую общину, как надежную гарантию, обеспечивающую Россию от торжества в ней капитализма. Они верили в то, что общинное устройство закрывает путь для проникновения в деревню капиталистических отношений и препятствует развитию в России пролетариата.

Успенский же, наблюдая деревню, убедился, что деньги и денежные отношения начинают играть все большую роль в жизни крестьянина. С грустью признается он в том, что «настоятельные стремления к кушу» и «поклонение пачке денег без разбора средств, какими дается она», обуевают почти

поголовно все крестьянство. Стремление к наживе «во что бы то ни стало» ярко проявляется среди крестьян, готовых оправдывать любые средства размножения состояния, лишь бы они приводили к цели. «Сначала деньги, а потом уж разберем, в чем дело, в чем вся суть!» — таков лозунг современной Успенскому деревни. «У старухи-то два дома, видишь ты это, да деньги» — говорит волостной писарь, оправдывая учителя, из-за денег женившегося на старухе. «А еще вот Михайла Петров, — продолжает рассуждать тот же писарь. — Это разве не умный человек? От отца отошел с пятиалтынным, а теперь вот через шесть лет дом двухэтажный, пять лошадей; поди, не одна сотня». В ответ на это его собеседник указывает, что богатство Михайлы Петрова имеет особый источник: «жену продал барину». «Да хоть и продал, что ж такое! — отвечает писарь. — Отчего ж, ежели, например, на время, а через это можно на ноги стать?». Счастье, привалившее Михайле Петрову, отмечает Успенский, вызывало и зависть, и почтение со стороны всех односельчан. «Вся деревня знала, что они с женой пошли в ход с нехорошего; но это самое уменье, это знание, «как пойти», как повернуть делами, — это-то и побеждало всех. Все сознавали, что хоть и худо, а умно, ловко».

Учитывая возрастающую роль денег в деревне, Успенский зло иронизировал над людьми, мечтающими спасти Россию от проникновения в нее капиталистических отношений. «Измученному обществу, — писал он, — пришла мысль остановить маховое колесо европейских порядков, увлекавшее нас на ненавистный путь всяческой неправды, — нас, которые не хотят ее, которые хотят по чести, по совести, и все такое. И вот в спицы этого колеса стали засовывать разные препятствия, оказавшиеся, впрочем, весьма ненадежными: колесо продолжало размахивать, вышвыривая те, большею частью бумажные, препятствия, которыми хотели его остановить. Колесо продолжало вертеться, как бы говоря при этом: «все это

вздор; пролетариат у тебя и есть, и будет в большом количестве».

Народники, идеализировавшие крестьянскую общину, полагали, что она основана на началах равенства всех ее членов и что, благодаря ее существованию, каждый крестьянин, имеющий равное с другими право на пользование известным участком общинной земли, тем самым обеспечен от нищеты и обезземеливания. Они, говоря словами Успенского, были уверены, что «общинное дружное хозяйство — не только спасение от нищеты, а есть единственная форма, могущая обеспечить всеобщее благосостояние».

На ряде фактов Успенский показывал, насколько далек от действительности такой взгляд на общину. Приводимые им примеры свидетельствовали, что «общинное пользование землею в настоящих условиях вовсе не избавляет члена общины от голодной смерти». Вот, например, семья, состоящая из старухи с дочерью и внучкой; не имея работника, члены этой семьи не считаются в числе «душ», между которыми распределяется общинная земля, и «все трое не участвуют ни в лесах, ни в водах, ни в землях, а мерзнут от холода и побираются христовым именем». Или другой пример: в семье, состоящей из шести человек, — один работник, как представитель «души»; он умирает, и семья становится «бездушной», т.е. лишается участка земли, являющегося для нее единственным источником пропитания. Несмотря на происходящие время от времени переделы общинной земли, среди членов общины оказываются люди, не получившие на свою долю участка и в силу этого вынужденные вести нищенскую жизнь или становиться преступниками. Других выходов для них нет. Положение ухудшается еще более вследствие существования в деревне «аристократии». «Аристократия, — свидетельствует Успенский, — делает то, что многие из признанных за души принуждены уступить свои владения богатеям, причем иной властвует наделами пяти-шести человек». Все это убедило Успенского в том, насколько далеки от понимания дей-

ствительного положения современной деревни «люди, идеализирующие прочность деревенской общины».

Народники утверждали, что крестьянство в нравственном отношении стоит гораздо выше так-называемого цивилизованного общества, проникнутого «индивидуализмом и себялюбием». Они полагали, что общинный строй воспитывает в крестьянах начала альтруизма, солидарности и преданности общему делу.

Успенский же, пораженный, как мы уже говорили, отсутствием нравственной связи между членами общины и изолированностью, в которой находятся отдельные крестьянские семьи, приводил в своих очерках ряд фактов, шедших в разрез с традиционным народническим представлением о крестьянах. Учитывая эти факты, он приходил к выводу, что «недонимка» существует не только в крестьянских карманах, но и в их душе и уме.

Такое глубокое расхождение между народническими представлениями о деревне и наблюдениями Успенского способствовало тому интересу, с которым читатели встретили его деревенские очерки. Этим же объяснялась и горячая полемика, разгоревшаяся в тогдашней прессе вокруг этих очерков, и вызванные ими яростные нападки на Успенского со стороны правоверных народников.

Все явления, отмеченные Успенским в его очерках, настолько расходились с традиционными народническими представлениями о народе и крестьянстве и настолько подрывали доктрину народничества, что не могли не смутить читателей и не вызвать протеста с их стороны. Мнение подавляющего большинства читателей было неблагоприятно для Успенского. Его обвиняли в непонимании крестьянской жизни, в односторонности, в сгущении темных красок и в игнорировании «светлых» сторон крестьянской жизни. Некоторые же доходили до того, что бросали Успенскому упрек в измене прежним убеждениям. Все эти обвинения и упреки нашли себе яркое отражение в прессе того времени. Особенное негодование на

Успенского высказывалось той частью прессы, которая принадлежала к народническому лагерю, и в частности газетой «Неделя». Эта газета была органом «оптимистического» народничества, противопоставлявшего себя тому народничеству, главным теоретиком которого считался Н. К. Михайловский. Отнюдь не расходясь друг с другом в основных пунктах мирозерцания, публицисты «Недели», с одной стороны, и Михайловский, с другой, давали различные ответы на вопрос об отношении интеллигенции к деревне и неодинаково расценивали умственный и нравственный уровень русского крестьянства.

Рассматривая крестьянскую общину, как «палладиум, на котором написано: сим победиши!» (выражение одного из теоретиков «Недели», П. П. Червинского), и видя в ее существовании гарантию невозможности победы капитализма в России, публицисты «Недели» находили, что общинный строй кладет яркий отпечаток на весь умственный и нравственный склад русского крестьянства. В их глазах община являлась живым олицетворением принципа солидарности и нравственной связи в противоположность «принципу крайнего индивидуализма и нравственной разобщенности, выразителем которой был и есть европейский город». Только при общинном строе «могут питаться и развернуться лучшие симпатические стороны человеческой природы». В результате этого «у простых людей нравственные задатки, инстинкты и здоровее и чище», чем у интеллигенции. Отсюда практическая задача, стоящая перед интеллигенцией, — сблизиться с народом и познакомиться с ним «той чуткостью к правде, к добру, тем любвеобильным сердцем, которым так богата серая, невежественная, неотесанная деревня»¹.

¹ Цитаты заимствованы из статей П. П. Червинского «Наша национальная особенность» и «Отчего безжизненна наша литература», напечатанных в №№ 31 и 44 «Недели» за 1875 г. Подробнее о «Неделе» и Червинском см. — Б. Козьмин. «От 19 января к 1 марта». М. 1933; стр. 159—213.

Из краткой характеристики, только что данной направлению «Недели», ясно, что деревенские наблюдения Успенского били в первую очередь по тому наивному и сентиментальному народничеству, которого придерживалась эта газета. Естественно поэтому, что со стороны именно ее и посыпались на Успенского самые резкие нападки. «Неделя» посвятила очеркам Успенского целый ряд статей. Против него выступали и сам редактор «Недели» П. А. Гайдебуров, и видный теоретик оптимистического народничества Юзов-Каблиц, и молодой земледелец Г. В. Плеханов и др. П. А. Гайдебуров отмечал «убийственное» впечатление, производимое очерками Успенского. От них, по его словам, веет «таким могильным смрадом, словно присутствуешь на похоронах и слушаешь «вечную память». В результате — очерки Успенского «не могут дать читателю даже приблизительного понятия о современной деревне»¹. Юзов в статье «Либерал о сером мужике» относил Успенского к числу людей, рассматривающих мужика только как податную единицу, как материал, годный идти в солдаты, на фабрики и заводы, и полагающих, что без вмешательства интеллигенции мужики перемерут от голода и холода и перегрызут друг другу горло. Успенский, по мнению Юзова, ничем не отличается от станowych приставов, давно знающих, что «наш народец — подлец»². Обвинение в незнании и непонимании крестьянской жизни бросал Успенскому и Плеханов, ставивший ему в пример Златовратского, сумевшего найти в крестьянине «большую чуткость непосредственного чувства», чем среди интеллигентов³. Не смущали критиков «Недели» и те факты, которыми Успенский подтверждал, что существование общинного землепользования далеко не всегда гарантирует крестьянину получение участка земли и, следовательно, куска хлеба. Успенский указывал, что в современной деревне крестьянская

семья, утратившая работника, вместе с этим утрачивает и возможность пользоваться числившимся за нею участком общинной земли. Анонимный автор статьи «Из журналов и книг», напечатанной в № 40 «Недели» за 1878 г., — повидимому, тот же Юзов, — возражал на это Успенскому, что земля отнимается у такого семейства «только на время» и что, «когда оно поправится настолько, что сможет заняться обработкой доли общинной земли, — земля к ее услугам»¹. Очевидно, автор этой статьи даже не представлял себе, насколько трудно безземельной крестьянской семье «поправиться».

Аналогичные упреки делались Гл. Успенскому и другими народниками. Так, например, его товарищ по «Отечественным запискам» А. М. Скабичевский выступил на столбах «Биржевых ведомостей» с рядом статей, в которых обвинял Успенского в предвзятом пессимизме и в том, что он подходит к народу как «барин», «неспособный отрешиться от взгляда на низшие слои населения, как на la canaille»². «Искренним ренегатом», отступившим от своих прежних убеждений из-за неумения логически мыслить, называл Успенского другой литературный критик, С. А. Венгеров, находившийся в то время под сильным влиянием народничества. По его мнению, Успенский в своих очерках наговорил о крестьянах много такого, чему место разве только на страницах реакционной прессы³.

В либеральной прессе, приветствовавшей развитие капиталистических отношений в стране, очерки Успенского нашли положительную оценку. Рисуемая Успенским картина разложения «устоев» крестьянской жизни под влиянием проникающего в деревню капитализма не пугала либеральных критиков, считавших большим шагом вперед перенесе-

¹ «Неделя», 1878 г., № 40, стр. 1314—1316.

² Заурядный читатель. «Мысли по поводу текущей литературы» — «Биржевые ведомости», 1877 г., № 281; 1878 г., №№ 262 и 332.

³ С. В. В. ди. Литературные очерки. «Русский мир», 1878 г., № 336, Сравн. его же статью «На смену» в № 1 журнала «Слово» за 1880 г.

¹ Литературно-житейские заметки. — «Неделя», 1877 г., № 46, стр. 1553—1556.

² «Неделя», 1878 г., № 9, стр. 283—287.

³ «Об чем спор?» — «Неделя», 1878 г., № 52.

ние в Россию буржуазных порядков Запада. Либеральный критик Е. И. Утин на страницах «Вестника Европы» решительно возражал тем, кто обвинял Успенского в искажении деревенской жизни и в клевете на крестьян, и высказывал убеждение, что изображаемые Успенским «уродливости», являясь результатом тяжелых исторических условий жизни крестьянства, должны исчезнуть с изменением русских политических порядков¹. Приблизительно так же отнеслись к очеркам Успенского В. В. Чуйко в «Новостях», Арсений Введенский в «Стране» и уже в то время эволюционировавший к либерализму народник М. А. Протопопов². Все они отмечали правдивость и искренность деревенских наблюдений Успенского и его несомненное сочувствие нуждам народа.

Отзывы реакционной прессы об очерках Успенского во многом совпадали с оценкой, данной им публицистами «Недели». Аксаковская «Русь» утверждала, что «народ, каким его изображает Гл. Успенский, может возбудить отвращение, досаду, презрение, негодование, все, что хотите, только не любовь». Реальный народ, по мнению «Руси», не имеет ничего общего с тем народом, которого изображает Успенский³. Как клевету на крестьянство, рассматривал очерки Успенского и В. Буренин на столбцах «Нового времени». По его мнению, эти очерки — «одно только сочинительство на подкладке дворянского либерализма». Успенский относится к крестьянству с презрением либерального барина. Он задается целью изображать исключительно «мрачные, гнетущие» стороны жизни

народа и игнорирует «непосредственную душевную мощь и доброту, душевную красоту» русского мужика. Очерки Успенского — результат его непонимания крестьянской жизни, с одной стороны, и предвзятого подхода к деревне, с другой¹.

Среди критиков, злобно нападавших на очерки Успенского, были люди различных политических направлений: от народников, близких к революционному подполью, до реакционеров-националистов типа Буренина. Несмотря на расхождение в убеждениях, в упреках, которые они бросали Успенскому, было не мало сходного и даже общего (поверхностное знакомство с деревенской жизнью, «барское» отношение к народу, непонимание самой сущности народной души). Все эти упреки раздавались одновременно с двух сторон: и от Юзова, и от Буренина. Такой кажущийся парадокс находит себе очень простое объяснение: идеи народничества в том виде, в каком их проповедывала «Неделя», при их логическом развитии неизбежно должны были привести сторонников их в лагерь реакционного национализма. Судьба Юзова, проделавшего как-раз именно такой путь, — не случайность, а вполне закономерное явление.

Упреки и обвинения, вызванные очерками Успенского, болезненно воспринимались их автором и побуждали его выступить с ответом и пояснениями своей точки зрения на крестьянство. Это он сделал в № 12 «Отечественных записок» за 1877 год, где в очередном очерке, посвященном своим деревенским наблюдениям, он отвел два специальных раздела полемике со своими оппонентами. Их взгляд на деревню Успенский называл «неправдышным». Он обвинял их в «слащавом, чтобы не сказать слюнявом, отношении к народу». Превозносился народ, «строю ему глазки», они забывали о реальных условиях, в которых народу приходится существовать, и о том сплошном горе, каким является жизнь народа.

¹ Е. И. Утин. «Из литературы и жизни», т. I. СПб. 1896; стр. 135—136.

² В. Ч. «Литературная хроника». — «Новости», 1877 г., № 281; А. Лугов (А. Введенский). «Литературный отдел». — «Страна», 1880 г., № 20; А. Введенский. «Литературные характеристики. Гл. Успенский и Н. Златовратский». — «Слово», 1880 г., № 7; А. Горшков (М. А. Протопопов). «Русская журналистика». — «Русская правда», 1878 г., № 4.

³ Наши журналы. — «Русь», 1882 г., № 3, стр. 22.

¹ Литературные очерки. — «Новое время», 1877 г., № 599; 1878 г., №№ 695, 776 и 1006.

Естественно, что этот ответ Успенского его оппонентам не убедил последних и привел лишь к тому, что полемика, вызванная деревенскими очерками Успенского, вспыхнула с новой силой.

Как же отнестся к очеркам Успенского и к полемике, возбужденной ими, тот журнал, в котором они печатались? Тема — Успенский и «Отечественные записки» заслуживает особого внимания, ибо освещение ее помогает точнее разрешить проблему об отношении Успенского к народничеству.

Но раньше необходимо остановиться на одном из постоянных сотрудников «Отечественных записок», беллетристе Н. Н. Златовратском, которого оппоненты Успенского постоянно противопоставляли ему в качестве действительного знатока жизни деревни, умевшего, в отличие от Успенского, понять и оценить подлинную душу крестьян.

Златовратский не мог не чувствовать себя задетым очерками Успенского, так как он в своих произведениях, посвященных деревне, давал яркую идеализацию деревенской жизни и ее «устоев». Естественно поэтому, что он счел нужным выступить против Успенского.

В. В. Буш указывал уже на то, что «Деревенские будни» Златовратского, печатавшиеся в 1879 г. в «Отечественных записках», были полемически заострены против Успенского. В подтверждение этого Буш ссылался на озлобленные тирады Златовратского о «свежих людях», имеющих смелость без достаточной подготовки судить о деревне и вследствие этого неспособных видеть положительные стороны крестьянской жизни»¹. Это предположение Буша представляется вполне правильным, и в подтверждение его можно привести еще более убедительные доказательства, чем те, которые приводит сам Буш.

Сугубая полемическая заостренность ярко бросается в глаза при чтении «Деревенских будней». Подчеркивает ли Златовратский значение крестьянской общины, как «представительницы принципа труда и экономического равен-

ства», самым фактом своего существования свидетельствующей о живучести, устойчивости и прочности «излюбленных исконных идеалов деревни», — он несомненно имеет в виду Гл. Успенского, недооценивающего, по мнению Златовратского, значение этих идеалов. Об Успенском же Златовратский думает и тогда, когда он бросает «свежим наблюдателям» упрек в игнорировании «сознательной, пытливей мысли», проявляющейся, по мнению Златовратского, на крестьянских сходах. И тогда, когда Златовратский с негодованием обрушивается на людей, считающих возможным издеваться над «скрупулезностью общинной справедливости» при переделах земли, он, как ясно всякому, знакомому с очерками Успенского, точно так же имеет в виду именно эти очерки.

Но и этого мало. В «Деревенских буднях» имеется еще более показательное, с интересующей нас точки зрения, место. В 5-й главе Златовратский с иронией и негодованием говорит об «интеллигентных наблюдателях», утверждающих, что принятая в деревне система распределения общинной земли при переделах недоступна по своей сложности пониманию рядового крестьянина без помощи «фантастически идеального старосты Ивана Васильева». «Не будь этого... Ивана Васильева, — пишет Златовратский, — субъекта очень редкого... среди крестьян, как утверждают эти интеллигентные наблюдатели, который один, будто бы, умеет делать переделы, умеет раскладывать подати, умеет вообще руководить ходом крестьянской общинной жизни, — не будь его, этого великолепного старосты Ивана Васильева, и община крестьянская представляла бы стадо, более глупое, бессмысленное и стихийное, чем стадо баранов». «Что всего удивительнее, — добавляет при этом Златовратский, — тип этот изобрела фантазия людей, очень развитых и очень добросовестных, но, очевидно, чем-то чересчур увлекающихся»¹.

¹ В. В. Буш. «Литературная деятельность Гл. Успенского», стр. 174—176.

¹ «Отечественные записки» 1879 г., № 4, стр. 498. — Подчеркнуто всюду самим Златовратским.

Читатель «Деревенских будней» с удивлением останавливается на этом месте и на неизвестно откуда взявшемся Иване Васильеве, о котором ранее в «Деревенских буднях» ни слова не говорилось. И лишь тот, кто хорошо помнит деревенские очерки Успенского, сообразит, что этот загадочный персонаж заимствован Златовратским у Успенского, который в одном из своих очерков рассказывает о «мирском хорошем человеке Иване Васильеве» и описывает, как он руководит переделом общинной земли.

Златовратского возмутило, что Успенский считает Ивана Васильева человеком, без которого крестьяне могли бы запутаться при переделе.

Таким образом, Златовратский, хотя и не упоминал фамилии Успенского, открыто полемизировал с ним.

Как же могла такая полемика против Успенского появиться в том самом журнале, в котором он печатал свои деревенские очерки?

Ответ на этот вопрос будет ясен, когда мы познакоимся с отношением «Отечественных записок» к этим очеркам.

Когда публицисты «Недели» напали на Успенского, редакция «Отечественных записок» в лице Михайловского выступила на защиту этого «чрезвычайно талантливого», по словам Михайловского, автора, обладающего «сильной творческой способностью».

В «Литературных заметках», напечатанных в № 3 «Отечественных записок» за 1878 г., Михайловский нападал на «Неделю» за ее отношение к деревне, в котором он не находил ничего другого, кроме «фразистости, осложняющейся еще вдобавок национальным самовальством».

«Прежде всего, — писал Михайловский, — представляется вопрос: если народ в самом деле всегда, везде и во всех своих действиях, чувствах и помышлениях так хорош, то, значит, века бесправия, рабства и нищеты прошли для него даром, не положив на него пятна и порока, а, чего доброго, даже способствовали его, у лучшему. Тогда из-за чего же хлопотать и биться? Из-

за чего же жить на этом свете, где рабство людей не портит?...»¹.

В следующем номере «Отечественных записок» Михайловский вновь возвратился к вопросу об очерках Успенского.

Он указывал, что «Неделя» совершенно неосновательно приписывает Успенскому мысль о необходимости вмешательства в крестьянскую жизнь «просвещенных администраторов», и усиленно подчеркивал, что «все наблюдения г. Иванова относятся к одной определенной местности», почему им нельзя придавать общее значение².

Если Михайловский счел необходимым выступить на защиту Успенского, то это еще не означало, что он и редакция «Отечественных записок» были вполне солидарны с Успенским во всех его выводах и оценках крестьянской жизни. Это и естественно, ибо иначе она не могла бы печатать в своем журнале наряду с очерками Успенского произведения его «антипода» Златовратского.

При таких условиях особый интерес приобретает напечатанная в № 8 «Отечественных записок» за 1878 г. анонимная рецензия на «Бытовые очерки» Н. Златовратского, автор которой должен был установить отношение редакции «Отечественных записок» к вопросу об изображении народной жизни в литературе и, в частности, к проблеме Златовратский — Успенский. Автором этой рецензии был Н. К. Михайловский, сравнительно редко выступавший в качестве рецензента³. Это показывает, что редакция придавала указанной рецензии особенное значение.

Автор рецензии упрекает Златовратского в одностороннем подходе к народной жизни.

«Г. Златовратский, — пишет он, — можно сказать, влюблен в народ и, как все влюбленные, он не может и не хочет видеть недостатков любимого предмета. Он не преувеличивает хороших

¹ «Отечественные записки», 1878 г., № 3, стр. 157.—166.

² Там же, № 4, стр. 345—346.

³ Рецензия эта перепечатана в X т. собрания сочинений Михайловского, СПб., 1913 г., стр. 865—870.

сторон народа, он не фантазирует, не сходит с почвы реальных фактов, но он видит только казовую сторону предмета и только ее одну тщательно и правдиво описывает... Встречаясь с каким-нибудь некрасивым, даже прямо безобразным фактом, он дает ему такое мягкое, любовное, благодушное освещение, что описываемое им явление совершенно утрачивает в его передаче свой острый вкус, свой горький и тяжелый смысл и представляется читателям чем-то совершенно невинным или незначительным... Можно сказать, что г. Златовратский сделал себе даже специальность из приискивания во что бы то ни стало в жизни народа отрадных и светлых явлений, как это очень рельефно доказывается последнею повестью его «Устой».

Михайловский сознает, что в жизни русского крестьянства имеется не мало темных сторон, являющихся результатом тех тяжелых условий, в которых в течение веков приходилось вести свое существование массе русского народа. Эти темные стороны необходимо изучать не менее внимательно, чем светлые, ибо, только познакомившись с ними, можно избежать как «тенденциозного идеализирования, ведущего к ложному представлению о предмете», так и «фантастических надежд», не имеющих под собою опоры в действительности. Поэтому Михайловского не пугает изображение «нравственных изъянов крестьянства». «Отрицательное» отношение к народу он считает столь же законным, как и «оптимистическое».

Хотя в рецензии Михайловского фамилия Успенского ни разу не упоминалась, несомненно, что именно его и его произведения имел в виду Михайловский, когда писал относительно важности «отрицательного» отношения к народу. С другой стороны, не менее несомненным представляется и то, что, с точки зрения Михайловского, Успенский повинен в такой же — хотя и противоположной — односторонности, как и Златовратский.

Таким образом, защита Успенского со стороны Михайловского имела довольно своеобразный характер. В сущ-

ности, она сводилась к двум пунктам: во-первых, наблюдения Успенского относятся только к отдельным местностям, в силу чего на основании их нельзя делать каких-либо выводов общего характера, имеющих значение для всей России; и, во-вторых, Успенский дает не полное, а одностороннее изображение крестьянской жизни, отмечая исключительно теневые ее стороны. Ясно, что аргументация такого рода вела к снижению общественно-политического значения деревенских наблюдений Успенского. Ясно также и то, что редакция «Отечественных записок», по крайней мере в лице Михайловского, отнюдь не была согласна со всеми наблюдениями и выводами Успенского и печатала его очерки, главным образом, потому, что они были нужны ей для борьбы с крайне идеализаторскими тенденциями, существовавшими тогда среди народничества и находившими свое отражение преимущественно на страницах «Недели».

Наряду с этим необходимо учесть и то, что состав ближайших сотрудников «Отечественных записок» отнюдь не был однородным в идеологическом отношении. Один из руководителей этого журнала, Салтыков, в весьма существенных пунктах расходился с своими товарищами по редакции Михайловским и Елисеевым. Развитие капитализма в России стояло вне сомнений для него и получило яркое отражение в его произведениях. К иллюзиям относительно самобытности России и особых путей ее экономического развития он относился не без скептицизма.

Не было полного единодушия и среди народнического большинства сотрудников «Современника». Правое крыло их по своим взглядам мало чем отличалось от теоретиков «Недели». Представители его верили в «историческую невозможность развития капиталистического производства в России», как это доказывал народнический экономист В. В. в своих статьях о «судьбах капитализма в России», печатавшихся в 1880 г. в «Отечественных записках», и идеализировали, как это делал в своих произведениях Златовратский, «устой»

деревенской жизни. Другая часть со- трудников «Отечественных записок» разделяла точку зрения Михайловского, не решавшегося отрицать зарождение капиталистических отношений в России, но мечтавшего о том, что вмешательство интеллигенции положит предел этому развитию.

Эти идейные расхождения обуславливали возможность одновременного появления на страницах «Отечественных записок» и очерков Успенского, и «Деревенских будней» Златовратского.

Как мы видели, в полемике с «Неделей» Михайловский усиленно подчеркивал, что наблюдения Успенского относятся только к определенной местности и что поэтому делать на основании их какие-либо общие выводы невозможно.

Однако позднейшая критика разошлась в этом отношении с Михайловским, признав, что хотя Успенский и делал свои наблюдения в известной местности, тем не менее сумел отметить и ярко изобразить ряд явлений, характеризующих отнюдь не одну лишь эту местность, а вообще жизнь русского крестьянства 70-х годов. Экономическое и статистическое изучение деревенской жизни и ее порядков принесло блестящее подтверждение ряда сделанных им наблюдений. Плеханов, имея в виду очерки Успенского, однажды заметил: «Произведения наших народников-беллетристов надо изучать так же внимательно, как изучаются статистические исследования о русском народном хозяйстве»¹.

С этим замечанием нельзя не согласиться.

Очерки Успенского — документ не только по истории крестьянства, но и по истории общественной мысли. Документ этот и полемика, им вызванная, ярко характеризуют неспособность как интеллигенции 70-х годов, так и самого Успенского, объяснить реальный смысл изображенных им экономических явлений.

Это, в частности, сказалось как на

первоначальном тексте деревенских очерков, так и на последующих переделках, которым Успенский подвергал их.

В первоначальном тексте было не мало таких выводов, заключений и обобщений автора, неосновательность которых бросалась в глаза каждому читателю и давала богатый материал для оппонентов Успенского. Достаточно вспомнить хотя бы объяснение, данное им трудолюбию и сравнительному благосостоянию крестьян деревни Барской. Оппоненты Успенского не без основания указывали ему, что его рассуждения о роли барщины и о влиянии ее на крестьянский труд весьма напоминают мнение, высказывавшееся по этому вопросу самыми заядлыми крепостниками и их органом, газетою «Весть». С не меньшим основанием они могли бы указать и на то, что малая производительность барщинного труда является фактом, стоящим вне всяких сомнений, получившим широкое признание еще во времена крепостного права и тогда же еще заставившим многих помещиков сделать вывод о необходимости перехода от барщинного к вольнонаемному труду. Все это было настолько общеизвестно и бесспорно, что остается только удивляться, как мог Успенский серьезно высказывать мысль об организующей и дисциплинирующей труд роли барщины.

В очерках Успенского было — и осталось после переделки в собрании сочинений — немало таких легкомысленных и скороспелых заключений. Это открывало его противникам возможность зло нападать на него и в ряде частных случаев чувствовать себя победителями. Однако, в основном победа была не на их стороне, а на стороне Успенского, хотя он и не сознавал в полной мере значения этой победы.

Это непонимание сказалось на той легкости, с которой Успенский пошел на переделку своих очерков при включении их в собрание своих сочинений. Отчасти он делал это под влиянием указаний своих критиков, отчасти же под воздействием Михайловского, уси-

¹ Соч., т. X, стр. 15—16.

ленно тянувшего Успенского в сторону народничества.

Как видим, Успенский вычеркивал из своих очерков как-раз те самые свои выводы и обобщения, которые возмущали Юзовых и Бурениных и которые, с нашей точки зрения, представляются наиболее ценными и правильными. Однако, поскольку факты и наблюдения, на которые опирались эти вычеркнутые обобщения, оставались в неприкосновенности, Успенский не лишал читателей возможности самим восстановить вычеркнутое и сделать за автора те заключения, которых читатели не находили в тексте деревенских очерков, данном в собрании сочинений.

Мы знаем, что в конечном счете история оправдала Успенского от обвинений, которые посыпались на его голову за его очерки, оправдала, установив глубокую жизненную правдивость деревенских наблюдений Успенского и признав, что основные упреки его оппонентов были результатом их собственного непонимания исторического процесса, несомненно развертывавшегося в русской деревне.

В 70-е годы деревенские очерки Успенского не получили правильного истолкования и оценки. Эта задача была выполнена только на страницах марксистской литературы. Начало выполнения ее было положено Г. В. Плехановым.

Он впервые истолковал историческое значение деревенских наблюдений Успенского и показал, что факты, отмеченные в этих наблюдениях, — не ложь и не случайность, а закономерные явления, характеризующие процесс капиталистического перерождения деревенского строя жизни и внутрикрестьянских отношений.

Другой марксист, автор весьма ценной В. И. Лениным книги «Экономическое положение русской деревни»,

И. Гурвич¹, говоря о неспособности народников понять классовый антагонизм, порождаемый капитализмом внутри крестьянства, писал:

«Глеб Успенский одиноко стоял со своим скептицизмом, отвечая иронической улыбкой на общую иллюзию. Со своим превосходным знанием крестьянства, со своим громадным артистическим талантом, проникавшим до самой сути явлений, он не мог не видеть, что индивидуализм сделался основой экономических отношений не только между ростовщиком и должником, но между крестьянами вообще».

Эту цитату из книги Гурвича Ленин приводит в своей работе «Что такое друзья народа», как «очень меткую»². Несомненно, что, говоря об Успенском Гурвич имел в виду, главным образом, его очерки «Из деревенского дневника». Их же имел в виду Ленин, когда он ссылаясь на Успенского (и на автора известных «Писем из деревни» Энгельгардта) в подтверждение того, что русскому общинному крестьянству, как и западно-европейскому, свойственны слабое развитие солидарности и дисциплины, изолированность и «фанатизм собственников»³.

Чрезвычайная правдивость, реальность и точность деревенских наблюдений Успенского объясняют, почему Ленин и другие марксисты пользовались этими наблюдениями в идейной борьбе, которую они вели против своих врагов — народников, и почему деревенские очерки Успенского сохраняют до сих пор не только высокое художественное значение, но и отмеченный нами выше характер чрезвычайно ценного исторического источника.

¹ Книга эта первоначально в 1892 г. была издана в Америке на английском языке; русское же издание ее вышло в 1896 г.

² В. И. Ленин. Сочинения, т. I, 157—158.

³ В. И. Ленин. Сочинения, т. II, стр. 44.

ГЛЕБ УСПЕНСКИЙ. МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Том I. М.—Л. Изд. Академии наук СССР. 1938. VIII + 744 стр. Тир. 10.200 экз.
Ц. 22 руб.

★

I

«Г. И. Успенский неизмеримо больше всех легальных писателей 70-х и 80-х годов оказал влияние на ход нашего революционного движения» — писала подпольная «старая» ленинская «Искра» в некрологе о писателе¹.

Как известно, меньшевистское, буржуазное литературоведение, вслед за самой народнической критикой, огульно причисляло Глеба Успенского к стану народников. В противовес этому критики-большевики, уже издавна воздавая должное его замечательному художественному таланту, вместе с тем отличали его путь от путей ортодоксального народничества. Так, — отмечала далее «Искра» об Успенском, — «мыслитель, сливаясь с художником, на нескольких страницах, иногда в нескольких строках, намечал самые глубокие выводы, сообщая им непосредственную убедительность художественного наблюдения действительности». Наряду с этим, однако, «его деревенские очерки конца 70-х годов, совпадая с личными впечатлениями ходивших в народ революционеров, содействовали крушению первоначального анархически-бунтарского народничества».

Вопреки «прямолинейности» вульгарно-социологической трактовки, большевистская критика подходила к творчеству этого сложного писателя дифференцированно: она стремилась вскрыть его противоречивость, одновременно выясняя в нем и утопичность, и черты прогрессивные. «Сам Успенский, — продолжала первая большевистская газета, — был и остался народником в том смысле, что для него не было типа человека лучше, желаннее крестьянина, живущего при натуральном хозяйстве, но, глубоко правдивый художник и мыслитель, он вечно показывал нам всю невозможность революционной программы, приуроченной к этому типу, и в то же время как нельзя яснее пока-

зывал также и безнадежность мечтаний о сохранении как любимого типа, так и всего старого быта и старых крестьянских учреждений при новых экономических условиях». Мало того, исходя из все той же противоречивости социальной природы Успенского и как бы пытаясь предугадать его последующий трагически сбывавшийся творческий путь, Центральный орган отнюдь не обольщал себя надеждой на приближение писателя к партии: «Если бы Г. Успенский, — читаем здесь же, — присутствовал при возрождении революционного движения под знаменем социал-демократии, он не смог бы, вероятно, стать на нашу сторону. Ему помешала бы безнадежная любовь к исчезающему типу старого крестьянина; но, — вместе с тем подчеркивала газета, — не смог бы он стать и тем нежелающим понимать, безусловно враждебным противником, каким оказались, в большинстве случаев, его бывшие сотрудники журнальной деятельности».

Благодаря этому, произведения Успенского, несмотря на субъективную авторскую ограниченность, объективно играли революционизирующую роль: «Для самого Г. Успенского эти противоречия были безвыходно трагическими. Но для многих из его читателей они расчищали путь к принятию нового революционного мировоззрения, указавшего выход... социал-демократы всегда будут любить и читать Г. И. Успенского, как одного из тех глубоко искренних наблюдателей и мыслителей, которые — где бы ни были их любовь в прошедшем или в будущем — в силу своей великой правдивости помогают все большему и большему выяснению того единственного пути, который идет через социальную революцию пролетариата».

Более того: реалистические картины капитализации деревни, рисуемые Успенским, служили большевикам одним из подспорьев в деле пропаганды: «Первым русским марксистам-революционерам, т.-е. тем марксистам, для которых марксизм был не только научной теорией, а теоретической основой практической программы..., очерки Г. Успенского помогали конкретно выяснить и себе, и другим свою практическую теорию» — заключала «Искра». И под-

¹ «По поводу смерти Г. И. Успенского». «Искра» от 1 мая 1902 г., № 20. Кроме воспроизведения в текстологическом переиздании этого большевистского органа, данная некрологическая заметка никогда не перепечатывалась.

линно: Ленин уже в самых ранних своих сочинениях неоднократно обращается, в частности, к произведению Успенского за яркими иллюстрациями к положениям и выводам революционного марксизма. Так, еще в работе 1894 года «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» он весьма одобительно приводит меткую характеристику Успенского, данную одним из «первых русских марксистов» И. А. Гурвичем¹. В другой ранней своей книге, «Развитие капитализма в России», 1899 года Ленин и сам непосредственно ссылается на Успенского при доказательстве того, что капиталистический «купон безжалостно перерезывал гордого горца из его поэтического национального костюма в костюм европейского лакея»². Точно так же в статье того же года «Капитализм в сельском хозяйстве» Ленин, в подтверждение того, что «фанатизм собственников» констатируется «не только среди западно-европейских крестьян, но... и среди русских «общинных» крестьян», ссылается, наряду с Энгельгардтом, также и на Успенского³.

Наконец, минуя ряд прочих упоминаний, достаточно указать, что и в позднейших своих работах Ленин продолжал цитировать этого же писателя: например, среди «заметок и выписок в первые месяцы империалистической войны» (сентябрь 1914 года) находится пространная выдержка из произведения Успенского «Не воскрес»⁴.

Под этим именно углом зрения и должно быть поставлено правильное — большевистское — исследование литературного наследия Глеба Успенского, подвергнувшегося в течение долгого времени многим искажениям, начиная уже с самого установления текстов писателя. Реальное начало этой сложной подготовительной работе над монументальным изданием сочинений Успенского и положено рецензируемым первым томом «Материалов и исследований».

II

В редакционном предисловии к нему, правда, сказано, что, помимо прямого своего назначения, «сборник в то же время имеет и общее значение: он дает читателю Успенского конкретный материал, до сих пор известный лишь в общих чертах, — о широте кругозора и интересов Г. И. Успенского, об огромном и напряженном его труде, о непомерной тяжести тех условий, в которых боролся писатель художественным словом и пером публициста за благо и интересы народа» (стр. VII). Однако основная задача наложила на рассматриваемую книгу столь определенный отпечаток, что материала в качестве непосредственного чтения для

широкого читателя осталось в ней, естественно, немного.

В соответствии с таким вспомогательным характером данного издания оно составилось из следующих трех групп материалов. Прежде всего, сюда включены неопубликованные тексты Успенского — его очерки, статьи, переписка; далее, здесь помещено несколько работ о нем; наконец, сборник замыкается справочными указателями.

Далеко не все вошедшие в первый из этих разделов «новые тексты Успенского», естественно (именно вследствие служебной задачи книги), являются таковыми в собственном смысле слова. Многие из них представляют собою лишь новые редакции и уже давно известных произведений писателя. Редакции эти, правда, всегда более остры в идейно-политическом смысле и часто более совершенны в литературном отношении; они в свое время не увидели света вопреки авторской воле: ввиду ли прямых цензурных изъятий; или по горькой предупредительности редактора, заранее купировавшего текст во избежание задержки по той же причине очередной книги журнала; либо, наконец, вследствие изменения рукописи по тем же соображениям самим писателем еще в процессе ее обработки в печати.

Разумеется, именно эти первоначальные тексты должны быть положены в основу нового действительно полного собрания сочинений Успенского.

Однако со стороны тематики напечатанные в рассматриваемом сборнике произведения в большинстве случаев не являются совершенным новшеством. Так, помещенный здесь очерк о «Николае Александровиче Демерте» — литераторе-демократе, «взятом на улице в припадке полного умственного расстройтва» и погибшем в московской «полицейской больнице», был запрещен цензурой за то, что «причиной смерти Демерте» выставлен «был наш общественный и бытовой строй, в котором на каждом шагу наткнешься на несправедливости и насилия», но взамен этого очерка Успенским тотчас же была напечатана (и затем перепечатывалась в собраниях сочинений) некрологическая заметка на ту же тему и даже под тем же заглавием, — правда, более сдержанная по содержанию и меньшая по объему. Точно так же и очерк «Пока что», разоблачавший, в частности, классовую подоплеку деятельности министерства народного просвещения, явился лишь первоначальной редакцией очерка, переделанного Успенским под цензурным давлением и опубликованного под названием «Из путевых заметок». Подобные же полные или частичные текстовые соответствия в прежних сочинениях Успенского можно подыскать и почти для всех остальных публикаций сборника — и для наброска «Мед и деготь», и к очерку об Ашнове и Буланже, и к статье «Что-то будет дальше» и т. д.

Подобный характер, приданный рецензируемому сборнику, оставил свой не менее заметный след также и на помещенных здесь исследовательских работах об Успенском. Об этом

¹ В. И. Ленин. Соч., изд. 2-е, т. I, стр. 158.

² В. И. Ленин. Соч. т. III, стр. 464.

³ В. И. Ленин. Соч. т. II, стр. 441.

⁴ «Ленинский сборник», т. XIV, стр. 38.

свидетельствует первая же из данных статей — Н. И. Мордовченко «М. Е. Салтыков-Щедрин — редактор Г. И. Успенского». Заглавие рассматриваемой статьи, однако, непомерно широ ее содержания; по существу, она дает лишь транскрипцию двух рукописей Успенского с правой Щедрина — «Подгородный мужик» и «Смягчающие вину обстоятельства». Это будет способствовать восстановлению обоих текстов, — что уже само по себе, конечно, важно; но вследствие ограниченности материала исследования выводы едва ли могут быть приняты за достаточно обоснованные обобщения.

Две другие работы этого раздела, И. А. Кубасова и И. И. Векслера («Первое» и «Второе издание сочинений Г. И. Успенского», т.-е. восьмитомное собрание 1883—1891 гг.), имеют целью установление текста для нового, критического собрания сочинений Успенского, его об'ема, систематизации, выявления вариантов, приложений и т. п. и определяют: «Какую же работу проделал Успенский как редактор... собрания своих сочинений, как он сконструировал издание, как он «собирал» свои сочинения, распределял по томам, редактировал и корректировал?» (стр. 434).

Наконец, такой же вспомогательный характер носил и документарий рассматриваемого издания — в публикациях Р. Маториной «Неизвестные документы Г. И. Успенского» и Б. Я. Бухштаба «Глеб Успенский под надзором полиции». Сколько-нибудь новых открытий по существу опубликованные здесь источники в данную область не вносят. Свообразный общий интерес представляют собою разве лишь «сочинения» Успенского, написанные им во время экзаменов в 1867 году при Петербургском университете на звание учителя русского языка в уездных училищах. Это — методическая работа «О руководствах по русской грамматике», сочинение по фольклору «О народных сказках» и тема по литературе XIX века «Пушкин». При всей, разумеется, несамостоятельности этих ранних литературных работ Успенского все же в известной мере характерно для будущего писателя-народника, например, предпочтение им из двух родов сказок — фантастических и сатирических — именно последних, выражающих «взгляды народа в известную пору на религию, власти, общественные нравы, и поэтому этот род поэзии имеет слишком большое значение в истории развития оригинальной русской мысли» (стр. 529).

Сборник замыкается обширным научно-вспомогательным разделом в собственном смысле слова. Здесь, прежде всего, нужно отметить научное описание «Рукописей Г. И. Успенского и его переписки», — в нем автографы писателя учтены почти исчерпывающе, с приведением текстологических и палеографических признаков. Второй указатель — «Библиография сочинений Г. И. Успенского», зарегистрировавший едва ли не полностью первопечатные тексты писателя и их дальнейшие перепечатки в сборниках и в собраниях сочинений.

III

На фоне всех этих «неудобочитаемых» отделов сборника особо выделяются зато эпистолярные его материалы, занимающие треть книги, в большинстве своем дотоме неизданные. С внешней стороны они подразделены здесь на три рубрики: «Письма Г. И. Успенского», «Письма к Г. И. Успенскому» и «Письма читателей к Г. И. Успенскому». Уже одни имена корреспондентов писателя — Лесков, Анненков, Полонский, Станюкович, Михайловский и ряд других — могут дать представление о высокой содержательности этой переписки. Не говоря уже о заключенных в ней специальных данных как по поэтике Успенского, так и по творческой истории его произведений, страницы эти насыщены интереснейшими сведениями более широкого характера, — по этому внутреннему содержанию их можно систематизировать в следующие три группы.

Прежде всего, обращают на себя внимание те письма Успенского, в которых он как бы стремится уяснить свою писательскую миссию, наметить путь к осуществлению «социального заказа» (ср. письмо к Нотовичу от 2 августа 1876 г.). Обширна, далее, группа писем об острой нужде Успенского при крайнем изнурительном литературном труде, о постоянных унижительных просьбах к издателям журналов о досрочных выплатах гонорара или авансах, нередко безуспешных ходатайствах перед Литературным Фондом о пособиях (см., например, письмо к П. В. Анненкову на стр. 156). Наконец целый ряд писем свидетельствует о том, что новый демократический читатель с большим интересом встречал каждое новое произведение своего писателя. Так, примечателен юбилейный адрес Успенскому от тифлисского пролетариата от 1887 года, в котором читаем: «В день двадцатилетия вашей литературной деятельности, в которой вы провозглашали любовь к добру и справедливости, любовь и уважение к крестьянину, пахарю, кормильцу нашему, и к нам, рабочим, — в этот счастливый день для всего русского народа, для всех знающих вас и сочувствующих вашим справедливым словам, мы, простые рабочие, решились послать вам свое сочувствие от чистого сердца, простыми словами пожелать вам здоровья и счастья... Когда мы, рабочие, читали ваши рассказы, то своим сердцем догадывались, что вы любите нас; любите говорить простую правду, и за это мы полюбили вас и ваши книги» (стр. 366 — 367).

★

Таков состав настоящего первого тома «Материалов и исследований» о Глебе Успенском. Пусть в нем далеко не все еще непосредственно пригодно для широкого чтения. Но впервые публикуемые в нем (и последующих томах) источники, с одной стороны, восполняют новое исчерпывающее издание собрания сочинений этого писателя такими новыми яркими стра-

ницами, что творчество его, наконец, представит перед массовым читателем в его подлинном виде. С другой стороны, полнота материалов об Успенском, преломленная сквозь критическую оценку ленинской «Искры» и очищен-

ная от ложных и вражеских «толкований», выставит мужественный облик страстного революционного демократа в достойном его освещении.

М. Нинес

★

«КРЫЛЬЯ ИСПАНИИ», очерки и рассказы о летчиках республиканской Испании.

Составил Н. Поджольский. Из-ство ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия», 1938 год, стр. 141.

Цена 3 рубля.

Нельзя оторваться от страниц этой маленькой и замечательной книги.

Третий год героическая республиканская Испания отважно борется против фашистских полчищ Франко, против оснащенных техникой корпусов итало-германских интервентов.

Беспримерная в истории мужественная оборона Мадрида, сокрушительный удар, нанесенный итальянскому корпусу под Гвадалахарой, отважная диверсия у Теруэля, контратаки на Эбро, на Хараме...

В боях выросла и закалилась республиканская армия, выросли, возмужали ее славные командиры — из рабочих, из крестьян: Модесто, Листер, Кампессино, Дуран и другие. Эти командиры, не имея специального военного образования, одерживают победы над фашистами, несмотря на чудовищный перевес в технике на стороне фашистов.

Эта священная война против варварской агрессии оголтелых фашистов показала всему человечеству, на что способен народ, твердо решивший бороться за свою независимость, за демократию. И эта война испанского народа вызывает любовь и симпатии всех передовых людей, ибо это — «дело всего человечества», как сказал товарищ Сталин.

Озверевые фашистские банды не останавливаются ни перед чем. Фашистские артиллерия и авиация с ужасающей методичностью повседневно уничтожают мирные города и селения, величайшие памятники культуры. Убиты десятки тысяч беззащитных старцев, женщин и детей.

... Вспоминается:

— Тихий июльский вечер. Над синими гребнями Гвадарраммы пылает золотой закат. На востоке видна чистая капелка первой звезды. Отсюда, с высоты пятнадцатого этажа Мадридской телефонки виден весь город и окрестности на десятки километров. Вон — корпуса Университари, угрюмо притихшие кварталы Кватрос Калинос, лесистые холмы за рекой Мансаанарес, толедская дорога влево от разбитых домов Карабанчель Бахо...

Внизу — мирные улицы. Ходят люди, бегают стайки ребятишек. Вдруг — глухой, далекий звук выстрела. И — нарастает вой снаряда. Ближе. Рядом. Будто угадываешь синий струящийся след в воздухе. Где-то неподалеку звон взрыва. А оттуда — еще выстрел. Еще. Еще. Грохочут взрывы. Опустели улицы внизу. Скольких уже нет в живых из тех, что только-что мирно шли по панелям... Такие бом-

бардировки — ежедневны. Цель — огромный город, промахоз нет. Еще более ужасны бомбардировки с воздуха, когда огромные бомбы с замедленным взрывом проходят сквозь многоэтажные дома, как нож сквозь масло, а после взрыва остается лишь остов дома, коробка стен...

Было время, когда воздушные фашистские бандиты безнаказанно засыпали с воздуха бомбами города и селения республиканской Испании. Напрягая силы, испанский народ создал свой военно-воздушный флот, и республиканские летчики покрыли себя неуязвимой славой в бесчисленных воздушных боях с фашистами.

Летчик, капитан Антонио, командир подразделения, послал шесть пилотов атаковать «юнкерсы», а сам с двумя более опытными товарищами остался удерживать боем фашистские истребители. Дальше — капитан Антонио дрался один против шести «гейнкелей», самолет его был подбит, а он опасно ранен во время спуска на парашюте. В лазарете, в беседе с М. Кольцовым он говорит:

— Скорее бы встать! Подожди, мы еще покажем гитлеровским бандитам, как нападать на нашу страну!

В живых и трепетно страстных рассказах М. Кольцова, в каждой строке — правда участника-большевика, выдавшего и пережившего все это там, в Испании.

Илья Эренбург, Андрэ Мальро, Мария Тереса Лион рассказывают просто и взволнованно о героях республиканской авиации, об их потрясающих подвигах.

Два рассказа — капитана *** «Четыре против восьми» и Дель Рио «Чато» — дают яркое представление о воздушных боях, которые ведут и в которых одерживают победы республиканские летчики. Раненый «истребитель» Мануэль рассказывает: «... Их было двадцать семь, наших «чато» — двенадцать. Но командир эскадрильи Хосе Марино решил дать бой и развернулся навстречу «фиатам». Первую атаку мы произвели в лоб, и «фиаты», видимо, не ожидая от нас такой наглости, расстроились. Их черный флагман прозевал и, повернувшись через крыло, завис, а Франциско зажег его с первой пулеметной очереди.

Я видел, как мелькнула окутанная дымом свастика «фиата». Аппарат, вопыхнув, как факел, посыпался к земле, оставляя за собой вертикальный столб дыма. Собственно, лететь ему было недолго. В шестистах метрах под нами тянулся гребешок Сиерра де Гвадарраммы. За-

тем, увлекшись дракой, каким-то образом я очутился один среди четырех «фиатов». С первым я расправился довольно скоро. Парень не выдержав моего налета в лоб, попробовал отвернуться в сторону, но мои пальцы надавили гашетки пулеметов раньше, чем он вспомнил свой план. Сначала из пробитого радиатора брызнули белые клубы пара, потом «фиат», клюнув носом, пошел вниз к своему собрату, которого отправил тененте Франциско.

Из четырех молодчиков, занимавших кабины «фиатов», мог драться только один. Остальные были для приманки. Тот, четвертый (я хорошо заметил его по приметам и пилотажу), был, очевидно, порядочный пройдоха. Он подкатывался под меня, хитря, как только мог. Я несколько раз ловил его в прицел, но он был дьявольски изворотлив, и каждый раз мои пули пролетали, не задевая его.

Этот хитрец не подходил близко, а рассчитывал кинуть меня в сумятице, когда я займусь другими машинами. И ему это наполовину удалось.

Через несколько минут боя мотор моего «чато» жалобно застывал, выплевывая через пробиты неотреботанный газ. Он пробил мне два цилиндра в моторе, но в следующую минуту я их окупил. Неуклюжий его товарищ наконец подвернулся, и я надавил кнопки всех пулеметов. Через несколько секунд в воздухе мелькнул нераскрывшийся парашют. То хозяин, догоняя свою машину, спешил к тем двум, которых мы отправили на землю.

С этого момента я остался один против двух. И когда Франциско подошел ко мне на помощь, «храбрецы» повернули...

Кто же они, эти беззаветные герои?

«Истребитель» Мануэль — молодой горняк-астуриец, Б. Уманский в своем рассказе рисует девушку-летчицу Кольчесту Мало. Она — дочь астурийского горняка, расстрелянного после подавления восстания 1934 года. Эта юная двадцатилетняя девушка, с черными кудрями и веселыми глазами, попала в плен к фашистам и, отвергнув предложение изменить своему рабочему классу, погибла смертью храбрых.

Герой рассказа капитана*** летчик Крисай — серб по национальности; родился он в бедняцкой семье. Отец его был убит во время империалистической войны. Крисай рано начал тяжелую борьбу за кусок хлеба.

В Испанию он приехал, как только начался мятеж.

Андрэ Мальро — подполковник испанской авиации — рассказывает о героях-летчиках, среди которых — представители многих наций. Всем известна деятельность А. Мальро, с помощью друзей Испании сформировавшего авиаэскадрилью из летчиков-добровольцев со всех концов света. Эта эскадрилья оказала крепкую поддержку испанскому народу.

Вместе с М. Кольцовым читатель с волнением и от всего сердца скажет о летчиках, сражавшихся и сражающихся в республиканской Испании:

«Не только республиканский народ — весь мир трудящихся и честных людей и, конечно, Советская страна, преклоняются перед доблестью республиканских летчиков-героев, и павших в бою, и здравствующих, первых смелых рыцарей из народа, дерзнувших дать бой воздушной рати фашистского милитаризма и обративших ее в бегство».

Л. С.

★

«КОЛЛЕКТИВНЫЕ ОХОТЫ»

Воениздат, 1938 год, 159 стр. Цена 1 р. 75 коп.

Охота... Сколько волнения, веселых и жарких воспоминаний!

Стоят две могучих стены леса, меж ними — яркзеленый луг. Причудливо петляет студеная стремительная речонка. Вот она вильнула под могучий навес елошника. С трудом вытаскивая из топи ноги, шагаю в этот укромный уголок. С криком взлетают две кряквы. Выстрел, и одна падает. Бросаюсь туда и выше колен проваливаюсь в трясину, в двух шагах от речонки. Передаю спутнику ружье и ползком преодолеваю трясину. Обожгла вода речки. Да как тут глубоко — приходится плыть. Потом — долгие поиски в сердитой крапиве. Наконец — вот она, утка. Радость бьет из каждой клеточки тела. Милая речка, милая трясина...

Воениздат сделал очень хорошее дело, издав книгу «Коллективные охоты». С наибольшим интересом читаются главы четвертая, пятая и шестая. В них — описание наиболее распространенных видов охоты и некоторых охот-

ничьих районов СССР. Читатель не-охотник найдет в них, в этих главах, очень много ценных сведений из жизни птиц и зверей. С подъемом описан глухарь, его повадки, и охота на него ранней весной, когда он токует.

Вальдшнеп, бекас, гусь и казарка... Перечитывая строчки описаний, весь уходишь в милые воспоминания.

Жаль, что три очерка в главе «Из практики коллективных охот» суховаты, да и мало их. А книга сильно выиграла бы, если бы редакция не поспешила на место для таких очерков и привлекла более зрелый художественный материал.

Здесь же, в этих главах, попутно дается немало практических советов: какими номерами дрови по какой дичи стрелять. На рисунках очень толково показано, с каким упреждением стрелять по быстро движущейся дичи: по летящей птице, по зайчику, улетающему во все лопатки.

«Ну, и стрелял! Как без дрови!» — ча-

стенко слышим мы на охоте. Молодой охотник часто не понимает, почему он «промазал». Здесь, в книге, он найдет правильный и ясный ответ.

В первых главах книги — инструкция, сводки организационных навыков. Нужда в такого рода материале — несомненная. Сколько вспоминается случаев, когда из-за плохой организации дела охота кончалась нелепой неудачей, ссорами...

Простое, кажется, дело: собрались на охоту знакомые охотники и поохотились. Отнюдь нет. Бойтесь, смертельно бойтесь, не спускайте глаз с охотника-«энтузиаста» с безудержной пылкостью чувств, перед которой абсолютно ничто и здравый смысл, и спутники, и собственная жизнь...

Он, этаким энтузиастом, еще в городе ошеломит вас своей эрудицией; он знает все, что касается охоты; он прочитал и вы зубрил все охотничьи книги, брошюры, справочники...

Еще в городе он огорошит вас своим снаряжением и обмундированием, еле уместившимся в двух огромных мешках...

Похожий на капрала из армии Наполеона, удравшей из-под Москвы, предстанет он перед вами на поле брани, то-бишь на охоте, потрясая смертоносным оружием (вы еле-еле, через силу улыбаетесь, видя, как стволы его ружья упорно не желают уйти в сторону от вашего живота).

Горе вам, если вы доверитесь «энтузиасту» в незнакомой местности: он заставит вас плутать до изнеможения и без толку по трясинам и буреломам.

И когда на языке у вас уже вертится крепкое слово, где-то неподалеку, за кустами, он начинает декламировать нараспев:

У лукоморья дуб зеленый...

Иногда он читает в трущобе стихи Пастернака и Шумихера. На стоянке он с потрясающей энергией восхваляет свои подвиги, мало-веря, не задумываясь, обзовет хамом и сам не обидится, если его обругают.

Но следите за ним, следите. Вот он, заваривая чай по особой своей системе и разглагольствуя, берет для чего-то головешку из костра, направляется к автомобилю у стога, роется там. Возвратившись, он продолжает восхвалять чай, как чудодейственное лекарство:

— В нем танин есть!

Бросайтесь к автомобилю... Да, да, вы успели во-время и дешево отделались. Уголек, оброненный «энтузиастом», спалил только ватную фуфайку, которая лежала на запасном баке с бензином...

Не рассказывайте страшное ночью. Иначе он — лишь только вы уснете — среди мрака истошно завопит: «Бандиты!». Спросонья — это невеликая радость: искать ружье и ждать врага...

Всем этим — пережитым, виденным лично — я отнюдь не предлагаю совсем не брать на охоту «энтузиастов».

Жизнерадостный, говорливый, он приемлем, но только в том коллективе, где хорошая организация, дающая простор веселью и устраняющая суматоху, беспечность и несчастье. С безупречным знанием дела в книге описана вся организационная сторона коллективных охот.

Несомненно, что коллективным охотам и экспедициям принадлежит большое, хорошее будущее. Здесь, в коллективе, ярче чувствуется удача и легче переносятся невзгоды похода, главное же — здоровый дух соревнования охватывает всех участников коллектива.

Существует поговорка: «Врет, как охотник». Надо правду сказать: наш брат крепко любит преувеличить, попросту говоря, приуватить. Казалось бы, охотничье вранье — веселое и безобидное явление. Но на деле, те перь — это далеко не так. Нам нужны не кустари-одиночки, забавные врази, а в высокой степени оттренированные на охоте бойцы, неутомимые, зоркие, быстрые, с нерушимым чувством товарищеской спайки и безусловно правдивые. Что толку в пустой брехне, когда так волнующе хорошо у костра пережить с друзьями, в коллективе, впечатления охоты. А дальше — разговор переходит на другие темы, и широкий горизонт разворачивается перед товарищами!

Нет, я решительно высказываюсь за коллективные охоты. Книга, подготовленная центральным советом Всесоюзного военно-охотничьего общества, отлично агитирует именно за этот вид охоты-спорта.

Мне кажется, что книгу придется переиздавать. При этом надо улучшить язык первых глав, расширить очерковую часть книги и прибавить иллюстрации. С. В.

Редколлегия: **Ф. В. Гладков**
Л. М. Леонов
А. Г. Малышкин
В. П. Ставский

Ответственный редактор **В. П. Ставский**

Редакция: Москва, 6. Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЗА ОВЛАДЕНИЕ БОЕВОЙ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ТЕОРИЕЙ	3
В. ТАРСИС — Дездемона, повесть	9
В. ЗВЯГИНЦЕВА — Саратовская земля, стихотворение	41
М. ЮФИГ — Зрелость, повесть	44
А. КОЦ — Горная баллада	98
А. ДЕРМАН — Дело об игумене Парфении, роман-хроника, окончание	101
А. ОЙСЛЕНДЕР — Гейне, стихотворение	124
К. КЛОСС — Сигналы бедствий, повесть	125
К. СИМОНОВ — Флаг, стихотворение	148
П. РУСИН — Последний выстрел, рассказ	149
П. АНТОКОЛЬСКИЙ — Утро в Баку, стихотворение	166
В. ФЕДОРОВИЧ — Звезда, рассказ	167
И. МУРАТОВ — Баллада о Ковале Коваленко, перев. с украинского Д. Петровского	178
БОЕВЫЕ ЭПИЗОДЫ, документы героических боев в районе озера Хасан	179
ЛЮДИ И ФАКТЫ	
С. Н. БАРЫШЕВ, депутат Верховного Совета РСФСР — Три четверти века, воспоминания	203
ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА	
Полк С. ГУРОВ — Артиллерия в современном бою	230
Полк. И. ПОПОВ — Чехословакия и ее вооруженные силы	240
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО	
О. САХНОВСКИЙ — К. С. Станиславский	249
С. РОММ — Рассказы А. Ульяновского	260
Б. КОЗЬМИН — Литературная борьба вокруг Успенского	267
БИБЛИОГРАФИЯ	
М. НИНЕС — Глеб Успенский, материалы и исследования	281
П. С. — «Крылья Испании», очерки и рассказы о летчиках республиканской Испании	284
С. В. — «Коллективные охоты»	285



Продолжение «Испанского дневника» Михаила Кольцова (см. №№ 4—8 «Нового мира») будет напечатано в 10-й книге «Нового мира».



КНИГИ ПО МУЗЫКЕ:

БОРОДИН, А. — Письма, вып. II. Ц. 9 р. 25 к.
БРУК, М. — Визе. Монография. Ц. 8 р. 25 к.
БЮКЕН, Э. — Героический стиль в опере. Ц. 6 р.
КЕЛДЫШ, Ю. — Романо-европейская лирика Мусоргского. Ц. 2 р. 35 к.
ЛОРАНСИ, Л. — Французская комическая опера XVIII века. Ц. 3 р. 50 к.
МИТРОФАНОВ, Н. — Суфлер в опере. Ц. 1 р. 50 к.
МОЦАРТ, В. — «Свадьба Фигаро». Сборник статей к постановке оперы. Ц. 4 р.
МУЗАЛЕВСКИЙ, В. — Балакирев, критико-биографический очерк. Ц. 6 р.

ПРЮНЬЕР, А. — Новая история музыки, т. I. Ц. 5 р. 70 к.
РОЛЛАН, Р. — Музыканты прошлых дней. Ц. 8 р.
РОЛЛАН, Р. — Музыканты наших дней. Ц. 8 р.
ЧАЙКОВСКИЙ, П. — Переписка с П. Юргенсоном. Ц. 17 р.
ЧАЙКОВСКИЙ, П. — «Евгений Онегин». Сборник статей к постановке оперы. Ц. 4 р.
ЧАЙКОВСКИЙ, П. — «Пиковая дама». Сборник статей к постановке оперы. Ц. 5 р.

Книги высылаются наложенным платежом без задатка

МОСКВА, Неглинная, 14.

НОТЫ ПОЧТОЙ МОГИЗ'а.

КОГИЗ
«Политкнига»



Государственное
Изд-во
«ЗМЕС»

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
НА ЕВРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

БЕРГЕЛЬСОН, Д. У Днепра. Роман. 576 стр. Ц. в пер. 9 р.
БЕРГЕЛЬСОН, Д. Шаг за шагом. Рассказы. 320 стр. Ц. в пер. 7 р. 25 к.
БЕРГЕЛЬСОН, Д. У вокзала. Рассказы. 336 стр. Ц. в пер. 7 р. 30 к.
БРЕГМАН, С. Будет буря. Роман. 242 стр. Ц. в пер. 5 р.
БРЕГМАН, С. Дни в огне. Роман. 226 стр. Ц. в пер. 4 р. 60 к.
БРЕГМАН, С. Пожары. Роман. 224 стр. Ц. в пер. 5 р. 50 к.
ГОДИНЕР, С. Жизнь начинается. Рассказы. 380 стр. Ц. в пер. 5 р.
ГОДИНЕР, С. Завельский тракт. Рассказы. 192 стр. Ц. в пер. 6 р. 25 к.
МАРКИШ, П. Из поколения в поколение. Роман. 376 стр. Ц. в пер. 9 р.

МАРКИШ, П. Братья. Поэма. 298 стр. Ц. в пер. 7 р. 50 к.
МАРКИШ, П. Заря над Днепром. Поэма. 318 стр. Ц. в пер. 10 р.
РИВЕС, И. Ян Дзембо. Повесть. 158 стр. Ц. в пер. 5 р. 25 к.
РОСИН, С. Стихи. 210 стр. Ц. в пер. 7 р. 50 к.
РОСИН, С. Сыновья и дочери. Поэма. 166 стр. Ц. в пер. 4 р. 50 к.
ТАЙЧ, М. Новеллы. 370 стр. Ц. в пер. 5 руб.
ФИННИНБЕРГ, Э. Стихи. 276 стр. Ц. в пер. 8 р. 50 к.
ЭГКЕС, Б. Борьба продолжается. Роман. 310 стр. Ц. в пер. 6 р. 75 к.

ТРЕБУЙТЕ эти книги во всех книжных магазинах КОГИЗ'а.

В случае отсутствия на местах почтовые заказы просим направлять в ближайшее областное (краевое) отделение КОГИЗА или по адресу: Москва, ул. Горького, 51 Дом Интернациональной книги.